

ГЛЕБ МОРЕВ



Слово «диссидент» происходит от латинского «несогласный». С чем же были не согласны те люди 60–80-х годов, которых так называли? Они были не согласны с советской властью, с ее тотальной ложью и жестокостью, с лицемерием и полным забвением о частном человеке, о его достоинстве и праве на уважение.

Сменилась власть. Многих «диссидентов» тех лет уже нет на свете. Тем драгоценнее живые голоса наших старших современников, сохранивших достоинство и честь «молчащего» поколения. В этой уникальной книге собраны интервью с теми из них, кого и по сей день можно считать великими, последними учителями высокой этики и человеческого достоинства. Их голоса звучат сегодня тихо, заглушенные шумом нового времени, унаследовавшего многие родовые черты прежней власти.

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

ГЛЕБ МОРЕВ

ДИССИДА

НЕТЬ

ДВАДЦАТЬ РАЗГОВОРОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 94(100)»1939/45»
ББК 63.3(0)62
М 79

Морев, Глеб.

М 79 Диссиденты / Глеб Морев. – Москва : Издательство АСТ, 2017. — 416 с. [ил.]. — (*Ангедония. Проект Данишевского*).

ISBN 978-5-17-100509-2.

Под этой обложкой объединены самые разные голоса, в свое время — с конца 1950-х до середины 1980-х — принадлежавшие в СССР общественному движению инакомыслящих, получившему имя диссидентства. Это голоса разных поколений, разных политических убеждений, разных судеб. Советское диссидентство никогда не было монолитным политическим движением — это всегда был разноголосый хор, объединенный не политическими, но этическими установками. Эта книга дает ему возможность быть услышанным.

УДК 94(100)»1939/45»
ББК 63.3(0)62

ISBN 978-5-17-100509-2.

© Глеб Морев, текст
© ООО «Издательство АСТ»

УТВЕРЖДЕНИЕ СВОБОДЫ

Повторяя известное высказывание, Россия — это «страна с непредсказуемым прошлым». То же самое с не менее вескими на то причинами можно было бы сказать и о других странах и нациях, если не о большинстве из них. По сути, любая страна, пережившая национальную травму, становится страной с непредсказуемым прошлым. Если это тяжелая травма, что, несомненно, верно для России, то состояние «непредсказуемости» может длиться очень долго.

А Россия в XX веке пережила не просто травму. Она пережила национальную катастрофу, длившуюся 70 лет. Десятки миллионов людей прошли через ГУЛАГ. Последствия этого ощущаются и по сей день. И, только поняв эти последствия, можно понять советских диссидентов, их появление, их деятельность, их методы и влияние, которое они оказали.

Террор как инструмент власти всегда был неотъемлемой частью советской действительности. Основным культурным наследием этих десятилетий стал страх — постоянный, ощущаемый и сегодня, проникший в подсознание страх перед всевластием государства. Государственная власть может сделать с человеком то, что считает необходимым — это нам хорошо известно. Это было хорошо известно всем людям в Советском Союзе, и так считают и сегодня еще очень многие в России.

В первую очередь диссиденты разорвали этот порочный круг. Они знали, что постсталинистское государство все еще обладает огромной властью (и поэтому они лично очень рисковали), но все же оно было уже не всевластно. Они опирались на взаимоотношения, связывающие людей (не считая семейных и родственных связей), которые были бы неподвластны государственному контролю. Так они начали бороться против атомизации советского (а теперь российского) общества — болезненной и до сих пор оказывающей на общество болезнетворное влияние.

С 1950-х годов существовал самиздат — неофициальное тиражирование и распространение литературных произведений. Именно в рамках самиздата впервые началось обсуждение сталинизма в некоем публичном пространстве (пусть первое время и небольшим). Культура самиздата была вся пропитана антисталинистским пафосом. Именно в ходе обсуждения сталинизма, именно в этом окружении начала формироваться численно небольшая, но чрезвычайно активная группа, члены которой позже были названы диссидентами. Во второй половине 1960-х годов в самиздате появились тексты, в которых высказывался протест против политических преследований того времени, тексты, которые не имели прямого отношения к сталинизму как таковому. Но и в этих текс-

тах присутствовала мысль о том, что причиной постоянного и парализующего страха советских граждан является как раз недавнее трагическое прошлое. В Советском Союзе в то время шла борьба за гражданские свободы, которую начали диссиденты и которая уже тогда была неотделима от «борьбы за историю», за сохранение и переработку воспоминаний о прошлом и, в первую очередь, о сталинском терроре.

Воспоминания о сталинском терроре долгое время, многие десятилетия делились на два вида. Один из них представлял собой личные и семейные воспоминания, которые основывались на жизненном опыте жертв и их родственников. Такие воспоминания были «латентными» и воспринимались как запрещенное или наполовину запрещенное знание. Также они были предметными, фактографическими и крайне конкретными. Их анализа или осознания почти не происходило. Вторым видом воспоминаний была рефлексия диссидентов — она проявлялась в мемуарах, авторы которых осмелились опубликовать их в самиздате, в исторической публицистике, в переводах западных научных работ, романов и стихов.

Благодаря фундаментальной и глубокой рефлексии диссиденты изобрели одну важную вещь — «язык права», который до сегодняшнего дня оказывает большое влияние на представления о человеческих правах. Но они были не одиноки. Их работа и их изобретение находились в общем русле напряженного и интенсивного поиска свободы в Европе, да и во всем мире. На Западе кульминацией этого процесса часто называют 1968 год. Но и в Восточной Европе был свой 1968 год. Пражская весна, открытое выражение диссидентами своих взглядов или протесты рабочих в Польше показывают, что стремление к свободе было всеобъемлющим и государственные границы не были ему преградой. У этого стремления были иные предпосылки, нежели на Западе, и поэтому оно имело совершенно иной результат. На Западе протестующие заявляли, что они живут в условиях квазидиктатуры, в то время как на Востоке люди жили в условиях реальной диктатуры. На Западе звучало требование дать больше свободы (свобод) и возможностей (а уже имеющейся свободой можно было пользоваться для реализации этих требований), в то время как на Востоке нужно было сначала обеспечить себе основные права и свободы и не оказаться в тюрьме, лагере или ссылке из-за своих требований.

До этого я говорил о двух стремлениях к свободе (хотя, возможно, речь все же шла об одном объединенном движении). Тем не менее, на Западе из этого движения за свободу возникли последователи анти-свободных, авторитарных, если не сказать тоталитарных, большей частью коммунистических идеологий. Они проповедовали несвободу, а получили свободу. То, что это не привело их (и общество) к печальным последствиям, связано прежде всего со свободой, которой они обладали в исходной

точке. На Востоке, наоборот, свобода и право были не только лозунгами, но и важной частью политической идеологии (и, насколько это было возможно, практики) диссидентов. Однако права и свободы по-прежнему не реализовывались (даже когда в период стагнации уже зарождались предпосылки для изменений, произошедших в 1989/1990 годах — это мы знаем сейчас, но об этом тогда никто знать не мог).

Стоит также отметить, что в утверждении свободы (в итоге успешном) основную роль сыграла вовсе не выверенная идеология, а постепенное внедрение снизу «языка права», который, в свою очередь, постепенно изменил понимание политической власти.

Сейчас кажется, что самоосвобождение России 25 лет назад большей частью забыто. Однако так только кажется. Я убежден, что российское общество (и в еще большей мере общества к западу от России и к востоку от старого Запада) давно идет по проторенному в 1968 году на Западе пути глубинных изменений в отношениях с властью. Это не прямой путь, на нем много крутых поворотов. И постепенно он приведет к формированию нового российского характера. В пути могут случаться остановки, может снижаться скорость. Но прекратить двигаться по нему уже нельзя. Диссиденты в Советском союзе и их коллеги в других социалистических странах заложили основу для этого движения. Они хотели жить достойно. При чудовищных личных рисках они показали, что это (почти) всегда возможно. Таково их завещание.

Йенс Зигерт
Руководитель Фонда имени Генриха Бёлля
в России с 1999 по 2015 год

Первая история советского диссидентства была издана в 1984 году.

История советского диссидентства не написана до сих пор.

Оба эти утверждения верны и, более того, противоречие между ними — лишь кажущееся. Книга Людмилы Алексеевой «История инакомыслия в СССР», написанная в США в конце 1970-х годов и изданная там же в 1984-м, на пике репрессий против советских инакомыслящих, являет собой достаточно редкий пример синхронного событиям исторического описания. Ее хронологической границей служит 1983 год. Между тем, современная историография датирует конец «диссидентского» периода в Советском Союзе 1987 годом, когда, вслед за возвращением академика А.Д. Сахарова из горьковской ссылки в декабре 1986 года, из лагерей были освобождены десятки политзаключенных, и стремительно менявшаяся социополитическая реальность горбачевской «перестройки» сделала советское диссидентство в тех его формах, какие сложились к концу 1970-х годов, достоянием истории.

С тех пор посвященная феномену диссидентства историческая библиотека пополнилась массой новых мемуарных и разножанровых документальных свидетельств, действуют специальные исследовательские программы, публикуются, комментируются и готовятся к публикации важнейшие документы, относящиеся к диссидентскому движению в СССР. Тема, однако, продолжает быть актуальной для исторического изучения. Многие важнейшие для развития диссидентства в СССР сюжеты остаются недокументированными и/или неописанными, показания многих участников — ряды которых, к сожалению, редют на глазах — только начинают фиксироваться историками. До сведения всей полноты информации в одно итоговое исследование покамест далеко. Такое исследование остается задачей будущего.

Как шаг в его направлении и стоит воспринимать нашу книгу. В качестве составителя я видел своей задачей, прежде всего, дать возможность быть услышанными и зафиксированными самым разным голосам, в свое время — с конца 1950-х до середины 1980-х — принадлежавшим диссидентству. Голосам разных поколений, разных политических убеждений, разных судеб. Советское диссидентство никогда не было монолитным политическим движением — это всегда был разноголосый хор, объединенный не политическими, но по преимуществу этическими установками. Здесь, кстати, один из немногих пунктов, в котором единокорпусны герои этой книги.

Начиная этот проект, продолжавшийся два года — с осени 2014 года по осень 2016-го - я не ставил своей задачей создать, что называется, «репрезентативную выборку» представителей советского диссидентства. То, что у этой книги двадцать героев, а не, скажем, двадцать семь или тридцать, — следствие не авторской концепции, а жизненных обстоятельств. Многие из тех, с кем мне хотелось побеседовать, оказались по тем или иным причинам труднодостижимы. С некоторыми (как, например, со скончавшимися в конце 2014 года о. Глебом Якуниным и Валерием Сендеровым) я встретиться планировал, но не успел... Трижды я столкнулся и с отказом от разговора. Мне, однако, кажется, что и в нынешнем составе, пусть и не вполне отражающем идейный и географический спектры советского диссидентства во всей их противоречивости (в первом случае) и широте (во втором), эта книга содержит в себе объем свидетельств, значение которого для понимания природы и развития инакомыслия в СССР трудно переоценить.

Я глубоко признателен всем, согласившимся принять участие в проекте. Без поддержки Фонда имени Генриха Бёлля и его сотрудников Йенса Зиггера и Нурии Фатыховой он не мог бы состояться. Сотрудник Международного Мемориала Алексей Макаров помог мне избежать многих неточностей при расшифровках бесед и существенно обогатил иллюстративный материал. Наталью Лебедеву и Ирину Тимашеву (Colta.ru) я благодарю за помощь при подготовке текстов к публикации.

Глеб Морев

«РОДИТЬСЯ ДИССИДЕНТОМ»

Осенью 1962 года по приглашению Союза советских писателей в Москву впервые приехал западногерманский прозаик Генрих Бёлль. В эти несколько светлых дней случилось знакомство, тесно связавшее историю советских диссидентов с его именем — знакомство Бёлля с германистом Львом Копелевым и его женой литературоведом Раисой Орловой.

Подлинной хроникой диссидентского движения стала ведшаяся на протяжении двадцати лет переписка семей Бёлля и Копелева. Субъективная, эмоциональная, но и очень точная хроника, зафиксировавшая эпизоды взаимоотношений, реакции, описавшая сложно уловимые процессы, происходившие с теми людьми, которых мы сегодня называем советскими диссидентами. Ценны в ней не только факты, имена (в ней есть многие из тех, чьи интервью вошли в эту книгу), но сама драматургия переписки двух друзей-литераторов.

Все начиналось как разговор о литературе, будничных писательских и переводческих делах с мелькающими признаками советской или немецкой бытовой жизни. И только иногда в ткань их первых бесед вплеталась нитка иного цвета — про какую-то где-то рядом существующую политическую действительность. В начале 1970-х годов эта нитка становится основной, из нее вяжется большая часть полотна. Генрих Бёлль к тому моменту уже президент международного PEN-клуба, получает Нобелевскую премию по литературе (1972), начинает все чаще действовать как политик, а не только писатель, активно участвуя в общественных дискуссиях в Германии, разбухенных студенческими протестами. Именно в это время принципиальность его оппозиционных взглядов в Германии порождает кампанию травли Бёлля. Но это не останавливает его активность, а внимание к происходящему на Востоке Европы, о которой ему в письмах постоянно рассказывают друзья, только обостряется. Переписка с Копелевым и другими независимыми советскими интеллектуалами становится больше похожей на разработку стратегий по спасению людей. Советские друзья Бёлля сообщают ему, что кому угрожает, как и почему надо помочь. Значение этих писем и телеграмм для диссидентского движения и борьбы за свободу в СССР невозможно переоценить.

Благодаря этой дружбе были спасены жизни не одного десятка советских граждан, некоторых из которых мы сегодня называем диссидентами. Кто-то смог уехать и получить поддержку за границей, за кого-то вовремя заступились.

С помощью Копелева Бёлль познакомился со многими советскими интеллектуалами и писателями. Одним из них был Алек-

сандр Солженицын, о рассказе которого «Один день Ивана Денисовича» Копелев рассказал Бёллю в письме 1963 года. С этих пор Бёлль следил за текстами Солженицына, написал предисловие к немецкому переводу «Ракового корпуса» и рецензию на «В круге первом». Личное знакомство с Солженицыным состоялось только в 1972 году в очередную поездку Бёлля в СССР, тогда российский писатель передал немецкому коллеге свои тексты и документы для адвоката на случай ареста. Через два года, когда в феврале 1974 года Солженицына действительно арестовали, Бёлль написал письмо протеста на имя Брежнева и принял писателя после его высылки из СССР в своем доме под Кельном.

«У меня рады любому беженцу, неважно, приехал он из коммунистической или как коммунист из некоммунистической страны. Когда придет Александр Солженицын, в нашем доме у него будет чай, хлеб и кровать» (Генрих Бёлль, *General Anzeiger*, 14 февраля 1974 года).

К 1970-м годам в советской писательской среде актуализировалось деление на диссидентов и не диссидентов. Сам Бёлль использовал это понятие как определение степени порядочности человека — «родился диссидентом».

«Он принадлежал к нашим лучшим друзьям в Москве, был рожден диссидентом, один из первых, кого я знал. Он был диссидентом от природы, инстинктивно и по опыту еще до того как состоялось само диссидентское движение», — так Бёлль отозвался в 1976 году в газетной статье во *Frankfurter Allgemeine Zeitung* на убийство в Москве (вероятно, организованное КГБ) переводчика немецкой литературы Константина Богатырева, когда-то отсидевшего пять лет в лагере по политическому обвинению.

После вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году некоторые категорично требовали от Бёлля радикальной оппозиционности, упрекали его в том, что он продолжает ездить в СССР. И действительно, Бёлль отменял свои поездки и заседания PEN-клуба во многих странах Восточного блока, когда там случались аресты и репрессии. И только в Москву он продолжал ездить до конца 1970-х. Эти поездки стали судьбоносными для многих диссидентских биографий. Его остановки — это, конечно Москва со Львом Копелевым, Ильей Эренбургом, Константином Паустовским, Ленинград, где он очень хотел встретиться и встретился с Анной Ахматовой. Там же его друг филолог-германист Ефим Эткинд познакомил Бёлля с молодым Иосифом Бродским. И это знакомство помогло изгнаннику Бродскому в будущем.

Для нашего Фонда, носящего имя Генриха Бёлля, большая честь участвовать в важном и очень своевременном проекте «Диссиденты». Именно история взаимоотношений Бёлля с советскими диссидентами определила и до сих пор определяет политику работы Фонда в России.

Мы с большой радостью согласились участвовать в создании этой книги, смысл которой не ограничен фиксацией событий кон-

кретного исторического периода, он выходит за границы прошлого, добирается до сегодняшнего дня (здесь в России или в Европе). Разговоры с советскими диссидентами — это разговоры о понимании истории, о взаимоотношении человека с его чувствами, мечтами, амбициями и внешней системой с ее насилием и границами.

Я благодарю моих коллег — Йенса Зигерта (бывшего руководителя Фонда имени Генриха Бёлля в России) за решение поддержать проект «Диссиденты», Марину Вахнину и ее маму Марию Орлову за рассказы, контакты и советы.

Нурия Фатыхова,
Координатор программы «Демократия»
Фонда имени Генриха Бёлля в России

|
«ЭТО БЫЛО НРАВСТВЕННОЙ
УСТАНОВКОЙ.
ТОЛЬКО НРАВСТВЕННОЙ»

© Глеб Морев



СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЯНЦ:

«Во враждебной среде с таким количеством стукачей раскрытие неизбежно»

— Какие из протестных акций, движений советского времени считать относящимися к диссидентству, а какие, с вашей точки зрения, нет?

— Это вопрос слегка не по адресу. Уже много лет и по личному интересу, и для книг и статей, которые я пишу, я отвечаю в том числе и на этот вопрос, но как исследователь, а не как действующее лицо с первых лет появления диссидентского движения в Советском Союзе. И вообще, не очень мне нравится термин «диссидентство». Мне кажется, что гораздо более точным является термин, который применял Андрей Амальрик и потом Сергей Солдатов — вот лежит эта его книжечка 1970 года, «Программа Демократического движения Советского Союза». А то, что мы называем диссидентским движением в России, — это какая-то гораздо более узкая его часть, ограниченная во времени и в числе лиц. Тогда как демократическое движение — явление, реально существовавшее. Впрочем, как и диссидентство, которое является его частью.

К сожалению, ни одним из известных мне историков или участников диссидентского движения не осознается, что оно находилось в прямой зависимости от положения в Кремле. Но поскольку,



После освобождения из лагеря, 1987
© Из архива
Сергея Григорьянца

Сергей Иванович Григорьянц (12 мая 1941, Киев) — журналист, литературовед, коллекционер. В 1963–1965 годах учился на факультете журналистики МГУ (отчислен по политическим мотивам), организовал там литературный клуб «Забывшие поэты».

4 марта 1975 года арестован и 25 сентября приговорен Мосгорсудом к 5 годам лагерей по статье 190-1 и 154, ч. 2 УК РСФСР. Срок отбывал в колонии в Ярославской области, Чистопольской тюрьме, Верхне-Уральской тюрьме. После освобождения жил в г. Боровск Калужской области. В 1982–1983 годах — редактор самиздатского правозащитного бюллетеня «В». Вновь арестован 18 февраля 1983 года, 26 октября осужден Калужским областным судом по ст.70 УК РСФСР на 7 лет лагерей и 3 года ссылки. Находился в Чистопольской тюрьме. Освобожден 6 февраля 1987 года.

В 1987—1990 годах — главный редактор независимого журнала «Гласность». В 1990-е годы — председатель правозащитного фонда «Гласность». Живет в Москве.

как говорил Черчилль, в Кремле все играют под ковром, то никто из диссидентов этого как следует не понимал.

— **Вы считаете, что демократическое движение в России, частью которого было диссидентство, конституировалось исключительно как проекция внутривнутриполитических изменений во власти?**

— Нет-нет. Это в том числе бывало и так, но часто бывало и гораздо сложнее, и сейчас я говорю о другом. Я говорю просто о том, что само по себе положение демократического движения, то преследование, которому оно подвергалось или не подвергалось в определенные периоды (и это тоже очень любопытно проследить), на самом деле были связаны с вполне определенными серьезными политическими переменами, которые происходили в управлении Советским Союзом.

— **Как вы датируете широкое демократическое движение в России, какие хронологические границы ставите?**

— Сравнительно широкое демократическое движение начинается с 1957 года как следствие венгерского восстания 1956 года, которое, на самом деле, вызвало бесконечно бóльшую реакцию в СССР, чем, скажем, гораздо более известные события в Чехословакии в 1968 году. До этого — во второй половине 30-х годов, в сороковые и первой половине пятидесятых, конечно, известны реальные оппозиционные политические группы, школьные и студенческие, две из них (в одной был юный гениальный физик Ландау) перед войной выдал известный поэт Павел Коган — профессиональный осведомитель НКВД. Но, по-видимому, групп этих до Будапештского восстания было немного. Неорганизованные, но очень многочисленные выступления в поддержку борющихся за свободу венгров стали в значительной степени прямым результатом атмосферы обновления и радостного ожидания перемен, царившего в СССР с 1954—1955 годов.

— **Вы были свидетелем протестных настроений или подпольной активности, вызванных 1956 годом?**

— Нет. Я не мог быть свидетелем, точнее, действенным участником этой активности — мне было 15 лет, но я прилежно покупал югославскую газету «Борба», которая стала ограниченно доступна в СССР, и пытался что-то понять в сербских сообщениях.

— **Но вы знали людей, которые в этом участвовали?**

— Да, конечно, знал. Когда я был арестован в 1975 году, я оказался в одной камере (№ 129) в «Матросской тишине», скажем, с Юрой Анохиным, поэтом, который учился на несколько лет раньше меня на факультете журналистики МГУ и в начале 1957 года на комсомольском собрании читал там стихи «Мадьяры, мадьяры, вы братья мои, я с вами — ваш русский брат...» — что-то такое. И получил за это благополучно, по-моему, пять лет. У меня это был первый арест, а у Юры — уже второй.

— **Он из тех людей, которые пришли в демократическое движение в 1957 году, с самого начала?**

— Это не было движением. Это была демократическая активность, но она была очень действенной, очень соответствующей духу времени. Это были отдельные люди, которые поднимали лозунги в защиту Венгрии на первомайских демонстрациях и шли с этими лозунгами. Были люди, которые выступали на собраниях в защиту Венгрии. Сохранились и резолюции собраний в защиту Венгрии. В общем, даже по материалам советских архивов, отчасти опубликованным, а не только по моему знакомству с Юрой Анохиным видно, насколько это было мощное движение, заставившее Хрущева ненадолго прекратить сокращение КГБ и МВД и даже выступить с рядом требований об усилении идеологической работы и усилении уголовной ответственности за подобные выступления. Например, Владимир Муравьев, более известный сегодня как друг Венедикта Ерофеева, не случайно вспоминал, как организовалась тогда их группа, как и группа [Льва] Краснопевцева, тоже в университете, но они не знали друг друга (но ведь было и много других, особенно в Ленинграде!) — и все они были детьми венгерских событий. Что особенно любопытно, Муравьев говорит о своей группе, численность которой даже ему неизвестна благодаря изначально введенной конспирации, но располагавшей довольно большим запасом оружия! При этом ни Муравьев, ни историки, упоминающие демократическое движение или пишущие о нем, не понимают, в какой связи оно находилось с переменами в Советском Союзе. Никто не анализирует действительной роли Хрущева. Ведь к тому времени, за 40 лет советской власти и ее преступлений, русским народом (и в первую очередь русской интеллигенцией) было прочно усвоено, что никому из «них» верить нельзя, что все они бандиты, и поэтому те действия, которые производил Хрущев, даже тогда, когда они не были секретными, даже когда о них писали, никем не воспринимались как нечто важное, реальное, меняющее суть советского режима. Между тем именно годы правления Хрущева были единственным за сто лет, вот прямо до нынешнего года, временем в истории России, когда КГБ не управлял страной, просто не имел отношения к управлению. Все уже давно забыли, что председатель КГБ Семичастный... как вы думаете, какое он имел отношение к партии?

— **Был кандидатом в члены Политбюро?**

— Он был кандидатом в члены ЦК! Он даже в ЦК не имел права голоса! Кандидатом в члены Политбюро, а потом и членом Политбюро стал Андропов, но это совсем другой этап русской истории.

— **Вы хотите сказать, что есть прямая связь между ослаблением влияния КГБ и возникновением демократического движения?**

— Да, конечно, но нельзя все сводить к этому. Это были сознательные действия Хрущева. Это не было добровольное желание КГБ. Хрущев, с одной стороны, поставил во главе КГБ своего человека и бесспорного преступника, генерала Серова, но, с другой стороны, уже в 1954 году было уничтожено 4-е управление, которое занималось интеллигенцией. Потом оно опять было восста-



*Конференция
Клуба независимой
печати.*

*В первом ряду
слева направо:
Дмитрий Волчек,
Сергей Григорьяни,
Сергей Митрохин;
вверху — Кирилл
Подрабинек
и Александр
Подрабинек (сто-
ит). Москва, 1988*

*© Из архива
Александра
Морозова*

новлено как 5-е управление, уже при Андропове. Была в десятки раз сокращена агентура и в КГБ, и в МВД. А ведь до Хрущева, скажем, только МВД полагалось иметь своего осведомителя на каждой лестничной площадке в каждом доме. Не в подъезде, а на каждой площадке! Больше того, была опубликована статья не где-нибудь, а в газете «Правда», где довольно внятно объяснялось, что не надо писать доносы и что они не будут рассматриваться. То есть это была программа, изложенная Хрущевым на расширенном заседании в КГБ еще в 1953 году, о совершенном изменении роли спецслужб в жизни страны.

Когда мы говорили о венгерских событиях, я упомянул о вооруженной группе Муравьева, в которой Муравьев не был руководителем, и я вам сказал, что он был очень наивен, он не понимал, что все это могло существовать только в отсутствие слежки. Конечно, аресты производились, но это были аресты людей, которые выходили на демонстрации с лозунгом «Долой оккупантов из Венгрии!» или, как Краснопевцев, устраивали соответствующие собрания в университете. К 1957 году вся система слежки в советском обществе была совершенно уничтожена. Начались туристические поездки советских людей за границу, множества иностранцев — в СССР. Появился Московский кинофестиваль, конкурс имени Чайковского. Советский Союз становился все более открытой страной. Это было очень существенно, но этого никто не понимает. Муравьев и другие члены его группы необычайно гордят-

ся тем, что им не были близки эсеры, но они изучали работы народовольцев, выстраивали свою организацию в пятерки с необычайной системой конспирации, что только поэтому, конечно, их никто не нашел. Но при этом они отдавали половину своей зарплаты, скупали оружие, и об этом знали все родственники!

Скажем, я в 1982 году, уже не в хрущевское время, когда 4-е управление КГБ, занимавшееся интеллигенцией и сразу же уничтоженное Серовым, было уже восстановлено Андроповым под именем Пятого управления, начав редактировать бюллетень «В», тоже ввел систему конспирации, но у меня иллюзий никаких не было, я понимал, что рано или поздно нас раскроют. Я просто хотел, чтобы этот последний источник информации, сменивший «Хронику текущих событий», которая уже не выходила, сменивший документы Хельсинкской группы, единственное, что оставалось в начале 1980-х, просуществовал как можно дольше. Но я понимал, что во враждебной среде с таким количеством стукачей раскрытие неизбежно. Хотя мы оружие не покупали (смеется). А вот группа Муравьева в университете, молодые люди, которые переводили западные книжки, распространяли их, еще что-то такое делали, занимались самообразованием, но при этом обдумывали вопросы о взрыве райкомов, — конечно, они могли существовать только при изменившемся положении в стране.

Из-за того что архивы по этой теме засекречены еще на 30 лет, совершенно неизвестной фигурой остается Шелепин.

— **«Железный Шурик».**

— Да. Который был достаточно агрессивным человеком, у него были далеко идущие планы. Существовал так называемый план Шелепина. В Советском Союзе должен был появиться либеральный лидер, который будет приемлем для всей Европы, а Европа будет с помощью КГБ, с помощью остатков Коминтерна, с помощью, как было сказано в документе, «возросшей активности советской, в том числе религиозной, общественности» по связям с заграницей обрабатываться потихоньку. С одной стороны, Советский Союз станет более приемлем для Запада, с другой стороны, Запад станет гораздо ближе к Советскому Союзу, и в итоге Европа будет единой от Атлантики до Урала.

С этим планом было связано очень много разнообразных проектов. Это соответствовало общей идее, именно поэтому и с этой целью Шелепин стал [25 декабря 1958 г.] председателем КГБ. Именно этому была посвящена встреча Шелепина с Хрущевым, Брежневым и [Николаем] Мироновым, тогда начальником КГБ Ленинградской области, который потом стал начальником административного управления ЦК КПСС, то есть заведующим всеми силовыми структурами. Это вполне соответствовало планам Хрущева и Суслова, который им активно помогал. Вообще Суслова сильно недооценивают. На мой взгляд, он является одним из наиболее приличных людей среди всей этой шайки преступников, тоже преступником, но хотя бы не всю свою жизнь. Так продолжа-

лось несколько лет с переменным успехом. Другое дело, что это не вполне соответствовало планам маршалов, которые готовили войну, то есть существовала борьба внутри Кремля. В зависимости от борьбы внутри Кремля и происходили те или иные, в том числе демократические, изменения в стране. Подпольные группы времени правления Хрущева (большой частью — некоммунистические), так же как первые постхрущевские выступления, с которыми прямо связывают зарождение диссидентского движения (митинги СМОГ'истов на Пушкинской площади в 1965 и 1966 годах, подписантские кампании в защиту Синявского и Даниэля и главным образом Галанскова, Гинзбурга, Лашковой и Добровольского, пикет «За нашу и вашу свободу» на Красной площади в поддержку «Пражской весны» и с протестом против оккупации), — все имели очень разнообразные и сложные исходные данные; частью я пишу об этом в статье «Четыре маски Андрея Синявского», частью у меня это в других главах неопубликованной книги «Полвека советской перестройки», и пересказывать все это долго и здесь не место. Главное в другом: прежде всего, все они имели различных и еще не объединенных, неизвестных друг другу участников, но всех их, несколько огрубляя, можно назвать выросшими из журнала «Новый мир» и ряда других публикаций, а на самом деле — действий хрущевского руководства. Скажем, «Теркин на том свете» Твардовского, опубликованный в «Известиях», до этого был запрещен, распространялся в самиздате, печатался за рубежом в антисоветских изданиях. Осторожный Солженицын в самиздат ничего не давал, но общественное значение публикации «Ивана Денисовича» в «Новом мире» оказалось гораздо значительнее, чем гениальных «Колымских рассказов» Шаламова в самиздате. А была еще статья Лена Карпинского и Федора Бурлацкого «На пути к премьеру» в «Комсомольской правде» в 1967 году и многие другие публикации в официальной советской печати, которые еще нельзя было отделить от демократического движения в стране.

Все изменилось, опять несколько огрубляя, с приходом в 1967 году Андропова в КГБ, когда либерально-демократические публикации в советской печати ощутимо сменились все более массовыми арестами и началом издания «Хроники текущих событий», созданием Инициативного комитета по защите прав человека у Петра Якира и Комитета по правам человека, а главное — все более систематическими и на разные темы пресс-конференциями Андрея Дмитриевича Сахарова. Когда к этому [в 1974 году] прибавился и Общественный фонд помощи политзаключенным Александра Солженицына, объединение и формирование диссидентского движения можно было считать завершенным, и оно уже прямо противостояло карательной политике власти.

— **Ваш приход в демократическое движение относится, насколько я понимаю, ко второй половине 60-х годов, к периоду ужесточения внутренней политики?**

— Трудно сказать. С одной стороны, уже с 1963 года, то есть в сравнительно либеральное время, в университете я начал проводить «Вечера забытой поэзии». На самом деле это были вечера расстрелянных поэтов. Анна Андреевна Ахматова долго меня расспрашивала, как происходят эти вечера, я рассказал, и потом она сказала: «Нет, так вернуться в Московский университет я не могу». Саша Морозов говорил о Мандельштаме, целые вечера были посвящены Олейникову, Хармсу, [Ивану] Пулькину и так далее. Меня, правда, перевели на заочное, но, в общем, по сравнению с последующими всякими репрессиями это было малозначительно. Это еще было время, когда легальная, но соответствующая твоим представлениям — свободного человека в несвободной стране — деятельность с какими-то ограничениями, конечно, но все-таки была возможна.

— А в какой момент происходит — у вас и вообще в общественном движении — переход от деятельности по реабилитации забытой культуры к политическому движению?

— Лично у меня это было абсолютно вынужденно. С одной стороны, на этих вечерах постоянными посетителями были Варлам Тихонович Шаламов, Синявский, еще кто-то, с кем я был просто дружен. С другой стороны, существенным моим недостатком, явно проявившимся в 1980—1990-е годы, было полное тогда отсутствие политических и вообще организационных амбиций. Что, на самом деле, человеку, который замешан в политике, совершенно необходимо, у него должны быть личные цели. У меня никаких личных целей никогда не было.

— Свойственно ли это всему движению?

— Кому-то это было свойственно, кому-то не свойственно, это отдельный вопрос. Для меня это произошло автоматически, меня просто арестовали. Причем арестовали опять-таки не за дело, если говорить серьезно, а лишь потому, что два года меня уговаривали сотрудничать с КГБ, не могли уговорить и решили пугнуть. Они совершенно не собирались меня сажать в 1975 году. Их просто очень интересовали мои родственники за границей, друзья и знакомые, среди них были известные люди, с которыми я переписывался. Нина Берберова, [Александр] Сионский (из НТС и «Русской мысли»), Наталья Кодрянская, все наследники Ремизова и многие другие. Но в СССР их интересовали, скажем, [Виктор] Некрасов, Владимир Максимов, Наташа Горбаневская, в общем, масса моих знакомых. А с другой стороны, им казалось, что человек, который занимается русской эмиграцией, просто обязан с ними сотрудничать.

— А вы занимались литературной эмиграцией?

— Да, я около сотни статей напечатал в «Литературной энциклопедии»: о Мережковском, о Минском и так далее. К тому же у меня была тогда такая самозащитная идея, что политика всегда вредна литературе, что ничего, кроме пакости, она не привносит. Чернышевский, затравивший Случевского, и так далее... К сожалению, на мне подтвердилась поговорка, что если ты сам не занимаешься политикой, она займется тобой.

— Можно ли сказать, что действия КГБ по отношению к вам вас же и радикализовали?

— Да, конечно, бесспорно, на все сто процентов. Они мне показали, что я был не прав, что на самом деле надо было что-то делать, что моя лично совершенно свободная, но политически пассивная позиция была совершенно не верна. Больше того, у меня после ареста была большая обида, впрочем, на самого себя, что меня арестовали, в общем, ни за что.

— И чем кончился ваш первый арест?

— Тем, что я просидел пять лет от звонка до звонка. Меня все пять лет уговаривали, мать уговаривали и пугали, из последних трех лет я больше половины провел в карцерах и голодовках. И когда я вышел, я уже точно понимал, что я был не прав: необходимо что-то делать более решительное.

— Вы сядились в одной обстановке: весной 1974 года публично назвала себя редакция «Хроники текущих событий», по всему миру победно идут переводы «Архипелага ГУЛАГ», наконец, 1975 год — год Нобелевской премии мира академику Сахарову. А вышли вы в 1980-м, в иной реальности: Сахаров выслан в Горький, начата афганская авантюра, репрессии почти добились «Хронику». Какой вы увидели Москву, в которую вернулись?

— На человеческом уровне помощью моим родным, детям занимался от Солженицынского фонда Юра Шиханович; то, что при этом Юра редактирует «Хронику», я знал, и в первый же день после моего освобождения я пошел его провожать и сказал, что хочу помогать «Хронике». В ответ он на меня посмотрел и сказал: «Погуляйте хотя бы пару месяцев» (*смеется*). Это действительно было время вполне ощутимого уничтожения демократического движения. Оно, с одной стороны, было уже вполне ясно для меня в своих симпатиях и антипатиях, своих группах, направлениях и так далее, но, с другой стороны, это были уже совершенно очевидно его остатки. Лара Богораз и Толя Марченко пытались мне найти дом в Александровском районе, рядом с ними.

— Вам было запрещено жить в Москве?

— Да, конечно. Мне установили надзор на три года, так что я все время жил под надзором, через три года меня вновь арестовали и дали месяца полтора на то, чтобы найти жилье где-то за пределами Московской области. В этом была довольно противная проблема — надо было обязательно купить дом, нельзя было ничего снимать. Потому что, если у тебя надзор, любые квартирные хозяйки, как это было с Марченко, которые, конечно, полностью зависят от милиции, тут же по требованию милиции сообщают, что ты пришел домой не вовремя, и ты получаешь следующий срок. Надо было купить дом, а дом мне продавать никак не хотели — в результате моей неуступчивости из тюрьмы я привез очень плохие характеристики. В Александровском районе председатель райисполкома (а мне как судимому надо

было получить у него разрешение), когда я нашел все же дом, просто сказал: «В своем районе я вам дома не продам».

— **Удалось как-то обойти это?**

— Более-менее случайно. За мной следили, ездили... Было очень забавно — идешь по глухой, нищей деревне, а за тобой едет черная «Волга» с пятью антеннами (*смеется*). Но все же какой-то здравый смысл и минимальный опыт у меня были, ведь за мной следили уже года два и перед арестом. Я ведь не уверен, что им нужно было из меня сделать только стукача. Судя по тому, что потом они обо мне говорили и как они говорили со мной, наверное, у них были планы более крупные, поэтому они сначала долгое время за мной следили, последние девять месяцев к нам с женой перестали доходить письма. К омерзению всего нашего дома, скажем, полгода стукач стоял в телефонной будке около нашего подъезда. Это был большой девятиэтажный дом, и две телефонные будки на пятиподъездный дом были только около нашего подъезда. И он с утра до вечера занимал одну из будок и делал вид, что звонит по телефону. Представьте себе, как его ненавидели все жильцы!

Ну и поэтому я довольно легко, когда мне понадобилось, от слежки ушел. Мне кто-то сказал, что в Боровске на рынке висит объявление о продаже дома, я туда приехал, обманув слежку, пришел в этот дом... Ну, и там было несколько, в общем, удачных совпадений. С одной стороны, этот дом был оценен несколько дороже, чем продавались дома вокруг, поэтому его уже довольно давно не могли продать. С другой, родственник покойной владелицы дома, ее племянник, был заместителем начальника милиции в Боровске. Он видел мою справку об освобождении, в которой еще и была ошибка — вместо статьи 190-прим. и штампа «Подлежит документированию по месту прописки» (то есть надзору) стояла статья 191-я, а это «Нанесение телесных повреждений работнику милиции» (*смеется*). И он, здоровенный такой майор, посмотрел на меня после голодовок, когда я едва ходил вообще, и спросил с нескрываемым удивлением: «Ну что вы могли сделать работнику милиции?» А я ему честно сказал: «Да нет, это ошибка, на самом деле тут должно быть 190-прим.», то есть политическая статья. Он все понимал, но тем не менее, желая помочь родственникам, тут же поставил мне в паспорт штамп о прописке в этом доме. Дальше со мной уже районное КГБ боролось полгода... Я никак не мог оформить документы на дом. Нотариус мне не оформляла документы, какие-то люди приходили и предлагали хозяевам теперь гигантские деньги за дом, но у меня уже был паспорт с пропиской в нем, и поэтому я имел первоочередное право на его покупку. Этим пришлось заниматься, по-моему, [адвокату Софье] Каллистратовой, то есть только через суд мне удалось этот дом купить.

— **А экономическая сторона дела? На какие деньги вы его купали?**

— Понимаете, я существенно отличаюсь от всех остальных людей в диссидентском мире. У нас в семье всегда были большие кол-

лекции живописи и археологии. Я вырос с ними, но понимал (и когда меня сманивали еще до суда), что есть вещи важнее в жизни, чем коллекции, а в этом положении я без труда что-то мог продать, что спокойно и сделал. Это не было обязательным, потому что покупали вот так, вынужденно, как и я, дома довольно многие, вернувшись из лагерей и тюрем. Обычно на это собирали деньги.

— **Насколько эффективной была работа солженицынского Фонда помощи политзаключенным?**

— Фонд не финансировал покупку домов, насколько я помню. Я, по крайней мере, не знаю об этом. Может быть, частично только помогал. А просто пускалась шапка по кругу, деньги собирались, так же как собиралась и мебель. У меня, скажем, был письменный стол Володи Тольца, которого тогда как раз выпустили из Советского Союза. Собственно говоря, его вынужденный отъезд и создал довольно сложную проблему для правозащитного движения. Потому что, когда я то ли еще искал дом, то ли уже нашел, но все же приехал к Ларе и Толе Марченко в Карабаново, со мной вместе оттуда уезжали Таня Трусова и Федя Кизелов, которые мне сказали: «Бюллетень В» придется закрывать, а это последнее, что есть, потому что Ивана Ковалева арестовали раньше, а тут арестовали Лешу Смирнова, а Володю Тольца выслали». Ну и я сказал, что подумаю, но, вероятно, буду редактировать бюллетень. То есть делать то, что делал Володя последнее время, а перед этим Иван Ковалев. Но сказал, что бюллетень будет делаться иначе, чем делали это они, что мне нужно несколько дней на то, чтобы подумать. Там было человек семь.

— **Редакционной команды?**

— Да. Была вполне внятная редакционная команда, у каждого из этих семи была своя корреспондентская сеть. Я сказал, что теперь это будут не просто отдельные листы, как это было у Ивана и Володи, выходящие как бог на душу положит. Будет совершенно жесткая периодичность — раз в 10 дней, три раза в месяц. Будут титульный лист, оглавление, в бюллетене будут постоянные разделы. И главное, что будет совершенно другая система сбора и редактирования материалов и что сам я ни с кем из сотрудников видаться не буду.

— **Как же вы обменивались материалами?**

— У Лены Кулинской был первый муж, с которым она давно уже была разведена, Володя; он был абсолютно приличным человеком, но у него никогда никаких конфликтов с КГБ не было, о нем никто никогда не спрашивал, нигде он замечен не был. Я встретился с Володей, и он согласился быть курьером. И дальше он раз в 10 дней объезжал сотрудников, собирал все материалы, после чего все это мне привозил в Боровск, а я купил себе пишущую машинку в магазине, купил большой запас бумаги; в Боровске в магазине была почему-то папиросная бумага, очень дешевая и очень противная, но тогда труднодоступная.

Я нашел сочувствующего всему этому делу человека, которого никто из редакции не знал. Он работал в научно-исследовательском, по-моему, биологическом институте в трех километрах от Боровска по течению Протвы. Он у меня иногда бывал, мы с ним познакомились в Боровске. И дальше это происходило довольно просто. Я разбирал все привезенные мне материалы, собирал их в разделы, редактировал, чаще всего переписывал заново, а вот этот человек, Виктор Бессмертных, перепечатывал мой текст уже на своей машинке в семи экземплярах, и это был готовый для размножения и отправки за границу вариант. Бессмертных не знал никого из сотрудников «Бюллетеня В», и его никто не знал.

— **Сколько вашей редакции удалось продержаться?**

— Удалось продержаться около полугода, то есть выпустить под моей редакцией 18 или 20 номеров до моего ареста. Причем арестован я был не в связи с этим, выследить бюллетень КГБ так и не удалось. Но сам арест был неизбежен в том мире, в котором мы тогда жили. Я работал кочегаром в газовой котельной, а руководство этих котельных было в Калуге, куда я иногда ездил. Там жил Дима Марков, он тоже был диссидент и по профессии фотограф, работал в Калужском музее. Он переснял все бюллетени на пленку. А Федя Кизелов сделал у меня в подполе тайник, который не был найден. Как не были найдены пленки Димы, как не то что не был установлен, но не была доказана причастность к изданию ни одного сотрудника бюллетеня. За Димой следили по его делам, но я это понял, уже выйдя от него. Подъезд в доме у него был на одну сторону, а окна выходили на другую, и когда я вышел и обошел дом, увидел, что там стоит «Жигуленок» с направленными антеннами.

Но у меня в Калуге была вторая задача, которую я выполнил до этого. У меня был приятель, Саша Богословский. Мы с Сашей были знакомы с университетских еще времен по общим книжным интересам, потому что он был соседом вдовы Андрея Белого, у которой я бывал, в доме в Нащокинском переулке. Я сделал первую публикацию стихов Белого в «Дне поэзии» 1963 года. И Саша был одним из основных источников эмигрантской литературы в Советском Союзе, что сейчас никем не понимается. Все это — благодаря приятельским отношениям с русскими во французском посольстве. Когда стало ясно, что Саше угрожает арест, и они поняли, что надо из дому вывозить книжки, пришлось не уносить в руках, но вывозить машинами... А у Саши был дядюшка, отставной майор милиции. И Саша ему отдал на хранение довольно большое количество литературы, которая его не интересовала. В частности, по-моему, 20 или 25 номеров журнала «Континент», книгу [Эрла] Браудера [«Маркс и Америка»], какие-то номера «Посева», еще что-то такое. Он мне предложил: «Если вам вся эта макулатура интересна, пожалуйста, забирайте». Для чего я и пришел к дядюшке. И в результате у меня был полный портфель этих книг. И меня от Димы Маркова «проводили» на электричку. Там милиционер, посланный, конечно, и подошел ко мне в зале ожидания.

Его послали, но не объяснили, что искать. Он надеялся, видимо, найти там что-то ему понятное. Он ушел, сказал, что ничего интересного нет — одни книги. Но ему сказали: дурак ты, тащи его сюда. Он ко мне подошел опять, сказал, что надо проверить документы в дежурной комнате милиции, потащил меня в эту дежурку, где заранее уже сидел какой-то штатский. Они книжки раскрыли, я с большим интересом посмотрел на книжки, сказал: «Как интересно...» Говорю (и я это потом много раз на следствии и в суде повторял): «Знаете, я вообще-то библиофил, но люблю пиво выпить. Зашел в пивную, а там высокие такие столики, и лежал какой-то пакет с книжками. Мне интересно, я их в портфель положил, а уж что там за книжки...» К сожалению, это их совершенно не удовлетворило (*смеется*). И меня арестовали тут же. Причем отправили даже не в КПЗ, а сразу в тюрьму. Дальше они устраивали обыски у меня в доме, но помимо этого портфеля у следователей ничего не было. Они не смогли найти сделанный Федей тайник, где был громадный рюкзак корреспондентских донесений. По этим донесениям, конечно, могли арестовать... не знаю сколько — возможно, несколько сот человек кроме сотрудников «Бюллетеня В». А тайник был сделан достаточно профессионально. У меня, как во всяком деревенском доме, были подпол и печь. Это была русская печь, переделанная в голландку. Естественно, в подполе был кирпичный фундамент этой печки. И Федя Кизелов продолжил кладку от печки до стены, продолжающую этот фундамент и не отличающуюся от него. Залезть в этот тайник можно было только сверху, где действительно были две снимавшиеся доски в полу. Но именно на этих досках между печью и стеной всегда стояли грязные сапоги, и вообще как-то никакого интереса именно эти две доски, которые не отличались от всех остальных, не вызывали. Поэтому из подпола, куда они лазили и где, конечно, обнюхали все как могли, тайник виден не был, а снимать весь пол сверху они не стали. Этот дом еще сохранился у моих родственников с этим единственным уцелевшим, много раз сфотографированным диссидентским тайником.

— **То есть фактически у них уликой против вас был портфель с книжками?**

— Сперва да, хотя была и еще одна попавшая к ним «улика». Я писал для «Бюллетеня В» статьи редактора, в предыдущем номере была одна такая статья, и на столе (единственное, что они нашли) была другая статья, совершенно очевидное ее продолжение. Ну, нашли и нашли... В целом эта придуманная мною нехитрая конспиративная структура была действенной. Меня отпускали на три дня каждый месяц в Москву, к жене и детям, но я ни к кому не ходил за очень редким исключением, с диссидентами не виделся. Раз в месяц в Боровске ко мне приезжал Федя, забирал готовый номер, и они сами занимались его отправкой. Правда, Асе Лащивер, которая перепечатывала самиздат уже



Дом С.И. Григорьянца в Боровске и тайник в нем
© Из архива Сергея Григорьянца



*Сотрудники
журнала
«Гласность»
Сергей Григорьянц
(второй слева)
и Андрей Шилков
(в центре),
арестованные
после прибытия
в Ереван, март
1988
© Из архива
Сергея Григорьянца*

10 лет с утра до ночи, безумно хотелось распечатывать «Бюллетень В», и когда я об этом узнал, я категорически воспротивился. Мы довольно жестко с ней поговорили, она вспоминала об этом несколько иначе, но суть была в том, что я ей сказал: то, что мы делаем, слышат сотни тысяч людей благодаря «Радио Свобода», «Голосу Америки», ВВС и так далее. В эти годы «Бюллетень В» был единственным источником информации из СССР. Ну хорошо, сказал я, вы раздадите 10 экземпляров, и через две недели выйдут на вас, а потом на других. Также я был категорически против контактов с НТС, к которым пыталась склонить нас Лена Кулинская. Я хорошо понимал, занимаясь литературой русской эмиграции, насколько он «нашпигован» сотрудниками КГБ. И в то же время сам нигде не появлялся.

Поэтому, когда они меня арестовали, единственным, на кого КГБ удалось тут же выйти, был человек, перепечатававший бюллетень, Виктор Бессмертных. Ему сказали: «У тебя двухкомнатная квартира, ты же понимаешь, что мы тебя продержим полгода под следствием и даже если суд оправдает, у тебя ее заберут просто потому, что ты полгода не будешь жить в квартире». А у него ничего, кроме этого, не было. Но у него в это время лежал перепечатанный в семи экземплярах предыдущий номер, уже отредактированный, где к тому же было начало той статьи, которая лежала у меня на столе, и оригинал его, напечатанный на моей машинке. Ну и Бессмертных видел Федю Кизелова, однажды случайно пришел, когда был Федя. Больше никого он не знал.

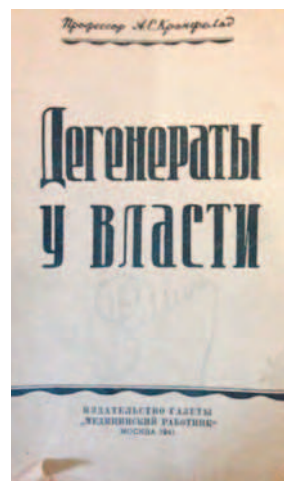
Однако у них благодаря этому появилась привязка меня к бюллетеню.

— **Понятно, пазл сложился.**

— Ну, не очень сложился, поскольку они все равно были уверены, что редактор бюллетеня — Федя, потому что его видели то у Каллистратовой, то у Сахаровых, то еще где-то, а я, так сказать, просто какой-то человек, который передавал материалы для перепечатки. Но для меня было вполне очевидно, что пройдет очень недолгое время — и они все поймут. Потому что, во-первых, там было написано, что это статья редактора, и была явная связь этих статей. А во-вторых, у него-то был экземпляр, перепечатанный на моей машинке. У меня была немецкая, маломощная... «Консул», по-моему. То есть у них был мой экземпляр. Я понимал, что при всей их тупости, уже сформировавшейся группы из пяти моих следователей и двух оперативных подразделений — Обнинского (там был свой КГБ) и Калужского, недели через две они начнут меня изобличать. И, чтобы лишить их этого удовольствия, я сказал, что я редактор «Бюллетеня В». Но ни на кого другого никаких материалов у них не было. И они меня привезли на первый обыск ко мне домой.

У меня было две собаки: французский бульдог Арсик и гигантский сенбернар Тор, который никого не подпускал к дому, так что соседи предпочитали ходить по другой стороне улицы. Собаки понимают, в каком положении находятся их хозяева. Он никогда не укусил, но просто становился лапами на забор, и морда его была видна поверх забора. Он был большой даже для сенбернара. Гэбисты его боялись, все пытались меня уговорить дать ему колбасу со снотворным. Сначала я согласился, раз собака возбуждена, не видела меня двое суток в доме. Но потом сказал: «Нет, никто не знает, как действует снотворное на собак...» Неделю через две они Тора все равно отравили, чтобы устроить уже нелегальный обыск, который им все равно ничего не дал. У меня вообще отравили двух сенбернаров. Поэтому я теперь и не завожу собак, они не выбирают хозяев и обстоятельства своей жизни. Ну, так или иначе, в общем, в дом им удалось попасть. Начали рыться, нашли книжку Блока с автографом, еще что-то такое. У меня была книжка под названием «Дегенераты у власти», она стояла на полке обложкой вперед и сейчас стоит (*смеется*). На самом деле она была о Гитлере. Они, естественно, с восторгом просто в нее вцепились, но вынуждены были разочарованно отступить. Короче, ничего не нашли.

Единственным, что продолжало вызывать мои опасения, когда выяснилось, что тайник они найти не могут, был лежавший на кухонном столике электрический фонарик с большим количеством батареек к нему. В одной из батареек была смотанная пленка Димы Маркова с полным комплектом бюллетеней. Я меланхолично сказал, что мне надо пойти в уборную, взял фонарик и благополучно эту батарейку спустил в кучу дерьма. И еще



© Из архива
Сергея Григорьянца

умудрился с этими идиотами написать жене записку, которую они и передали, чтобы вывезли рюкзак из подпола, что и было сделано остороженько, по частям, чтобы не привлекать внимание. Они просто не поняли, что я пишу.

В результате действительно из «Бюллетеня В» не был арестован ни один человек, кроме меня. И даже этот дядюшка-майор милицейский, который, конечно, был свидетелем у меня на суде, с удивлением узнал, что книжки я взял не у него, а нашел в пивном ларьке. Впрочем, гэбисты ему сказали, что я во всем признался и они все знают. По-видимому, они за мной следили и до квартиры Димы Маркова.

В 1983 году меня осудили на семь лет строгого режима. В 1987 году я освободился и, вернувшись в Москву, с уцелевшей редакцией «Бюллетеня В» начал издавать журнал «Гласность». Но это уже другая история.

© Олеся Лагашина



«Среди чекистов двадцать процентов идиотов, а остальные просто циники»

— Мне кажется, сначала стоит определиться: что понимать под явлением, известным как «диссидентство»? Каковы его границы? Людей, которым по самым разным причинам была несимпатична советская власть, было довольно много, но не все они принадлежат к кругу, который мы называем диссидентским. Каковы были формальные критерии принадлежности к этому кругу?

— Профессиональная антисоветчина. Профессиональный антисоветчик — это тот, кто занимается хотя бы часть своего рабочего или свободного времени составлением петиций, участием в каких-то диссидентских мероприятиях или тех, которые тем или иным боком связаны с «Хроникой текущих событий» или с Московской Хельсинкской группой, с другими правозащитными организациями.

— Значит ли это, что до возникновения в 1968 году «Хроники текущих событий» диссидентства не существовало?

— Диссидентство, определяемое как круг, независимый от личных дружеских связей друг с другом, видимо, не существовало, а только оформлялось.

— И когда оно оформилось как явление?

— По-видимому, порог — где-нибудь 1968-й, точнее — между процессом Синявского и Даниэля в 1965—1966-м и процессом Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой в 1968-м. И одновременно создание «Хроники».

— Насколько многочисленным был этот круг в Москве и вообще в Союзе? Здесь, наверное, надо говорить о разных, на самом деле, временных координатах. Одно дело — в Москве, другое дело — в Союзе, в разных городах.

— Наверное, не только временных, но и географических. Я к 1973 году пытался прикинуть, сколько людей читало «Хронику», скольким людям я давал читать. Допустим, двумстам так или иначе связанным друг с другом людям: думаю, общая аудитория составляла порядка 10—20 тысяч человек по всему Союзу — разных направлений, разной информированности.

— С чего началось ваше вхождение в этот круг? Что вы ретроспективно считаете шагом, который позволяет причислить вас к этому кругу?



Начало 1960-х
© Из архива
А. Д. Сахарова

— Личное — это некий кризис в серьезном внимании к тому, что происходит вокруг, явно с оппозиционной точки зрения. Желание как-то вписаться в исторический контекст событий начала XX века — формирование кадетской партии при участии в ней академических, университетских кругов. С другой стороны, чисто эмоциональное желание поддержать [Наталью] Горбаневскую, мою приятельницу. Ну и... в каждой бочке затычка (*смеется*). Опечатки, ошибки и недостатки в «Хронике текущих событий» и к 1969 году уже стремление ею заняться непосредственно.

— **В качестве редактора-составителя?**

— Нет, даже не думал. Сначала, до ареста Горбаневской [24 декабря 1969 года], я просто сообщал информацию и какие-то исправления, а после ее ареста помогал документально. Затем, совершенно неожиданно для меня, мне предложили войти в редколлегию.

— **И как долго вы занимались «Хроникой»?**

— Активно — думаю, что около двух с половиной лет, может быть, чуть больше. Я точно не помню.

— **То есть вплоть до своего ареста 3 июля 1973 года?**

— Нет. За год до этого я сказал [Анатолию] Якобсону, что я выхожу, но продолжал давать информацию, что-то делать, но фактически меня не было уже.

— **Почему вы тогда вышли?**

— Такой же кризис. Мне показалось, что я пустею внутренне. Может быть, страх после обыска дома.

— **То есть между обыском и арестом прошло время?**

— Между первым обыском и окончательным арестом прошло 10 месяцев.

— **Связывали ли вы свой арест с участием в «Хронике»?**

Это было решающим фактором?

— Решающее было непонятно, да я и не задумывался. Единственное обвинение — это передача на Запад, подготовка к печати дневников [Эдуарда] Кузнецова. Вот это я никак не могу считать главным, как мне пытались выставить мои следователи.

Габриэль Гаврилович Суперфин (18 сентября 1943, ст. Кез Кезского р-на, Удмуртия) — филолог, историк, источниковед. В 1964—1969 годах учился на историко-филологическом факультете Тартуского университета (Эстония). В 1967—1968 годах совместно с А.Б. Рогинским редактировал сборники материалов научных студенческих конференций (сборник 1968 года не был пропущен цензурой). В 1968 году принял участие в петиционной кампании вокруг «процесса четырех» (дело А.И. Гинзбурга, Ю.Т. Галанскова и др.). В 1969 году по представлению КГБ был отчислен из университета.

Вернулся в Москву, работал в отделе проверки журнала «Новый мир». С начала 1970 года до осени 1972 года — один из ведущих сотрудников «Хроники текущих событий» (выпуски №№ 15—22). Составил и передал в самиздат сборник документов «Существует ли в Советском Союзе цензура?..» Помогал А.И. Солженицыну в работе над повествованием «Красное колесо» своими библиографическими и архивными разысканиями. Участвовал в редактировании книги английского советолога П. Реддавея «Неподцензурная Россия» («Uncensored Russia», 1972) — первой книги о советских диссидентах. В 1972 году участвовал в передаче на Запад «Дневников» Эдуарда Кузнецова.

— **Вы сказали, что вдохновлялись опытом начала XX века, в частности — участием ученых в тогдашней политической деятельности. Насколько в гуманитарной среде второй половины 1960-х эти идеи, эти параллели находили отклик?**

— Я мог свободно говорить со своими тартускими друзьями независимо от их отношения к советской власти. В основном единомышленниками были бывшие и тогдашние тартуские студенты, товарищи-рижане. Люди, с которыми я непринужденно на эти темы мог говорить, — это [Мариэтта и Александр] Чудаковы, Литвиновы, друзья — скажем, Коля Котрелев. В общем, каждое знакомство с тем или иным филологом, молодым или пожилым, было аккуратным выяснением платформы, позиции, где главную роль играло знакомство с кем-то еще, с кем ты был знаком и кому доверял. Но мне казалось тогда, что уже можно было не скрывать свои взгляды, что Сталин — преступник, Ленин — преступник, а советская власть — это зло.

— **Насколько люди, которые тогда участвовали в диссидентском движении, представляли себе его перспективы? Это была ежедневная работа, но ожидали ли вы увидеть результат этой работы при своей жизни? Иначе говоря, насколько безнадежным казалось вам ваше дело?**

— Можно ответить не прямо, а как бы иносказательно? Многие среди нас говорят о крушении гуманизма, кризисе и так далее, но мы продолжаем заниматься своими делами, закрыв глаза и уши. Вот и мы так. Я буду заниматься этим, а там посмотрим.

— **То есть это не было прагматической деятельностью.**

— Нет. Это история с нами. Вот мы развивали историю, и она в наших руках. Я говорю о начале 70-х годов. Потому что потом совершенно другие темы были.

— **Ваша работа с Солженицыным над сборанием исторических материалов о русской революции шла в этом же русле профессиональной исторической помощи?**

— а) в каждой бочке затычка; б) мои архивные занятия. Коль скоро я занялся началом XX века, то накопил те материалы, кото-



Конец 1960-х
© Мемориал

Арестован 3 июля 1973 года. В первые месяцы следствия давал обширные показания (август—октябрь 1973), в ноябре 1973 года отказался от них. На процессе В. Хаустова (Орел, март 1974), выступая в качестве свидетеля, публично объявил об отказе от всех данных им ранее показаний и заявил протест против высылки из СССР А.И. Солженицына. Осужден Орловским областным судом (12—14 мая 1974) по статье 70 ч. 1 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») на пять лет лишения свободы в колонии строгого режима и два года ссылки. Виновным себя не признал.

Срок отбывал в пермских политических лагерях. В июле 1978-го — апреле 1980 года отбывал ссылку в г. Тургай (Казахская ССР). После освобождения жил в Тарту, работал продавцом в газетном киоске, реставратором в архиве. В начале 1983 года уволен с работы без объяснения причин. 2 июня 1983 года выехал в ФРГ. В 1984—1994 годах — сотрудник отдела «Архив самиздата» радиостанции «Свобода» (Мюнхен). В 1995—2008 годах — архивариус Исторического архива в Институте изучения Восточной Европы при Бременском университете. Живет в Бремене.

рыми грех было не поделиться. И, зная, что другой персонаж этим занимается, нельзя не поделиться именно с ним.

— **Откуда было известно, что Солженицын пишет про революцию?**

— Я был в общем круге, где так или иначе оказывался и он. Надо понимать, что речь идет не про «Архипелаг ГУЛАГ», о котором ходил небольшой, но уверенный слух, а про «Август четырнадцатого», вышедший в 1970 году. Там было предисловие о желании собирать материалы. Я как раз в это время занимался [А.И.] Гучковым и, занимаясь им, просто по архивной линии набрел на фонды, увидел их многообразие, уходящее одними концами в XIX век, другими — в XX. Исторический персонаж вдруг ожил, и оказалось, что он совсем не тот, что в книгах, — со слабостями, почетом, деньгами и безумием жен, ближайших родственников...

— **Помощь Солженицыну ставилась вам в вину на следствии?**

— Никогда в жизни, поскольку это уголовно ненаказуемо. Интересовала, конечно, но так... Пытались сначала про «Архипелаг ГУЛАГ» выяснить, знаю или нет и если знаю, то что.

— **Ведь вас арестовали незадолго до того, как КГБ обнаружил рукопись «Архипелага»...**

— ...в августе 1973 года. Но не кричали, что, мол, помогаешь преступнику, власовцу. Их, скорее, Сахаров уже интересовал. Причем прямо про Сахарова вопросов не было. Не могу сейчас проанализировать свое дело, возникло ли имя Сахарова, но, кажется, они вертелись вокруг Елены Георгиевны Боннэр... Сахаров оставался, видимо, фигурой-недотрогой для чекистов. Нужен был сигнал сверху заниматься его разработкой. Поэтому они заходили с другого — со стороны жены, чтобы опорочить и так далее.

— **1973 год. Недавно вышел фильм Андрея Лошака о деле Якира и Красина. И 1973 год был там преподнесен как некий кризис диссидентского движения, которому к тому времени было не так много лет, оно фактически только устанавливалось. Нельзя не вспомнить, что буквально через полтора месяца после процесса Якира—Красина, фактически синхронно с ним, в активную фазу действий вступил тот же Сахаров, через полтора месяца после покаяния Якира и Красина вышел первый том «Архипелага ГУЛАГ», что придало новый мощный импульс всему антисоветскому движению, и связанный с процессом Якира и Красина кризис был, как мне представляется, преодолен. Так ли это?**

— Поскольку мы оба занимаемся историей литературы, мы знаем, как формируется вторая волна, первая, новаторство и все такое. Если это и был кризис, то кризис поколения диссидентства, связанного с формированием инициативной группы, той же «Хроники текущих событий». И мы не заметили, как сформиро-



Фотография
из следственного
дела. Лефортов-
ская тюрьма,
4 июля 1973
© Мемориал

вано было уже следующее поколение, для которого это был выход из кризиса. Да, это был кризис, да, распад, желание одного уйти, другого — признать себя виновным. Я находился в заключении, и как раз в эти дни у меня проходила ломка — каким путем вернуть себя назад в человеческое состояние. И на меня очень сильно подействовало... Я уклонюсь немножко от темы в сторону фактов. Учитывая мое хорошее поведение, мне разрешили читать «Литературную газету». Не только «Орловскую правду» и газету «Правда». А в «Литературной газете» около 1 сентября была цитата из заявления Солженицына, где он сказал, что Виктор Красин и Петр Якир продались за пол-литра водки. И я все время думал: неужели я продался за бутылку водки и что это — «продался»? Простым словом тебя огрели по голове, и это, как заноза, сидело, торчало, и импульс был — как выходить из этого состояния. Честно говоря, 1973 год был кардинальный. До 1972—1973 годов мы все думали (по крайней мере, я), что пришел на допрос — отбрехался, сказал «пошли на фиг». Что не давать показания, когда ты арестован, — это легкое дело. Все читали романы Юрия Давыдова, Трифонова про народо-вольцев, все это было далеко, и все считали, что опыт набран и все такое. Ничего подобного. Вдруг оказалось, что ты попал по-настоящему в это дело, теперь происходит формирование тебя как человека и тебя давят. И я позже узнал, что, когда я давал показания, в это же время — я читал это в деле уже позже — были заявления [Евгения] Барабанова, Боннэр... И я вижу, что 1973 год — это радикальный, переломный момент, описываемый не только как кризис, а как год острого... именно формирования нового направления, когда люди закаляются. И не только я, но та же Боннэр считает 1973 год узловым в истории освободительного движения.

— Если вам была в тюрьме доступна «Литгазета», то наверняка в январе-феврале 1974-го вы читали антисолженицынские статьи в рамках кампании против «литературного власовца»?

— Этого я не помню, «Литгазету» тогда уже отобрали у меня... «Литературный власовец» — это я услышал раньше, на каком-то из съездов писателей. Говорил, кажется, Сергей Михалков. Под следствием я ограничен был в чтении. «Архипелаг» я прочитал уже после освобождения. Если даже не в эмиграции.

— Вы вернулись из ссылки в 1980-м. Какие изменения вы увидели в диссидентской среде?

— Я приехал в 1979 году в Москву в отпуск, и ко мне в ссылку приезжали друзья в 1978—1979 годах. Внешне люди изменились. Одежда, интерес к одежде, какая-то обеспеченность западными деньгами и все такое. В Москве, когда я приехал, мне немножко было не по себе, когда я видел зажиточность в нашем кругу.

— Эта зажиточность была связана с западной помощью?

— По-видимому, да. При том что в ссылке сталкиваешься с тем, что вокруг шаром покати. А вообще шел я по Москве осенью 1979 года — и это другой город был, другие лица, почти что никого знакомых. Все в кожаных курточках, замшевых — ну, не все, а многие. И это тогда уже была чужая мне Москва. А среди своих — такая вполне обеспеченность и нежелание много слушать про ту реальность, из которой я вернулся.

— Это было связано со своего рода защитным механизмом?

— Скорее, с профессионализмом. Кто-то занимался информацией о ссыльных, кто-то занимался церковными делами... Сам я по выходе не был нацелен на то, чтобы включаться в политическую деятельность, и меня больше интересовало, кто родился, кто умер...

— Тем не менее вас вынудили уехать. Почему?

— Ну, во-первых, начиная с 1982 года была установка — чистить Советский Союз, чистить Эстонию. И во-вторых, неясность относительно меня как такового. Нераскаявшийся, общающийся, имеющий контакты с Западом — я был им непонятен.

— Как вам объявили о том, что вы должны уехать?

— Увольнение в Тарту с работы, лишение прописки...

— Под каким предлогом?

— Прописка — явились к моей квартирной хозяйке, вдове Якова Абрамовича Габовича, погибшего в 1980 году тартуского математика, шахматиста и автора песенок в немецком кабаре-ном стиле, покровителя нас, нищих студентов 1960-х, и просто рекомендовали выписать меня от себя. Параллельно меня по сокращению штатов увольняют из Исторического архива в Тарту, несмотря на сопротивление профсоюза. Когда профсоюзное собрание высказалось против... Меня попросили выйти из зала, и началось давление. Видимо, неожиданное. Там были члены комсомольского бюро, и, видимо, один не стал голосовать, он сидел до 1956 года как сотрудничавший с немцами, и молодые

возмутились... В общем, потом проголосовали единогласно. Эта история описана в юбилейном сборнике Исторического архива Эстонии лет пять назад. И я остался без работы и без места жительства. И без семьи, потому что жена в это время уже в Москве вышла замуж за другого. Я стал искать работу через разных людей — в школе для трудновоспитуемых, в строительстве, где угодно, что давало бы возможность где-то жить. Но потом тоже объяснили, что все усилия напрасны — дано указание не принимать меня на работу. Даже туда, где всегда есть места. В общем, как в кампанию против филологов 1952—1953 годов. И в начале 1983 года я решил поехать в Москву, в центральный КГБ. Я пошел не в приемную, а с противоположного Лубянке входа. Я знал только одну фамилию — человека, который приезжал ко мне в ссылку в Тургай и потом в Тарту в 1980 году. Это был Александр Владимирович Баранов, начальник 9-го отдела, как потом выяснилось, 5-го управления, полковник. А 9-й отдел — это оперативная работа с диссидентством, от Сахарова до других. Там прапорщик или кто-то стоял, и я говорю: «Можно видеть товарища Баранова?» Он говорит: «У нас десять тысяч...» Успеваю завершить его фразу: «...баранов». В общем, через некоторое время меня направили на Кузнецкий Мост, в приемную, и мне сказали: часа через два приходите, вас примет товарищ Баранов. И действительно, довольно оперативно появился этот Баранов с молодым человеком, который, если я бы сделал предложение сотрудничать, перенял бы меня как связник. В этот же день или на следующий, не помню, мне была дана возможность, редкая тогда, эмигрировать. Баранов так и сказал: вам дана редкая возможность отправиться на Запад, это мало кому дается, разумеется, по израильской линии. Я говорю: «А другие варианты?» Другие варианты — написать покаянное письмо. Я говорю: «А о чем? Я, собственно говоря, ничем не занимаюсь!» — «Ну, о своем заключении, о том, что были неправы...» Я сказал, что подумаю. «Ну, не знаю, какую работу вам тогда дадут... В Литмузее, может быть, в Тарту... Конечно, вы не будете редактором журнала». Главное же, Баранов сказал: «Вам дается еще одна возможность — стать нашим консультантом по диссидентству». И на мою усмешку — «Чего вы смеетесь? Вам никто не предлагает стать стукачом, у нас их много». Я спросил: «А еще есть варианты?» — «На БАМ езжайте». А на БАМ принимали через райкомы комсомола. Не помню, было ли прямо сказано, что «если вы не согласны поехать на Запад, мы вас вынуждены будем посадить», но ясно, что я уже стал паразитом-тунеядцем. И я после встречи пошел к [Александру] Осповату, к нам пришла Мариэтта [Чудакова], советовала, что делать. В общем, я написал заявление на имя Андропова, что в СССР ощущается необходимость перемен и что может быть в новых условиях полезен каждый, в том числе и я. Однако я не готов осуждать свою прошлую деятельность не потому, что считаю себя правым, а потому, что говорить о ней могу



*Отъезд
в эмиграцию.
25 мая 1983
© Из архива
Габриэля Суперфина*

лишь в совершенно свободных условиях, но я хочу трудиться и жить в СССР. И на следующий день уехал с этим заявлением в Тарту. Принес его в местный КГБ. Мне сразу сказали: никакого Литмузея, там нет мест. Было уже ясно, что это игра: Москва говорит одно, эти — другое. Говорят: «Приходи завтра». Я пришел завтра, мне сказали, что текст письма не годится, и вернули его. Я решил воспользоваться другой возможностью — обратиться прямо в ЦК КПСС. В Тарту была какая-то конференция, и на нее приехала Лора Степанова с [мужем, Георгием] Левинтоном. Мы с Лорой специально встретились вне помещения, опасаясь прослушки, и я попросил ее узнать у ее отца — академика-секретаря [Отделения языка и литературы АН СССР], у которого, естественно, были прямые контакты с ЦК, не примет ли он меня и не поможет ли устроить встречу с кем-то в ЦК. И я ждал от Лоры условного сигнала о том, что он согласен меня принять. Но когда такой сигнал пришел, мне в тартуском КГБ сказали: «Не вздумайте ехать в Москву, ничего не получится». И вернули мое заявление. Я сказал: «Ну, тогда я готов уехать за границу». И тут я увидел удивление на лице чекиста (кажется, его фамилия была Ситин). Потом, в 1992 году, из ставших доступными бумаг КГБ выяснилось, что уже планировалось склонить меня к выезду за границу.

— **Чисто по-человечески интересно: когда этот Баранов говорил: «Мы даем вам возможность выехать на Запад» — как он сам это воспринимал? Как наказание?**

— Нет. Наоборот, как редкую тогда привилегию. Немного кто ее сейчас (в 1983 году) имеет, он это специально подчеркнул.

— **А они идейные были, чекисты? Те, с кем вы общались.**

— Думаю, что Баранов все понимал. Конечно, циники.

Я и сейчас уверен, что среди чекистов 20 процентов идиотов, а остальные просто циники. Если они считают, что все за деньги в этом мире, это уже обо всем говорит.

— **Вы выехали из Москвы?**

— Нет. Я ехал через Москву на поезде как тартуский житель, как житель Эстонии, то есть должен был через Чоп ехать поездом. Ехал в Австрию, в Вену.

— **К 1983 году на Западе была уже тоже своя диссидентская среда. Что она собой представляла?**

— Сначала я бы хотел сказать несколько слов о той Москве, откуда я уезжал, где был перед отъездом. В 1983 году в Москве было довольно много диссидентов и им сочувствовавших. Но все были ужасно деморализованы. В частности, то поколение, с которым я общался. Люди жили в страхе. С одной стороны, они просили не забывать их, что-то присылать, с другой — чтобы поменьше упоминали их имена на «Свободе» (было известно, что я еду не в Израиль, а в Германию) — «Нам здесь жить».

На Западе же уже сложилась эмигрантская среда 1970-х годов. Тем более я в результате в Мюнхен приехал. В Вене Горбаневская



В ссылке. Тургай (Казахстан), 1979

© Из архива Майи Улановской

меня сразу повела к Льву Квачевскому. В общем, везде там были свои люди, все знакомые.

Конечно, тогда диссиденты были в центре внимания Запада, и поэтому, когда людей принимали на работу, отношение к диссидентам, в частности, отношение администрации «Радио Свобода», было особенно благожелательным. Это кончилось с перестройкой, когда стало ясно, что диссиденты уже не играют никакой роли в общественном движении в России. Американцы даже думали сразу закрыть радио — потому что началась, как им казалось, демократия в России. Я, помню, просто диву давался тогда их простодушию и наивности.



Бостон, 2009

© Александр

Зарецкий

© Сергей Карпов / ТАСС



СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ:

«Это была нравственная несовместимость с советским варварством»

— В своей книге «Прагматика политического идеализма» вы пишете, что для вашего биографического самоопределения поворотным был 1968 год, подавление Пражской весны советскими танками. В тот момент вы были вполне успешным ученым, делали хорошую академическую карьеру...

— Скажем так, был широко известен в кругу узких специалистов.

— Были заведующим лабораторией в МГУ...

— Отделом. Только отдел — это обычно объединение нескольких лабораторий, а у нас отдел был частью одной большой межфакультетской лаборатории.

— Как произошло ваше вхождение в диссидентский круг?

Ведь до 1968 года также была определенная диссидентская активность. Вы о ней знали?

— 1968 год сыграл огромную роль в моем становлении, но для меня началось все гораздо раньше. Если говорить прямо о гражданских проявлениях, имеющих в виду и государственное устройство, и курс политики, и оценку власти, это, наверное, 1966-й. А много раньше была активность, которую тоже считали политически вредной. Если я правильно помню, это была осень 1956-го, а очевидные последствия — весна или лето следующего года. Это был бунт научного содержания. В 1954-м я окончил университет, а в 1956-м был старшим лаборантом на кафедре биофизики и поступал в аспирантуру. Это были годы продолжавшегося господства идеологии [академика Трофима] Лысенко и репрессий по отношению к его оппонентам. Годы официальной поддержки жульничества в науке. Молодые выпускники МГУ — старшие лаборанты и аспиранты — написали письмо в деканат. Инициаторами были девочки с кафедры зоологии беспозвоночных. А нас с моим другом выбрали «в писатели».

Это было очень сдержанное письмо, не лозунговое, но очень честное. Моим соавтором был Левон Михайлович Чайлахян, увы, уже покойный. Лева стал крупным ученым, физиологом и биофизиком. Он был постоянным моим соавтором и близким другом. Суть письма была в следующем: мы — молодые выпускники уни-



9-й класс, 1946

© Из архива

Сергея Ковалева

верситета, следовательно, нас готовят к научной работе, значит, мы должны обладать полной, непредвзятой и объективной информацией о ключевых проблемах биологии. Если есть какие-то разногласия между учеными, что обязательно бывает, они должны быть изложены подробно, и всякий, кто заинтересуется этими разногласиями, должен иметь прямой доступ к источникам.

Но вот университетская педагогическая практика: важнейшая отрасль биологии — генетика. Нам преподают подробнейший курс так называемой мичуринской генетики, возглавляемой Лысенко, а противная точка зрения лишь упоминается беглым перечислением, без разъяснений, в сугубо оценочном (а прямо говоря, хамски ругательном) ключе. Но это не просто самый худший способ воспитания научного работника. Нет, это прямой способ готовить вместо ученого угодливого халтурщика.

В какой-то форме в письме было сказано, что наука не зависит от политики, что она сама по себе, у нее есть свои ценности и свои критерии. Ученым надлежит давать возможность самим знакомиться с разными точками зрения и оценивать их по своему разумению.

— **Были ли последствия у этого письма?**

— Разумеется, были, и еще какие! Впрочем, для нас слевой и для большинства людей покрепче из тех, кто подписал это письмо, последствия были переносимыми. Мы-то слевой считали, что написали, подписали, а уж организаторы пусть дальше работают. Вот они и собирали подписи. Многие из тех, кому предлагали подписать, подписывали не раздумывая. Иные же спрашивали — «не донкихотство ли это?» Эти не подписывали. Многие из тех и из других стали потом известными учеными (*смеется*). Это важная деталь в характеристике отечественной интеллигенции.

Приближалось к 100 подписям уже. И вот-вот надо было отдавать в деканат, как вдруг это письмо исчезло. Оно объявилось уже в других руках — в деканате и в парткоме.

И что началось! Тогда руководящей единицей была «тройка», что влечет печальные ассоциации, но эта тройка не стреляла.



Аспирантура,
кафедра биофизики МГУ, 1955
© Из архива
Сергея Ковалева

Сергей Адамович Ковалев (2 марта 1930, Середина-Буда, УССР) — биофизик, правозащитник, политик. С 1932 года жил под Москвой, в поселке Подлипки. В 1954 году окончил биологический факультет МГУ. Занимался изучением клеточных мембран, специалист в области нейронных сетей. Опубликовал более 60 научных работ; кандидат биологических наук (1964). В 1964—1969 годах работал в МГУ заведующим отделом межфакультетской лаборатории математических методов в биологии.

В 1966 году организовал в Институте биофизики сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля.

В 1969 году уволен с должности заведующего отделом межфакультетской лаборатории математических методов в биологии МГУ. В мае 1969 года вошел в состав Инициативной группы защиты прав человека в СССР. С 1971 года — один из ведущих участников «Хроники текущих событий».

Она состояла из дирекции, партбюро и профкома. Им надлежало разбирать разные вещи. Так вот, письмо исчезло из рук активистов, его просто отобрал доцент кафедры физиологии растений, забыл его фамилию, сукиного сына! Он просто поинтересовался, когда оно там ходило среди аспирантов этой кафедры, они ему показали. Вот, отобрал он это письмо и отдал куда следует. И началось разбирательство.

Вступить в обсуждение содержания письма с авторами никто и не подумал, а стали вызывать на эти самые «тройки». Каждая кафедра на свою «тройку» вызывала, и мы все через это прошли.

Главный вопрос — кто из профессоров подбил нас на это. Но не было таких профессоров, да и откуда им было взяться. После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., на которой ЦК ВКП(б) назначил Лысенко диктатором в биологии, на биофаке прошли чистки. Выдающихся ученых прогнали, были и аресты. Кафедры дарвинизма и генетики укомплектовали лысенковским отребьем. Деканом стал Исай Презент, правая рука Лысенки или левая — не знаю, важная рука (*смеется*).

Это был исторический фон эпизода 1956 года, о котором я говорю. Начались непристойности. Например, вызывали на собеседование родителей некоторых девочек. Но ведь мы были взрослые уже люди с университетским образованием! Правда, это были девочки особые и родители особые, статусные родители. Цель была — заставить отказаться от подписи и узнать, кто надоумил. И довольно быстро эта сотня человек раскололась на упрямец и согласившихся признать ошибку. Правда, не было доносчиков, которые сказали бы, что, мол, вот эти меня уговорили.

Завершилось это общим комсомольским собранием биофака. Аудитория битком набита, звучат речи с явным политическим оттенком, как у нас положено. Ибо, как известно, число щетинок на лапках дрозофилы уже с 1948 года приобрело политическое значение (*смеется*). Нас клеймили профессора, а комсомольцы молчали. Профессор кафедры генетики (или дарвинизма?) Фани Каплан, не помню отчества, заявила: оказывается, вам нужно слушать курс

Арестован 27 декабря 1974 года. В декабре 1975 года суд в Вильнюсе приговорил его к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Срок отбывал в колонии строгого режима «Пермь-36» и в Чистопольской тюрьме; в ссылку был отправлен в Магаданскую область. По отбытии срока ссылки поселился в городе Калинин (Тверь). В 1987 году вернулся в Москву. До 1990 года работал в Институте проблем передачи информации АН СССР.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. В 1990—1993 годах — член Верховного Совета РСФСР, член Президиума Верховного Совета, председатель парламентского Комитета по правам человека.

В 1993—2003 годах — депутат Государственной думы РФ. В 1993—1996 годах — председатель Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. В 1994—1995 годах — первый Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. В 1996—2003 годах — член Парламентской ассамблеи Совета Европы. Живет в Москве.

морганизма-менделизма! А вот теперь преподается научный атеизм, что же вам Библию читать? Ее поддержал доцент Фейгинсон, прочитавший длиннейшую цитату из непростой генетической работы, насыщенной сложной, неизвестной нам терминологией. Он точно понимал эффект такого цитирования и спросил: «Ну что, кто-нибудь из вас это понял? Вы этого хотите?» (Смеется).

Возбужденный этими двумя логическими оборотами, я попросил слова и сказал: да, ровно этого и хотим. Раз уж вы читаете генетику, то это ваше дело, товарищи профессора, научить нас понимать, что написано в работах по генетике. А соглашаться или не соглашаться — это уж дело каждого из нас. Что же касается Библии, так ежели атеизм в самом деле научный, то Библия должна быть важным предметом этого курса. Иначе какой же он научный?

Это вызвало одобрительный шум в аудитории и бурное возмущение в президиуме. Но, в общем, все кончилось относительно безобидно. Хотя не без последствий.

Скандал этот был подобен камню, сброшенному Маугли в пчелиное гнездо. Он разбудил бдительность. Например, выпускнику факультета, увы, покойному уже Коле Воронцову, запретили приходить на биофак — распорядились, чтобы вахтеры его не пускали. (Николай Николаевич Воронцов был потом депутатом Думы, министром.) Правда, прямой причиной этого запрещения были его отношения с двумя выдающимися учеными — генетиком Тимофеевым-Ресовским и математиком Ляпуновым. Но и наше письмо тут тоже при чем, оно плеснуло кипятком в вонючие советские помои факультетского разлива.

Мне пришлось покинуть комсомол (не скажу, чтобы расставание было печальным), ибо маячило исключение, а тогда уж и увольнение из университета.

Коснулось меня и еще одно событие. Где-то через год или около того славные чекисты в отдельной комнатке деканата, а потом уж и ректората долго, настойчиво пытались уговорить меня стать сексотом. Мягко припугивали, вспоминали и это письмо тоже. Я все твердил, что если вдруг придется мне узнать о подготовке взрыва где-нибудь, так я и без всяких расписок и соглашений догадаюсь, куда бежать, чтобы предотвратить трагедию. Они же в ответ: «Да бог с вами, Сергей Адамович! Какие взрывы, какие бомбы? Разговоры, вот что нужно...». Каждый стоял на своем, не сталкивались.

Вот так жили. Книжки надо писать о той жизни. Но это важная и совсем отдельная история.

— **Это предыстория нашей темы, 1956 год. Вы упомянули о событиях, которые произошли 10 лет спустя — в 1966 году. Вы имели в виду дело Синявского и Даниэля?**

— Разумеется. Но прежде отступлю в еще более ранние времена.

Хочется понять, почему я такой, а не другой? На этот вопрос трудно ответить... Что-то в генетике, что-то в воспитании.

— Родители были настроены лояльно?

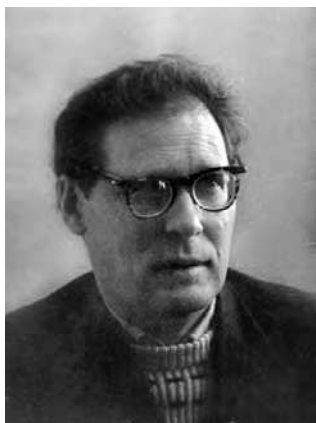
— Родители, как говорят, молчали как рыба об лед по поводу острых тем. Но мать умела очень красноречиво молчать. Дети чувствуют настроение взрослых и даже строят гипотезы о причинах этого настроения.

Есть семейное предание об одном эпизоде. Я и сам его помню. Это был 37-й год. Конституция была принята в 36-м — и вот последующие за ней выборы.

На стенке висит картонный репродуктор — едва ли не единственное тогда средство информации: в газеты заворачивали селедку. Из репродуктора несутся бравурная музыка, лозунги и непристойный треп. Наслушавшись, я спрашиваю у мамы: «Мама, ты почему не ликуешь?» Она сурово отвечает: «Я ходила на выборы». Я не отстаю: «Да, но весь советский народ ликует, а ты не ликуешь». Тогда она снимает пенсне, как делает, произнося внушение, близко смотрит прямо в глаза и очень раздельно говорит: «Я ходила на выборы. Ты понял?» Мне стало невыразимо стыдно. Конечно, потом у меня пошли разные спекуляции на этот счет: дескать, тогда я понял, что это за выборы, раз там один кандидат. И т.д. Ничего подобного. Это уж навязчивая логика мемуариста.

Было просто стыдно. Стыдно, что эта картонка орет, тон ее отвратительный; да разве о серьезном деле можно говорить вот так? Да где это все ликуют? Вот дом, двор, соседи — как-то никакого ликования.

А уже следующий эпизод — это 7-й класс, 1944 год. В 7-м классе был предмет «Конституция». Вот учительница спрашивает меня про 125-ю статью. Вы, наверное, ее не помните? А я очень хорошо помню. Эта статья имела огромный международный резонанс, в ней коротко перечислены и названы гарантированными основные права и свободы личности. Первая часть статьи начиналась примерно так: «В интересах трудящихся граждане Советского Союза имеют право...» Далее перечислялись мирные шествия, демонстрации, митинги, свобода слова, свобода религии. Одним словом, в коротенькую статью загнали всю будущую Декларацию прав человека. Понятно, ключевые слова — «в интересах трудящихся». А во второй части говорилось, что гарантией этих прав является общественная собственность на помещения, типографии, бумагу. Всенародная собственность, оказывается, гарантия. Ввиду полной нелепости, на эту часть не обращали внимания. Я повторил содержание статьи. И что-то угораздило Елену Владимировну спросить: «Как ты это понимаешь?» Смысл моего ответа был естественный. У нас всенародное государство, и народ имеет полную свободу мнений, возможность сопоставлять и оценивать решения, принимаемые нашим правительством, и т.д. Она говорит: «Нет, ты неправильно понимаешь». И стала объяснять так, как потом, в наших уже процессах, объясняли прокуроры. Дескать, да, все эти свободы есть и гарантированы, но исключительно в интересах трудящихся. Был долгий спор, класс кайфовал — никого ведь не спросят и вообще



1968

© Из архива

Сергея Ковалева

отличник Коваль, похоже, приложил нашу тетку. Я не смогу точно повторить свою финальную реплику, но смысл ее помню хорошо. Я сказал учительнице: «Думаю, что вы не правы. Если бы законодатель хотел изложить ваше понимание 125-й статьи, он написал бы, что все перечисленные права исполняются тогда и постольку, когда и поскольку они соответствуют интересам трудящихся. Но он написал иное — в интересах трудящихся. Значит, как раз в исполнении этих конституционных прав интерес трудящихся и состоит». Она позеленела и сказала: «Садись, двойка». Началась война. Урок конституции был раз в неделю. На следующем уроке она опять поставила мне двойку за то же самое. А я уперся: «Кто определяет интересы трудящихся, разве не они сами? Если сами, так они сами и знают, что в их интересах». В таком духе эта дискуссия повторялась еще раза три.

Подходит конец четверти. Я уже не помню, поставила она мне двойку в четверти или двойка только висела. Кажется, все-таки поставила. Вы понимаете, чем в то время могла кончиться эта скандальная история? Я этого совсем не понимал. Война, 44-й год, Подмоскowie. Отличник на уроках упрямо спорит о конституции. О советской!

Меня позвали к директору. Я пришел в ожидании головоломки, внутренне напряженный, ожидая продолжения схватки теперь уже с директором. Ничего подобного не было, он попросил меня изложить историю. Я ее изложил довольно точно, хотя и горячо. Он меня выслушал очень внимательно и начал разговор с общего замечания: «Когда ты подрастешь, ты лучше поймешь трудности, которые есть у взрослых». А вот решение: «Елена Владимировна ошиблась. Ошибка в том, что она попросила ученика 7-го класса, уж не обижайся, скажем так... с еще не завершенным формированием интеллекта интерпретировать конституцию. Это серьезная юридическая проблема, это дело профессоров, а не семиклассников. Ты должен знать конституцию, а не толковать ее. Я попрошу Елену Владимировну погонять тебя по всему материалу и не спрашивать, что и как ты толкуешь, а только знания. И если ты будешь знать, тебе исправят эти оценки, а если не будешь знать, то получай, что заслужил». Я счел, что это справедливый подход к делу. Учительница точно исполнила приказ. Она гоняла меня по всему курсу и поставила «пять» с не очень ликующим выражением лица. В результате, кажется, в четверти получилось «четыре».

Директора звали Сергей Сергеевич Смирнов, историк.

Были и еще школьные события в этом роде. С подпиской на займы, например. Мы должны были подписаться на какую-то долю родительской зарплаты. Класс очень возмутился, а я формулировал протест: то есть как? Это родители подписываются, а я-то как могу распоряжаться родительскими деньгами?

Я хорошо учился в школе, по-моему, незаслуженно хорошо, но семейное воспитание помогало и привычка задумываться.

Самый для меня существенный вывод из школьной жизни — дальше надо учиться на каком-нибудь естественнонаучном факультете. Меня привлекали история и право, как я их понимал тогда. Но я оказался достаточно неглуп, чтобы сказать себе: пойдешь на юридический или исторический — всю жизнь придется проституировать. Надо заниматься физикой или биологией.

Я решил заниматься биологией и выбрал медицинский, даже не подумав о биофаке. Решил, что вот там-то я и буду развивать учение И.П. Павлова о том, как человек думает. Я говорю об этом, чтобы показать уровень моего тогдашнего понимания того, что где делают, что какая наука значит. В 1948 году я поступил в медицинский институт, который потом стал Институтом имени Павлова и переехал на его родину, в Рязань. Учился я там два курса, а на третьем курсе я оказался в 1-м медицинском институте как раз потому, что наш институт переводили в Рязань и очень давили на студентов, но у меня была привилегия — я женился на втором курсе. Семейных распахали по другим московским институтам. В 1-м медицинском я проучился всего год — третий курс. Проучился я год и решил перейти в университет, что и сделал не без некоторых трудностей. Это диктовалось целым рядом причин.

Я понял, что интересует меня не медицина, а физиология. Еще на 2-м курсе я стал делать студенческую работу у доцента Вячеслава Александровича Шидловского и посещать вечерами в университете лекции Михаила Егоровича Удельнова, моего будущего старшего друга и руководителя. Меня эти лекции увлекли.

Вторая причина: мне не нравилась в медицинском институте подчеркнутая иерархия. В университете я видел, что я — человек и профессор — человек, а когда я был в медицинском институте, я видел, что профессор — сверхчеловек, а я — недочеловек. Это не редкость в медицинском мире и сейчас. Нельзя было, например, обратиться с вопросом прямо к профессору, надо было сначала спросить ассистента, и если он сочтет, что твой вопрос не бессмыслен, то подобострастно переизложит его профессору.

Еще одна причина: я решил, что из меня не получится врач. Третий курс — пропедевтика, вводный курс, начало клинического образования, начало общения с больными. Вы должны осмотреть больного. Взяли стетоскоп, слушаете, как он дышит. Ассистент, ведущий занятие, говорит: обратите внимание на такие-то хрипы. Я напряженно вслушиваюсь и действительно слышу то, что говорит ассистент. Но на следующий раз другой больной. Вас спрашивают: что вы слышите? Мне кажется, я слышу то же самое, что запомнил с предыдущего раза. Но, оказывается, там что-то совсем другое. А я не умею слышать, и меня очень легко убедить в том, что я должен слышать. Но я слышу то, что слышу. Поэтому я решил, что это не для меня, я не смогу быть врачом. Потом я понял, что это дело преходящее: сейчас ты не слышишь того, что слышат настоящие врачи, а потом будешь. Надо просто много слушать, и все будет в порядке. А мне казалось, что это врожденная способность.



*В ссылке
с дочерью Варей.
Начало 1980-х
© Из архива
Сергея Ковалева*

Но вот главная причина, важная для всей моей последующей жизни. Тогда в медицинских институтах (и, наверное, не только в медицинских) кроме ребят, поступивших после школы, как я, было довольно много фронтовиков, поступавших льготным образом. Все они были членами партии, а еще состояли и в комсомоле — так полагалось. Это были тупые люди, настроенные на карьеру и по-советски правоверные. Откуда этот выбор? Неужели их всех из СМЕРШа брали? И, разумеется, во всех общественных студенческих организациях они были самые главные.

Почему так было, не могу сказать. В жизни у меня было много друзей-фронтовиков, сыгравших важную роль в моей судьбе. Это были очень интересные и значительные люди, очень самостоятельные.

И в 1-м меде был у меня приятель, тоже фронтовик, между прочим, но со своей судьбой. Аркадий Рогов родился в Америке (отец его был какой-то номенклатурный работник). Он жил в Америке до 8 или до 10 лет, потом они переехали в Союз. Из-за статуса отца семья была очень благополучной. А потом началась война, и Аркадия мобилизовали. Он был сильно старше нас, лет на шесть-семь. В 18 он попал в авиацию, окончил быструю летную школу и стал штурмовиком.

Были, кажется, у него и какие-то боевые вылеты, но потом в одном из тренировочных вылетов он налихачил и разбил самолет. Штурмовики летают очень низко, а он полетел еще ниже и наскочил на колодезный журавль. Жертв не было, и он остался жив, и сидевший с ним пулеметчик тоже остался жив. В общем, это счастливая авария, но самолет-то они разбили. Он попал в штрафроту и уже в штрафроте кончал войну. И остался жив. Хотя заикался от тяжелой контузии, был ранен — все, что полагалось штрафникам. Но живой и реабилитированный по своим военным делам, поэтому и поступил в институт, как все фронтовики, с некими льготами.

Не то было с его отцом. Отец чудом избежал ареста — вот-вот попадал во враги народа, ему светила тюрьма, но он тяжело заболел и умер. Они жили в огромной квартире, естественно, мать не работала, отцовской зарплаты хватало, пока он ее получал. Но его прогнали сначала с работы, потом из партии и должны были забрать, но не успели. Вдова и сын жили в чудовищных материальных условиях, денег не хватало, и Аркадий уже на первых курсах стал подрабатывать. Он подрабатывал на скорой помощи. Это дежурства, то дневные, то ночные, а он в это время учится. Учеба в медицинском институте — трудная учеба, одной зубрежки по анатомии хватает. А ночью он не спит или спит урывками. Семейное их положение характеризовалось яркой и неприятной деталью — им не на что было захоронить урну с прахом отца, она стояла в квартире в ожидании лучших времен, когда можно будет заплатить за могилу.

Фото из уголовного
дела, 1975
© Из архива
Сергея Ковалева



Аркадий был славный мужик. Но тяжелая судьба и контузия сказались, конечно, — он был довольно несдержан.

Однажды его вызвали в комитет комсомола и дали поручение — назначили агитатором. Выборы какие-то надвигались, он должен был посещать избирателей. Он говорит: «Ребята, я же работаю, мне приходится на жизнь зарабатывать, у мамы жалкая пенсия, а у меня стипендия. Как нам жить? Мне спать некогда, а вы еще и это добавляете?» Его коллеги-фронтовики говорят: «Ах вот как ты относишься! А ты вообще-то за советскую власть? Ты в Америке жил, еще надо посмотреть, чему ты там научился!» И т.д. Слово за слово, он послал их по матушке, достал из кармана комсомольский билет, шлепнул его на стол, сказал: «Подавитесь». Повернулся и хлопнул дверью. Это в 1950-м, скорее, в начале 1951 года, вы понимаете, что за времена? Естественно, комсомольское групповое собрание, и на нем вся эта шобла великовозрастная покатила на Аркадия, а мальчики и девочки сидят робко.

Я многократно выступал в защиту Аркадия, стараясь быть аккуратным и сдержанным. Вот моя логика: человек погорячился, и были веские причины горячности. Его провоцировали, вместо того чтобы проявить к нему товарищеское сочувствие. Точно не помню другие выступления. Большинство молчало. Кажется, кто-то один поддержал фронтовиков. Кто-то, отметив святотатство проступка, предложил ограничиться внушением.

После долгой дискуссии — голосование. Предлагается исключить из комсомола, а это значило тогда — и из института.

И тут я совершил самый постыдный в моей жизни поступок, который я каждую минуту помню; я задержался с голосованием, повел глазами по сторонам и вижу, что все подняли руки. Все. И я вдруг почувствовал, что и я тяну руку вверх. Только оглянул-



*Демонстрация
в защиту
Сергея Ковалева
и Андрея
Твердохлебова.
Нью-Йорк (?), 1975
© Из архива
Сергея Ковалева*

ся — и поднял. Мне сразу стало стыдно, в тот же момент. Но что сделано, то сделано. Посчитали. Потом оказалось, что все-таки одна рука была против — это была Рина Андреева, замечательная девочка, которая потом стала женой Аркадия. Я искал такие случаи в литературе, вспоминал рассказ Хаджи-Мурата о том, как он струсил однажды. На самом деле оправдания нет. Я это помню.

Теперь решение группового собрания должно было утвердить собрание потока, потом курса. Вместе с Лялей Саксоновой, с которой меня связывала дружба до самой ее кончины, мы пошли в комсомольское бюро к Алику Сыркину, рассказать о беде Аркадия и нашем постыдном голосовании. Его усилиями (были и другие приличные люди) дело свернули на строгий выговор. Аркадий остался в комсомоле, следовательно, и в институте. Странно: после собрания он относился ко мне по-прежнему дружески. И это было для меня дополнительным терзанием.

Как говорят, он стал очень хорошим ревматологом. Он на шесть лет старше меня. Должно быть, его уже нет в живых.

Абрам Львович Сыркин — знаменитый теперь профессор. По старой дружбе он меня лечит.

Это была самая важная причина, по которой я решил, что должен уйти из института. Было непросто уйти и перейти в университет. Я опушу анекдотические подробности этого перехода и обстоятельств того, как мне удалось завершить образование в 1954-м, тогда же, когда я должен был окончить мединститут.

А дальше — нормальная научная работа. Предмет и результаты такой работы — не тема для интервью. А вот традиции и обстоятельства работы в советских научных учреждениях, привычные нам, но находящиеся в противоречии со здравым смыслом и приличиями, — интересная и важная гражданская тема. Но об

этом или подробно, или ничего. У меня есть наброски на этот счет, может быть, я сумею когда-то их опубликовать.

Вернусь к началу гражданской активности. О первом эпизоде, наивной защите унижаемой науки, я рассказал. И следующие эпизоды опять о науке, но уже не на факультетском уровне.

После аспирантуры, еще до защиты диссертации, я оказался в Теоретическом отделе Института биофизики Академии наук. Отдел был организован выдающимся математиком Израилем Моисеевичем Гельфандом. Он тщательно отобрал сотрудников. И не только по профессиональной квалификации. Получился замечательный коллектив, объединенный крепкой дружбой. Там была Тата Харитон, историк по образованию (а у нас — лаборант), дочь Юлия Борисовича Харитона и невестка Николая Николаевича Семенова. Она свела меня и моих друзей со своими знаменитыми родственниками.

Вот следующий мой околонучный гражданский шаг (собственно, даже два следующих) связан с академиком Н.Н. Семеновым, нобелевским лауреатом, основателем важного направления физики, директором крупного академического института.

В 1964 году Николай Николаевич предложил мне и моим друзьям Л.М. Чайлахяну и М.Б. Беркинблиту помочь ему со статьей, разоблачающей Лысенко. Это было важно, мы согласились. Собственно, мы написали статью втроем, а Николай Николаевич не написал ни одного слова. Но он был не просто полноценным соавтором — он был ведущим соавтором. Он придирчиво читал каждую строчку, привставал на каждом месте, требовал объяснений, выступал с возражениями. Было непросто убедить его, что мы и здесь правы, а Лысенко опять не прав. Что Лысенко не прав, он и сам знал, но не успокаивался, пока не будет достигнута строгость аргументов, выразительность стиля. Словом, стремился к совершенству. Наконец статья была написана. Мы втроем считали ее основательной, спокойной, убедительной и не оставляющей камня на камне от бреда Лысенко. Однако Николай Николаевич отдал статью журналистам для стилистической правки. Что ж, это не лишнее. Но тут настала эра философов. Юра Семенов, сын Николая Николаевича и муж Таты, наш общий приятель, был философ. (Он очень казнил эту ошибкой молодости.) Вот он нашел каких-то своих коллег, и они взялись за эту нормальную, хорошую статью. Они видели свою задачу в том, чтобы доказать: именно эта статья соответствует канонам марксизма, а вовсе не лысенковские утверждения, будто это он марксист. Как-то они это показали. Я этого не умею понимать. Статья была заметно испорчена, но смысл в ней остался.

Эту статью приняла газета «Правда», и были готовы гранки. Семенова попросили прислать его помощников (нас), чтобы считать гранки и снять вопросы. Нас привезли в редакцию на машине и глубокой ночью развезли по домам. Я в первый раз в жизни приехал в Подлипки на машине.

Незабываемое впечатление от редакции «Правды». О, если бы в нынешних наших редакциях был такой порядок! Скрупулезная, до знака препинания, сверка всех цитат. Занудная, строжайшая проверка точности изложения чужого мнения. Ведь это же надо было по ссылкам раскопать многие десятки работ! И не было тогда интернета, но несколько младших сотрудников умудрялись это сделать. Цены бы не было этой газете, если б не вראה ежедневно.

Сказали, завтра будет в номере. Завтра нет, и послезавтра, и через три дня нет статьи. Н.Н. — лауреат, член президиума академии, кандидат в члены ЦК, а вот «Правда» его не печатает.

Не помню, откуда пришли сведения, что Лысенко узнал об издательских планах и включил свой аппарат давления.

Семенову сообщили, что публикации не будет. Он был шокирован. На грани скандала, стал выяснять, в чем дело. Однажды на приеме в Кремле он обратился с этим вопросом к Демичеву. Тот показал на кого-то и спросил: «Вы знакомы?» — «Нет, не знаю, кто это». — «Он может дать вам хороший совет, обратитесь к нему». Николай Николаевич стал горячо излагать этому человеку проблему. Он спрашивает: «А при чем здесь я?» — «Вот Демичев посоветовал». Тот говорит: «Нет, Петр Нилович, наверное, пошутил, я Семичастный, председатель КГБ. Но все-таки расскажите подробнее». Николай Николаевич рассказал. «А почему бы вам не напечатать в “Науке и жизни”? Солидный научный журнал. При чем здесь “Правда”, это не по профилю».

Редактор «Науки и жизни» был учеником Николая Николаевича, у них были хорошие отношения. Он говорит: «Ладно, у меня большой тираж, про эту статью все узнают, будут читать».

Отнесли в «Науку и жизнь». И вдруг ответ: нет, статью не берем. Семенов вышел из берегов, кричит по телефону: «Да ты кто такой? Ты что о себе думаешь?» А все равно: «нет», «не годится», «не по профилю».

Вдруг вызывает Н.Н.: «Звонок по вертушке, срочно ехать в “Науку и жизнь”. Статья идет в послезавтрашний номер». Мы помчались и опять просидели там долго. Статья появилась. Естественно, под именем Семенова. Николай Николаевич со смехом рассказал нам, что Лысенко, прочитав статью, заметил: «Да, якимсь неглупые хлопцы писали. То я теперь розумию, як вин Нобелевскую отримав» (*смеется*).

Статья имела успех. Она вышла за один-два месяца до собрания АН СССР, на котором Лысенко был низложен.

Я упомянул еще об одном эпизоде, так сказать, «научной гражданственности». Увы, рассказывать его слишком долго. Жаль, он очень поучителен. Н.Н. силой затащил меня в эту историю. Дело было в отвратительной склоке, которую затеяли престарелые научные интриганы в Ленинграде, в Институте физиологии АН. Разумеется, они защищали павловское учение от ревизионистов и космополитов, опираясь на марксизм и советс-



В ссылке.
Начало 1980-х
© Из архива
Сергея Ковалева

кую идеологию, а более всего — на злобный патриотизм Ленинградского обкома. Скандал достиг такого масштаба, что Президиум АН поручил разобраться вице-президенту Семенову. Н.Н. учредил комиссию и назначил меня ее членом и ответственным секретарем. Комиссия наполовину состояла из самостоятельных научных авторитетов, наполовину из грамотных и робких. Эти поглядывали наверх, но верхом, по совести, выбрали Семенова — авось защитит от обкомовского гнева. Комиссия писала объективные рецензии, но в драку не вступала. Мы доблестно выиграли битву с клеветниками: я — семеновским авторитетом, а он — моими руками.

— **В начале разговора вы сказали, что 1966 год был рубежом для вашего гражданского самоопределения.**

— Да, так. Поздней осенью 1965-го мы гуляли с моим другом Михаилом. Зашел разговор про арест Синявского и Даниэля: «Видишь, Сережа, что вокруг творится? Может быть, нужно что-то делать?» Мы присели на скамейку, сметя с нее снежок, и я сказал: «А что делать? Я вижу один способ поправить дело — накопить взрывчатки, пробраться в тот вонючий дом, где они собирают свои вонючие съезды, и взорвать их всех к чертовой матери. Но если бы даже у меня были эти возможности, надеюсь, я все-таки не поступил бы так. Ведь если бы я это сделал, я стал бы точно таким же, как они. Зачем же мне тогда своих убивать?»

Нет, я не хочу им уподобиться. Что же мне делать? Я вижу для себя только один выход — честно заниматься моей честной наукой. Уж насколько успешно — другой вопрос. Но честно, и тогда я могу уважать себя».

Так кончился этот разговор. А в январе суд.

— **Вы к тому времени читали что-нибудь из текстов Синявского и Даниэля?**



С Андреем Сахаровым, Еленой Боннэр и Ларисой Богораз за составлением списка политзаключенных, 1988
© Татьяна Янкевич

— Тогда — нет. Очень скоро прочитал, а в то время я мало читал самиздата, но что-то доходило.

— **А радио слушали?**

— Я старался слушать, но опять-таки позже стал больше стараться. Кое-что слушал; помню, что мне очень нравился Анатолий Максимович Гольдберг [на Би-би-си]. Но трудно же было слушать.

— **Глушили?**

— Да. Потом стало легче. Когда меня прогнали из университета, я стал летом бывать далеко от Москвы по новой работе. Тогда и слушал. А так рассказывали друг другу. В этом круге сплетен не бывало. Ученые все-таки. А кое-что узнавали, читая советские газеты между строк. Это тогда многие умели.

Первый мой гражданский шаг, который был посвящен совсем другим проблемам, нежели насилие власти над наукой, как раз касался суда над Синявским и Даниэлем. Т.е. того самого события, которое послужило поводом совсем недавнего разговора с Мишей. И я, не задумываясь, поступил вопреки своему мнению. Мы решили, что не будем писать коллективный протест сотрудников отдела. Кто захочет, пишет независимо. Из теоротдела было несколько писем. То, которое написал я, подписали еще двое наших сотрудников и незнакомый мне Николай Каверин — сын Вениамина Каверина.

— **Это МГУ?**

— Нет, это теоротдел Института биофизики. Именно там Гельфанд создал свой отдел.

— **Нашлось четыре подписанта?**

— Нет, только в этом письме четыре. Было еще несколько писем из теоротдела. Мы не спрашивали друг друга, писал ли.

Эта деликатность очень естественно возникла среди диссидентов. Захочет, чтобы я знал, — сам скажет.

— **Куда вы адресовали эти письма?**

— Наше письмо было адресовано в Президиум Верховного Совета СССР. Это был естественный адрес. Письмо было короткое. Его смысл: в связи с состоявшимся судом мы обращаемся к вам, поскольку Президиум Верховного Совета — высшая инстанция, осуществляющая конституционный надзор (тогда же не было Конституционного суда), а результаты этого процесса заведомо противоречат конституции. Просим вас устранить эти опасные противоречия.

— **У вас уже тогда было понимание, что все это бессмысленно, или, наоборот, были надежды, что будут сдвиги, поворот к либерализации?**

— Безрезультатно, но не бессмысленно. Эти размышления заняли огромное место в моей жизни. Конечно, уже тогда я знал, что власть будет давить протесты, а вовсе не прислушиваться к ним. Так что иллюзий не было. Но я легко отказался от поверхностной позиции, будто, кроме бомбы, нет приема.

Я понял, что самоуважение от честных научных занятий — фикция, пожалуй, даже унижительная, как всякая мистификация. Твое отношение к насилию, хамству, лжи ничего не стоит, пока ты «высказываешь его про себя».

Что же до результатов — ну что результаты? Каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет. Невозможно изменить власть, не заслужив лучшей. Вряд ли ее заслужишь молча. В общем, я стал зарабатывать право на настоящее, а не поддельное самоуважение.

Вспоминается: «Говорить правду легко и приятно». В самом деле так — ясно чувствуешь облегчение.

Наше письмо не попало в сборники, но каким-то самиздатом было учтено. Это имело интересное следствие. Николай Николаевич пригласил нас, своих соавторов, погулять. Он и прежде нередко нас приглашал, но в гости. А тут погулять. Погулять так погулять — встретились. Семенов почему-то обращается только ко мне: «Сережа, я слышал, что вы написали письмо с протестом против приговора Синявскому и Даниэлю. Разве ученый позволит себе высказать мнение о чем-то, о деталях чего он совершенно не осведомлен? Вы читали это дело?» К тому моменту я прочел что-то из вмененных подсудимым произведений. Но это не важно. Я ответил: «Николай Николаевич, мне не надо читать никакого дела. Я точно знаю, что в Советском Союзе нет закона, запрещающего писателю издавать свои произведения, где ему заблагорассудится, и нет закона, воспрещающего ему пользоваться литературным псевдонимом. Какие претензии к этим писателям? Содержание их произведений? Но это повод для литературного разбора, а не для обвинений в публикации за границей. Им вменяется 70-я статья, агитация и пропаганда с целью ослабления, свержения и т.д. Это

откуда следует? Почему главный довод в пользу этой статьи — тайная переправка за границу и псевдоним?» Семенов подумал и говорит: «Вы правы, такого закона нет. А если бы он был, вы были бы рады? Вы же знаете, как у нас законы принимаются. Ну, эти двое отсидят без закона. Это плохо. Зато закона нет — это хорошо». Он потряс меня этими соображениями: боже мой, и это Нобелевский лауреат (*смеется*)!

На самом деле он все понимал. Его интеллектуальная мощь вне сомнения. У многих наших корифеев она достигает уровня Андрея Сахарова.

Проблема российской интеллигенции — совсем другая проблема. Думаю, нехорошо говорить «трусость», точнее, «реалистическая осторожность». Для нашей истории это как бы и не еще хуже — осторожность не вызывает такого стыда, как трусость.

— **То есть серьезность этих предостережений вы себе тогда не представляли?**

— Нет. По этому поводу никого из нас не трогали. Думаю, сложили эти письма в архив какого-то отдела КГБ. Занесли авторов в соответствующие списки.

— **В 1968 году была уже другая реакция?**

— Конечно. Вы спрашиваете меня, когда был сделан решающий выбор? Нет, не на эпизоде писательского суда. Я знал, что приговор не изменят. Повторю — честной науки для самоуважения не хватило. Но я понимал, что особых последствий не возникнет.

Ну да, буду не просто беспартийным, а еще и с такими письмами. Наверное, это не будет способствовать моей научной карьере, ну и черт с ней! В конце концов, если я что-то умею в науке, я это сделаю. А если я не умею, то никакая карьера мне не поможет.

А 68-й — совсем другое дело. До этого года прошли еще политические процессы и протесты по ним. А тут Прага. Потом образование Инициативной группы, некоторое участие в «Хронике». После 68-го я занял уже некое место в чекистских списках, как я понимал. Тут уж глупо было надеяться, что авось пронесет.

Конечно, жаль было рисковать наукой. У нас тогда сложился хороший авторский коллектив, пять человек. Аршавский, Беркинблит, Ковалев, Смолянинов, Чайлахян. В этом коллективе каждый что-то значил, и я тоже. Я понимал, что значу я, а что мои друзья значат. Эти годы были временем нашего общего заметного содержательного продвижения в научных проблемах, о которых я говорить не буду. И этот период кончился, кстати сказать, в 1974 году.

— **С вашим арестом?**

— Да.

— **То есть до ареста вы все-таки занимались наукой?**

— Все-таки занимался, да.

— Это важный вопрос, я хотел об этом спросить. В какой момент вы поняли, что самоуважение требует отказа от научной карьеры? Я имею в виду, что самоуважение и вытекающая из него правозащитная деятельность будут превалировать над вашей научной деятельностью, что нужно отдать предпочтение этому в ущерб тому?

— Самоуважение требует не отказа от науки, а готовности сесть. Это первое письмо и разговор с Семеновым были для меня неким шагом. Эти шаги заставили меня вспоминать Аркадия. Но поначалу эти шаги я не рассматривал как рискованные. Просто приятно чувствовать себя честным человеком.

Стало важно, что есть достойная позиция, состоящая не в том, чтобы преследовать какой-то результат. Борьба за результат часто вовсе не достойна. Желание же остаться самим собой и не скрывать этого — вот внутренняя свобода. Что бы ни было вокруг, ты свободен, пока говоришь прямо то, что считаешь нужным. Другой свободы не бывает.

Вопрос о том, что за эту свободу придется дорого платить, возник передо мною где-то в середине 69-го. Ответ печальный, но единственный. Ты же знал, что делаешь, и считал нужным делать? Ну так убедись, что ты мужик!

Мой скепсис относительно результата всегда помогал мне. Многих — я имею в виду не близких моих друзей, а других очень хороших людей, прекрасных ученых — неудача протестов и заступничества приводила к надлому. Дескать, я писал-писал, а теперь меня таскают всюду. И я вынужден говорить, что не отказываюсь от своей точки зрения, но не ожидал, что она будет использована антисоветской западной пропагандой. Это были умные люди, эти слова они еле выдавливали из себя. И это, конечно, надлом.

Очень важное для моей судьбы событие — Чехословакия и суд над демонстрантами на Красной площади. Я попал бы в число демонстрантов, если бы заранее знал. А я не знал.

Прямо с суда, то есть с октября 1968 года, у меня возникло много новых связей, новых знакомых, вскоре ставших друзьями.

— А что значит «прямо с суда»? Вы пришли на суд?

— Придти-то я пришел, да не пустили, разумеется. В суде были только родственники. Из подсудимых я знал Павла Литвинова, об остальных только слышал. Да и с Павлом был едва знаком, а вот с его родителями, Флорой и Мишей, сестрой Ниной и ее мужем, Генькой Сыроечковским, был дружен. Флора Павловна Ясиновская, как и я, была ученицей Михаила Егоровича Удельнова.

Как водится, зал был заполнен специально привезенными с разных предприятий советскими патриотами. Их пропускали через служебный вход.

— То есть суд над демонстрантами в вашей биографии был первым случаем, когда репрессии коснулись уже ваших знакомых непосредственно?



*С друзьями
(Евгений Рывкин,
Арий Мизякин),
Московская
область, 1974
© Из архива
Сергея Ковалева*

— Я бы сказал, ближний круг был затронут через родственников Павла, с ним самим, повторяю, я был поверхностно знаком. Конечно, слышал о Ларе Богораз, Наташе Горбаневской, Косте Бабицком — с ними были общие знакомые. Потом мы близко сошлись. С Павлом мы сблизились, когда я навесил его в ссылке, в Верх-Усуглях. Нас таких было мало, и мы сходились быстро.

Повторяю, я был бы на Красной площади, если б знал. Но я рад, что там не был. Почему рад? Мне рано было садиться или даже ехать в ссылку. Моя нравственная позиция обнаружилась и дальше не менялась, а вот школьный еще интерес к праву и истории, вновь давший о себе знать, не был удовлетворен. Да поди-ка удовлетвори его в СССР! Мировоззрение дается трудом и мучительными размышлениями. И общением, разумеется. Вот после суда на Котельнической набережной было много бесценного общения с Сахаровым, Боннэр, Есениным-Вольпиным, Софьей Васильевной Каллистратовой, Юрием Орловым, Твердохлебовым, Чалидзе, Цукерманом, Якобсоном. Я знал, что имею какой-то потенциал, но без этих связей он совсем не осуществился бы. Это был внутренне очень важный для меня период.

Возле суда я приобрел многих знакомых, а потом и близких друзей. Там я познакомился с Юлием Кимом, Петром Григорьевичем Григоренко, Юрием Айхенвальдом, Таней Великановой, Татьяной Сергеевной Ходорович; кого там только не было.

— **Андрей Амальрик?**

— Андрей Амальрик там был. Я с ним практически не знаком. Он всегда был сам по себе. У него были друзья из этого круга, но это были сугубо личные отношения.

— **Павел Литвинов с ним дружил довольно близко?**

— Кажется, да.

В толпе возле суда, естественно, бродили члены так называемого Студенческого оперотряда МГУ. Ну и оперативники КГБ, понятно.

На моих глазах произошел смешной и гадкий эпизод. По рукам ходил текст протеста относительно суда. Желающие читали и подписывали. Там, где подписывали, крутился какой-то маленький человечек неопределенного возраста. Он тоже взял текст почитать. И все, растворился. Как не бывало. Шумят, ищут. А он вынырнул за пределами толпы, уже подбегая к служебному входу. Высочайший уголовный класс. В КГБ попал заведомо из карманников.

Во время перерыва в судебном заседании нас с Петром Григорьевичем Григоренко делегировали попытаться встретиться с судьей. Ну, генерал — понятно. А почему меня избрали, ума не приложу. Как ни странно, нас принял какой-то судейский чин. Понятно, мы спросили, кто и когда незаметно заполнил зал. Судят наших друзей, и мы хотим присутствовать в открытом процессе. Услышали: «В зале просто граждане. Это самый большой наш зал. Что ж вам, в Лужниках суд проводить? Читайте газетные отчеты».

Вот такой дурацкий разговор.

— **То есть это была ваша персональная точка вхождения уже в круг правозащитников?**

— У нас с Сашей Лавутом оказалось много знакомых среди собравшихся у суда. Но, в общем, да. Новый круг складывался вне профессиональных научных связей.

— **Как эта дружба и деятельность, связанная с этой дружбой, стали занимать в вашей жизни больше места, нежели деятельность научная?**

— Я вовсе не хотел расставаться с наукой. Хотел совмещать, пока позволят. Думаю, моя самооценка была верной. Я не считал себя ни огромным талантом, ни поденщиком. Я не занимал чужого места в науке, но и не был незаменим.

Тут важна жесткая оценка обстоятельств. Для закрепившегося в списке антисоветчиков выбор невелик. Или ты пойдешь в грязь, спасая свою свободу и научную работу лживым покаянием, или ты пойдешь в тюрьму. По-моему, достойное решение одно — я ведь искал права на самоуважение? Но это я уже говорил.

Ситуация вполне определилась еще за некоторое время до того, как я стал редактором «Хроники текущих событий». Незадолго.

Я не торопил события. Я просто знал, что будет, и знал, что момент выбираю не я. Ну, если уж ты хорошо знаешь, что посадят, и продолжаешь то, за что посадят, то ясно — ты выбрал, наука уже не на первом месте. Увы, не только наука. А семья, дети? Я успокаивал себя тем, что, когда выйду из тюрьмы, мне не стыдно будет смотреть им в глаза.

Все это время было участие во многих протестах, потом Инициативная группа — первая независимая гражданская организация, впервые обратившаяся в ООН с жалобой на свое правительство.

Весной 1969-го, когда создалась ИГ, я еще «Хронику текущих событий» не редактировал, хотя временами какое-то участие в ней

принимал. Тогда у диссидентов сам собою сложился замечательный обычай: не нужно знать того, что тебя прямо не касается. Я и не хотел знать подробностей о «Хронике», которую читал. Но догадывался, как попадают туда сведения, и пользовался этим (увы, и КГБ догадывался). Понятно, все знали, что Наташу Горбаневскую взяли прямо за работой над 11-м выпуском, но это уж знание постфактум. Конечно, для узкого круга лиц имена последующих работников — например, Толи Якобсона, Гарика Суперфина — секрет Полишинеля. Не стремились знать, но знали. А многие и не знали.

Потом пришла моя очередь, и я получил почетную кликуху «Редактор» в моем оперативном деле. Первый мой выпуск мы делали вместе с Юрой Шихановичем. Потом его посадили. А «Директором издательства» была Таня Великанова. Тогда она категорически отказывалась от участия в редактировании, но как точно, полно и вовремя обеспечивала работу!

Итак, то, что я делал, делалось исключительно для себя, а не «для Отечества». Так жил не я один — не все, но многие мои друзья. Это была нравственная несовместимость с происходившим вокруг. Но, разумеется, мы понимали, что в истории ничто не остается бесследным, все находит свое место. Увы, нескоро, не доживешь, конечно. Но — декабристы разбудили ж Герцена. Может, и мы когда-нибудь кого-нибудь разбудим.

Вот яркий эпизод на этот счет.

Однажды Израиль Моисеевич Гельфанд сказал мне: «Вот Анатолий Якобсон, замечательный учитель, какие лекции читает во 2-й школе. (Тогда ходила в самиздате замечательная Тошкина лекция о поэзии 1920-х годов. Это не наука, скорее, публицистика, но какая публицистика!) Вот чем ему надо заниматься. А он какие-то воззвания пишет». Я говорю: «А как вы думаете, если бы он не подписывал протесты, он бы прочитал такую лекцию?» — «Бросьте, Сережа, прочитал бы. Я понимаю, она острая, но ведь это для школьников. Для них это много значит. А то, что вы делаете, бессмысленно». Я говорю: «Если даже только для себя, уже не бессмысленно. А можете ли вы точно предсказать результаты человеческих поступков?» Он отвечает: «Приведу вам исторический пример. Вот Византия. Всем умным ее современникам было ясно, что это гнивающее государство, вот-вот сгниет. Но она “гнила” еще 300 лет. Это вас не наталкивает на размышления? Вы встречаетесь с очень умным человеком, Борисом Исааковичем Цукерманом. Передайте ему мои соображения и сомнения. Мне интересно его мнение».

Цукерман был учеником Гельфанда, тот его очень ценил. А кроме того, он был одним из самых талантливых авторов самиздата, незаслуженно забытых.

Встретились мы с ним, я пересказал Гельфанда. Борис Исаакович, как всегда, взял паузу, пожевал губами, сказал: «Ну что ж, 300 лет меня вполне устраивают». Как вы знаете, история пошла по-другому, микробунт 60—80-х сказался раньше.

Вот еще в близком направлении — о том, что слабые возмущения могут иметь гигантские последствия. Знаменитое сахаровское интервью. Известный западный корреспондент, не помню кто, спросил Андрея Дмитриевича, ожидает ли он каких-то перемен в Советском Союзе. Подумав, А.Д. ответил: «В обозримое время не будет». «Зачем же вы делаете то, что вы делаете?» — спросил корреспондент. — «А что умеет интеллигенция? Только строить идеал. Пусть каждый делает что умеет». Потом он подумал и сказал: «Впрочем, крот истории роет незаметно».

Думаю, в отличие от Амальрика, Сахаров сказал это ради научной аккуратности. Он полагал маловероятным, что этот крот вот-вот вылезет наружу. Но сказал не случайно, понимая, что малые возмущения к чему-то могут привести. А Андрей Амальрик угадал год, но это литературная реминисценция, он использовал название романа Оруэлла, «1984». Он был очень одаренный человек, анализировал точно и правильно. Но определенных сроков из его анализа не вытекало. Становилось понятно, что какие уж 300 лет, эта телега и 50-то вряд ли проскрипит.

Откуда безумная, казалось бы, надежда, что «строительство идеала» ничтожной кучкой людей, разбросанных по земному шару, сможет повлиять на «крота истории»?

Посмотрим вокруг себя. Окружающая нас природа битком набита малыми возмущениями с гигантскими последствиями.

Вот фазовые переходы. Бросим в переохлажденную воду (чуть ниже нуля градусов) мельчайший кристаллик льда. За доли секунды сразу во всем сосуде жидкость превращается в твердое тело — это уже лед. Вот триггерные, пороговые процессы (триггер — переключатель, курок, спусковой крючок). Вы делаете маленькое движение пальцем, а дробь летит с огромной силой. Но это может быть и полутонный снаряд, и атомная бомба, какая уж тут дробь.

Кстати, о бомбе. Чтобы произошел ядерный взрыв, нужна критическая масса ядерного вещества. Ее получают, плотно сдвинув разведенные части заряда. Прижатые друг к другу, они дают взрыв, уничтожающий крупный город. Что значит подвинуть несколько сот грамм на несколько десятков сантиметров?

Однако возможны ли такие процессы в социуме? По-видимому, да. Чтобы остаться в пределах хорошо известных примеров — вот мировые религии. Как они завоевали мир?

Оставим в стороне утверждение о Божественном озарении или о стремлении наших предков объяснить мир. Здесь мне годятся обе гипотезы.

Как религии овладевали народами? Ведь речь не идет о массовом озарении либо массовом наблюдении. Нет. В истоке, например, передававшийся из уст в уста рассказ о воскресении казненного человека, ранее того объявившего себя Сыном Божьим. О том, что Он явился своим ученикам после смерти и Фома вложил персты в раны Его. В Евангелиях, не говоря уж о Ветхом Завете, много противоречий. То есть ничто документально и до-



*Рыбинское
водохранилище,
начало 1950-х
© Из архива
Сергея Ковалева*

стоверно не установлено. Но из этого рассказа возникло христианство с его замечательными идеями и заповедями, перевернувшими традиционную мораль, представление о том, что хорошо, что плохо и как надо жить. Уже более 2000 лет заповеди играют важную роль в нашей жизни и в истории.

Ясно, что инквизиция, индульгенции, крестовые походы, кровавые распри братьев во Христе, все грехи христианства не отменяют этой роли.

Так же обстоит дело с рождением ислама.

Не очень здоровый человек, проснувшись, рассказывал о своих видениях. Это записывали. Так был создан Коран. Теперь эту религию исповедует полмира. Разные толкования Корана и слепая страсть их последователей повлекли кровавые распри среди мусульман. Но этого мало. В отличие от раннего Средневековья, в мусульманском мире крепнет тенденция диктовать остальным. Фанатизм, культивируемая узость взглядов приводят к фальсификациям собственной религии, спекуляции идеологических мошенников на полуграмотности большей части мусульманского населения. К господству принципа «Все средства хороши». И к господству лидеров, у которых за душой ничего, кроме злобы. Результаты — варварское уничтожение памятников культуры, «Талибан», «Аль-Каида», ИГИЛ.

Некоторые говорят о запоздалом повторении инквизиции и охоты на ведьм, за которым последует реабилитация. Дай-то Бог.

А начиналось все со сновидений.

Я думаю, что Андрей Дмитриевич в своих соображениях обращался к идее о больших последствиях малых изменений. Не могу этого доказать, но почти уверен в этом. Это так естественно для гениального физика, создателя инженерных конструкций и теоретических идей. Не случайно любимый его афоризм — делай что должно, и будь что будет. Это религиозное изречение, а он не был верующим. Я бы сказал, он был своеобразным агностиком. В нашем разговоре он как-то сказал: «Кто может поручиться, может быть, что-то там и есть». Ясно, он имел в виду уж точно не «рай», не «ад» и не Вседержителя, ежеминутно занятого каждым из нас.

Думаю, он считал, что упрямая правдивость, упрямая доброжелательность, уважение к другим, которое невозможно без самоуважения, могут что-то изменить. Даже если они не станут вдруг общенародным свойством. Что люди способны поверить меньшинству.

— **А как вы познакомились с Андреем Дмитриевичем?**

— Тут воспоминания Сахарова, Саши Лавута и мои расходятся. Поэтому я точно ответить не могу. Расскажу как помню. В Москве проходил международный съезд генетиков. Это был 1970 год.

Кончился доклад, последним перед перерывом к доске вышел высокий сутуловатый человек и говорит: «Я — академик Саха-

ров. Вашего коллегу Жореса Александровича Медведева насильно поместили в психиатрическую больницу. Мотивы задержания политические. Я напишу на доске мой адрес и телефон. Может быть, кого-то это затрагивает». Все знали о знаменитой первой гражданской публикации Андрея Дмитриевича, вышедшей летом 68-го и прогремевшей на весь мир. Я не был на съезде, но услышал о происшедшем в тот же день. Мы с моим другом Гориком Дворкиным (оба мы знали Жореса) пошли к Сахарову, так и познакомились. Поговорили о Медведеве, подписали некий протест.

Саша Лавут полагает, что мы вместе с ним еще осенью 68-го говорили Сахарову об Олеге Мельникове, студенте-заочнике, одновременно лаборанте биофака. Его прогнали из МГУ, заметив возле упомянутого суда над демонстрантами. А сам Андрей Дмитриевич в своей книге датирует наше знакомство Калужским судом, что и понятно — это было настоящее знакомство, скоро перешедшее в дружбу.

Судили Революта Пименова, Борю Вайля и некую [Валентину] Зиновьеву. Это было ярким, теплым сентябрем 1970 года. Мы с Пименовым тогда не были знакомы. Бориса же до суда не арестовали, мы жили в гостинице, там и познакомились. На этом суде Андрея Дмитриевича пустили в зал, а остальных приехавших, разумеется, нет. Приехали многие.

Очередное дело по самиздату. Зиновьева, третья подсудимая, была аспиранткой и жила в общежитии научного городка в Обнинске. Пименов надавал ей книг и распечаток на папиросной бумаге. Как она утверждала, она никому их не показывала, а держала в чемоданчике в шкафу. Официальная легенда о начале дела: был сильный дождь. Крыша в общежитии текла, и в комнате Зиновьевой образовалась лужа. Уборщица убирала лужу, а тут случайно открылся шкаф, с верхней полки выпал чемоданчик, от удара раскрывшись, и из него выскочили разные листочки и книжки. Уборщица стала все собирать, но видит — что-то не то. Доложила куда следует. Эти легенды писали на раз, не раздумывая.

Наш трижды Герой [Социалистического Труда] сидит в зале. А нас не пускают.

Очень тепло. Окна в суде открыты. И во дворе все слышно! Но тут появляется автомобиль и три человека. Эти трое открывают капот, мотор гремит вовсю, а они в нем ковыряются, но не выключают. Ну, больше не слышно. Понятно, зал набит определенной публикой, душно, окна не закроешь. От рева мотора и в зале плохо слышно, что поделаешь. Итак, среди мобилизованных патриотов только Сахаров и жены Революта и Бори.

Последний день, оглашен приговор (героям ссылка, не помню, кажется, по пять лет; девушке год условно). Первым выходит Андрей Дмитриевич, ни с кем не заговаривает, кивает головой и быстро — на выход и в сторону вокзала. Все удивляются немножко. А тут велят «мобилизованные». И жены выходят — обеспокоенные и скованные какие-то. И вдруг выходит офицер, ищет глазами

кого-то. Останавливается на мне и говорит: «Можно вас на минутку?» — «Пожалуйста». — «Знаете, произошла беда, пропали бумаги Револьта Ивановича, его записи. Кто-нибудь нечаянно вынес». Я говорю: «Да, и что же вы хотите?» — «Понимаете, это большая неприятность, Револьта Ивановича ведь не примут в тюрьму». Я говорю: «Да, это трагедия. Ну что ж, устроим его как-нибудь» (*смеется*). — «Вы смеетесь, а у начальника конвоя будут крупные неприятности. Потеряно много записей, выступление Пименова, его замечания по делу. Это должно быть в деле». — «А почему вы ко мне обращаетесь?» — «Мне показалось, вы свой человек в этом кругу; может, найдете того, кто случайно забрал бумаги? Вы готовы помочь Револьту Ивановичу и ни в чем неповинному офицеру? Вас хотят увидеть прокурор и судья». Я думаю: не нужно отказываться. Но портфель у меня, надо сказать, не совсем безопасный. Я тогда отдал его Люсе Боннэр. С ней мы были уже знакомы. «Люсь, ты не подождешь меня?» — «Конечно, подожду». — «Так, что я буду таскать портфель. Подержи».

Приводят меня в кабинет, там двое — судья и прокурор. Начались невнятные тары-бары. Мол, мы уверены, что бумаги найдутся, что вы в состоянии нам помочь. «Может быть, кто-то их случайно прихватил? Вы, может быть, нам не верите? Пусть Револьт Иванович скажет».

Повели меня в камеру. По дороге я говорю: «Вы же закон нарушаете. Вы же не должны давать мне неоформленное свидание». — «Да ладно!»

Вошли. Сидят там соединившиеся поделщики — Револьт и Боря. Оба такие улыбчивые. Там я с Револьтом и познакомился. И он поставленным голосом говорит: «Мне очень жалко начальника конвоя. Он славный человек, не грубый, нормальный милицейский офицер. У него будут крупные неприятности. Если можно, постарайтесь, чтобы эти записи вернулись в надлежащее место». Он говорит тоном недоумения. Необъяснимое, мол, и неприятное недоразумение. Но ясно, что природу этого недоразумения он понимает. «Ладно, — говорю, — сделаю что смогу». Тащат меня снова в кабинет. Я говорю: «Если вы хотите, чтобы я у кого-то спрашивал об этих бумагах, отпустите меня скорее. Последняя электричка уходит, бегом надо бежать». — «Бегите, бегите».

Могли бы, сукины дети, машину дать. Ну, уж это нет. Встречает меня Люся. «Опаздываем!» Слава богу, от остановки отошел троллейбус с открытыми дверями, мы вскочили в него. Две остановки до вокзала. Поезд стоит. Вскакиваем в последний вагон и идем вперед. Нашли тех, кто был с нами. Несколько хороших знакомых, и Андрей Дмитриевич тут. Он вдруг говорит: «Полез в карман и обнаружил какие-то бумаги. Кажется, они имеют отношение к суду. Как они там оказались, ума не приложу. Что же теперь делать?» Кто-то говорит: «Андрей Дмитриевич, вы не хо-

тите, надеюсь, дернуть за стоп-кран и возвращаться пешком в эту Калугу? Вернем, в конце концов». «Да, надо вернуть. Но до того прочитать внимательно», — говорит Сахаров.

В суде дело было так. Скамья подсудимых, перед ней столик, на нем бумаги. Все толпятся, конвой хлопочет, суматоха. Тут Виля, жена Револьта, говорит: «У меня шоколадка, хочу ее мужу дать, пустите меня, видите, шоколадка, ничего больше нет». Начинается женский базар, ее в конце концов пускают, она сует Револьту шоколадку, а сама берет эти бумаги. Отходит и наталкивается на Сахарова. «Андрей Дмитриевич, спрячьте, вас не будут обыскивать». Он берет и сует в карман. Потому он так быстро и убежал.

Это и было наше настоящее знакомство и происшествие, которое мы часто вспоминали.

— Вас арестовали в Москве, но судили в Вильнюсе. Зачем они вас в Вильнюс отослали?

— Очень просто. Было две кардинальные причины для этого. Первая — ожидался скандальный процесс, каким он и вышел. Преимущество Вильнюса перед Москвой и другими городами состояло в том, что в Вильнюсе не были аккредитованы иностранные корреспонденты. А интерес к суду ожидался большой — и потому, что А.Д. [Сахаров] энергично отреагировал на мой арест, намеревался поехать и поехал на него. И потому еще, что ему присудили Нобелевскую премию. Да и я к тому времени был не то чтобы уж совсем незаметной фигурой. Это одна причина.

Но была и вторая. Был в «Хронике» раздел «События в Литве» — переизложение, а иногда перепечатка материалов «Хроники Литовской католической церкви» — не то чтобы нашего дочернего, но вдохновленного нашим примером издания. Разумеется, с прямыми ссылками на источник. Мы стремились заниматься грамотной журналистикой. Не упоминалось только то, что могло способствовать оперативникам.

Я был тем, кто получал из Литвы сведения и все выпуски литовской «Хроники». Мои прямые и интенсивные связи с Литвой — отдельная песня. Для меня она важна и эмоционально насыщена, но не помещается в это интервью. В двух словах — опять все началось с науки. Коллеги, научные связи, замечательные студенты-дипломники (не в обиду другим, упомяну лишь Аримантаса Рашкиниса). Ребята были приятно удивлены дружеской откровенностью внаучного общения в лаборатории. Ну и пошло — лиха беда начало. Потом и в лагере литовцы были для меня как родные.

Итак, вторая причина моей передачи в руки литовского правосудия — оперативные данные о моих связях с Литвой.

Ну, была к тому же и надежда найти там свидетелей обвинения. С этим в политических делах был дефицит. Не то что в благословенные 30-е годы. Стали уже привыкать к тому, что в таких процессах потенциальные свидетели занимают нравственную позицию. Бывали, конечно, и более покладистые. Но большинство, пожалуй, давали подсудимому хорошую характе-



Депутатские годы.

Начало 1990-х

© Из архива

Сергея Ковалева

ристику. И никаких деталей. А то и вообще отказывались участвовать в следствии.

Ввиду моих обширных связей в Литве рассчитывали найти кого-нибудь. Но не нашли. Я этим горжусь, думаю, что и литовцы могут гордиться.

Был единственный, особый в этом смысле, случай. В «Хронике Литовской католической церкви» появилась заметка об обыске у некоего Гудаса и побоях, сопровождавших этот обыск. Заметка была переизложена в нашей «Хронике», разумеется, со ссылкой. У Гудаса нашли «Эру». Это предшественница нынешнего ксерокса. У нас таких не было, множительную технику КГБ стерег как зеницу ока. А литовцы собирали «Эры» из списанных деталей и печатали на них самиздат.

Гудас был крестьянин, жил на хуторе, на отшибе.

Следствие поддержало позицию, занятую Гудасом. Дескать, он понятия не имел, что было в оставленных у него чемоданах. Просто проезжие попросили его сохранить поклажу, за которой вернуться на днях. Мол, им не с руки возить на машине тяжелую кладь — сейчас их маршрут не туда, куда ее нужно доставить. Обыск-то и обнаружил в чемоданах «Эру». Обыск был, а побоев будто бы не было.

Следователи хитроумно согласились с Гудасом. Он был на фиг им не нужен. Им нужны были «доказательства» лжи в литовской и нашей «Хрониках». Эта логика рушилась как карточный домик. На суде я спросил: «Почему он просто не показал следователям оставленные чемоданы, зачем обыск? И где же хранил он чемоданы?» Судья немедленно отвел вопрос как не относящийся к делу.

А чемоданы-то Гудас закопал в огромной куче песка посреди двора. Песок был для какой-то постройки. Интересное место для хранения случайной, безобидной клади. Следователи знали, что ищут. Не нашли, припугнули хозяина, поколотили — «Эра» и нашлась.

Вот единственный случай, ничего больше в Литве они на меня не накопили.

Не могу не вспомнить дорогих мне литовцев, с которыми дружил до тюрьмы, в тюрьме и после нее. Пятрас Плумпа, Йонас Каджионис, его преосвященство Сигитас Тамкявичюс, Ниеле Садунайте, Йонас Шеркшнис, наши студенты и многие другие.

Детальные воспоминания — о «технических» приемах, об отношениях, о мотивации решений — составили бы добрую половину солидной книги.

В общем, диссиденты жили как жили, а иначе не могли.

— Почему же, как вы сказали, диссидентство работало так и не могло иначе?

— Да просто потому, что это была нравственная несовместимость с советским варварством, пропитанным злобой и враньем. Попытаюсь основать это обвинение на краткой характеристике нашей судебной системы. Примеры из собственного дела.

Моя позиция, заявленная на первом же допросе за несколько дней до ареста, — я не участвую в следствии. Причина — я подробно знаю многие судебные дела этого рода. В каждом из них приговор грубо фальсифицирован. Гарантированная конституцией свобода слова и убеждений представлена как преступное посягательство на законную власть. Процесс не имеет ничего общего с состязательным судом, право на защиту и равенство сторон — жалкая имитация. Суд всецело подчинен политической власти. Я не желаю участвовать в издевательствах над Правом.

Протокол допросов выглядел так. Вопрос — ответ. Отказался отвечать. Изредка я дописывал в протоколе, что отказываюсь не только отвечать на данный вопрос, но и вообще участвовать в следствии. По ходу следствия мои претензии стали опираться на конкретные обстоятельства моего конкретного дела.

Вот моя логика. Обвинение квалифицирует «Хронику» как клеветническое, антисоветское издание. Согласно логике и требованию закона, надлежит, прежде всего, установить событие преступления. Для этого необходимо: 1) установить, что сообщения «Хроники» не соответствуют действительности; 2) эти сообщения — результат вымысла, ведь неверные сведения могли бы оказаться и добросовестным заблуждением; 3) показать, что они носят клеветнический характер, то есть порочат кого-то или что-то сознательно и целенаправленно.

Вот тогда остается 4) — показать, что клевета имеет антигосударственный умысел, это не злобные сплетни, а преступное намерение свергнуть законно избранную власть, по меньшей мере, нанести ей существенный ущерб.

Лишь сочетание этих признаков позволило бы отнести предполагаемые деяния подозреваемого (обвиняемого) к «особо опасным государственным преступлениям» и вменить ему ст. 70 из этого раздела УК РСФСР.

А до того разнообразные вопросы (участвовал ли, с кем участвовал, кто доставлял сведения, кто перепечатывал, как распространяли и т.п.) не просто бессмысленны, но даже неприличны. Не ваше это дело. «Хроника» — анонимное издание, и это не запрещено. Отчего анонимное? Да вот в попытке минимально защититься от вашего наглого произвола. Что тут непонятного?

Ну, это моя логика. А логика следствия была совсем иной. Что за сомнения в том, что событие преступления налицо? Человек, не скрываясь, нагло утверждает: советская власть чинит произвол, суды принимают неправосудные решения, законы плохи, да и те нарушаются. Что еще тут доказывать? Как не клевета? Как не особо опасная?

Словом, в их убогом умишке навеки застрял марксистский тезис: «Право — это воля господствующего класса, выраженная в форме закона». Несколько упрощенный. Но не искаженный.

Теперь о следствии. Довольно долго моя позиция меня никак не затрудняла. Не участвую, и баста. А что вы там пишете — ваша забота.

И вдруг, в конце уже следствия, Истомин (он был командирован из Перми и фактически возглавлял следствие) заявил, что, вняв моей критике, они проверяют теперь достоверность сообщений «Хроники». Я страшно перепугался. Я отрезан от мира, а у них в руках полный набор фальсификаций. Подделают любой документ, состряпают любые показания. Как я могу их разоблачить?

Но ведь я сам поучал их — прежде всего, извольте проверить достоверность сообщений «Хроники». Вот, с запозданием, но взялись. Если требуешь честности от других, будь сам честен. Промучившись ночь, я заявил: «Я меняю свою позицию; готов обсуждать вашу проверку, тем самым участвуя в следствии».

Я зря трусил. Эти ленивые кретины (в следственной бригаде их было 12 человек!) даже врать правдоподобно и то не научились. Я скрупулезно исследовал следственную проверку двух с половиной сообщений «Хроники». И не оставил от этой проверки камня на камне. Жаль, что я не могу втиснуть в интервью хоть один из этих примеров. Они были переполнены нелепостями. Допросы каких-то безграмотных уголовников, сидевших вместе с политзэками, ментов, не понимающих сути вопросов, бессмысленные справки и выводы из них, не относящиеся к делу. Мой подробнейший анализ продолжался несколько дней (и даже ночей. Небывалый случай — мне отдавали бумаги в камеру, разрешивши не гасить свет!).

Почему два с половиной эпизода? Истомин увидел, что выносить дискуссию о достоверности «Хроники» на суд невыгодно, и прервал мою работу. Дескать, сроки проходят, вернемся к анализу, если останется время. «Ну что ж. Значит, возвращаемся в исходную позицию. Я опять не участвую в следствии».

Приведу все-таки хоть беглую характеристику «проверки». Посылается т.н. отдельное поручение в другой следственный орган. Он обязан поручение выполнить. Вот схема запроса: «В таком-то выпуске на такой-то странице антисоветского клеветнического издания (курсив мой) “Хроника текущих событий” излагается ... (приводится текст сообщения)... Прошу вас тщательно проверить...»

Это ведь только еще запрос. Дескать, нет ли неправды в тексте? Но уже в запросе черным по белому — «антисоветское клеветническое». Каков вопрос, таков ответ: «...относительно размещенного в антисоветском клеветническом издании... сообщения... можем сообщить: сообщение клеветнического антисоветского издания... в основном соответствует действительности». Вот тебе на! И таких ответов очень много!

Ну, правда, много и других, с голословным отрицанием: не было такого, да и все тут! Либо же подтверждение или опровержение сообщения заменяется описанием беспросветного прошлого и отвратительного облика упомянутых в нем персонажей.

Но и при «соответствии действительности» находились опровергающие обстоятельства. Вот, например, голодовка в зоне. Да,

была объявлена, но... «есть сведения (!)», что голодающие «употребляли продукты питания».

Встречались и очень изысканные аргументы в пользу позиции, прямо заказанной запросом и прямо внедряемой официальной пропагандой, например: заключенный Я.М. Сусленский не мог участвовать в голодовке, поскольку Я.М. Сусленский в списках учреждения ЖХ (номер не помню) не числится. Впрочем, есть з/к Сусленский Я.М., но он, «по сведениям», принимал пищу.

Я не понимал, что это значит, и несколько дней приставал к Истомину. Тот угрюмо отмалчивался — «Полноте, Сергей Адамович, ну что вы с мелочами?» Наконец объяснил: «Надо писать “Л.И. Брежнев”, а вас так нельзя, вы — Ковалев С.А» *(смеется)*.

— **Потом, когда советская власть уже пала, вам, наверное, приходилось общаться с бывшими кагэбэшниками?**

— Еще бы. И с бывшим моим следователем, Анатолием Александровичем Истоминным. И со многими — с [бывшим председателем КГБ СССР Владимиром] Крючковым, например.

— **Было ли у них какое-то чувство вины или, наоборот, идейная убежденность? Какая мотивировка у них преобладала?**

— Нет, ни того, ни другого. Естественно, прямее всего эти темы затрагивались в разговоре с Истоминным. Но впечатление от всех встреч общее и прочное. Была имитация сожаления о велениях времени и службы. Знаете поговорку уголовников? «Это не мы такие, это жизнь такая».

Попервоначалу чувствовался страх. Кто знает, чем завершатся перемены? Может, будет люстрация, а может, судебные дела. Почему бы и нет?

Они же понимали, что совершали тяжкие преступления даже по советским законам. Это же юристы по образованию, чудовищному советскому образованию, но — юридическому. Им ведь читали теорию доказательств и мягко объяснили, что Вышинский не совсем прав. Они видели в УК раздел «Преступления против правосудия» и знали, какой срок стоит за статьей о фальсификации обвинения.

Но ведь велено же посадить, например, этого Ковалева. А как его посадишь, не вменив фальшак, фуфло. Суд, конечно, свой, но и ты должен суду помочь с приговором. Вы же одна система.

Вот и Ельцин включил суд в правоохранительные органы. А ведь настоящий суд не вмешивается ни в политическую, ни в социальную жизнь государства и населения, не дай бог! Он только выслушивает и оценивает позиции сторон в состязательном процессе. Как раз именно в этом состоит его огромная роль в цивилизованном государстве. Ну как это понять советскому человеку?

Разумеется, упомянутый страх быстро прошел. А теперь возродилась хамская самоуверенность: набольший-то — свой пацан, чекист. И покатило все назад. Еще не так страшно, но уже гаже.

А вот простонародное понятие о законе. Я приехал однажды в Пермь-36, где сидел прежде, где знаменитый, недавно уничтоженный, музей. Там немцы-волонтеры помогали реставрации.



С Андреем
Сахаровым
в Академии наук
США. Нью-Йорк,
1988
© Из архива
Сергея Ковалева

Они расспрашивают нас (мы втроем приехали). А потом позвали Ивана Кукушкина, бывшего мента. Он помнит меня в зоне, и я его помню. Он был неплохой мент. Хороший мент — это ленивый мент. Он не напишет на тебя рапорт без приказа. Вот он после зоны (да еще отсидев короткий срок за драку) стал работать в музее, сперва на пилораме, а потом в охране. Привычное дело — сидит, охраняет, только уже не эсков, а территорию.

Пришел Иван. «Здравствуйте». — «Здравствуйте». Он тянет руку, я ее пожал. Немцы наседают с вопросами, каждый из нас что-то рассказывает. И вот наконец кто-то из немцев: «Как же вы, господин Кукушкин, позволяли себе нарушать закон?» «Этого не было, — говорит Ваня и показывает на меня, — им жилось здесь, конечно, несладко, но закон мы не нарушали». Я ему говорю: «А за что в ШИЗО таскали?» Он отвечает: «Какое же нарушение закона? Вот зам по режиму майор Федоров вызывает меня, спрашивает, написал ли я рапорт на Ковалева. Не написал, я не заметил, чтобы он что-то нарушал. “Иван, тебя не спрашивают, что ты заметил, — говорит Федоров, — тебе велели рапорт написать — вот и пиши, а про что напишешь — это уже твое дело”. Как же вы считаете, что я закон нарушал? Начальник приказал, я должен делать». Он искренен в этой логике. Советское представление о том, что закон, а что не закон.

Конечно, Истомин был образован, а поведение точно такое же. Сказали посадить — значит, посадить.

Офицеры МВД поближе к Кукушкину. Меня привезли в зону в начале января 1976 года, через год с днями после ареста. Поселили в барак номер 1. Щелястый, чудовищный барак. А на дворе то 40, то 45 мороза. Было и 50, но это пару дней. Обычная там температура в самые холодные полтора месяца — 35—40 градусов. Щели заткнуты старыми обрывками бушлатов. Если вы вы-

нете бушлат, то через эту щель вы не свет увидите, вы узнаете человека, который проходит.

Висят два градусника, один в так называемой спальне, другой в коридоре, где умывальник. Я подхожу с блокнотом к этим градусникам и пишу: дата, время, температура там, температура там. На следующий день то же самое. Подходит ДПНК (дежурный помощник начальника колонии): «Гражданин Ковалев, что вы тут делаете?» — «Я тут живу, гражданин ДПНК». — «Нет, а что вы сейчас делаете?» — «Я температуру записываю». — «А зачем вы ее записываете?» — «А зачем вы градусники повесили?»

А в этом «жилом помещении» температура плюс 6, плюс 8, иногда 9 градусов Цельсия. Барак № 2 потеплее, там в эти холода было около 10 градусов, доходило и до 12.

«Так, зачем вы это делаете?» — «Для памяти, гражданин начальник». — «Вы кому-то хотите это сообщить?» — «Сейчас мне некому сообщать. Вы сами видите, мои соседи тоже сами видят». — «Но если будет возможность, вы это сообщите куда-то?» Я говорю: «Непреренно сообщу. Всюду, где только смогу». — «Это, Ковалев, и есть клевета, вы не встали на путь исправления». Я говорю: «Так значит, по-вашему, я встану на путь исправления, если вместо плюс 6 будут писать плюс 16? По-моему, это и будет неправда, а может, и клевета. А я пишу что есть. Какая клевета?» — «Клевета, потому что вы хотите куда-то передать, а мы знаем куда».

А вот прокурор по надзору. Приехал и говорит заключенным, писавшим в прокуратуру жалобы и заявления: «Я не буду рассматривать жалобы, где есть ссылки на конституцию». — «Почему, гражданин начальник?» — «Потому что конституция писана не для вас, она писана для американских негров, чтобы они знали, как хорошо живут в Советском Союзе трудящиеся».

Если бы это была наглая издевка! Боюсь, он был искренен, так и считал, что, мол, конституции для того и пишутся.

Таких эпизодов хватило бы на том. Вся страна жила так. И живет.

© Глеб Морев



ИРИНА КРИСТИ:

«Я антисоветчица, извините, буквально с рождения»

— 5 декабря 1965 года вы принимали участие в знаменитой первой демонстрации в защиту прав человека на Пушкинской площади...

— Если говорить о себе, то началом я считаю все-таки не 1965-й, а 1956 год. Причем я не могу сказать, что я тогда активно участвовала, но в чем-то я, безусловно, участвовала, потому что это были события у нас в Московском университете. В 1956 году у нас исключали студентов за так называемую политику — ну, за то, что тогда называлось политикой. За стенную газету. Это было начало, это как раз совпало с годом, когда Хрущев развенчал культ личности Сталина на XX съезде.

Я была помоложе, те студенты, которые это устроили, были старше, их имена известны. Был Вадим Янков, он есть и сейчас, он жив, в Москве живет. Был и есть Михаил Иванович Белецкий. И вот их просто исключили из университета, они на мехмате учились. У них была газета «Литературный бюллетень», посвященная тогдашним литературным новинкам.

Там было, во-первых, про [роман Владимира] Дудинцева. Из него сделали своего рода знамя оттепели, [22 октября 1956 года] было обсуждение «Не хлебом единым» в Центральном доме литераторов, и там отличился Паустовский, который вдруг выступил и что-то такое сказал, по тем временам совершенно неприемлемое:



Начало 1960-х
© Из архива
Ирины Кристи

Ирина Григорьевна Кристи (25 мая 1937, Москва) — математик. Окончила механико-математический факультет МГУ в 1959 году, в 1959—1968 годах — младший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики, инженер-вычислитель.

В 1965 году участвовала в «митинге гласности». Участница петиционной кампании вокруг «процесса четырех» (1967—1968), один из инициаторов и сборщик подписей под «письмом девяноста девяти» (1968) в защиту А.С. Есенина-Вольпина. В 1984 году посетила в ссылке А.Д. Сахарова и передала международной огласке факт его голодовки. Подвергалась принудительным госпитализациям (декабрь 1965 — февраль 1966, ПБ им. Кащенко; 1972), увольнению с работы (1968, 1976), обыску и допросу по делу «Хроники текущих событий» (1972), «официальному предостережению» КГБ (1974), домашним арестам (1977, 1980, май—сентябрь 1984, после задержания в Горьком).

В 1985 году эмигрировала в США, преподавала математику в Бостонском и Саффолкском университетах. Живет в Бостоне.

что у нас создалась каста партийных работников, мерзавцев и антисемитов, и как они смеют говорить от имени народа... Он никогда так раньше не выступал, а тут, в Доме литераторов, выступил, и ребята в этой газете привели выступление Паустовского. И им вменялось в вину, в частности, то, что они в этой стенной газете поместили это обсуждение «Не хлебом единым» и выбрали только два выступления, резких, «за». Это были Паустовский и еще кто-то — не помню.¹

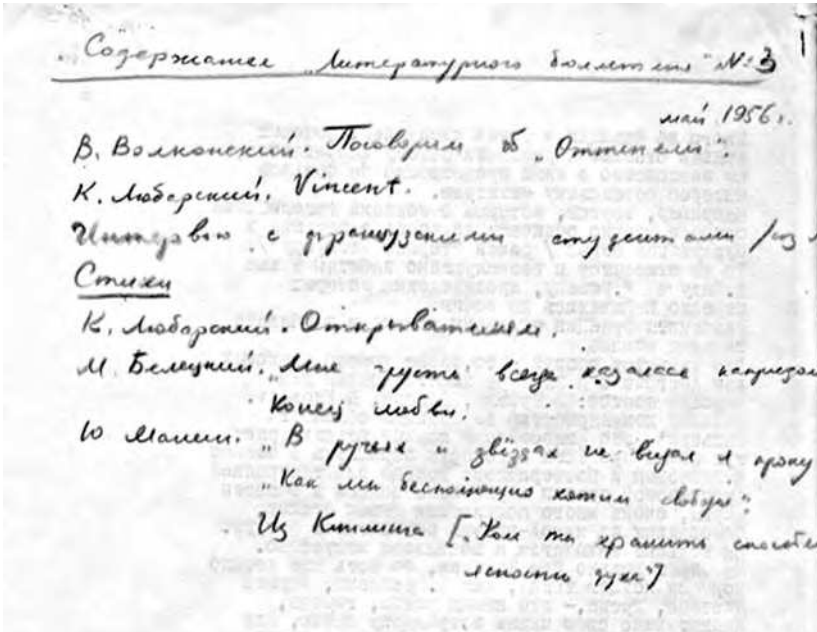
И меня тогда потрясло, что это были мои друзья, а их просто представили к исключению. Такого не происходило на других факультетах. Вернее, на физфаке что-то было похожее, но не столь яркое. А на биофаке за несколько месяцев до этого вообще за кружок формальной генетики выгоняли ребят просто! И грустно, что это тоже с одобрения студентов. И все наши великие ученые, тогда на мехмате их было много — меня потрясло еще, как они себя вели. Эти великие ученые, среди них академик [Андрей] Колмогоров, который тогда [в 1954—1958 годах] был деканом, все очень испугались, растерялись и вели себя так себе. Из преподавателей было только одно интересное выступление в защиту, это [Роланд] Добрушин такой был. Покойный сейчас, к сожалению, а тогда молодой преподаватель. И главное другое — сама атмосфера на мехмате. Может быть, потому что по роду профессии они не были так связаны с идеологией и там кое-кто еще что-то сообщал.

Нас собрали в аудитории фактически их судить. А многие эту газету не читали, потому что повесили на стенку, а потом быстро сняли, и они сказали: а мы не будем судить, потому что мы не читали, позвольте нам прочесть. Но им сказали: нет, это мы не можем, она где-то заперта, далеко лежит. На что они сказали: а ничего, мы подождем. И вот наши студенты проголосовали за то, чтобы газету принесли и прочли. И принесли, и прочли. А там еще была статья Белецкого о Марке Щеглове, она вызвала аплодисменты просто.

То есть им вменялась публикация выступлений литераторов в ЦДЛ, потом статья о Марке Щеглове, где тоже, казалось бы, ничего особенного, но там Белецкий довольно мрачно писал о нашей литературе. И, может быть, он сделал из Марка Щеглова большего идеолога, чем тот был на самом деле, сделал из него политическую фигуру, которой он не был. Эдик Стоцкий, ныне покойный, примерно того же возраста, друг Белецкого, написал о Джоне Риде, что тот заявляет, будто только Троцкий и Ленин верили, что революция продержится больше скольких-то дней, была там такая цитата. И вот за эту цитату их тоже...

Это было событие! Важно само обсуждение и поведение наших великих — без шуток я говорю — ученых. Колмогоров был просто гений, но он был тогда нашим деканом, и, конечно, он не

¹ Имеется в виду выступление филолога-германиста Грейнема Ратгауза на обсуждении романа Дудинцева на филфаке МГУ. — Г.М.



очень жаждал исключения студентов, но как-то не очень за них и боролся. Он считал, что они сами виноваты, особенно некоторые из них. Когда мы узнали о том, что они представлены к исключению, мы поехали небольшой группой на дачу к Колмогорову и там это услышали. Их через месяц только исключили, и в течение этого месяца [23 ноября 1956 года] было еще выдающееся собрание так называемого актива. Это был комсомольский актив, но весь актовый зал был забит, и желающих пускали, правда, сопротивляясь. Собрали студентов, а на сцене сидели все выдающиеся люди, включая ректора университета [Ивана] Петровского, математика. И это был такой скандал, и насколько они все перетрухали! Из преподавателей в защиту студентов выступил один Добрушин. Факультет тогда просто лихорадило, и преподаватели понимали, что мы не учимся, а только бегаем по кабинетам и обсуждаем, что случилось. И вот на наш курс пришел сам Колмогоров кое с кем из провинившихся. А провинившиеся — это были Белецкий, Янков, вообще считавшийся отпетым, [Михаил] Вайнштейн, которого привлекли тогда, потому что он был редактором газеты, и ему это повредило сильно, но к исключению его все-таки не представляли, вернее, представили, а потом отбили. И вот Колмогоров хотел взять кого-то из провинившихся. И он взял одного из редакции этой газеты — Володю Тихомирова. Колмогорову нужно было привести кого-то из бюллетеня, кто признает ошибки. Вот Колмогоров взял его с собой, но в качестве оппонента там был некий Соколовский, он преподавал нам политэкономия. А Соколовский, как я понимаю, был первым, кто увидел эту газету на стене, пришел в ужас и потребовал ее

снять. Колмогоров говорил, в чем они виноваты. Кстати, для меня главным в газете были даже не эти статьи, а то, что газета эта была к 7 ноября, а там был нарисован какой-то символ, типа — пролетарий стоит на земле, разрывает цепи, и на знамени — колокол. То есть это, с одной стороны, к 7 ноября, а с другой стороны, «вы же понимаете, что они имели в виду». Ну вот, начали обсуждать, и Соколовский, с которого все это фактически началось, сказал, что это вроде как нехорошо. Соколовский сказал это, и вдруг Колмогоров наш, который понимал, что чем-то придется пожертвовать, говорит: «Было решено на партбюро это не обсуждать» — то есть прервал его. И все обрадовались, что он это сказал, а Соколовский говорит: «Андрей Николаевич, что же вы человека обижаете?» То есть он его прерывал просто, не дал говорить. И собрание было закрыто. Мы обрадовались, думали, что у Колмогорова в сознании переворот произошел, но на следующий день на собрании комсомольского актива, где это обсуждалось уже подробно, он не то что поддерживал ребят, но держался нейтрально...

Интересно, что Петровский, ректор университета, выступал довольно либерально. Он сказал: «Это все ужасно! Куда мы несемся? Если провести касательную к кривой, по которой мы идем, куда же мы можем уйти...» — надо сказать, что вот эту его фразу я до сих пор не понимаю, хотя я математик все-таки...

И тогда же были венгерские события, было выступление Хрущева, когда он сказал, что пусть лучше студенты идут работать... Мы больше любили Мишу Белецкого, а Янков был такой... более академический, что ли, он и сейчас такой. Он, кстати, до этого объявил бойкот столовой в университете, в том же 1956 году, весной, что тоже невероятно было, за то, что плохо кормят. И тогда его тоже обсуждали и хотели исключить, но все-таки за него преподаватели вступились, потому что он был способный человек. Ну, Колмогоров всегда был за способных студентов. То есть Янков постоянно был в каких-то контрах с администрацией, от него надо было избавляться. Да, еще осенью он заявил, что выходит из комсомола. Белецкий никогда в комсомоле не был, а этот, значит, заявил, что не хочет быть в комсомоле больше. Это почти одновременно с историей с газетой. Поэтому в зале во время обсуждения исключения и об этом спрашивали. Он, конечно, был не очень хороший оратор, что-то мямлил, в общем, сказал, что ему комсомол не нужен. Можете представить, что это было по тем временам.

Кончилось это тем, что Белецкого исключили, он уехал в Ереван, позже вернулся в Москву, потом был участником правозащитного движения на Украине. Янков и сейчас в Москве, и он — один из выдающихся людей этого времени. В этой же компании был тогда Кронид Любарский, он очень дружил с Белецким, но он на год раньше окончил МГУ и уехал. Он был астрономом, и он тогда уже был в Ашхабаде, думаю, только поэтому его это не коснулось.

Тут еще одна интересная вещь: до этого еще, в 1955 году, у нас была небольшая новогодняя вечеринка, которые у нас всегда были невероятно целомудренные, особенно никто не выпивал... Мы просто пошли погулять, у нас была манера — ночью гулять, шляться. А тогда уже стали появляться все эти туристские песни. Окуджавы еще не было, Галича тем более, но такие песни по тем временам тоже не всем нравились. И мы пошли гулять, и в эту же новогоднюю ночь мы повстречали трех представителей класса-гегемона. Нас было 13 человек. И Мишка Белецкий, он был старше на курс и просто к нам пришел. Было 7 мальчишек, 7 девчонок, и нам навстречу шли три представителя класса-гегемона; в результате ножевые ранения получили я и Белецкий. Я — в спину. Вот такая история была. Но из-за этого Белецкий потом пропустил год учебы.

Все произошло между Малой Бронной и Маяковской. Драка случилась просто ни из-за чего. Один из этих трех схватил нашу девчонку за руку, а наш сказал: «Отойдите». А я там вертелась, я понимала, что толку от меня никакого, но отходить нельзя, и я около него вертелась. Я к нему нарочно развернулась вот так, и он ударил меня в правую лопатку. Я поняла, что это не просто так удар рукой, я отбежала к стене и говорю: «Посмотрите, не порезана ли у меня шуба?» А ребята решили меня не волновать и сказали: «Нет». Но у меня потекла кровь, и я поняла, что, конечно, задели. Но я тогда испугалась еще, думаю: что они могут сделать с нашими мальчишками, если они меня так... И тут ко мне подходит Роксана Софроницкая, эмигрантка потом, она тогда диссиденткой не была, но у нее было элементарное чувство справедливости. Вот она подошла и говорит: «Миша не может встать». Ну, тут уже люди прибежали, там были прохожие, надо «скорую» вызывать. Так «скорая» не хотела брать, но тут уже толпа вокруг, и я сказала, что человек умрет сейчас и это под вашу ответственность, и тогда они сказали: «Ладно». И вот они нас отвезли в Склифосовского. А наших ребят, других, потом узнали, потому что они продолжали так же идти по Садовому кольцу, считая, что ничего особенного не сделали. Фамилия того, кто ударил, была Никитин, как сейчас помню, и судили его в феврале или в марте. Он не отрицал, что это он, и поскольку он ничего не отрицал, ему дали три года.

У меня было легкое ранение, но я все равно пошла на первую свою сессию, стремилась побыстрее экзамены сдать, а Миша мог не брать академический отпуск, он был уже на 4-м курсе, но он его взял, и из-за этого получилось через два года ровно то, что я вам рассказываю. А если бы он его не взял, он бы окончил, наверное, и все. Вот такая история. И вот на том собрании политическом обсуждали его «человеческое лицо» и спрашивали, кто может сказать о Белецком что-нибудь хорошее, а там всем было известно про эту драку, и говорили, что он на улице Горького защищал девушку, но уже к собранию тем не менее все это старались как-то замазать.

— **Что вы делали после окончания университета?**

— Ну, жили как-то, как все советские люди жили (*смеется*). Я работала у [Александра] Кронрода. Кстати, это тоже был доволь-



Михаил Белецкий
на 1-м курсе. 1952
© Мемориал

но известный математик. Я работала и принимать участие в движении, можно считать, начала уже в 1965 году. Ну, тогда возвращались люди, уже отсидевшие, а у меня всегда был нездоровый интерес к этому. Я думаю, это какой-то семейный бэкграунд.

— **У вас в семье кто-то был репрессирован?**

— Нет, никто не был. Но у меня были дворянские родственники, меня даже крестил Джунковский.

— **Владимир Федорович? Бывший московский губернатор и товарищ министра внутренних дел?**

— Да-да, он меня крестил. Я родилась в 1937 году. Дело в том, что он был очень близок к семье моего отца, а у меня Трубецкие со стороны отца были... Но я этим не хвастаюсь, это как раз публика в среднем не очень интересная. Со стороны матери предки мои — разночинцы, которыми я больше горжусь. То есть я антисоветчица, извините, буквально с рождения. И мне довелось слышать то, что, может быть, не каждому советскому человеку было дано слышать. Вот меня Джунковский крестил, а через год его расстреляли. Но это со стороны отца, родители мои были уже разведены к тому времени, а жила я в семье матери. И в семье матери у меня был дед-разночинец, и он просто нес всякую антисоветчину в те времена. Сергей Николаевич Иванов, русский, беспартийный.

— **Не любил советскую власть?**

— Не то слово! Он сам был социалистом в свое время, поэтому был особенно разочарован тем, что с этим всем случилось. Потом, его очень беспокоила проблема сельского населения, что сделали с колхозниками, что делают со страной вообще. Но его не трогали. Хотя, я помню, он и в начале войны говорил правду-матку, причем кому попало. Это выглядело как некое чудачество.

Дед умер в 1958 году. Я помню, когда Сталин умер, вот многие рассказывают, как они там радовались, но это неправда. Большинство советских людей проливали слезы.

— **А вы?**

— Я, может быть, в какой-то момент растерялась, такая двойственность была. С одной стороны, все плакали... Дед мой сначала говорил: «Все кончено!» — передавали же до этого, что Сталин заболел. Но при этом он очень нервничал. Потому что понятно, что в России любые перемены — может быть, к худшему. А я еще тогда не осознавала до конца, какой мрачный тип был этот Иосиф, хотя я это все слышала, дед говорил, дома, после похорон, стал рассказывать. Но он вообще много чего рассказывал, что не в каждой семье можно было услышать. Помню, что Калинин умер, и дед тогда говорил, что Михаил Иванович Калинин как-то приехал в колхоз... А он это все знал, потому что к нему в больницу, где он работал, приходили пациенты еще и из деревни, поэтому он ни одного колхозника не пропускал, спрашивал, сколько платят за трудодень, а потом всем рассказывал, какой там ужас. И вот он мне говорит, что Михаил Иванович

Калинин приехал в какую-то деревню и ему сказали: «Михаил Иванович, лошадей нет, пахать не на чем». А он говорит: «На бабах пашите» (*смеется*). Так что я имела некоторую информацию. С Иосифом Виссарионовичем, конечно, у меня потихонечку потом утрамбовалось. И бабушка у меня тоже была такой чудаковатой. Она не была такой интеллектуальной, как дед, но она мне тоже говорила: «Надевай свой пионерский ошейник!» А я так ляпнула в школе, в пятом классе, и это 1947 год. Что самое интересное, тут же одна моя подруга, очень способная армянская девка, пошла и доложила старшей пионервожатой об этом. Но бабушка как-то, в отличие от деда, говорила стихийно. Дед понимал, что за это могут не похвалить, но не мог удержаться, а у нее это просто так было, естественно. И вот подруга моя доложила, и меня тут же отвели к этой пионервожатой. Но странно, что тогда это как-то спустили на тормозах, потому что я, видимо, нравилась этой пионервожатой, и она мне просто сказала: «Сделай доклад о галстук».

У меня родителей не расстреляли, но я всегда сочувствовала репрессированным. Всегда был моим близким другом Григорий Сергеевич Подъяпольский, он был мой дядя двоюродный, и он с детства не любил советскую власть. Он был дядя, но на самом деле он мне был как брат старший, потому что он 1926 года рождения, а я 1937-го, и был момент, когда он был как дядя, а потом как старший брат. И потом, когда я подружилась с [Юрием и Валерией] Айхенвальдами, я и его с ними познакомила, и он просто вошел к нам. А потом он, к сожалению, уже пошел так быстро, что мне не угнаться, и он просто, по-моему, загубил себя. Он умер в 1976-м, когда его в командировку послали с работы, и у него случился инсульт, потому что он ехал с сослуживцами, он был геолог. И вот с ним ехали сослуживцы, которые в поезде завели разговор, что, мол, все вы лезете, диссиденты, чтобы компенсировать свою научную неполноценность, он завелся на эту тему, и у него инсульт случился сразу же. Его отвезли в Саратов, он там умирал, и потом были грандиозные похороны. Он уже был членом Сахаровского комитета [по правам человека], но мне кажется, что он был достаточно уникальным сам по себе и ему не обязательно было вступать в Сахаровский комитет. Он же молодой совсем, ему было 49 лет, когда он умер. Вот мои близкие люди — Подъяпольский, Айхенвальды и Есенин-Вольпин, конечно, куда от него денешься.

— **Расскажите про Александра Сергеевича Есенина-Вольпина; как вы познакомились?**

— Я работала у Кронрода много лет. А тогда появилась мода устраивать всякие физматшколы, где детей учили по особой программе, детей математического склада. Наверное, вы слышали — 2-я школа [Израиля] Гельфанда была, 7-я, которая фактически называлась Кронрода, и был Колмогоровский интернат, где Юлий Ким, кстати, работал. Его оттуда выперли, потому что Колмогоров считал, что диссидентство все-таки мешает. Так вот, я пошла работать не в известную школу, но тоже в физмат. А ушла я туда, что-



Юрий Айхенвальд.
Середина 1960-х
© Мемориал

бы помочь Мише Белецкому, тому самому, который вернулся из Еревана, уже потом был даже в аспирантуре тут, но поскольку у него всегда были такие завихрения, что математик он, может, никакой, а что-то в социальном плане он не мог перенести, то у него какие-то были метания. Ему диссертацию надо писать, а он взял часы в школе, то есть он считал, что лучше быть хорошим учителем, чем плохим ученым. Он взял на себя какие-то классы, это была 1000-я школа, и она была выше уровнем, чем обычная. Но он потом не рад был, что взял это на себя, потому что понял, что одновременно заниматься наукой и работать в школе трудновато. А эта школа одновременно была подшефной Института теоретической физики, где я работала, то есть некоторые желающие могли пойти и в эту школу тоже, и это им не то что засчитывалось, а им разрешали. Я пошла в эту школу отчасти из-за того, чтобы ему помочь, и мы поделили классы. А директор был такой обыкновенный бандит советский, по-моему, но мы ему почему-то очень понравились, особенно Михаил Иванович, но я тоже ему понравилась поначалу. И у нас все силы стали уходить на эту школу, потому что мы заинтересовались и преподавали ребятам так, как считали нужным. Тогда еще происходила какая-то реформа в образовании, если вы помните. И там были разные силы, в основном простые советские учителя. Там было очень много красивых женщин, директор был осетин, он их набирал. Потом там был еще математик в параллельном классе, который вкалывал просто, чуть не 30 часов в неделю имел, что немыслимая нагрузка, но он был практически послабее нас, он мехмат не кончал. Но дело не в этом, а в том, что он был при этом еще парторг там. И как-то он нас сразу невзлюбил, и меня, и Мишку. Может быть, он чувствовал, что мы пограмотнее его математически... Там были разные лица. Там был Николай Иванович Вербицкий, тоже известный учитель, который что-то в свое время писал в газете, когда была какая-то кампания против Эренбурга, что-то такое, и он выступил далеко не за Эренбурга, а наоборот. И как-то я сижу в учительской, и в учительскую входит такая немолодая, старше нас, дама, такая активистка, как мне показалось на первый взгляд, передовая учительница. Это была Валерия Михайловна Герлин, я ничего о ней тогда не знала. Там еще Лева Малкин был в этой компании, [Юрий] Гастев, но я с ними уже отдельно была знакома в это время. И меня всегда интересовали биографии таких людей, которые отсидели ни за что ни про что. А про нее я даже не сразу поняла, что она отсидела, не сразу поняла, с кем я имею дело. А Миша Белецкий сразу понял.

Ну, ее обожали, конечно, ее ученики! А ее мужа, Юрия Александровича [Айхенвальда], тоже обожали, он в другой школе работал. Он как-то их воспитывал немножко не по-советски, назывем это так. И я с ней подружилась, пришла к ним в дом. А это были истоки правозащитного движения — их открытый дом.



*Григорий
Подъяпольский.
Начало 1970-х
© Мемориал*

И вот там я встретила Есенина-Вольпина. Есенин-Вольпин там читал стихи, это был 1964 год, 24 сентября. Я о нем раньше слышала, но лично не знала. И когда я увидела это все, меня поразило, что это был такой открытый дом, сумасшедший дом, как они сами говорили, там кто стоял, кто сидел, и когда Есенина-Вольпина стали просить читать стихи, он читал подряд, не останавливаясь. Его не надо было уговаривать, в отличие от Юрия Александровича, который тоже очень хороший поэт. А Есенину-Вольпину было совершенно наплевать, слушают его или нет. Вот там я его увидела, и он тоже увидел меня, как потом говорил, и, что называется, глаз положил, но это ничего не значило, мы долго просто дружили. Потом была демонстрация в 1965 году, которую он устроил. Моя биография диссидентская началась с этого момента.

— **Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этой акции.**

— Мы дружили, общались. Когда посадили Синявского и Даниэля, мы об этом все знали, и это была его идея, он сказал, что надо устраивать демонстрацию. Причем старая гвардия — а среди них много вполне смелых людей, Юрий Гастев, например, — все они не поддерживали. Слава Грабарь не сидел, но это тоже был очень достойный человек из этой компании. Юрий Айхенвальд, Коля Вильямс. Они все сначала были против и в ужасе, а он упорно говорил, что ничего особенного. Где в законе написано, что нельзя? Все это можно! И многие из старой гвардии старались его отговорить, но некоторые ему помогали, не совсем из старой гвардии, а другие люди. И когда у него позже брали интервью, он говорил, что «наша деятельность не представляла никакой опасности». Но кто ему помогал тогда, он забыл. А он никогда в жизни не мог бы не то что плакат сделать, а даже воззвание на нем написать. Юрий Киселев привез его на площадь, инвалид у нас был такой, без двух ног. И он на своей инвалидной коляске его привез. А то бы он точно сам не дошел.

— **То есть Александр Сергеевич был своего рода чудак?**

— Не то слово! Он совершенно заформализован, не способен на сопереживание. Ему море по колено! Он не способен сопереживать, понять, что чувствуют простые люди. Он считает — ерунда. И когда он сначала считал, что никому ничего не будет, он только один мог так считать, все остальные понимали, что, может, на площадь и надо пойти, но это опасно...

— **А он искренне считал, что никому ничего не будет, или считал, что не должно быть?**

— Вот Есенин-Вольпин написал памятку, как вести себя на допросах, и она написана в привычной ему недоступной форме. И если многие думают, что эта памятка на них так повлияла, я думаю, что они ошибаются и на них повлияло что-то другое, общая атмосфера. С того, что он начал, началось правозащитное движение, и помимо всех этих памяток было просто живое общение между собой людей, не слишком трусливых. И меня потом вызывали на допросы всюду, и Юрий Айхенвальд, который сам сидел,

чуть ли не по ролям со мной допросы разыгрывал. А памятка... Есть статья, что можно отказаться от дачи показаний, — правильно, хорошая статья, и этому он нас учил. Но за это тоже могли судить. А вот врать нельзя. То есть ты отказываешься отвечать, но есть вероятность, что за это тебя привлекут к ответственности; так и было на суде Синявского и Даниэля. Это вопрос сложный, и до этого надо дозреть еще. Про себя я сразу поняла, что пусть лучше меня посадят, но я не хочу давать ни на кого показания. Но во многом он был прав, и демонстрация у него получилась, потому что они просто не знали, что с нами делать. Потом они уже ввели статью, по которой за демонстрацию можно было судить.

— **В 1968 году вам уже пришлось организовывать общественную кампанию в защиту Есенина-Вольпина...**

— Это я лично организовывала, это моих рук дело. Начиная с 1956 года я участвовала как-то в движении, но я была их моложе и еще не созрела для того, чтобы писать какие-то открытые протесты. Но 1956 год на меня так повлиял, что я знала, что на мехмате нужно делать, потому что там было много хороших людей, и я понимала, что я лучше всех могу это сделать, потому что я уже тогда видела расслоение от полных мерзавцев до таких героев типа Вольпина, там есть разные люди, которые постепенно до чего-то дозревали. Для меня был важен этот эксперимент, я понимала, что я с ним справлюсь, и я справилась как никто другой.

Меня пугала напуганная публика именно на мехмате, для меня мехмат был дорог, и я решила, что за это возьмусь. А реально, когда мы узнали, что Алека [Есенина-Вольпина в феврале 1968 года] посадили в спецпсихбольницу, надо было это организовать. Я и Алек уже были близкими друзьями, он меня привечал. Он тогда был женат на Вике Хаютиной. И Вика пыталась его как-то удержать. Ну, естественно, когда клуша живет с орлом, она пытается его удержать. С Викторией у меня тоже были прекрасные отношения, неважно. Но на меня он глаз положил. Тем не менее я не была его любовницей. И я взялась за это письмо. Текст писал Айхенвальд, он выглядел даже мягким, но важен был сам факт, что ученые в это вмешались. И все равно у Алека, по-моему, невероятный иммунитет, и на его месте я бы никуда не уезжала. По-моему, ему вообще из России уезжать не надо было, хотя несколько поздно об этом говорить.

— **Он уехал по своей инициативе или его все-таки выдавили?**

— И то и другое. Перед этим он еще ухитрился со мной расписаться, о чем я жалею.

— **То есть он уехал, будучи формально вашим мужем?**

— Да. И он поставил условие тогда, что не уедет, если не выпустят жену.

— **А почему вы тогда не уехали?**

— А я не хотела уезжать! Во всяком случае, таким образом мне не нужно было уезжать. Есенин-Вольпин, конечно, великий чело-



Валерия Герлин,
Александр Асаркан,
Юрий Айхенвальд.
Начало 1960-х
© Мемориал

век, но в моей жизни он сыграл, скорее, отрицательную роль. И я долго не хотела уезжать и потом уехала все-таки не к нему, а у меня уже был брак с Сергеем Генкиным, у нас ребенок уже родился.

— **Вы же в 1985-м уехали?**

— Да. И тогда тоже были причины для выталкивания нас. Но Сергей Генкин, конечно, не Алек Вольпин, он способен все-таки на какие-то сопереживания. А Есенин-Вольпин — более чем своеобразная фигура!

— **А как это формально разрешилось — он уехал, будучи вашим мужем...**

— А я потом развелась с ним, здесь. Но это было опасно, конечно, потому что он несколько лет кричал на каждом шагу: «Что это Ирочка не едет?» А на самом деле люди поумнее понимали, что он не должен был себя так вести, потому что не для этого этот брак создавался. Просто меня научили мои друзья, Айхенвальды, мне советовали на всякий случай. Потому что я сама была активисткой, со мной могло что-то случиться. И я поддалась на эти уговоры, о чем до сих пор жалею. Тот же Подъяпольский, который тоже был под угрозой, абсолютно это не одобрял, потому что он понимал, что меня эта история поставит в такую странную зависимость.

— **Он знал, что вы не хотите уезжать?**

— Конечно, знал! Подъяпольский был мне ближе Айхенвальдов.

— **А Есенин-Вольпин знал?**

— Конечно, знал! Он давно сам хотел уехать, Алек. Но после «письма девяноста девяти», когда была целая кампания, людей начали тягать. Когда его выпустили, у меня было тяжелым камнем на душе то, что хотя подписывали люди сами, но все-таки очень многие из-за этого организованного мною письма пострадали. А у него эта идея была давно, он еще в 40-е годы написал стихот-



На квартире
Юрия Айхенвальда
и Валерии Герлин,
Москва, ул. Сайки-
на, д. 1/2. 1970-е.
В центре —
Юлий Ким
© Мемориал

ворение, которое кончалось так: «...чтоб от праха моего хоть России не досталось ничего!» Не у всех была такая точка зрения. Его лучший друг Слава Грабарь говорил: «Нет, я никуда не уеду!» Причем умный человек. Алек не понимал эмоций простых людей, что у них могут быть семьи и для человека трагедия, если он поедет, а семья нет, а для Алека не было никакой трагедии, он Вике заявил: «Я уеду». Она сказала: «Я никуда не поеду». И это его нисколько не останавливало.

Но Вика была Вика, а я — я. Для нее было честью вступить в брак с таким человеком. Понимаете, это все-таки сын Есенина. Потом, у него же была мать — выдающаяся переводчица [Надежда Вольпин], она переводила Гете, она была очень самостоятельная, союзписательская такая дама. Она умерла в 1998 году, прожила 98 лет.

Вот его спрашивали: «А на что вы жили в ссылке?» Ведь этот человек мог в ссылке подойти к кому угодно на улице и сказать: «Смерть фашистскому палачу Сталину и бандитскому Политбюро!» Еще Сталин был жив. А они все были ссыльные, снимали жилье, а он мог прийти к ним и устроить такое. И когда его спрашивали, на что он там жил, он отвечал: «Не знаю... Мама присылала деньги». То есть мама, богатая союзписательская дама, посылала деньги взрослому уже сыну в Караганду. Но там же жили все остальные, и все где-то работали, даже Вава [Герлин-Айхенвальд], такая вполне тонкая женщина.

— **Насколько выдающимся математиком он был?**

— Это до сих пор осталось спорным. Спросите что-нибудь полегче. Он считает, что доказал, что арифметика противоречива вообще, что до сих пор спорно. И этого, по-моему, никто не пони-

мает по всему миру, на весь мир, может быть, полтора человека понимают. Но просто для Алека был хороший период здесь, и я считаю, что Россия дала ему больше, чем Америка, Америка ему ни черта не дала. Потому что здесь были люди, которые понимали, что с ним надо считаться, и, будучи натурой противоречивой, он здесь занимался математической логикой. Здесь, в России, он работал в ВИНТИ [Всесоюзном институте научной и технической информации АН СССР], куда его та же советская власть как-то устроила, и та же советская власть была заинтересована в том, чтобы он лучше был в научном советском институте, чем так болтался. Все ученые его знали, логики тоже, они не очень понимали его труды, но все-таки он варился в этой атмосфере и профессионально как-то развивался. Он в чем-то уникальный, поймите, и он перевел [Стивена] Клини, «Введение в метаматематику» [Москва: Издательство иностранной литературы, 1957]; это американский математик, он перевел его, находясь в Москве. И за работу в ВИНТИ ему еще платили зарплату все-таки. Он мог в институт раз в неделю ходить, но должен был ходить, и это, мне кажется, важно было, потому что он общался в этом кругу, даже если коллеги его не понимали.

— **А в Америке было не так? Как сложилась там его карьера?**

— Не так! Из его работ ничего не поняли. По-моему, у меня карьера больше сложилась, чем у него. Ну, у него было все-таки имя ученого, были опубликованы его работы.

— **Но больше все-таки это было имя ученого или диссидента?**

— Да нет, если говорить по научной части, мы совершенно не пересекались в этом смысле с Америкой. Америке было совершенно наплевать, кто там диссидент, а здесь у него было и то и другое, безусловно. И до поры до времени он занимался не математической логикой, а топологией. Диссертацию он писал тут, в России, у [академика Павла] Александрова. Топология — тоже сложная наука, и он действительно там что-то сделал.

— **Но вы сказали, что у него было имя. Диссертации пишут миллионы людей...**

— Да, потому что он перевел «Введение в метаматематику», и это серьезная книга по логике американского ученого. Но перевел он ее здесь, в России.

— **Но перевод — это все-таки не совсем вклад в науку.**

— Не вклад в науку, но эта книга была настолько сложная, что один ее перевод — это подвиг! И он написал к ней комментарий. С какого-то момента он перестал заниматься топологией и стал заниматься математической логикой. Когда здесь в 1968 году был съезд, он уже был диссидентом, он был на этом съезде и выступал. Я просто слышала, что он говорил. И там был ленинградский математик — [Николай] Шанин, ныне покойный, который нарочно публично сказал, что работы Есенина-Вольпина непонятны, и просил, чтобы каждое его слово переводили. И это было воспринято многими людьми, идиотами, извините, вроде как подкоп под него советской власти. А я думаю, что советская власть тут совсем ни при чем,

а это было действительно недоступно никому. И Шанин просил его переводить. Так что этот вопрос остается открытым, и при самом доброжелательном к нему отношении этот вопрос был всегда очень трудным. Он написал какие-то работы уже позже, когда уехал, и тот же Витя Финн говорил, что в этих работах он нашел ошибки, когда ему их сюда передали. И очень может быть, потому что Алек всегда говорил, что он варится в собственном соку. Он вообще не понимал, что такое сотрудничать (и это действительно иногда сложно) с коллегами. И он в полном одиночестве продолжал там писать. Он не был так уж известен в Америке, но на основании этих работ его кто-то пригласил. Но если в Америке приглашают, это не значит, что ему тут же обеспечена какая-то невероятная слава и карьера; это не так. Он должен показать свои труды, доказать, что в университет взяли не просто преподавателя. Ему дали просто преподавать, потому что некоторые его работы были известны, пригласили в Университет Баффало. Но на самом деле эти труды в любом университете можно докладывать только избранному кругу на семинаре, а в университет люди приходят учиться. В этом смысле американские университеты в миллион раз хуже русских, и подготовка американцев, такая обычная, математическая, совершенно никуда не годится, даже сейчас, по сравнению с Россией. Я просто знаю, я там преподавала, работала. Ему дали сначала возможность почитать спецкурс, но его спецкурс никак не мог быть рядовым курсом для студентов, и ему дали другой курс — какой-то рядовой, курс математического анализа, который мог быть где угодно. И это он читал, но его потом оттуда поперли, потому что студенты жаловались, что они платят огромные деньги, а ничего непонятно. Он сам об этом писал с черным юмором, очень мило: «Я обладал возмутительной человечностью. Я не продолжал лекций, когда в аудитории, кроме меня, не оказалось ни одного человека».

— **На что же он жил в Америке?**

— А вы не дослушали еще, на что он жил в Караганде. Не только на мамины деньги. Он же считал, что преподавание — это не работа. А он там преподавал в вечерней школе. Вы представляете, что такое вечерняя школа, да еще в Караганде? Вот пришел странный преподаватель, вечерние студенты в Караганде там в карты играют на уроках и его слушают. А он говорит: «Это не важно. Кому надо, те поймут». Вот можете себе представить, что там кто понимал. И он девочке из «Мемориала», когда она к нему приходила, рассказывал, как работал в Америке, и говорит: «А потом они меня почему-то лишили этой работы. Я до сих пор не знаю почему». Я говорю: «Зато я знаю. Потому что ты никакой преподаватель. Ты устраивал им какие-то контрольные, зачеты?» — «Да, устраивал постоянно зачеты». — «И что было на зачете?» — «Если девочка хорошенькая, я ей ставил пятерку, если не очень хорошенькая, я ей ставил четверку...» Но ведь могли быть и мальчики, вы же понимаете.

Когда он работал в вечерней школе в Караганде, ему все-таки платили. Потом, правда, перестали, но мама посылала деньги. А в Америке, конечно, мама не посылала, но в Америке, если человек не может работать, платят пособие по безработице, а потом есть всеобщее такое пособие. Там с голоду умереть никому не дают. То есть он получал это пособие для бедных. Но поскольку он хоть как-то работал, он мог бы оформить себе social security, и потом он мог быть на старости лет получать немножко больше, чем просто пособие. Однако он не сумел это все оформить.

— **Числился ли он хотя бы формально в университете? Или его просто выгнали и все?**

— Да там никто не выгоняет, это называется — не продлили контракт. Он после этого в Бостонском университете работал. И я в Бостон приехала потом. Вот когда я туда приехала, он уже не работал. И это была его позиция такая, потому что главным для него была не эта работа, а то, что он писал все время.

Но он сам не придавал бедности никакого значения. Кстати, многим старым людям в Америке даже дают квартиры такие программные со скидкой. Так что там иногда даже работать не так выгодно, потому что тогда не дадут чего-то. Он это хорошо понял. А когда я уезжала, я тогда еще работала в институте, и я переживала, что подвожу людей, потому что у меня были другие представления о моих обязательствах, а он мне говорил: «Ну ты же прекрасно понимаешь, что это не работа! Кого ты там подводишь?» То есть тут культ Есенина-Вольпина, и все думают, что он всегда прав, а он не всегда прав. Вот такие дела.

Если возвращаться к тому, как он уезжал: во-первых, он давно хотел уехать. Во-вторых, хотя он все время мне объяснялся в любви, он был женат на Вике. Но когда он получил вызов из Израиля (тогда еще была мода — ехать в Израиль, даже не мода, а иначе было невозможно выехать, можно было выехать в Израиль, а потом ехать куда угодно), Вика, хотя она стопроцентная еврейка, сказала: «Я никуда не поеду!» Она занималась русской стариной, всякими там прялочками, ездила на Север, ей нечего было совершенно делать ни в какой Америке, и то, что она не поехала, она сделала совершенно правильно. Но когда ему жена, любимая или нелюбимая, с которой он ухитрился прожить десять лет, говорит, что «я никуда не поеду», для любого другого человека это было бы трагедией, а для него не было никакой трагедии. И он ей сказал: «А я все равно поеду». Сейчас мы с Викторией дружны, и она мне рассказывала, что он еще считал так, что спасать надо русских, поскольку я не еврейка нисколько, именно таких надо спасать, а еврейка сама выедет. И он это даже недавно написал в мемуарах, я после его смерти, уже сейчас, прочла. При желании можно их издать.

— **А многое не издано?**

— Кое-что не издано. Он никогда не заботился об издании того, что писал. Нужно было, чтобы кто-то это сделал. У него были



*Александр
Есенин-Вольпин.
Начало 1970-х
© Мемориал*

замечательные стихи, которые он здесь еще написал, и была книжка издана, но вы знаете, какой кровью эта книжка далась! Потому что он передал это на Запад, и фактически за это его посадили в психушку. Эти книжки есть, они изданы — его стихи. Потом, есть книжка о нем, которую сделал «Мемориал». Его классические стихи очень хороши, мы все их очень любим, и он некоторые из них издал путем передачи на Запад.

Так вот, русских надо спасать, а евреи и так выедут — он об этом кричал на каждом шагу. Я воспринимала это как треп. Я не очень хотела уезжать, но просто когда он своей любовью меня уже тут допекал, а Вика ему сказала: «Я не поеду, и все!» — он ей сказал: «Тогда я женюсь на Ирочке и ее вывезу». И Вика мне признавалась потом, что это ее доконало. Но забыли спросить саму Ирочку. А он об этом везде говорил, и даже сохранилось его заявление в ОВИР, где он написал, что выедет, только если разрешат вывезти научные статьи, их было много, он от руки их писал. И ему разрешили и даже выделили человека, который фильтровал его рукописи, не вывозит ли он что-то антисоветское. Нет, он вывозил только научные рукописи. И если бы даже не я была, а кому-то еще приспичило, он мог бы так же жениться, просто немедленно, чтобы спасти. К сожалению, я не была стопроцентно уверена, и тут меня еще Айхенвальды сбивали, у них были опасения, что меня тоже могут посадить, потому что были допросы и всякие эти дела, были у меня обыски, поэтому я все-таки поддавалась на эти уговоры. Но я ему тогда сказала, что приеду с вероятностью два процента и еще меньше при этом вероятность, что мы будем вместе. Он сказал: «Это много, меня это устраивает». И мы подписали вместе эту бумагу. Но когда он выехал, он это забыл, потому что он всегда помнил только то, что ему хотелось, и поэтому несколько лет еще он портил мне отношения, говоря: «Почему Ирочка не едет...» — получалось, что я ему морочу голову. Ну, те, кто поумнее, знали, в чем было дело, и они считали, что меня надо вывозить, иначе меня посадят. Я с ним разводилась отсюда. А потом приехала туда уже с мужем и с ребенком, с далеко не молодым мужем, который был уже болен. В общем, это человек более чем оригинальный!

— **Вы хорошо знали Андрея Дмитриевича Сахарова...**

— Сахарова я, конечно, знала! Он появился первый раз у нас в 1970 году, когда судили Революта Пименова, это тоже был известный человек, весьма своеобразная личность, но не настолько своеобразная, как Алек. Это были его слова, что где бы Алек ни находился, он кончит тем, что в аудитории не останется ни одного человека. Он был тоже математиком, занимался своеобразной довольно областью и был очень заметным правозащитником, садился два раза, между прочим. И умудрялся еще так садиться, что за собой тащил сына, его тоже сажали. И еще друга, Бориса Вайля... Так вот, Сахаров пришел к нам как правозащитник только в 1970-м. А до этого он писал трактат[«Размышления



Виктория
Вольпина. 1960-е
© Мемориал

о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе)], мы о нем слышали, знали, но он не выходил буквально на нашу арену. Потом появилась идея, что есть сочувствующие великие ученые, а мы ходили на открытые суды, на которые нас не пускали, мы стояли под дверьми, нас еще там всячески третировали, и была идея, что эти ученые могут пойти в суд и их могут пустить. Но Сахаров долго дозревал до этого. Сахарову, извините, до Вольпина как до Луны, так же как и до многих наших нормальных активистов. Были еще братья Яглом, довольно известные математики, Акива Моисеевич и Исаак Моисеевич, они тоже друзья Алека, и они старались для него что-то сделать. Особенно Акива Моисеевич мне тогда понравился, он был более смелый, Исаак был трусливее, поэтому его покарали еще больше, когда пришли за ними. Вот эти братья Яглом Сахарова знали тоже давным-давно... Акива жил потом в Бостоне, мы с ним дружили. И их очень наказали, кстати, за это «письмо девяноста девяти». Значит, Сахаров пришел к нам, когда был суд над Револютом Пименовым, уже в такой роли — почти как свой парень, хотя до этого не был никаким своим парнем. И вот Яглом рассказывал, что они были с Сахаровым другом и был такой разговор у них. Сахаров спросил: «Когда ты понял, что у нас не все в порядке, в каком году?» — «С самого начала, еще в 30-е». А он говорит: «А я сильно позже». То есть он в 30-е годы не понимал, что не все в порядке. Это было сильно позже, и его прозрение выразилось в том, что он написал трактат. А нашим активистом он стал именно в связи с судом над Пименовым.

У нас был еще Валерий Чалидзе, который был потолковее в правовых делах. Это был тоже очень интересный диссидент, ставивший такие же эксперименты, как Вольпин какое-то время. Только он это делал сознательно, а Вольпин — бессознательно. Именно Чалидзе организовал Комитет прав человека. Чалидзе организовал комитет, куда вошли он, Сахаров и Твердохлебов. При чем Сахаров был тогда совершенный мальчик, а те были опытные люди. Сахаров просто появился, и идея была такая — втянуть ученых в такое дело. Но при этом Сахаров, конечно, никакие вопросы не мог решать сам, он все делал под руководством Чалидзе. И, может быть, даже как консультанта использовал Вольпина, потому что у Вольпина были какие-то познания, а Сахаров никакой не правовец, он просто боролся за справедливость. Чалидзе понимал, что он будет просто писать законы, а Сахаров — имя, которое будет это поддерживать, и под этим именем комитет просуществует. Вольпина он поставил консультантом. И там был еще Эрнст Орловский, были такие чудаки, был еще [Борис] Цукерман, который в Израиль уехал, именно правовики, теоретически увлекавшиеся такими экспериментами. Например, Орловский писал письма еще при Хрущеве, которые заведомо не доходили. Он писал: «Никита Сергеевич, вы говорите, что у нас нет политзаключенных, а что вы на это скажете...» — и отправлял письмо заказным. Письмо не доходило, и потом он требовал за это компенсацию. Чалидзе во все

это вздумалось вовлечь ученых, и там не только Сахаров, а еще [Игорь] Шафаревич был, известный наш ученый, математик. Их туда приклеили как имена, а потом они кончили плохо.

Поскольку суд над Пименовым был в Калуге, мы понимали, что придется туда поехать, и далеко не все отважились поехать туда. Я с Револьтом просто дружила, и для меня всегда были важны личные связи. Мы все приехали, и нас, конечно, никого не пустили. А Сахарова все-таки пустили. А в Калуге в суде был еще узкий коридорчик, и Револьта вели прямо мимо нас; для нас это был подарок, что он нас видел, мы могли его ударить по плечу там и так далее. И он потом рассказывал, что для него это была колоссальная поддержка. Так вот, его проводили мимо нас, потом явился Сахаров, а Чалидзе пытался его сопровождать. Его спросили, как его фамилия, а он сказал: «Я академик Сахаров, хочу присутствовать». Все легально вполне, тут еще была такая игра в легальность. А Чалидзе сказали, что нет, сопровождать нельзя, но Сахарова пустили. И он там сидел и записывал. Ему сказали: «Академик Сахаров, вы не должны это делать». А он говорит: «А что здесь такого? Я ложь не пишу!» — «Зачем вам нужно, чтобы ваше имя трепали западные радиостанции?» На это он тоже им что-то там достойно ответил. Конечно, он очень светлая личность, и потом он тоже набрался опыта, когда стал с нами совершенно «своим парнем».

Юра Айхенвальд потом создал поэму «Листопад в Калуге», где все это в какой-то мере отражено, в том числе и наши все портреты. И Сергея Ковалева, помню, я первый раз там увидела. И Револьт, когда его проводили мимо нас, успел мне пожать руку и крикнул: «Айхенвальда позови!» — «Зачем?» — «По поводу Литвинова—Богораз». А уже до этого было обращение Литвинова—Богораз, и Айхенвальдов потом за эти подписи выгоняли с работы, нас всех выгоняли за подписанство, потом их все-таки восстановили, случилось такое чудо. Потому что Вава, его жена, быстренько все это записала и тут же запустили в самиздат, и в книге [Айхенвальда «По грани острой» (Мюнхен, 1972)] это хорошо описано, «Как нас увольняли» называется. И Револьт понял так, что раз они подписывали письмо Литвинова—Богораз и их все-таки восстановили, получается, что ему нельзя ставить в обвинение это письмо. А ему ставили в обвинение текст этого письма тоже, распространение. Идея была бл*дская, простите, напоминающая: а почему этому ничего не было, а его за это... То есть он был не всегда этичен, у Револьта Пименова с этикой было так себе, поймите тонкости этого дела. Айхенвальды сказали, что не ехать нельзя, раз Револьт зовет, а им совершенно не хотелось ехать, особенно Юре. Юра умирал от страха.

И дальше на этом суде была такая история, что Револьт умудрился через конвой передавать как-то записки, а Виля, его жена, ее тоже пускали в суд... или чуть ли не ей он как-то сунул... Короче говоря, мы стоим в коридоре, жена Пименова — а она была

нервная такая женщина — выходит и говорит: «Ах, какой ужас! Там пропали какие-то документы, я боюсь, что у Револьта будут неприятности, ах, папка...» Какой-то странный душок актерства был в ней, я ее знала не такой раньше, то есть она явно переигрывала. Я сразу поняла, что тут что-то не то. И тут наши мужчины встали на ее защиту, [Юрий] Шиханович, Ковалев, мол, отстаньте от бедной женщины. Но ей объяснили, что хуже ее мужу не будет, чем то, что уже произошло. И Люська Боннэр там стояла и тоже ей это объясняла. А я ее тоже немножко встряхнула, говорю: «Как тебе не стыдно, держи себя в руках!» А она мне говорит: «Дура, я притворяюсь». Потом еще пропустили нашего, пошел Ковалев. Возвращается и говорит: «Надо пойти поискать Андрея Дмитриевича. Они там затеяли какую-то липу, я боюсь, что кончится все обысками». А мы там все с портфелями, у кого что там. А суд уже кончился, это было уже после объявления приговора, но еще их не вывели. Мы хотели их дождаться, чтобы еще раз на них посмотреть, если будет возможность. А Андрей Дмитриевич вышел до этого, и Чалидзе так за него боялся, что еще ему выделил телохранителя, какой-то парень с бицепсами рядом с ними стоял, и они отдельно снимали там номер в Калуге. А мы все ездили в Калугу. Они раньше нас ушли, и мы даже не спросили, куда он идет. И Люся Боннэр с Ковалевым пошли искать Сахарова. Мы стояли там, ждали, а Ковалев нам сказал, что лучше, наверное, уйти, потому что могут быть провокации. По дороге я сказала Шихановичу: «По-моему, они там действительно что-то стащили, судя по тому, что Виля мне сказала...» И когда мы были уже в поезде, Ковалев нам сказал просто: он знал, что они нечаянно, по ошибке — хотя это, я уверена, не по ошибке было, — увели папку из суда, Андрей Сахаров по профессорской рассеянности ее унес. А на самом деле эту папку Револьт передал академику. И он потом уже уехал, позвонил и сказал: «Извините, я по рассеянности забрал у вас папку».

Потом папку вернули. Но там были записки Револьта, которых в ней уже не было. Вот это первый был такой поступок Сахарова, когда мы увидели уже, что вроде как это свой парень оказался.

— **А что за история с вашей поездкой в Горький? Это уже 1984 год.**

— Это уже совсем другое. Сахаров же за свою жену был горой, он из-за нее голодал, а она хотела выехать в Европу. И ее один раз даже пускали, а потом еще раз надо было пустить. Был момент, когда он был арестован и в Горьком, а ее пускали [за границу]. Был момент, когда к нему даже в Горький кое-кого пускали. То есть нам, простым людям, иногда удавалось увидеть Сахарова. Вот Марья Подъяпольская, еще кто-то ездил. Но тогда было так, что он был охраняем, а она свободно могла ездить как жена. Это было до поры до времени, до 1984 года. И мы, диссиденты, ходили к ней, когда она приезжала в Москву. У нее у двери тоже стоял конвой, но мы этому конвою показывали документы, и они нас



*Александр
Есенин-Вольпин.
1960-е
© Мемориал*

пускали внутрь. И она рассказывала, как там все происходит. Против нее велась кампания, всякие гадости писали. И мы поняли, что что-то происходит. И те, кто ходил к Сахарову, — я, Маша Подъяпольская, Борис Биргер, художник, Лена Копелева, которая, кстати, никогда ничего не боялась, жена Славы Грабаря, потом Руфь Григорьевна еще была здесь, мать [Елены Боннэр], — ну вот нас было несколько человек, которые следили все время за тем, что происходит, уже по-родственному так. Вот тогда мы поняли, что с ней тоже что-то случилось, может быть, даже посадили ее вместе с ним. И я, недолго думая, решила, что я поеду. Я знаю, что, если надо, я могу пройти сквозь стену, и решила ехать. Я понимала, что если и Люську там задержали, все намного хуже, но я верила в себя. А у меня был уже маленький ребенок, я была замужем за Сережей, и этот бедный Сережа не решился мне возражать. А моей матери, которая начала кричать сразу, я тоже сказала, что еду, но без подробностей. Ко мне пришла тогда Машка и нарисовала мне схему, как пройти, потому что я в Горький ехала впервые. Я знала, что у меня получится, но какой ценой...

Маша мне нарисовала, как доехать, и говорит: «Они там выходят на балкон, и ты сможешь их увидеть, может быть, успеешь даже что-то сказать». Я сказала еще Юре Айхенвальду, и он был в таком ужасе: «Я так боюсь за тебя! Они сейчас такие злые...» В общем, он потом и общаться со мной боялся, не мог это все пережить. И я купила билет на поезд и поехала.

Я вышла, и я все равно считаю, что везучая, потому что не всегда просто было их увидеть, и мы не знали точно, что с Люсей. Я пошла по этому плану Марьи Гавриловны, вижу этот балкон и вижу издали уже, что на балконе стоит Люся, она очень представительная дама была, очень заметная внешне, вроде как цветочки сажает на балконе. Это был второй этаж, по-моему.

— **Первый.**

— А около Люси какой-то провинциал, как мне показалось, топчется. И вижу — кто-то топчется возле балкона, разговаривает, а она на балконе. Я потом уже поняла, что это академик, когда прибавила шагу. А я еще для виду купила цветы для них. И они мне успели сказать все, что надо было в этой ситуации сказать. Я, значит, подхожу и говорю: «Люся, что с тобой?» Она говорит: «Мне предъявлена статья 190-я». А академик сказал мне, глядя прямо в глаза (и я ему верила даже больше, чем ей): «Я буду голодать, пока ее не отпустят». Главное, что они все это сказали. И Люся мне еще сказала: «Передай Машке и Ленке, у них ключи, чтобы они мои цветы поливали, еще что-то, чтобы взяли у меня брюки в шкафу...» Она начала тратить время именно на это. Я говорю: «Люсенька, я постараюсь. Но, по-моему, уже никого не пускают в твою квартиру». — «Как, мои цветы никто не поливает?» Она очаровательная женщина, ничего не скажешь! А Сахаров сказал: «Держись от нас подальше» — когда я уже по-

дошла к ним на глазах у милиции. И она мне говорит: «Ну вот, сейчас уже идут тебя арестовывать...» Я говорю: «Хорошо». Подходит мильтон и даже так с участием говорит: «Пройдемте». А я даже не думала сопротивляться, говорю: «Хорошо, пройдемте». У них там было здание типа опорного пункта, я пошла туда и там долго сидела. А потом пришел специальный уполномоченный, который за ними наблюдал, фамилия у него была Снежневский, и он начал меня спрашивать, а я и говорю: «Я просто в гости приехала». Он: «А где вы работаете?» — что-то еще стал спрашивать. Я в этот момент была уволена, давала уроки на дому, и я говорю: «Я не работаю. У меня инвалидность, 29 рублей получаю». Он говорит: «Хорошо живете на 29 рублей — ездите, путешествуете... Сейчас сделаем вам досмотр, запишем все». И они меня посадили в КПЗ, как пьяных там сажают, проституток на сколько-то суток. Он сказал, что утром будет суд за хулиганство. И он объяснил почему: «Когда вас забирали, вы милиционеру кричали: «Уберите руки!» А я говорю: «Ничего подобного не было!» — «Вы на меня голос не повышайте. Вы нарушили, конечно. Будем вас судить, разбираться». Я сказала, что у меня ребенок вообще-то, трех лет. А он говорит: «Ничего, с соседкой побудет...» — «И что вы собираетесь мне за это дать?» — «Ну, может, 10 или 15 суток». Это он мне так неофициально сообщил. Пришла женщина, сделала мне личный досмотр, догола меня раздели, ничего у меня не нашли, естественно. Меня отвели в КПЗ. И как они мне хамили, обращались грубо! Привели меня в камеру, там параша, ведро с водой... Он думал, что я здесь заскучаю, если мне дадут 15 суток, а я думала, что отдохну как раз здесь. На другой день меня отвели в суд, я понимала, что все решено, но я сказала, что это мои хорошие знакомые, я приехала просто повидать их и все такое, в квартиру я не вошла... А там было написано, что я ломилась в квартиру, даже свидетель нашелся, и кричала: «Лена, Лена!» И судья претендовал на такую культурность, он говорит: «Но вы же умный, взрослый человек, не могли не знать, на каком положении находятся ваши хорошие знакомые». Я говорю: «Ну и что? А что я, собственно, сделала? Я просто их увидела на улице». Это был их недосмотр, видимо, что я смогла подойти. Ему сказать было нечего, короче говоря, и все. А потом приходит ко мне снова Снежневский и говорит: «Вам присудили штраф — 29 рублей». Который я до сих пор не отдала (*смеется*).

Он меня спросил, что я собираюсь делать дальше. Я сказала, что собираюсь ехать домой, у меня ребенок... А он говорит: «Хорошо, а вы не собираетесь к Сахарову еще заходить?» И я ему совершенно честно сказала: «Нет, не собираюсь». А зачем? Я уже и так все поняла, и мне нужно было с этой информацией доехать до Москвы, я считала, это моя цель. Я так и сделала. И когда меня отпустили, я еще из автомата пыталась дозвониться в Москву если не домой, то Юре Айхенвальду, который матерился, весь дрожал, но хотел все знать при этом. Но все автоматы были перекрыты, то

есть он меня слышал, я его — нет. Кто их знает, они все могли сделать... Я приехала в Москву без всяких препятствий, и оказалось, что моя мать устроила панику там, она уже решила, что тут что-то не то. Айхенвальды приехали и ее успокоили. И Сережка мой был в панике, он опасался худшего исхода. Я потом спрашивала: «Какого худшего исхода? Ареста, что ли?» Он говорит: «Да». Мне потом Маша сказала: «Наверное, он думал, что тебя убили». Я говорю: «Нет, он не такой дурак, ясно, что меня не убьют». Это, конечно, и Айхенвальды понимали тоже. Но была жуткая паника. И когда я приехала и рассказала это все бедному Сережке, я понимала, что нужно это сразу объявить, и он даже сказал, что надо объявить, но как это сделать — нужно подумать еще. И он сказал: «Нужна ли тебе эта мировая слава — неизвестно. Ты тогда уроки не сможешь давать».

В общем, я поехала к Марье Гавриловне, я ждала гостей вечером, потому что я всем нашим сказала, что смогу все рассказать, когда придут гости. Сережа на работу пошел, он не знал подробностей. Я приехала к Маше, все это написала, Копелевой все это написали, и она сказала: «Сейчас попробую передать Биргеру, тому, сему...» А я Машу слушалась, когда надо принять какой-то политический шаг. Там был еще [Борис] Альтшулер, но его я не так знала, а с Машей я была близка. И она мне сказала: «Просто сейчас же напиши, мы прямо сейчас пойдем, звони в посольство из автомата». Я звоню в посольство, Роберт Колман, американец, подошел. Я пыталась говорить по-английски, довольно хреново, и он мне говорит: «Можете говорить по-русски?» — «Могу. У меня сведения о Сахарове, довольно срочные. Можете прийти вечером?» И он правильно среагировал, он говорит: «А нельзя ли прямо сейчас?» — «Да, можно». И мы с Машкой взяли такси, моего сына взяли, сели в такси и поехали ко мне домой. На Малой Грузинской у меня была квартира. И буквально мы приехали — уже телефон был отключен, но еще не пришли, охраны еще не было, я вошла в свою квартиру свободно. И эти ребята успели ко мне приехать, это были [корреспондент Associated Press] Сергей Шмеман и Роберт Колман из посольства. Я им это все рассказала, они меня даже сфотографировали, я сказала: «Только без сына». И посольством, конечно, это было тут же объявлено, но тогда так глушили, что кое-что было не объявлено поэтому. Да, они сфотографировали меня. Они спросили, конфиденциальная ли это информация. Я сказал, что нет, можно все публиковать от моего имени. И они сказали: «Если что-то с вами случится, сообщите». Я ответила: «Насколько могу, сообщу». После чего, буквально при них еще, приходит бедный Сережа... и он растерялся. Хотя он был к этому готов, но он не понял, что все произойдет так быстро. Но я сама не знала, я думала, что придут гости, я им просто расскажу. Ну, я была наивная, но мы сделали все правильно, и Марья Гавриловна больше всех мне помогла. И тут Машка тоже сидит, заходит Сережа и мне говорит: «Что

делать? Я не знал, я пригласил ученицу». А ученики часто у нас были с улицы. А Маша говорит: «Ничего не будет». Но просто Сережа очень боялся... Я думала, что у меня еще есть время, это было лето, вечером придут гости, а было четыре часа дня: я выйду, куплю в магазине что-нибудь сладкое к чаю... Пошла, купила сладкое, а возвращаюсь обратно и вижу — у моих дверей уже стоит пост, парень или двое. И он говорит: «Извините, но сюда нельзя». Я говорю: «Как так нельзя? Я здесь живу!» Он говорит: «Документы». Я показываю паспорт, он говорит: «Извините, пожалуйста» — и пропускает. Я захожу, там сидит Машка, Сережа дает урок. И когда я сказала, Сережа, конечно, очень испугался за девочку просто, как она выйдет отсюда, ученица, совершенно с улицы. А Машка мне говорит: «Ну, вы сделали все вовремя». Потом девочка прекрасно вышла, а гостей, конечно, ко мне не пустили и даже все сумочки у них обыскали, все такое. Машка тоже вышла благополучно. А мы сидели в своей квартире, но все-таки могли выходить первые два дня. Это было 6 мая, а мы еще в День Победы могли выйти на улицу, пошли вместе с ребенком. А моя мать, дуреха, еще решила, что уже все в порядке, раз я вернулась, она отправилась в квартиру Сережи и в депрессии валялась, даже не отвечала на звонки. Но потом ей все же дозвонились, когда мы уже были под арестом. А она уже думала, что все кончено, раз я вернулась.

— **То есть вас выпустили 9 мая погулять...**

— Да, но пост все стоял. А потом я попыталась выйти из квартиры — нельзя вообще. А там уже знали, что я выходила 5 декабря, потом 10 декабря, у нас это были регулярные уже выходы на площадь. Как смеялся Айхенвальд — «митинг гласности молчаньем». То есть молча мы приходили к Пушкину, снимали шапки, но ничего другого не предпринимали. Мне такое и раньше устраивали — такой домашний арест, но всего на один день. Я решила, что это опять домашний арест, только он оказался на четыре месяца.

— **Четыре месяца вас не выпускали из квартиры?**

— Да, меня не выпускали из квартиры, но настоящий домашний арест начался после 9 мая. Причем главным злом была я, поэтому мне разрешали выйти, погулять с ребенком, в магазин, но эти «кавалеры» меня всюду сопровождали. Они там жили круглые сутки.

— **И они как-то объяснили свое поведение?**

— Конечно, нет! Это же просто исполнители. К тому же они говорят, что они из милиции, а на самом деле нет.

— **А какие-то формальные обвинения вам предъявили?**

— Нет, что вы! И нас так продержали четыре месяца. А потом сняли. Когда Люську Боннэр осудили, тогда нас отпустили. Мы были в таком режиме. А Сережа бедный ведь работал, и он сам явился ко мне, они про него не знали, что у меня муж есть. Но вот Сережа сказал: «Я сам пришел в тюрьму». Он им сказал: «Я муж хозяйки дома». А они ничего не знали, проверили его паспорт, и он так со мной вместе и сел. Но у него был более щадящий ре-

жим. Он говорил: «Мне на работу». И его отпускали на работу, но сопровождали каждый раз туда и обратно. Самое интересное, что работа у него была такая, институт, что он мог оттуда звонить, что угодно. Но Сережа, по-моему, все это перенес хуже, чем я. Он потом заболел рассеянным склерозом, и мне кажется, что началось все с этого. А я как раз легко переносила это. И он, уходя, тогда даже сказал: «Я не знаю, вернусь ли я». А я сказала: «Ты, конечно, вернешься, но они тебя тоже будут держать». Но я просто была плохая подсудимая, а он получше. Или он им сообщал: «Я хочу вместе с сыном прогуляться, пойти в гости к тетушке, которая меня воспитывала, когда мой отец был расстрелян». Нет, они его отпускали — к тетушке, еще куда-то.

— **И когда Елену Георгиевну осудили, они ушли?**

— Я не знала, осудили ли Елену Георгиевну, но я догадывалась, а потом узнала, что да. Тогда мы могли только догадываться. Меня друзья учили, Айхенвальды те же, не вступать в разговоры, и я с этими охранниками не разговаривала особенно, тем более эти не совсем гэбэшники были, а из милиции. Когда они за мной ходили, я по-разному вела себя, но держала с ними дистанцию. Но все-таки, когда они ходят со мной и со мной еще ребенок, трудно совсем ничего не говорить. Я писала письма наружу, выходила, спрятав конверт, а мне не разрешалось, я должна была им показывать. Но я скорее умру, чем покажу. И вот иду с одним, который, помню, претендовал на то, что он такой интеллигентный человек, цитировал Анатоля Франса... Ну, они разные были! Так вот, мы шли, и я письмо прятала, а потом так бегу и раз — письмо опускаю. А у них было такое требование, чтобы я письмо, прежде чем опустить, показывала им. Я опустила, а он мне говорит: «Что это вы с нами не посоветовались?» А я говорю: «А почему это я должна с вами советоваться? Вы меня, пожалуйста, не путайте со своими сотрудниками, я у вас не работаю». На что этот дурак мне говорит: «Чтобы у нас работать, это надо еще заслужить». И я ему говорю: «Чтобы быть бандитом, тоже еще надо заслужить». И он так обиделся и сказал: «Дура набитая!» *(смеется)*. У нас с ним идеологии были разные. Там были разные, и с некоторыми Сережа даже беседовал, рассказал, что у него отца расстреляли в 30-е годы. А они ему говорят: «Если бы сейчас были 30-е годы, вас бы в живых уже не было». А Сережа говорит: «Кстати, вас тоже» *(смеется)*.

Нас посещали. К нам не пускали, но были отдельные исключения, когда они разрешали поговорить в их присутствии. Причем были очень известные посетители, такие, как Лена Копелева, Марья Гавриловна Подъяпольская, которую знали просто настолько хорошо... Они слушали просто наши разговоры. Бывало, что они кого-то выпроваживали. Был случай, когда не пустили внутрь даже Сережиного брата, который приехал из другого города. Был случай, когда я не стала ничего просить, а Сережа сказал: «У Иры сегодня день смерти отца, он похоронен в Пер-



*Егорьев
1984 год*

Елена Боннэр
и Андрей Сахаров
в Горьком. 1984

© Мемориал

хушкове, и она туда ездит». И они говорят: «Пожалуйста». А им было скучно сидеть все время так, и они там резались в домино. И они сказали, что будут меня сопровождать. Они ехали со мной, но думали, что это будет на машине, а я на машине доехала до Перхушкова, а там еще пешком шла, он похоронен там на деревенском кладбище. Они, бедные, так и шли со мной всю дорогу. И на кладбище какая-то женщина говорит: «Это что, ребята с вами?» Я говорю: «Нет». А я никогда не говорила, что они со мной. Они же не мои приятели, я их не приглашала. Вот Илья Бурмистрович — тоже наш друг, сидел за самиздат — если приходил к нам на площадку, мы ему даже чай на площадку подавали, раз его не пускали, при них. А я его еще просила починить что-то, а так сама чинила всю технику в доме, и когда я говорила, что мне надо туда-то, меня обычно пускали.

— В общем, через четыре месяца они ушли и вскоре после этого вы уехали?

— Когда нас отпустили, мы уехали сначала в Коктебель, просто отдохнуть на месяц. Даже с ребенком. Осенью мы отдохнули. Но я уже понимала, что будет какое-то предложение, потому что тогда звонили некоторым, кто был в отказе до того, предлагали уехать.

— Вы ходили в отказе?

— Мы один раз подавали на выезд, но нам отказали. А тут никакой подачи не было, мне просто позвонили и сказали: «Мы готовы вас отпустить». Вот буквально по телефону из ОВИРа. Это очень мало кому так звонили, единицам до этого.

— А задолго до этого вы подавали, в каком году?

— Мы вообще подавали года за два до этого, и нам отказали. И когда они звонили, это был просто предлог такой. Было просто несколько людей, которые им надоели, и они считали, что эти люди должны уехать. А Люся Боннэр считала, что это Сахаров мне свободу подарил (*смеется*).

© из архива Веры Лашковой



«У нас не было желания увидеть зарю свободы»

— В интервью Ярославу Горбаневскому вы говорите, что основным фактором, повлиявшим на ваш жизненный путь, были ваши друзья, общение с ними. Кто были эти люди, с кем вы общались в середине 1960-х? И как это общение привело вас в политику?

— Жизнь — это такая непрерывная вещь, такой непрерывный процесс, который все время не контролируешь с точки зрения того, что во что и как переходит. Поэтому трудно сказать... Я познакомилась со всеми моими будущими друзьями почти сразу, окончив школу. Это было связано с Ленинской библиотекой. Потому что моя очень близкая подруга Нина Серебрякова — мы с ней родились и выросли в одной квартире на Кропоткинской, ныне Пречистенке, — когда окончила школу, пошла работать в Ленинку. И через Ленинскую библиотеку возникла масса знакомств. Я стала туда без конца ходить и читала. Я была постоянной читательницей Ленинки.

— Но в Ленинку не пускали без высшего образования.

— А мы ходили в юношеский зал, сбоку, со Знаменки.

И я очень хорошо запомнила, например, знакомство с Анатолием Эммануиловичем [Красновым-]Левитиным, который был для меня просто столпом и утверждением истины во всех смыслах. Он и сам по себе, конечно, был блестящий, замечательный человек, эрудированный. Он вообще педагог был по призванию и по сути своей. Он очень нас всех любил, можно сказать, наверное, какой-то отеческой любовью, не педагогической. Он как-то привлекал к себе тем, что все знал. Мне казалось, что он все знал о литературе, о театре, которым я тогда очень увлекалась. Анатолий Эммануилович — один из главных людей в моей жизни. Он сидел, вы знаете, тогда [в 1949—1956 годах]. Он был публицистом, писал о проблемах церкви. А я в то время уже научилась печатать.

— Вы говорили, что у вас была религиозная семья. Вам эта тематика была не чужда?

— Совсем не чужда. У нас была сложная семья — мы с мамой жили в Москве, а мой отец не жил с нами, потому что не хотел переезжать в Москву, и жил в Смоленске. Он был традиционно верующим человеком. Он был воцерковлен, для него это было главным в жизни. Например, у него был замечательный голос, он всю жизнь пел в Смоленском соборе, но в любительском хоре, конеч-

но, не в профессиональном. Никогда этого не скрывал, никогда от этого не отрекался и просто жил этим. Наверное, я что-то от отца переняла. Помню, мы к нему ездили, он к нам приезжал. В конце жизни они стали жить вместе, мама и папа, и мама в конце концов уехала к нему, выходила его после инфаркта и осталась жить там. А я-то вот как раз осталась жить одна. Что и явилось залогом, так сказать, всех моих дальнейших дружб. Потому что у меня можно было собираться, я была одна, никто меня не контролировал.

— **У вас была отдельная квартира?**

— Комната в коммуналке! Тогда ни у кого не было отдельных, у меня не было таких друзей. А поскольку какие-то корни ребенок выпитывает... Я помню, когда мы жили у отца в Смоленске, первое, что я видела, когда открывала глаза, — у папы был красный угол, и я видела спину отца, который стоял и молился. И так как-то что-то прививается. Хотя потом отступает, ослабевает, тем не менее.

Когда я познакомилась с Анатолием Эммануиловичем, был просто поток его эрудиции, все было страшно интересно, все, что он рассказывал. Он рассказывал, например, что слушал Троцкого мальчишкой, и он ярко очень это все рассказывал, и хотя Троцкий мне как-то не нравился, но все равно это было очень интересно! Он о театре рассказывал... Кстати, о своих сидениях не помню, чтобы много рассказывал. Но обо всех, с кем он имел какие-то встречи, дружбу, и это все было очень интересно. Очень!

Я могла его слушать без конца, просто открыв рот. Потому что все, о чем он говорил, я не знала, это было необычайно. Он рассказывал о Мейерхольде, его можно было спросить обо всем! И он обо всем насыщенно и ярко рассказывал. Вообще он сам по себе был человеком чрезвычайно интересным. Нам он казался довольно пожилым, а потом я поняла, что он был тогда еще совсем не старым человеком, ему было около пятидесяти. Вокруг него собирались Женя Кушев, Люда Кац, ставшая потом Жениной женой, и многие, потом ставшие церковными деятелями, Володя Бороздинов, например.

Вера Иосифовна Лаикова (18 июня 1944, Москва) — правозащитник. В 1965—1967 годах училась на режиссерском факультете Московского института культуры (вечернее отделение) и работала машинисткой. Была дружна с участниками литературной группы СМОГ, неформальным образом собиравшимися в 1965—1966 годах у нее в комнате.

В 1966 году занималась перепечаткой самиздатовских сборников «Белая книга» (материалы дела Синявского и Даниэля, собранные Александром Гинзбургом) и «Феникс-66» (составитель Юрий Галансков). В связи с этим 17 января 1967 года арестована, провела год в предварительном заключении и 8—12 января 1968 года на «процессе четырех» (Ю. Галансков, А. Гинзбург, А. Добровольский, В. Лаикова) осуждена Мосгорсудом к одному году тюрьмы (освобождена с зачетом уже проведенного в СИЗО времени).

Анатолий Эммануилович жил в крохотной части избушечки, это сейчас метро «Рязанский проспект», а тогда не помню, как район назывался... У него была длинненькая комнатеночка, где стояли его кровать, стол, где он работал и писал, и в проходе можно было поставить раскладушку, и если ты к нему приедешь, он всегда тебя оставлял ночевать. Потому что добираться до него было очень трудно. Он всегда заботился и всегда как-то ухаживал за нами. Вообще очень трогательно это все было. Наверное, у него манеры какие-то были старомодные, учтивость какая-то была. В общем, мы его любили, и он нас любил. Вот он, конечно, очень-очень на меня повлиял. Потому что он повернул мои мозги не просто на какое-то плавание в чем-то, а все-таки на какую-то, можно сказать, конкретику. При том что тогда церковных людей было мало, вот таких традиционно церковных людей. И что-то на что-то наложилось... Потом я стала его машинисткой постоянной.

— **А что вы печатали?**

— Все. Он писал, это была церковная публицистика. Он очень много писал! Чистый самиздат. Впрочем, его иногда печатали — в журнале «Наука и религия»... Он преподавал в школе рабочей молодежи, но его выгоняли без конца, потому что он был очень неординарным человеком. Он не мог ни примазывать, ни методички какие-то соблюдать, но его очень любили. Я знаю, что его любили все ученики, с большим почтением к нему относились. А писал он без конца церковную публицистику, все время на что-то откликался.

— **Современный читатель уже с трудом понимает, как происходило тогда хождение этих рукописей. Сколько экземпляров вы печатали, как дальше они распространялись?**

— Экземпляров пять, я думаю, я уж не помню. Кажется, я на его машинке печатала, у меня ведь не было своей. Тогда же не было машинок ни у кого, и купить так просто нельзя было. Распространял он сам, конечно. Нерв его писания, собственно, заключался в том, что эти годы были годами открытого гонения на Церковь, то есть церкви закрывали. Это хрущевское и послехрущевское время. Конечно, он нигде это публиковать не мог, но это расходилось в каком-то кругу. Отец Глеб Якунин из его же... не учеников, но из

После освобождения в 1968—1972 годах регулярно перепечатывала «Хронику текущих событий» (начиная со второго выпуска), затем — составлявшийся Зоей Крахмальниковой христианский альманах «Надежда» и другие материалы самиздата. Составительница (вместе с Ариной Гинзбург) самиздатовского сборника «Калуга, июль 1978» о процессе над А. Гинзбургом. Участница Фонда помощи политзаключенным (1974—1982). Была свидетельницей защиты на процессе по делу А.Э. Краснова-Левитина в 1971 году. Подвергалась преследованиям: обыск (1980), «беседы» в милиции и райисполкоме (1982). В 1983 году была выслана из Москвы.

С 1990 года вновь живет в Москве.



Майя Копелева,
Аида Тапешкина,
Елена Галанскова
и Александр
Краснов-Левитин.
Начало 1970-х
© Из архива Веры
Лашковой

близких очень людей. А распространялось... Давали друг другу — только так и распространялось. Что касается западного радио, не знаю, по-моему, там тогда ничего не читалось.

Вот, и я стала его постоянной машинисткой. А почерк у него, надо сказать... Может быть, я единственным человеком на свете была, кто мог его почерк разбирать. В общем, мы стали с ним близкими друзьями, я к нему ездила очень часто. Я его просто как главного ставлю, он действительно был в начале моей жизни чрезвычайно важным. А мои молодые друзья... знаете, сколько я ни пыталась вспомнить, где конкретно я со всем СМОГом познакомилась, я не помню. Мне кажется, на каких-то чтениях, тогда без конца поэты стихи читали. Например, с Юрой Галансковым, я помню, мы познакомились, когда Вознесенский читал в Комаудитории — это на экономическом факультете, в старом здании университета. Так мы знакомились все довольно быстро — на стихах. Тогда много довольно читали, по библиотекам какие-то были читки, выступления. На танцы мы не ходили... ну, как это называется, когда вот топчутся...

— **На дискотеки.**

— Нет-нет, тогда и слова такого не было. Самым близким у меня был Леня Губанов, мы с ним действительно очень близко дружили. Мы дружили как два пацана, можно сказать. Вот как-то так у нас это было. Потому что Леня был очень замечательный. Весь СМОГ собирался у меня, без конца читали стихи. Одна бутылка вина на сто человек выпивалась, все были абсолютно нищие... Ну, как нищие, кто-то где-то работал, получал какие-то маленькие денежки, какие-то супчики варились. Все это было вполне дружественно, очень дружественно.

А как это все перешло в политику?.. Я это все списываю на Лешку Добровольского. Как он появился, я не помню. Он был старше нас, он сидел [в 1958—1961 годах]. Но был и Володя Буковский, который был моим соседом. Володя был, конечно, политизирован. То есть он со школы еще осознанно протестовал против основ режима и против всяческой лжи. Он вообще был вожак по задаткам, настоящий вожак. Он был рожден таким. И хотя он был старше нас, может быть, всего на два-три года, но как-то он был и старше, и мужественнее, и крепче, и определеннее. В общем, была оппозиционность, безусловно. Не формулируемая ясно, в смысле определенных политических взглядов, этого не было. Потому что вся эта братия, пишущая и рисующая, была, на самом деле, довольно стихийна. Осознанного протеста не было. Но было, знаете, как у молодых, желание справедливости. Я помню, мы очень увлекались декабристами. И я перечитала просто все, что можно было. Мы ходили и без конца о них говорили, применялись к ним с точки зрения одобрения, конечно, их позиции, их мужества, их попытки противостоять власти. Они были для нас героями. А первые по-настоящему протестные настроения появились после демонстрации на Маяковке, когда наших побили очень.

— **Расскажите!**

— У памятника Маяковскому сколько-то человек — может быть, десятка два-три — читали стихи...

— **А когда читали стихи, это было, говоря нынешним языком, санкционированное действие?**

— Сначала да. Но потом их всех посадили. Володю Осипова, Илюшу Бокштейна посадили по 70-й уже тогда [в 1962 году] за антисоветскую агитацию и пропаганду, приписав им подготовку покушения [на Хрущева]. Как раз Володя Буковский организовывал на Маяковке как бы их охрану — своими силами, естественно. И Володя же Буковский, насколько я помню, пытался организовать какую-то официальную платформу, он с горкомом комсомола пытался договориться, чтобы давали площадку какую-то людям, которые хотят что-то читать. А читали-то что, Глеб? Читали-то официальную поэзию. Когда смогисты предприняли попытку там читать, заварилась какая-то каша. То ли их поколотили... [Владимира] Батшева точно кто-то стукнул. Но это был уже какой-то осознанный выход. Наше отношение к властям было такое, как... если вы были когда-нибудь в Израиле, то там это твердо: есть они [арабы], и есть мы [евреи] — это данность, и не существует точек соприкосновения. Так же и мы себя ощущали: есть мы, а есть они, и они — это власть, это КГБ. У нас была очень популярна песня: «Эх, романтика, сизый дым, обгорелое сердце Данки. Сколько крови и сколько воды утекло в подземелья Лубянки...» Хорошая была песня (*смеется*). Я даже не знаю, чья она. В общем, была внутренняя жесткая оппозиционность.

— **Возникает ощущение, что это взаимное ожесточение и отчуждение росло из-за бескомпромиссности власти, которая во**

второй половине 1960-х приняла решение «давить и не пущать». Одновременно нарастала и ваша оппозиционность. Ведь когда начиналось то, что станет диссидентством, — оно начиналось в молодежном кругу и с ощущения каких-то частных несправедливостей, лжи, но мало кто мыслил в терминах уничтожения или смены политического режима.

— Нет, ни о каких восстаниях, ни о каком вооруженном сопротивлении и речи не было, просто не было и в замыслах. У нас точно не было. Но были репрессированные, почти каждый имел в семье этот опыт своих родителей, родственников. У меня дедушка был репрессированный, я об этом знала. Я знала, что он замечательный человек. То есть какие-то семена были, и это очень важный момент.

Вы сказали, что власть хотела давить. Она хотела давить, но у нее была идея и беседовать с нами. Потому что мы совсем молодые были ребята. И я помню, что на первом допросе в связи с задуманной, как я думаю, Лешей Добровольским демонстрацией... Тогда же начиналось уже возрождение культа Сталина, и интеллигенция выступала против этого, были открытые письма. Я их печатала, и мы бросали их в почтовые ящики. Тогда же подъезды были совершенно доступны, мы могли войти в любой и опустить, и мы это делали. Мы оставляли эти письма и в будках автоматов. И вот была попытка протестовать 5 марта, в день смерти Сталина. Это был 1965 год. Мы должны были приготовить листовки, кто текст составлял — я не знаю, я должна была его только размножить, и был какой-то план действий. Это было как-то с Красной площадью связано... К сожалению, на свою память я уже не могу рассчитывать... Во всяком случае, мы это все обсуждали, кто, что и как. Нам это казалось не смешно, вполне серьезно все было, мне это все очень нравилось, и я осознанно в этом участвовала. Не просто пришла, послушала — ну ладно, сделаю... Нет, вполне посыл был, желание какое-то. И я помню, что машинки не было и мы с Людой Кушевой вырезали из газет буквы и клеили, всю ночь этим занимались. Это небольшой был текст, может быть, пол-листа, а кто его писал, я не знаю. Возможно, Леша Добровольский. Но среди нас оказался человек, который все рассказал органам.

— **Стукач?**

— Он не стукач был, он был студент, учился на биофаке, то ли из Воронежа, то ли из Саратова... я даже забыла, как его зовут. В КГБ его просто распластали... ну, знаете, это нетрудно было сделать, они это как-то умели. Не били, нет, не подвешивали, но разговорили его как-то, и все. Они как-то вычлениют более слабого человека, у них огромный все-таки опыт, нельзя этого не учитывать, они большие специалисты. И когда нас всех привезли на Лубянку, я первый раз там оказалась, масса впечатлений! Все эти коридоры, и я вспомнила «сколько крови, сколько воды», конечно...

И вот, возвращаясь к стратегии власти в отношении нас, — со мной беседовал тогда достаточно крупный чин. Звали его Иван Павлович Абрамов, он позже [в 1983 году] стал начальником Пятого идеологического управления КГБ. Так вот, он тогда пытался говорить со мной очень по-отечески, очень! Не гнул и не ломал совершенно. И даже не шибко пытался узнать что-то — они и так знали достаточно, ему важно было выйти на контакт. Не узнать, кто что говорил, а втянуть тебя в разговор.

— **Обвиняли вас в том, что вы пытались изготовить листовки против Сталина?**

— Да.

— **А что в этом было криминального? Форма — листовки?**

— Да, листовки, наше желание выйти на Красную площадь.

Но что меня тогда поразило — его тон беседы со мной. Он стал меня спрашивать, какая у меня семья, какие корни, были ли репрессированные в роду. Ну, я, надо сказать, с ним разговаривала. Потому что, знаете, Глеб, мне трудно держать позицию «я тебя не знаю, я к тебе задом повернусь», я не так воспитана, может быть. Во всяком случае, я с ним беседовала, но держалась все время, так сказать, оппозиционно по отношению к нему. Для меня это уже было четко разделено: ты — начальник КГБ, а я — привезенная сюда с руками назад. Хотя это буквально так не было. И в какой-то момент он мне сказал: «Вера, вы же очень молодой человек, вы талантливая, вам надо учиться, подумайте, во что вы вляпались. Вы же не сами, есть старшие...» Ну, что-то в таком отеческом, я бы сказала, тоне. И в какой-то момент он ко мне подошел, а я все время в окно смотрела — напротив костел был виден, Малая Лубянка. Он ко мне подошел как-то сбоку и сзади, положил мне руку на плечо и сказал: «Нет, Вера, мы вас врагу не отдадим» (*смеется*). Это действительно смешно! Вот эта театральность, с одной стороны, а с другой стороны, он как-то это довольно натурально сказал, естественно. Но этим меня было не прошибить. Я удержалась, чтобы не засмеяться, ну, все-таки неприлично смеяться в лицо человеку, в общем, я не засмеялась, но эта фраза — «нет, Вера, мы вас врагу не отдадим» — была такова, что я внутри просто умирала от смеха! В общем, никакого сближения у нас не произошло. Нас тогда отпустили. А дальше я познакомилась с Юрой Галансковым, который уже тогда делал «Феникс-66».

— **Что представлял собой «Феникс-66»?**

— «Феникс» — это был машинописный журнал довольно большого объема, куда составитель пытался включить интересные, нигде не печатавшиеся материалы.

— **Это был литературный журнал типа «Синтаксиса»?**

— Нет, «Синтаксис» был поэтическим, маленьким журнальчиком. Смогисты тоже выпускали такие сборники, «Чу!» и другие. А «Феникс» был уже объемным изданием, форматом с машинописную страницу, на папиросной бумаге, конечно, но там много было материалов. Там было «Откровение Виктора Вельского»,



Юрий Галансков.

1966

© Из архива

Веры Лашковой

неизвестно кем написанное — следствие так и не установило автора, было открытое письмо Эрнста Генри Эренбургу, были как раз материалы, которые мне вменялись в вину: это описание событий в Почаевской лавре [в 1961—1965 годах] — на монахов же были тогда настоящие гонения, причем довольно кровавые. Они приезжали в Москву, и я составила это описание с их слов. Это были три монаха, они приезжали к Анатолию Эммануиловичу. Объем у «Феникса» был приличный. Главное было — найти машинку, бумагу и человека, который это напечатает. Но помимо «Феникса» у меня было обвинение в перепечатке «Белой книги» по делу Синявского и Даниэля.

— **На следствии вам ставилось в вину то, что вы перепечатали материалы «Феникса» и «Белой книги»?**

— Не весь объем, а лишь несколько текстов. Из всей «Белой книги» лишь два материала — листовка, подписанная «Сопrotивление», и «Письмо старому другу» Шаламова, данное анонимно, — были признаны криминальными. Вот эти два материала были признаны антисоветскими. Часть текстов была признана и в «Фениксе». Сначала ведь проходила бесконечная экспертиза, литературоведческая и всякая. И вот эти два материала были признаны криминальными, мне приписывали их перепечатку, а Алику [Гинзбургу], соответственно, изготовление.

— **Представляли ли вы себе после первых «отеческих» бесед в КГБ связанную с вашей работой степень риска, то, что за этим последует уже непосредственно тюрьма?**

— Да, конечно, безусловно. Ну, конкретно тюрьма не мыслилась, но очень предполагалась. Это воспринималось как нормальное явление: если уж ты решился, то тогда не жалуйся.

— **Почему вас так долго держали в тюрьме до суда в январе 1968 года? Со времени вашего ареста прошел год.**

— Они все время пытались слепить что-то такое одиозно-грандиозное, я бы сказала. КГБ сделал ставку на нашу связь с Н[ародно-]Т[рудовым]С[юзом], а тогда одиознее этих трех букв не было ничего.

— **А была у вас связь с НТС?**

— У меня — нет. И меня в этом не обвиняли. В этом обвиняли Юру Галанскова, который получил самый большой срок. Я думаю (но это мое предположение и догадки), что у Юры действительно были связи с НТС — приезжало оттуда несколько человек — и они были у Леши Добровольского. Но что значит — связи? Я знаю, что они помогали множительной техникой, оттуда ее привозили, но тогда это было очень страшно. Это все звучало чуть ли не как убийство. Это было очень страшно — обвинить в связи с НТС.

— **Потому что НТС открыто ставил своей целью свержение советской власти?**

— Видимо, да. Но вообще это темная организация. Я потом уже это поняла. И КГБ довольно долго искал убедительный сценарий, искали этого [Николая] Брокса-Соколова или они его сделали...

— **А кто такой был Брокс-Соколов?**

— Самая главная гэбистская фишка была в том, что посреди суда вдруг встал прокурор и сказал: «Сейчас мы заслушаем показания человека, приехавшего в СССР со специальным заданием, тайными шифрами, тайными явками. Его фамилия Брокс-Соколов, и он приехал для связи с нашими подсудимыми».

— **Вы его не знали?**

— *(смеется)* Да нет, конечно. Кто же его знал... Никто. Адвокаты, конечно, завопили: «Нет! Вы не имеете права! Его показаний нет на предварительном следствии». Тем не менее явился этот Брокс-Соколов, скромненький, хорошенький весь из себя, совершенно не изможденный, и стал рассказывать, как он должен был связаться и прочее. Это было, конечно, смешно, с одной стороны...

— **Это была чистая провокация, фикция?**

— Абсолютно! Они все время искали его, все время ждали, они без конца откладывали суд. Нам все время говорили: мы уже закрыли дело, все подписали — нет суда и нет, просто так сидели. По сценарию, видимо, какой-то талантливый человек решил прислать связника, настоящего, опоясанного нелегальщиной... Да-да, он это все показывал, это демонстрировали, и листовки, которые он привез. В общем, это очень смешно было. Тем не менее суд-то был очень серьезный! И вел его тот же [председатель Верховного суда СССР] Лев Смирнов, который перед этим осудил Синявского и Даниэля.

— **Слушания были публичные, можно было прийти публике?**

— Нет, конечно. Формально заседание было открытым. Огромный зал Мосгорсуда на Каланчевке. Но в зале была их публика, как всегда. Только еще наши родные. И свидетелей они обязаны были оставлять по закону, после дачи показаний свидетель имел право остаться, если хотел, но всех буквально пинками выпихивали. Безобразничали ужасно.

— **Но ваш процесс смогли документировать?**

— Да, тогда же, кстати, НТС издал этот процесс, «Процесс четырех». Все было записано. Это же все начала Фрида Вигдорова, она первая записала процесс Бродского.

Никто, конечно, тогда никакой техники не имел, поэтому все близкие — родители, мужья, жены — старались запомнить услышанное.

— **Вигдорова стенографировала, сидя в зале.**

— Вигдорова сидела и записывала рукой, она была известным писателем, публицистом, и ей, в общем, никто особенно не мешал. Хотя и пытались. Она открыла эту традицию, почему Алик и посвятил «Белую книгу» ей, там написано: «Посвящаю Фриде Абрамовне Вигдоровой». После нее люди стали записывать, запоминать. Например, когда судили Володю Буковского — его в один день судили [5 января 1972 года], с утра до вечера, — там сидели его сестра Ольга, его мама Нина Ивановна и один человек из свидетелей, который оказался дружественным нам. Немедленно по



Юрий Галанов.
1967

© Из архива
Веры Лашковой

выходе эти люди садились и тут же все записывали по памяти. В зале суда невозможно было все это писать. Я ночью это все перепечатала, за одну ночь. И мы изготовили стенограмму этого процесса очень быстро. Нигде, кстати, я потом не видела ее. Жалко. Но мы его передали.

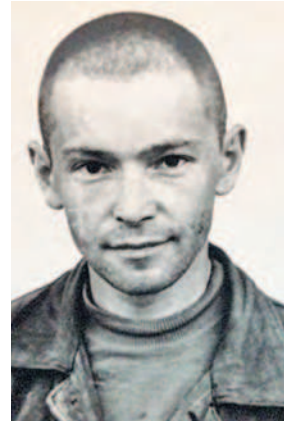
В перерывах гэбисты пытались даже обыскивать слушателей. Мама Юры Галанскова была очень простой, неграмотной почти женщиной, она ничего не могла записывать, но те, кто это исподтишка делал, клали свои записи ей в валенки. Был страшный мороз тогда, когда нас судили. И ее не посмели обыскать. А так вообще обыскивали, выгоняли. Они уже тогда не делали вид, что они интеллигентные, воспитанные, они уже показали, что у них есть клыки и они вполне могут вцепиться. Они это и делали. Ударили Елену Георгиевну [Боннэр] на суде у Юры Орлова. Ее же ударили просто, и Андрей Дмитриевич [Сахаров] бросился на них, при мне все это было. В общем, все шло по нарастающей.

— **Но это уже 1978 год.**

— Это потом уже было, да. Ну, вот так это все возникало. И информация была все время, корреспонденты стояли неотлучно просто. Западные, конечно. И наши сидели, были же официозные журналисты, которые писали из зала суда, уже не помню их фамилий. Это все огромные были подвалы в газетах! То есть они общественность информировали о нашем процессе... Смотрите, наполовину «Белая книга» Алика состоит из стенограмм суда и из газетных публикаций. Но плюс к нашим газетным публикациям он поместил туда еще очень большую часть западных, в переводах. Конечно, Алька блестящий был журналист, просто талантливейший человек. Он один это все делал. Один! При этом работая, ухаживая за своей невестой, ну, живя, так сказать, просто. Конечно, были помощники, но это не штат же работал редакции, вы же понимаете. Он это все провернул, замечательно причем, он имел мужество подписаться, написать свой адрес, подлинное имя и отнести это в КГБ. Он мне об этом тогда сказал, и я сразу поняла, что надо ждать ареста. Потому что это было вызовом.

— **Но сознательным вызовом.**

— Конечно! У него была установка: а почему он должен был скрывать? Это его позиция была. Вы лжете в газетах, вот, пожалуйста, статья ваша, а вот еще показания. Да, это его осознанная позиция, журналистская, гражданская и, конечно, человеческая. Кто ему были Синявский и Даниэль? Никто! Просто никто. Это же не были его друзья или кореша. Алику вообще надо бюстик поставить во дворе на Полянке, потому что он, безусловно, человек, достойный увековечивания его памяти. А для вас-то, журналистов, особенно. И никто, Глеб, за это денежек не получал, учтите, никому ни за что не платили. Никто никому ни за что не платил. Хотя, когда мы с Аликом оговаривали возможный арест и прочее, Алик сказал: «Ты должна будешь говорить, что ты ра-



Александр Гинзбург
в лагере.

Конец 1960-х

© Из архива

Веры Лашковой

ботала как машинистка у меня». Он меня, конечно, хотел уберечь. Я говорю: «Нет, Алик, я не соглашусь на это. Что значит — я у тебя работала как машинистка? Я не как машинистка работала, я работала как твоя, так сказать, единомышленница, и все...» Но все-таки он меня убедил, что надо так говорить, хотя мне было это очень неприятно. Потому что не было никакой оплаты.

— Если говорить о денежной помощи, то после 1974 года она уже началась — через Солженицынский фонд...

— Фонд тоже ведь Алик начал!

— Поэтому я и вспомнил об этом.

— Да, началась помощь.

— Вы как-то в этом участвовали?

— Да, участвовала. Но что значит — участвовать в фонде? Это сейчас бытует представление о том, что в СССР происходили какие-то «процессы», а это была просто жизнь. Например, я знала, что к такому-то заключенному в Мордовии ездит жена, ей не с кем детей оставить, и вот ты сидишь с этими детьми, читаешь им сказки... Я помню, когда Лара [Богораз] поехала к Толе Марченко, [их сын] Пашка был очень маленьким. Он был очень трудным ребенком и мало с кем хотел оставаться, а у меня, слава богу, был с ним какой-то контакт. Лара уехала, и мы с ним три дня занимались замечательной игрой. Я из пластилина склеила каток асфальтовый, и мы асфальтировали щели в полу. Там был паркет, старый-старый, разошедшийся, и мы все заасфальтировали пластилином. Но зато у нас была совершенно идеальная тишина (*смеется*). Или, например, надо было кого-то встретить на вокзале, опять же украинцев много ездило, из Прибалтики, все ездили через Москву. Они все здесь могли получить какую-то, во-первых, денежную помощь, во-вторых, продукты. Тогда это было очень важно! Не было ни фуа-гра, ни прочих деликатесов. Очень помогали западные корры — шоколад, колбаса какая-то, еще что-то. И у каждого в холодильнике — это у кого еще был холодильник! — слева лежали свои продукты, а справа — для ээков. И дети маленькие никогда не позволяли себе их взять. Знали, даже маленькие, что это — заключенному папе, и не было даже поползновений. Или проводить кого в лагерь, рюкзак несешь... Потому что, если ехали на личное свидание, рассчитывали на трое суток, значит, его кормить и самой как-то немножко питаться. Никогда трое суток не давали, давали, как правило, сутки, но все равно перли, так сказать, уже на всех. Вот это и была помощь. Вот что такое — участвовать в фонде помощи. Это не расценивалось как какая-то работа в фонде. Кто-то деньги собирал, кто-то продукты... Но начал это все Алик.

— За что, собственно, и получил свой третий срок в 1978-м...

— За это и за Хельсинки, конечно. Он же был одним из основателей Московской Хельсинкской группы [в 1976 году]. Но и за это, да. Это было главное, что бесило КГБ! Что в огромной стране, которую они нагнули... А, к глубочайшему моему сожалению и боли моей, они нагнули этот народ. Я жила в деревне и видела это все.



Анатолий
Марченко
с сыном Павлом.
Середина 1970-х
© Из архива
Веры Лашковой

По-моему, они сумели не просто сломать ему хребет, а изменить сущность человеческую. И вот в этой огромной стране, которая страшно жила и мучилась, существовала кучка людей — их, вообще говоря, можно было бы передавить за один день, но они осмеливались этим уродам, этим, как они говорили, отщепенцам помогать. Как бесились, я помню, вертухаи, когда начинали досматривать то, что привозили в лагерь тем, кого они охраняли, кого они, между прочим, презирали и ненавидели! Они просто скрежетали. Ну чем они там питались? Ужас, конечно! А тут такие яства! И — этим! Такая злоба у них возникала!.. Их можно, быть может, понять. Мне это трудно, но, думаю, их бесило сопротивление — и, главное, открытое сопротивление. Мы в подполье-то не сидели. Вот эта помощь, вот эта солидарность. Они-то понимали, что это самоубийственно. Главное было не в деньгах фонда — главное было в посыле тепла и участия, чисто человеческого. Мы все дружили — все зэчки жены, — и до сих пор, уже старые, уцелевшие, мы переписываемся.

— **Вы, насколько я знаю, были близки к Надежде Яковлевне Мандельштам.**

— Я любила ее очень, да.

— **История вашего общения как-то пересекалась с диссидентской линией вашей биографии? Или это, так сказать, отдельная глава?**

— Да, отдельная. Надежда Яковлевна никак не участвовала в диссидентском движении, а просто она сама по себе была, по-моему, глубочайшей диссиденткой. Потому что она всю свою многострадальную жизнь стояла прямо. Она ужасную жизнь прожила! Я понимаю, как ее гоняли, не брали на работу, и за что? За то, что она была вдовой Мандельштама. Она не делала никаких демонстраций. Но под конец она уже, конечно, оттянулась по полной, написав свои первую и вторую книги, совершенно блестящие! За «Вторую книгу» я бы лично ей поставила памятник. Потому что она написала о людях то, что они хотели о себе забыть.

— **Как вы познакомились?**

— Меня с ней познакомила Наталия Ивановна Столярова, которая была у нас свидетелем на суде, она была секретарем Эренбурга, со своей судьбой. Александр Исаевич [Солженицын] о ней замечательно написал в «Невидимках»! Она меня с ней познакомила, потому что она как-то помогала Надежде Яковлевне. Тогда был вечер Мандельштама, в 1965 году, по-моему, в университете. Замечательный был вечер, там выступал Димка Борисов, уже умерший наш друг, замечательный человек, это тоже отдельная история и судьба. И когда Надежда Яковлевна тогда, так сказать, вышла на люди, ей устроили овацию. Мандельштам уже тогда стал ходить в списках. Я сама, помню, впервые Мандельштама прочитала на папиросных листочках — и все, я его полюбила на всю жизнь сразу же, он стал моим любимым поэтом. Я его стихи



Н. Я. Мандельштам.

Конец 1970-х

© Из архива

Веры Лашковой



Н. И. Столярова
и Вера Лашкова.
Начало 1970-х
© Из архива
Веры Лашковой

сразу запоминала, вот просто сразу — прочитала и запомнила. И вокруг Надежды Яковлевны создался кружок довольно молодых людей, филологов, художников. Женя Левитин тогда к ней ходил. Бёлла Ахмадулина приходила, я помню. Надежда Яковлевна, конечно, была тот еще перец! Она обладала замечательным характером: была очень независимая, довольно едкая, желчная, но не злая, не злобная, как тогда говорили. Мне она просто очень нравилась, и хотелось как-то ей помочь. Она после выхода книг [за границей] уже стала получать какие-то денежки из-за границы, тогда это были не деньги, а такие бумажки, они назывались сертификаты. И поскольку я была такая мобильная, то она частенько просила меня: «А ну-ка, Верка, съезди купи сама знаешь чего». Она джин любила, а это — [валютный магазин] «Березка».

Меня она страшно подробно расспрашивала о тюрьме. Она ведь все время жила с ним, все время рядом с ним. Я не могу вам это объяснить, это не мистика, нет, но это, видимо, у нее вера была такая. Она была крещена отцом Александром Менем, и она, конечно, веровала, безусловно. Мне это понять было невозможно, но она все время с ним была. Она о нем говорила и как-то видела его рядом с собой. Я не знаю, что это. Это не безумие было, нет, но он был рядом с ней, он был частью ее жизни, а она — его. И она все время расспрашивала меня про тюрьму, про заключение.

— **А в какой тюрьме вы сидели?**

— Я в Лефортовской. Но другой же и не было тогда для политических.

Я помню, как-то пришла к ней, мы пили чай, и она говорит: «Почему ты так опускаешь ресницы и смотришь в кружку?» Я го-



Праздник для детей политзаключенных. Сидят: Алла Бахмина, Виктор Дзядко, Вера Лашкова. Вторая половина 1970-х
© Из архива Веры Лашковой

ворю: «Надежда Яковлевна, это у меня тюремная привычка — там же зеркала нет, а так в кружке себя увидеть можно» (*смеется*). Вот про какие-то такие вещи она расспрашивала, про пайки, еще про что-то. Она, конечно, все время думала о нем. Тогда появлялись какие-то люди, которые якобы лежали с Мандельштамом на нарах. И она пыталась как-то это все узнать, представить.

Поразительно — она перед смертью сказала: «Я его скоро увижу»... Она ведь умерла просто у меня на руках, можно сказать. Я одна была тогда с ней. И она уходила к нему. Меня это потрясло! Это, конечно, была любовь, которая сильнее смерти.

— **В последнее десятилетие жизни Надежды Яковлевны, сравнительно благополучное, сохранился ли у нее страх перед властью? Или она понимала, что фактически уже неприкосновенна?**

— Да, десятилетие было более благополучное. Ей дали квартиру, [Алексей] Сурков добился. Пошли западные гонорары. Но все-таки она боялась. Она мне это говорила, и я тогда думала, что это игра. Но нет. Вбили. Знаете, Глеб, они вбивают страх, и в миллионы наших с вами соотечественников они этот страх вбили. Например, в моих родителей. Мама боялась, потому что она была маленькой — и их выбросили из дома, когда забрали ее отца, моего дедушку. И она мне часто говорила: «Вера, неужели ты их не боишься?» Для меня это было очень странно. Я говорила: «Мама, я их совсем не боюсь». Но это не было моим достоинством. А они боялись. Знаете, как страх вбивают? Кровью! Вот в вашей семье уничтожили из 10 человек 9 — будешь бояться.

Может быть, Надежда Яковлевна это все и понимала, но, по моему ощущению, она боялась. Мне даже это казалось сначала

позой, но нет, она не была вообще позеркой, и у нее был этот страх. Ее прогнали через такое, что она действительно боялась. И вообще она имела основания. Потому что, когда она умерла, я вызвала «скорую помощь», приехала «скорая», причем очень быстро, пришла какая-то женщина в шинели, посмотрела и сказала: «А, бабулька... Недавно умерла, да?» И выписала свидетельство. Это вообще поразительно! Ведь я ей была никто. И они уехали. Я сразу, конечно, всем позвонила, все быстро приехали. Надежда Яковлевна лежала на своих рукописях. Это все быстро увезли, но через час пришли гэбисты, с ними был участковый, и они стали ее буквально выбрасывать из квартиры. Потом они полы там вскрывали, между прочим! Искали. А тогда они не давали нам ее оставить в квартире. Наши сразу привезли гроб, все заказали, масса народу приехала, так они не хотели, они хотели поскорее ее в машину и в морг... Это же под Новый год было, они собирали трупы по улицам, бездомных, и хотели и ее туда запихнуть. Мне сказали: «Вы никто! А она — одинокая старуха, все, ее надо в морг». И они увезли ее в морг, мы смогли настоять только на том, чтобы все-таки в гробу. Они и мертвую ее прокатили по этим рельсам. Так что она боялась не напрасно. Они глумились над ней даже над умершей, глумились! Так что это не просто так — страх. Она была очень мужественным человеком, но они ее и не сломали, а бояться она боялась. Но это не стыдно, не стыдно...

— **Было ли у вас к началу 80-х ощущение, что вся более чем десятилетняя работа ни к чему не привела, что она полностью разрушена?**

— Нет. Не было никаких определенных задач. Не было задачи — через десять лет построить то-то и то-то. Была каждодневная жизнь, без рисовки и без позы. Но только с сохранением своих нравственных обязательств, устоев. Александр Исаевич уже позднее сформулировал — «жить не по лжи». Тогда не было этого лозунга, он, кстати, и не стал лозунгом ни для кого. У него было написано: не голосовать, не участвовать... Но мы так и жили, это было нравственной установкой, только нравственной. У кого хотите спросите. Вот Наташа Горбаневская покойная — у нее во всех интервью это есть. У любого просто! Алик Гинзбург вам то же самое сказал бы, хотя он ничего не оставил после себя, я вам за него это говорю. Это было нравственной установкой. Не было желания увидеть зарю свободы, вот этого у нас точно не было. У декабристов, возможно, и было.

— **То есть цели были скорее этические, чем политические.**

— Только! Политические цели — у нас их не было. Они появились впервые на моей памяти у Вити Красина. Он, может быть, даже придумал «диссидентов», не помню.

— **Как термин?**

— Как термин, да. И вообще как, так сказать, способ жить. Вот у него это было, да, он это формулировал. Но у него не было единомышленников. Он мне сказал, когда мы с ним увиделись случай-



*У дома Гинзбургов,
Таруса, середина
1970-х. На первом
плане «Москвич»
А. И. Солженицы-
на, оставленный
Фонду помощи по-
литзаключенным
© Из архива
Веры Лашковой*

но перед его отъездом: «Ты напрасно на меня обижаешься, я играл шахматную партию». И это правда, он играл шахматную партию. Но он был один такой. Он не был нутряным, я бы сказала, коренным нашим, я его таковым не считала, по крайней мере. Он как-то и не пользовался особой любовью, между прочим. Вот Петя Якир, несмотря на всю свою жуткую расхлябанность, несмотря на свою трепучесть и все что угодно, тем не менее был как-то крепче Вити. А Витя был игрок, и он, может быть, видел какие-то перспективы, я не знаю.

У нас никаких мыслей о крушении советской власти не было. Вот Андрей Амальрик в это верил, между прочим. Бог не дал ему дожить. Я, например, могу сказать, что Андрей Дмитриевич был твердо убежден — и это была правда, он вообще никогда не рисовался, у него позы не было, — что умрет в Горьком и там его похоронят. И Люся [Боннэр] была в этом убеждена. Хотя она была уж такая реалистка... Я была уверена, что я в деревне [в ссылке] умру. Так это и виделось: надо прожить остаток жизни в своем, так сказать, достоинстве.

— **Чем вызвано ваше столь позднее возвращение в Москву из ссылки? Вы вернулись в 1990 году, уже все были на свободе...**

— Поздно, да, уже все вышли. Но, знаете, надо же было через суд проходить, меня же судом выселили из Москвы. Тогда был такой смешной закон, что человек, шесть месяцев не проживающий на своей площади, ее лишается. И вот они устроили суд, где два совершенно никому не известных человека сказали, что они никогда меня не видели в моей квартире. Все было очень быстро. И все.

— **Это была неправда?**

— Конечно (*смеется*)! Они это сделали потому, что в течение трех суток я обязана была где-то получить прописку... Где? А если нет, тогда меня возьмут за бродяжничество, была такая статья — «Бродяжничество, попрошайничество», и все, ты идешь по этапу. Ну, и прокатить по всем этим горкам лишний раз. И все, я тогда пошла бы по этапу в уголовную зону, и там бы пошло дальше, все что угодно можно было сделать. Вот они выбрали такой нетривиальный путь, хотя мне было что накрутить спокойно — и на 70-ю, и на 64-ю [статьи УК]. Но я в течение трех суток все-таки прописалась в деревне Дмитровка Калининской области, где прожила потом несколько лет, работая в колхозе шофером. Потом, в 1987-м, я в Калинин уехала, там уже жили Сережа Ковалев, Слава Бахмин. И когда все стали возвращаться, надо было через суд проходить, чтобы то решение было отменено и новое решение — вернуть мне площадь — принято. И такой суд был, и судья зачитал: то отменить, вернуть Лашковой квартиру такую-то на такой-то улице... Восторжествовали, так сказать, закон и справедливость. И тут среди нас встает какой-то затреханый мужичонка и говорит: «Гражданин судья, а я-то где буду жить?» А его вселили в мою квартиру, из которой меня выселили, и он вообще ни сном ни духом. И я поняла, что он нигде не будет жить, он будет жить на помойке, потому что ему никто никогда ничего не даст. И он остался жить в моей квартире. А я отказалась от претензий на нее.

— **А вы куда пошли?**

— А я пошла к Елене Георгиевне Боннэр, она стукнула кулачком перед Лужковым, который к ней тогда ходил, и сказала: «Вера Иосифовна — заведующая архивом Андрея Дмитриевича, дайте ей квартиру». И он дал мне вот эту [однокомнатную] квартиру [в Филях]. Вот так.

*Павел Литвинов на митинге
в поддержку Надежды Савченко
в Нью-Йорке у российского пред-
ставительства в ООН, 2015*
© Захар Левентул



ПАВЕЛ ЛИТВИНОВ:

«Я с гордостью назову себя либералом»

— Вы из очень известной советской семьи — семьи наркома Литвинова — что называется, из номенклатуры. Я смотрел фильм о вас, который сняла Нателла Болтынская; там показывали ваш дом недалеко от Тверского бульвара, это очень престижное московское место. Очевидно, что вы росли в привилегированных по советским меркам условиях. Как вы, человек из такой благополучной среды, пришли к идее несправедливости устройства советского общества?

— Здесь несколько вопросов, но я начну с этого дома. Это дом на улице Алексея Толстого, на Спиридоновке. Вырос я в доме правительства — знаменитом Доме на набережной, потом переехали на Фрунзенскую. А уже потом, после размена, мы с сестрой жили в этом доме на Спиридоновке.

Моя семья была действительно в каком-то смысле привилегированной, но это надо понимать в контексте. У нас была прекрасная квартира, не собственная, а государственная, в Доме на набережной. Мы действительно вполне хорошо жили, особенно по советским временам. Но слово «привилегированный», как сейчас говорят, «элита» к нам и относится, и не относится. Мой дедушка Максим Литвинов был большевиком старой закалки, никаких спе-



Середина 1960-х
© Мемориал

Павел Михайлович Литвинов (6 июля 1940, Москва) — физик, правозащитник. Внук наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова, в 1966 году окончил физфак МГУ, работал преподавателем физики в Московском институте тонких химических технологий (1966—1968).

Составитель самиздатских сборников «Правосудие или расправа» (1967) и «Процесс четырех» (1968). Автор (вместе с Л.И. Богораз) «Обращения к мировой общественности» (1968) — первого открытого обращения советских диссидентов к Западу. Участник демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. При разгоне демонстрации арестован. 11 октября 1968 года приговорен Мосгорсудом к пяти годам ссылки. Ссылку отбывал в 1968—1972 годах в поселке Усугли Читинской области.

18 марта 1974 года эмигрировал в США. Был зарубежным представителем «Хроники текущих событий» (1975—1983). В 1974—1988 годах — член редколлегии издательства «Хроника» (США). В 1976—2006 годах преподавал математику и физику в колледже Хакли в Территауне, штат Нью-Йорк. Член совета директоров Фонда Андрея Сахарова. Живет в Нью-Йорке.

циальных привилегий он не брал никогда, жил очень скромно. Была дача, которой я и не видел, ее отобрали, когда деда сняли [в 1939 году]. Все было казенное. Мы, конечно, питались лучше, чем большинство людей, пока дед был в номенклатуре. Пользовались столовой Совета министров, которая находилась, кстати, у нас во дворе. Была домработница, сотрудница МГБ. Привилегии были только в этом. Я ходил в обычную школу, 12-ю, потом 19-ю и окончил 49-ю.

Что еще было важно, у нас коммунистом в семье был только дед, ни одного члена партии в семье больше не было. Ни мои родители, ни моя тетка, ни я, никто. Ну, я был пионером, меня исключили за хулиганство и длинный язык, потом я был комсомольцем, исключили за «аморальное поведение» в университете. Но уже в партию вступать никому не приходило в голову. То есть наша семья была вполне критична по отношению к правительству, к Сталину. Конечно, были осторожны, многие вещи мне не рассказывали. Я в детстве обожал Сталина. Об этом написано в известной книге Дэвида Ремника «Мавзолей Ленина», в главе про нашу семью. На него это сильное впечатление произвело.

Я был юным идеалистом, верил в справедливость. Русская литература, которую я с детства читал и любил, — я имею в виду литературу XIX века в основном — меня воспитала в сострадании к маленькому человеку, к страдающему человеку, которого подавляет государство. Я, конечно, относил это к капиталистическим странам, не понимал, что и наше государство подавляет, но это чувство — чувство справедливости — у меня было очень сильное. Видимо, это связано с моим характером, но вообще у нас вся семья была в этом смысле едина и осталась едина. Очень критически, иронически относились к власти и сочувствовали тем, кто страдает. Это было очень глубоко. Ведь отчасти и коммунистическая идеология выросла из этого сострадания. Конечно, это было все извращено. Но и русская революция, как я ее понимал в детстве, и война с фашизмом — это была борьба за справедливость, за то, чтобы людям жить было лучше.

— **Когда дед умер, вам было 11 лет?**

— 11 с половиной. Но я его помню очень хорошо, мы с ним были большие друзья. Он, конечно, мне ничего такого не рассказывал, и вообще он был человек очень осторожный. Он уже давно разочаровался, как я узнал потом, в Сталине и в советском режиме, но оставался большевиком классического типа. И он меня старался учить хорошим вещам, руководил моим чтением. У него была замечательная библиотека. В сталинское время было очень трудно купить вообще какие-либо книги, даже классику, я уж не говорю, что многое вообще не издавалось, иностранная литература, к примеру. Но даже советскую литературу и классику было трудно достать. Однако ему посылали специальные информационные списки, любую книгу, выходящую в СССР, он мог купить. Он мне давал посмотреть список, я выбирал, что мне

хотелось, и он либо покупал, либо не покупал, исходя из своих соображений... Не помню случаев отказа, но он проверял этот список. В общем, я читал очень многое. Конечно, не по сегодняшним меркам, но все-таки больше, чем тогда читало большинство.

— **Антисталинские настроения деда стали для вас проявляться, видимо, уже после XX съезда? Или раньше?**

— Даже раньше, до XX съезда. После смерти Сталина довольно скоро стали появляться какие-то статьи, «Об искренности в литературе», скажем. А главное, начались разговоры. Мои родители, мой дядя, известный скульптор Илья Слоним, муж моей тетки Татьяны Максимовны, — они часто собирались, мы тогда жили все вместе. Они рассказывали анекдоты и шутили. И я, надо сказать, по этому поводу очень переживал, считал, что это непатриотично, недостаточно ортодоксально, что ли. Я помню, что Слоним шутил по поводу новых витрин в магазинах. Ведь в советских витринах почти ничего не было, потому что ничего не продавалось, и вдруг появились витрины. В некоторых были одновременно какие-то манекены и портреты Маленкова. И дядя пошутил, что Маленкова — а у него были такие толстенькие щечки — хорошо бы сосисками окружить. Это на меня очень тяжелое впечатление произвело, я даже заплакал и убежал из комнаты. Потом отец пришел ко мне и стал рассказывать про аресты, колхозы и ложь в газетах. Так начался разрыв между тем, что я читал в «Пионерской правде», и жизнью.

В общем, в этот период — с 1953 по 1956 год — я быстро развивался, в основном от услышанного дома, но появлялось что-то в газетах, в литературе, и меня все интересовало. Я на любые изменения в идеологии очень реагировал, и это довольно быстро происходило. Я когда-то думал, что Павлик Морозов был герой, хотя при этом понимал, что сам я не стану доносить на своих родителей. Тем не менее это для меня была некоторая борьба, противоречие в моей жизни. Но уже к 1956—1957 году я абсолютно стал критичен ко всему. Правда, я думал, что скоро будет новое правительство в России, что Сталин все исказил, но мы вернемся к ленинской модели, к ленинским методам руководства. Вот такое было мое ощущение — вернемся к «ленинским методам руководства партией». Потом появился доклад Хрущева на XX съезде, я его сам не читал тогда, доклад ведь не публиковали. Собирали членов партии и руководство, читали вслух, но не было копий никаких, на дом ничего не выдавали. Мы знали о докладе Хрущева только из пересказов тех, кому его читали вслух, и то, что было напечатано в газетах, — сокращенную версию. Но знали достаточно.

В раннем детстве Сталин был для меня богом. У меня окно выходило на Кремль, через Каменный мост, я смотрел — там какие-то окошки горели, и я думал: за этим окошком сидит Сталин, он думает обо мне, обо всех нас. Я абсолютно всерьез как-то романтически об этом думал. Познакомился в Одессе, где я с бабушкой отдыхал, с дальним родственником. Он очень любил со мной разговаривать, хотя он был взрослый человек, а мне было лет 11. Он



*Лариса Богораз
и Павел Литвинов. Конец 1960-х*
© Мемориал

мне начинал говорить: «Знаешь, если бы нужно было кому-то сделать операцию на сердце, самую сложную операцию, Сталин бы просто взял и сделал. Если бы нужно было управлять самолетом, он бы тоже смог. Просто он занят такими важными делами, что этого не делает. А так он абсолютный гений». И я, надо сказать, верил в это, у меня слезы текли. Такой эмоциональный был мальчик и так верил.

Все это раскручивалось в следующие три года постепенно, но довольно быстро, гораздо быстрее, чем это на меня накручивалось. Я читал газету «Пионерская правда», в ней на каждой странице было — «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Я так и понимал, что это было счастливое детство, и меня всегда возмущало, что какие-то люди воруют, что-то неправильно делают, это противоречит нашим идеям.

— **Забегая сильно вперед: в вашем с Ларисой Богораз открытом письме по поводу «процесса четырех» была фраза о том, что вы отправляете это письмо в западную прогрессивную печать. Эти слова — «прогрессивная печать» — показывают, что в тот момент (это 1967 год) вы все-таки оставались в пределах**

советской терминологии: есть какое-то прогрессивное человечество, следующее левым курсом, и есть остальное, не прогрессивное. Как вы отошли от этих идей? Произошло ли у вас разочарование в коммунизме? Стали ли вы антикоммунистом?

— Слово «прогрессивное» имело и объективно положительную окраску. За несколько месяцев до этого я написал письмо, которое мою карьеру как ученого и преподавателя закончило, — обращение в советские и иностранные коммунистические газеты в защиту тогда никому не известного и даже мне не знакомого Владимира Буковского. Он был участником и организатором демонстрации на Пушкинской площади в защиту [Юрия] Галанскова и других в 1967 году.

Я составил книгу об этой демонстрации, она издана на многих языках, называется «Дело о демонстрации». Издательство «Оверсиз» ее издало под заголовком «Правосудие или расправа?». Я думаю, что в том письме, которое я написал по поводу вызова меня в КГБ, когда мне угрожали арестом, если я опубликую «дело Буковского», я употреблял слово «прогрессивный». Но это было уже скорее по инерции.

В общем, я был уже к этому времени антисоветчиком и антикоммунистом. Хотя с этими словами у меня сложные отношения именно как с терминами. Я не любил определять себя — и до сих пор не люблю — как «анти» что-то. У меня такое ощущение, что надо определять себя положительно. Я помню, что мой большой друг, Петр Григорьевич Григоренко, когда-то предлагал издавать журнал под названием «Антисталинист». И Толя Якобсон — мы втроем разговаривали — сказал: «Ну почему мы будем определять себя через говно как антиговно? Надо называть себя либералами или демократами...» Тогда еще не было слова «диссидентъ», оно появилось позже. Я, в принципе, не очень люблю слово «антикоммунист», хотя, безусловно, оно правильное.

Мои американские друзья, левые или правые, все были по существу антикоммунистами, но редко себя определяли этим словом. На Западе этим определением пользуются часто крайние реакционеры. Я однажды, в 1976 или 1977 году, выступал с лекцией о движении за права человека в одном университете. Там сидели два пожилых человека, я сразу их заметил, они были в отглаженных, старомодных черных костюмах, в галстуках, гробовщики такие. Смотрели на меня, не улыбаясь, что-то записывали. Там были студенты, профессора, и эти двое отличались от людей, которые приходили на мои выступления. А я объехал всю Америку с лекциями. Они выглядели как советские чиновники того времени, худые, как Суслов. Сейчас все пухлощечкие, а тогда такие были. После лекции я подошел к этим людям, спросил: «Вам было интересно?» Они солидно кивнули. Я дал им проспекты журнала «Хроника прав человека». Это был проект Валерия Чалидзе, а мы с Питером Реддуэем и Эдом Клайном были членами редколлегии. Питер Реддуэй был замечательный человек, один из первых советологов, всерьез заняв-

шихся изучением движения за права человека. В краткой биографии Питера Реддужа было написано, что он — профессор Лондонской школы экономики. И эти два типа мне говорят: «А вы знаете, что такое Лондонская школа экономики?» Я говорю: «Да, я даже там выступал». — «Эта школа организована Фабианским обществом, старейшей социалистической организацией». Очень известное общество, в России оно неизвестно, но Бернард Шоу был его членом, [Джон] Кейнс, экономист, даже Бертран Рассел короткое время. Сегодня мы его не назвали бы даже социалистическим, скорее умеренно-прогрессивным. И старший из этих людей спросил меня как на допросе, глядя в глаза: «Вы имеете отношение к этому обществу?» Я говорю: «Нет, но один из наших редакторов — профессор Лондонской школы. А что такое?» — «Вы обязательно проверьте, что это за общество».

Они оказались членами Общества Джона Берча, знаменитой антикоммунистической, крайне правой организации. Правее их только стена. Сенатор Джозеф Маккарти был близок к их воззрениям. Барри Голдуотер тоже был близок к ним. Вот это — типичные антикоммунисты. Порядочные люди в Америке, те, которые защищали права человека, не хотели с ними идентифицироваться и не любили слово «антикоммунист». А я с другого конца, оттого что с симпатией относился к советскому антифашизму, тоже не любил слово «антикоммунист». Хотя многие мои друзья-диссиденты его охотно употребляли.

Наш принцип был — защищать всех: православных верующих; евреев, которых не выпускают; писателей, которых сажают. И в этом смысле мы считали, что нет у нас правых и левых, но были, конечно, люди, которые были социал-демократами. Я себя политически могу определить как антикоммуниста, но с большой неохотой. На сегодняшний день я гордо назову себя либералом и на этом остановлюсь.

— **Вернемся обратно в 50-е годы. Вы упомянули, что вас исключили из комсомола за аморальное поведение. Это что за история?**

— История чисто бытовая: я рано женился, и мы с моей первой женой разошлись. Разошлись нормально. Конечно, мне было трудно, я в университете учился, давал уроки, чтобы помогать семье. Я был не подарок, конечно. Моя бывшая теща, член партии, написала письмо на физфак, в комсомол, что я повел себя неподобающе... Она меня обвиняла в том, что я разошелся с ее дочерью, что я недостаточно помогал по дому. У них был участок, где они растили яблоки, клубнику, а я недостаточно часто приходил копать там. Вообще мои разговоры показывали, что я имел пережитки гнилой интеллигенции, защищал Пастернака. Мне было 20 лет в то время. Устроили комсомольское собрание, исключили из комсомола и рекомендовали исключить из университета. Но я ушел в академический отпуск, а когда вернулся, больше меня не трогали... В комсомол я не вернулся, но и из

университета не выгнали. Наверное, не было достаточно серьезных указаний это сделать.

— **Вы, наряду с Александром Гинзбургом, были первым, кто реализовал идею предания гласности материалов политических процессов, сбора информации и последующей ее публикации. Как вы пришли к этой практике?**

— Строго говоря, первой была, конечно, Фрида Абрамовна Вигдорова. Я ее лично не знал, но я дружил с Аликом Гинзбургом и помогал ему. Я считал, что это главное дело, мое призвание — предавать гласности политические суды. В общем, я сделал из этого некоторую индустрию, выпустил две книги — книгу про Буковского, «Дело о демонстрации», и «Процесс четырех». Я организовал работу, мне помогали — это невозможно было бы сделать одному. Я считал это важнейшим делом. Наташа Горбаневская помогала вычитывать и выправлять «Дело о демонстрации», и мы с ней готовили в то же время первый выпуск «Хроники». Наташа эту работу продолжила и сделала первые десять выпусков «Хроники». В августе 1968 года нас арестовали на Красной площади. Со временем все стало гораздо шире, и из этих книг о процессах выросла «Хроника текущих событий».

Кстати, у вас было интервью с Верой Лашковой, и я хочу одну вещь поправить. Она сказала, что книгу о процессе выпустил НТС, издательство «Посев». Конечно, они не сами выпустили, они просто украли мою книгу «Процесс четырех», назвав ее «Процесс цепной реакции».

Я делал записи процесса не сам, меня в зал суда не пускали, но я и еще пара людей, Наташа Горбаневская, Ольга Тимофеева-Галанскова — мы интервьюировали всех, кто выходил. Мы каждого свидетеля, каждого человека, каждого адвоката опрашивали. С книгой «Процесс четырех» мне помогали люди, а когда меня арестовали, Андрей Амальрик сделал последнюю редакцию и передал ее, по моей просьбе, [на Запад]. НТС никакого отношения к этому не имел, и этот «Процесс цепной реакции», хотя и циркулировал где-то, — конечно, краденая книга.

— **Ваша книга была издана Фондом Герцена в Амстердаме, правильно?**

— Да, конечно!

— **Что это была за организация и почему именно там?**

— Это замечательная организация! Но я должен начать сначала. Чем я действительно занялся раньше других и более регулярно — с 1966—1967 года я начал систематически встречаться с иностранными корреспондентами. Не я один, а и мой близкий друг, писатель и журналист Андрей Амальрик. Мы в тот период были очень близки. Он вернулся из ссылки, его выслали за тунеядство, как Бродского, но потом помиловали, адвокат был хороший. Он вернулся в Москву. Я познакомился с ним в доме у матери Алика Гинзбурга Людмилы Ильиничны — сам Алик был уже арестован в это время, в начале 1967 года, — и мы с Амальриком тут же подружи-



*Павел Литвинов
с женой и сыном
в ссылке.
Конец 1960-х
© Мемориал*

лись. Это был самообразованный (ему не дали окончить истфак МГУ), острый, злой в каком-то смысле, хладнокровный человек, многим он часто говорил неприятные вещи, но мы подружились и никогда не ссорились. Его проблема была в том, что он ни от кого своих мнений не скрывал, я ему об этом говорил. Многие его недолюбливали, слухи ходили — гнусные и несправедливые, конечно, — что он агент КГБ. Он был одним из первых, кто в Советском Союзе вел себя как по-настоящему свободный человек. Он делал вещи, которые тогда не приняты были.

Он дружил с [Анатолием] Зверевым и многими другими художниками, и жена его Гюзель была художницей. Она и сейчас жива, живет во Франции. Он знакомил художников с иностранцами-коллекционерами, с работниками посольств. И ему иногда платили какую-то комиссию. Это все были вещи, в Советском Союзе абсолютно неслыханные. Андрей с самого начала вел себя таким образом. Он родился независимым человеком и этим меня очень привлекал. Я был более идеалистично настроен и более романтичен в каких-то вещах, он был совершенно рациональным, но у нас было большое понимание и дружба.

Я жил на Спиридоновке практически один последние четыре месяца перед арестом. Там были прописаны моя сестра с мужем и ребенком, но они все время отсутствовали, по шесть-восемь месяцев в году ездили в биологические экспедиции. Из КГБ приходили и производили тайные обыски в моей квартире регулярно, когда хотели. Вскрывали двери, все забирали и прочее, поэтому я там ничего не мог хранить. Я ходил по Москве в свой диссидентские годы с портфелем, в котором носил все, что у меня было. Конечно, они могли забрать и портфель, но этого ни разу не произошло в 1967—1968 годах. Когда я начал работать над книгой о «процессе четырех», встал вопрос: куда девать материалы? Я все время бегал по Москве. Телефона у меня не было. Меня никто не мог застать, я все время должен был к кому-то ехать, что-то забирать, кому-то передавать.

Ведь даже по телефону-автомату можно было ожидать, что прослушивается. Позвонить и сказать: «Вы написали письмо, мне нужна копия, я к вам заеду» — нельзя. Я просто приезжал к людям. Мне повезло, я был человек очень дружелюбный, и ко мне все относились очень хорошо, ни в чем не отказывали, если было нужно. Было несколько человек — Наташа Горбаневская, замечательная Маруся Рубина, которой сейчас 90 лет, она живет в Израиле, — они не спали, бедные, по ночам и печатали для меня весь самиздат, все, что я публиковал. А я был все время на ногах, все время ездил по Москве, если были деньги — на такси, чаще на метро.

Мне надо было где-то хранить материалы. Маруся Рубина перепечатывала материалы по «процессу четырех», а куда их девать? Андрей предложил оставлять у него. Кроме нас, никто об этом не знал. Я вообще был сторонником принципа: говорить



*Гюзель и Андрей
Амальрики,
Павел Литвинов.
Начало 1970-х
© Мемориал*

каждому только то, что ему необходимо знать, а чего не надо, не говорить. Когда меня арестовали, многие даже не знали, что я дружил с Амальриком. Или знали, но не понимали, насколько он со мной был связан, насколько он мне помогал. На его квартире мы встречались с иностранцами. Иногда ходили в какой-то ресторан, но чаще встречались у Андрея.

Андрей жил на улице Вахтангова, за театром, у Старого Арбата, в квартире, где было 8 или 9 семей, то есть в классической старой коммунальной квартире. У него была одна комната, хотя очень большая, метров 40. Но в квартире жило столько людей, что туда было не так просто прийти с тайным обыском. Гюзель, его жена, всегда была дома, и Андрей обычно ни на какую службу не ходил. Я приносил бумаги, он их складывал в папочки, и мы хранили материалы у него дома, потому что нельзя было у меня. Я не хотел ни на кого навлекать опасность, но Андрей был совершенно смелый, он согласился.

Среди журналистов был замечательный человек — Карел Ван Хет Реве, голландский профессор. Он был не профессиональным журналистом, а профессором-славистом. Приехал на год от голландской газеты «Хет Парол». Он больше всех журналистов,



*Павел Литвинов
с женой в ссылке.
Конец 1960-х
© Мемориал*

встреченных мною в то время, понимал о Советском Союзе. Он тоже был когда-то в молодости коммунистом, но отошел от этих взглядов. И он был смелый, никого не боялся. А журналисты часто боялись, что их выгонят, это могло на карьере плохо отразиться. Он был первым человеком, которому я начал передавать документы. Поскольку все документы, весь самиздат практически шли через меня, то мы раз в неделю виделись у Андрея. Гюзель нам готовила обед, Карел приходил, и я передавал ему всевозможный самиздат и материалы.

Я передал Карелу Ван Хет Реве первую статью Сахарова. Сахаров ни с кем не встречался, он прислал мне эту статью через физика из Обнинска Валерия Павлинчука. Надо сказать, что сам факт ее появления был невероятен! Это «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Сахаров в то время не был диссидентом, не встречался с иностранцами. Я прочитал статью, показал Андрею, Карелу, Ларе Богораз и Виктору Красину, моим тогда ближайшим друзьям. Карел сразу понял важность этой вещи. А нам она не показалась такой важной. Мы считали себя гораздо дальше от коммунизма и социализма, чем сахаровская статья того времени. Я сейчас понимаю, насколько это была великая вещь, но тогда она была для нас замечательна именно тем, что ее написал Сахаров. Много лет спустя я обсуждал это с Еленой Георгиевной Боннэр, и она сказала, что на нее статья тоже сильного впечатления не произвела вначале. У нас к тому времени было уже меньше иллюзий по поводу советского режима.

Сахаров был замечателен тем, что он встречался с начальством, знал лично Брежнева и прочих. Он был поразительный, редкий человек — он был практический политик. Занимался он не политической, разумеется, а физикой — но он думал о том, как объяснять людям идеи, как двигаться от одного пункта к другому. Мы считали, что должны выражать свое мнение и бороться за права человека. Мало кто в то время думал о том, как построить будущее. Мы решили, что будет свобода — и тогда все придет: или капитализм, или демократический социализм, или какая-то смесь того и другого.

Когда я передал статью Карелу Ван Хет Реве, я думал: важно, что это Сахаров, крупный ученый. Я знал его имя из учебника физики. Он был такой суперсекретный, но физики его имя знали. И я знал еще, что он выступил против [академика Трофима] Лысенко, который пытался протащить своего ставленника [Николая] Нужи́дина в академию. Сахаров выступил тогда [в 1964 году], и Нужи́дин не прошел. Сам факт, что это был человек из такой области, да еще сделавший бомбу, — это было чрезвычайно важно. Карел, как иностранец, понимал это еще лучше. Вопрос был: как опубликовать? Карел передал статью корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Рэю Андерсону.

Произошла смешная история. Был такой человек — [Генри] Шапиро, корреспондент «Юнайтед пресс интернешнл» в Москве. Он был как бы старейшиной всех корреспондентов. Когда Рэй Андерсон показал ему сахаровскую статью, тот сказал: «Этого не может быть! Никакого Сахарова не существует, это Литвинов сам написал».

Я был в то время самый известный диссидент, и Шапиро эту статью посчитал «провокацией Литвинова». Рэй Андерсон все-таки ее передал в «Нью-Йорк таймс». Но поскольку для «Нью-Йорк таймс» еще надо было переводить на английский, то Карел сам перевел на голландский и по телефону продиктовал в свою газету «Хет Парол». Он правильно рассудил, что не успеют собраться и найти для прослушки человека, понимающего по-голландски. Поэтому вначале статья появилась по-голландски, а потом в «Нью-Йорк таймс». Она была издана отдельной брошюрой и разошлась по всему миру.

16 августа 1968 года, за несколько дней до вторжения в Чехословакию, мы встретились с Карелом у Андрея и Гюзели. Его срок в Москве заканчивался. И я сказал: «Карел, вы уезжаете совершенно не вовремя, через неделю-две меня арестуют». Еще не было вторжения в Чехословакию, хотя мы его ожидали каждый день. Я чувствовал, что обстановка сгущается. Карел уехал, и произошло вторжение в Чехословакию, и меня действительно арестовали.

А Карел приехал в Голландию и передал письмо, которое я написал группе мировых знаменитостей, включавшей Стравинского, Менухина, Стивена Спендера, Одена. Это была группа людей, которые в январе 1968 года мне и Ларе Богораз написали письмо поддержки. И я в ответ им писал, что бы они могли сделать в помощь нам, что издать, как выступить, чтобы поддержать тех, кто сидит в тюрьмах.

Из этого возник потом журнал, который до сих пор существует, — Index of Censorship, «Индекс цензуры». Карел показывал мое письмо западным интеллектуалам — это было частное письмо, оно не публиковалось — и собирал деньги на издание книг на русском языке. Так возник Фонд имени Герцена. В Фонде Герцена было издано несколько документов Комитета прав человека, он издал мой «Процесс четырех», в общей сложности около 10 книг. Поскольку денег было немного и сотрудников не было, Карел все сам делал. Нужна была типография — это еще было докомпьютерное время. И дело заглохло. Но это было первое такое издательство, не политическое, а именно правозащитно-литературное.

— Про знаменитую демонстрацию 25 августа 1968 года хорошо известно в подробностях, в частности, из книги «Полдень», составленной Натальей Горбаневской. Как определился состав ее участников? Почему, в частности, Амальрик, с которым вы так дружили, не примкнул к вам?

— Амальрик вообще мог бы и не прийти, потому что он был человек очень индивидуалистичный. Но его просто не было в Москве. Кто бы точно пришел — Петр Григорьевич Григоренко, но он был в Крыму. Довольно много людей, которые могли прийти, были в отпусках.

Демонстрация не была организована. В июне, июле, августе 1968 года мы много об этом говорили. У нас уже такой круг образовался: Лара Богораз, Петр Якир, Виктор Красин, Юлий Ким (он был женат на дочери Якира Ире), Илья Габай, ну и еще несколько человек, не буду большой список приводить. Сергей Ковалев и Александр Лавут пришли позже, уже после моего ареста. Были Толя Якобсон, Таня Великанова.

В день, когда ввели войска, 21 августа, состоялся суд над Толей Марченко. Толя уже написал, пустил в самиздат и передал на Запад книгу «Мои показания» — первую книгу о лагерях и тюрьмах послесталинского времени. Судили его за злостное нарушение паспортного режима и дали год лагеря строгого режима. Нарушение было пустяковое: он был прописан в Александрове, за сотым километром (там прописывали бывших заключенных), и приезжал в Москву на выходные. Оставался в Москве на разрешенные правилами о прописке три дня. В какой-то момент его в Москве арестовали, обвинив в превышении позволенного срока. Это было в начале августа 1968 года. Кроме книги «Мои показания» он уже написал письмо — не помню, успел его отправить или нет, но он его написал — с протестом против угроз Чехословакии. Мы все время следили за Чехословакией, Чехословакия была для нас символом. Если получится у чехов, то, глядишь, будут перемены и у нас. Не то чтобы мы всерьез в это верили, но думали, что Чехословакия может служить примером: глядишь, наши старые пердуны тоже задумаются, мы сможем добиться каких-то реформ... Было огромное сочувствие происходившему



Наталья Горбаневская и Павел Литвинов, 2008
© Мемориал

в Чехословакии. Мы хотели, чтобы такое происходило и в России. Кроме того, Чехословакия была маленькой страной, около 10 миллионов населения, а наша «200 плюс»-миллионная страна их заставляет жить так, как она хочет, а не как хотят чехи. Чехословакия была очень важным для нас моментом.

Из Ленинграда приехал Лева Квачевский, который был вскоре арестован, и сказал: если введут войска в Чехословакию, надо выходить на улицу. То есть это было общим местом. Было ощущение, что письма писать хорошо, но если уж они атакуют Чехословакию, то надо что-то делать, высказать протест более серьезным способом. Хотя ясно: за письмо тебя могут выгнать с работы, за два письма посадить, а за выход на демонстрацию посадят сразу. И все мне говорили: «Павлик, если что-то будет...» Поскольку я был центральной фигурой, не то что авторитетом, а именно фигурой, на которой все концы диссидентского движения пересекались.

Когда 21 августа был суд над Толей Марченко, мы все туда пришли, человек 20—30. Обычно в суды не пускали никого внутрь, кроме родных, а в этот раз именно из-за Чехословакии не хотели оставлять нас на улице, пустили внутрь. Зал неожиданно был полный. Тале дали год лагеря, нам было очень тяжело и обидно, хотя мы этого и ожидали. Его тут же увели, мы вышли на улицу. Суд был недалеко от Савеловского вокзала, и мы пошли в сторону метро. Вокруг ходили кагэбэшники, открыто нас фотографировали. И мы тоже их фотографировали. Тогда фотоаппараты не были, как сейчас, всегда под рукой. Но была женщина, [Нина] Лисовская, у нее был фотоаппарат. Я его взял и стал фотографировать гэбэшников вокруг нас. Такой толпой мы двигались. И Костя Бабицкий сказал мне: «Паша, если ты собираешься что-то делать по поводу Чехословакии, я к тебе присоединюсь». —

«Конечно, Костя». Через две минуты подходит Толя Якобсон и говорит: «Паш, если ты будешь организовывать что-то по поводу Чехословакии, а я буду на даче, передай через мою жену». Вот такие были разговоры. Конечно, у нас с Ларой Богораз тоже были общие чувства. Мы ни о чем не договаривались, но было ясно, что что-то мы сделаем. На следующий день, 22-го, я зашел к Ларе вместе со своей будущей женой Майей Копелевой, и Лара говорит: «Я точно решила, что буду выходить». Я отвечаю: «Я тоже решил, но ничего по этому поводу пока не сделал». А Лара уже написала официальную записку на своей работе в Институте русского языка, что в знак протеста она не выходит на работу. Меня выгнали с работы уже несколько месяцев назад и угрожали арестом за тунеядство. Я сказал: «Лара, давай попробуем. Я поезжу по Москве, предупрежу кого могу. Назначим день». Она говорит: «Я уже назначила — 12 часов дня в воскресенье». — «Почему именно так?» — «Просто пришло в голову». Я говорю: «Хорошо, договорились».

Я стал смотреть, кто выйдет. Было ощущение, что люди, которые выйдут, должны знать, что их арестуют сразу. Мы тогда думали, что по семь лет лагеря дадут за антисоветскую деятельность. Дали гораздо меньше, вообще все было гораздо мягче. Тем не менее у меня не было привычки такое предлагать... Я мог просить человека что-то перепечатать для меня, машинку найти, что-то передать. Но чтобы человек пошел, как тогда называли, «самосадом»... Тут я мог отвечать за себя или Лару, ну, еще за нескольких человек. А вот уже говорить постороннему человеку «пойдем с нами»... Поэтому я немножко саботировал это дело. Я сказал бы обязательно Андрею Амальрику, но его не было, я бы, разумеется, сказал генералу Григоренко, который бы пришел, но его не было. Про Витю Красина не знаю, вышел бы он в тот момент, но он тоже уехал в Крым. Они с генералом там отдыхали. Костю Бабицкого было легко найти, я встретился с Таней Великановой, его женой, и Таня передала. Таня уже была активным человеком. А потом я поехал к Пете Якиру. И Петя сказал: «Я, конечно, приду!» Он испугался, не пришел, придумал, что его задержали в КГБ. В общем, это было для него типично, но я не мог его не позвать. У него в доме была Таня Баева, подруга его дочери, и он ей сказал. У него же, по-моему, в доме оказался [Владимир] Дремлюга, он и Дремлюге сказал. Я Дремлюгу почти не знал, раза два видел. И кто-то еще передал Вадику Делоне, но я думаю, что это тоже пришло от Якира. Знали, что я за этим стою, но Вадику Делоне Якир сказал. А Толя Якобсон, который рвался прийти, жил на даче, где-то в Голицыне. Лара и я пришли на работу к его жене Майе Улановской, Лара была ее близким другом. Лара ей сказала, что Толя просил позвать его на демонстрацию. Но Майя Улановская просидела пять лет в сталинском лагере, трое из ее поделщиков были расстреляны... В общем, она ответила: «Я Толе не передам». Ни у кого не было

времени ехать на дачу, к тому же не хотелось идти против Майи. Толя был очень огорчен, потому что он, конечно, вышел бы.

И вот так получилось, что кто пришел, тот и пришел, никого особенно не звали. Ну, Наташа Горбаневская, конечно, мы с ней дружили, мы с ней виделись у Лары перед этим. Я очень волновался, потому что у нее был маленький ребенок, но она сказала: «Я решу сама! Отстань от меня!» А потом сказала: «Ладно, компромисс будет, что я принесу чешский флажок, и с ребенком меня не арестуют». Так и было, ее действительно сразу не арестовали. Ее арестовали через год, после того, как она закончила книжку [«Полдень»] и стала издавать «Хронику». Мы первый номер делали вместе, второй она уже продолжала. За это ее и посадили в психушку.

— **Против ожиданий наказания за демонстрацию были, в общем, сравнительно мягкие.**

— Да, абсолютно мы не ожидали. Я ожидал, что будет 7 плюс 5. По тому времени это был нормальный максимальный срок — по 70-й статье 7 лет лагеря и 5 лет ссылки. Но они в 1966—1967 году приняли новый закон по 190-й статье, это был вариант статьи 70-й, но «без умысла подрыва советского государства», и еще 190, часть 3, — за демонстрации. Там была еще 190, часть 2, за оскорбление флага, уж не знаю, где ее употребляли... В общем, это было совершенно неожиданно. И дело вела формально прокуратура. Конечно, только формально, то есть КГБ был как бы сзади, а прокуратура вела дело.

Они решили действовать помягче. Я думаю, не хотели привлекать внимание к самому факту протеста, поскольку весь мир протестовал против вторжения в Чехословакию. Думаю, в этом была главная причина. Плюс мое имя, благодаря имени деда отчасти, да и мы с Ларой им поднадоели, так как были в то время в центре. Наши имена склонялись на собраниях в университете и разных НИИ. Людей выгоняли из партии, десятки людей потеряли работу за то, что нас поддержали. Около тысячи человек в Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске и других местах подписали различные письма в поддержку нашего обращения к мировой общественности. Эти письма передавались по ВВС, «Голосу Америки» и «Немецкой волне», «Хроника текущих событий» регистрировала все это. Появилось для советского времени неслыханное, по масштабам того времени, «массовое» движение, в котором в той или иной степени и форме участвовал, наверное, с десятков тысяч человек, около тысячи из которых поставили свои имена под письмами протеста. И у людей появлялся вопрос: идут выступления, а Литвинова и Богораз до сих пор не посадили, а тут еще Григоренко и Якир, и еще из самого святого советского сердца, из засекреченной оборонки появляется трижды Герой Социалистического Труда академик Сахаров, а Литвинова и Богораз до сих пор не посадили — не ожидают ли они чехословацкого варианта, который нельзя допустить? И наша демонстрация свела вместе эту проблематику. Им надо было нас наказать и изолировать, но решили



*Павел Литвинов
в ссылке
в Верхних Усуглях.
Около 1970
© Мемориал*



Дом Павла Литвинова в ссылке в Верхних Усуглях. Около 1970
© Мемориал

сделать это наиболее мягким образом. К тому же нельзя было назвать нас юнцами: мне было 28 лет, Ларе 35, Косте Бабицкому примерно столько же... Они дали большие сроки Дремлюге и Делоне, потому что у Делоне был уже условный срок за предыдущую демонстрацию с Буковским. У Дремлюги тоже был условный срок за то, что называлось спекуляцией, какие-то покрывающие он продал, когда учился в Ленинграде, в общем, какая-то абсолютная чепуха. Им дали по три года лагеря. А нам всем дали ссылку, мне — максимально, 5 лет ссылки, нельзя было больше давать, Косте — 3 года, а Ларе — 4 года. Витю Файнберга они решили с нами не судить вообще, потому что ему выбили зубы на демонстрации и не хотели, чтобы он со своими выбитыми зубами присутствовал на процессе. Поэтому его посадили в психушку. И он пострадал гораздо больше всех нас. Наташу выпустили вообще, поскольку у нее был маленький ребенок. По этому делу у нее была экспертиза, но ее не судили.

— **Вы полностью отбыли срок ссылки?**

— Да. Там более хитрое дело: день лагеря или тюрьмы считается как три дня ссылки, поэтому те дни, которые я просидел в «Лефортово» и в пересылке, считались за три. Я отсутствовал в Москве четыре с половиной года. Я полностью отсидел, но не 5 лет, а 4,5.

— Но КГБ вас — возможно, из-за фамилии — сажать не хотел. И в следующий раз, насколько я понимаю, настаивал на том, чтобы вы уехали.

— Вернувшись в Москву, я стал опять активен. Не так, как прежде, но активен. Они мне угрожали отобрать московскую прописку, однако не отобрали. Осенью 1973 года началась кампания против Сахарова и Солженицына, первая большая кампания в газетах. Солженицына в конце концов выгнали из страны. С Сахаровым в тот момент ничего не сделали, сослали его через несколько лет, но он тогда потерял работу. Мы вместе с большим моим другом, ныне покойным философом Борей Шрагиным, написали тогда письмо. К сожалению, копия не сохранилась. Но оно где-то существует, оно было опубликовано в газете «Вашингтон пост», передано по «Голосу Америки» — фундаментальное письмо в защиту Сахарова¹. Тогда власти поняли, что надо со мной что-то делать, что я вот-вот опять раскручусь и буду в центре.

Моя жена Майя [Копелева] в то время была нездорова, у нее были довольно серьезные проблемы, которые не знали, как лечить. Была надежда, что на Западе ее вылечат. Было двое маленьких детей: сын Дима, мой пасынок, и дочь, которая родилась в Сибири. Давление было колоссальное, было ясно, что в этот раз ссылкой не обойдется...

В декабре 1973 года меня схватили на улице, привели в милицию. Там гэбэшник, полковник [Булат] Каратаев, который был главным специалистом [по диссидентам], предупредил меня, что в следующий раз будет уже не курорт, как в прошлый, а настоящий лагерь... Что в следующий раз я уже семь лет получу. В общем, все вместе — давление, арест и привод в милицию, волнения из-за моей больной жены и детей — это все меня заставило уехать.

— Вы уехали сразу в Америку?

— Практически да. Я был несколько дней в Австрии, несколько дней в Италии, потом гостил у Ван Хет Реве в Голландии, но это все по пути в Америку. У меня была американская виза.

— Что представляло собой диссидентство в эмиграции? Когда вы оказались за границей, это, собственно, было самое начало третьей волны.

— Были люди, которые просто уезжали по израильской визе и оказывались в Америке. Были люди, которых выгнали. Это был такой момент — начало 1974 года, когда арестовали и выслали Солженицына, я думаю, что это был один список, потому что это происходило буквально в одни и те же дни. Был мой друг Боря Шрагин. И уже до этого стал невозвращенцем один из основателей Комитета прав человека Валерий Чалидзе. Валерий еще до моего приезда в Америку начал вместе с Эдом Клайном и Питером Реддюзем издательство «Хроника-Пресс». Позже они стали переиздавать «Хрони-

¹ Текст заявления опубликован: Собрание документов Самиздата. Munich, 1978. Т. 29. — Г. М.

ку». В то время [конец 1972 — май 1974 года] московская «Хроника» была временно прекращена из-за шантажа КГБ.

— **Наверняка в 1974 году, когда вы и другие деятели диссидентского движения оказались на Западе, вы строили какие-то планы, проекты. Как вам из сегодняшнего дня ретроспективно видится: насколько реализовались те задачи, которые ставились в 1974 году, с вашим появлением на Западе?**

— Очень хороший вопрос! Но ответ длинный. Еще в Москве у меня, у Бори Шрагина, у Владика Зелинского (он впоследствии стал священником), у Жени Барабанова — у нас был план, что мы с Борей Шрагиным уедем и будем издавать политическо-философский журнал. И мы действительно издали сборник, который назывался «Самосознание», к сожалению, почти неизвестный. Я его перечитываю иногда и вижу, что мы многое увидели. В сборнике участвовали Евгений Барабанов, Лев Копелев, Михаил Меерсон-Аксенов (теперь он священник в Нью-Йорке), Владик Зелинский под псевдонимом Дмитрий Нелидов, Ричард Пайпс, известный американский профессор, Григорий Соломонович Померанц, Борис Шрагин, Юрий Федорович Орлов, Валентин Турчин и я.

В «Мемориале» есть копия, у меня есть две или три копии, может быть, где-то еще остались, но хорошо бы было этот сборник переиздать. Это были люди, которые хотели что-то сказать и которым было что сказать по поводу прогнозов будущего России, прав человека и политики. И все как-то высказались. Это, может быть, неровная, но интересная книжка, и мы надеялись, что она станет началом журнала.

Еще была длинная история. Существует «Новый журнал», старый эмигрантский журнал. Его издателем был [с 1959 года] Роман Гуль, известный эмигрантский писатель. Не очень хороший, но известный. Он издавал «Новый журнал», но у него почти не было денег. Гуль пригласил меня издавать журнал вместе. Мы долго встречались, говорили. Но мне нужно было кормить жену и двоих детей, я нашел преподавательскую работу. Платить мне зарплату за редактирование журнала Гуль, конечно, не мог. Я предложил кандидатуры Бориса Шрагина, который работал тогда на «Свободе», и Михаила Меерсона, учившегося в Свято-Владимирской семинарии. Он сейчас священник. Они бы работали в журнале, а мы с Гулем были бы соредакторами. Деньги собирался дать один американский фонд. Мы почти договорились, но тут Гуль сказал: «Я решил, что вы будете моим заместителем, а я останусь главным редактором». Я понимал, что если у него будет полное вето, то дело не пойдет. Я уже приносил тексты, которые он отказался публиковать. Он был человек из таких крепких старых эмигрантов, которые были тверды. Он не понимал диссидентов, не понимал демократии, был такой классический старорежимный белогвардеец-антикоммунист. По-своему хороший человек, но очень упрямый. Был еще замечательный человек из нашего же поколения,



*Елена Боннэр,
Наталья Горбанев-
ская, Павел Лит-
винов на приеме
у президента
Чехословакии
Вацлава Гавела.
Прага, 1990
© Мемориал*

но постарше — Аркадий Белинков. Так Гуль Белинкова ненавидел за «русофобство». Я понял, что если он употребляет такие слова, то мы не сработаемся. Нас еще очень поддерживал отец Александр Шмеман, которого мы хотели пригласить в редакцию, и он соглашался войти. Но Гуль понял, что в этой компании против нас он пойти не сможет, а вот если у него будет формальное главное редакторство, то он все забракует, что мы хотим. Я отказался от этого дела: было ясно, что ничего хорошего не выйдет. И действительно, уже в следующем же после нашего разговора номере журнала [1976, № 124] Гуль опубликовал безобразную статью против Синявского, «Прогулки хама с Пушкиным». И я себе представил, что под моей подписью могла бы выйти вот такая гнусность, советская абсолютно, только с точки зрения старых эмигрантов... Я был прав, что я отказался, хотя мне говорили, что надо было потерпеть. Но у меня терпения на это не было. Вот такая история.

Перед этим Владимир Максимов, талантливый писатель и хитрый и ловкий человек, с помощью Синявского и при поддержке поначалу, пусть и сдержанной, Солженицына нашел относительно большие деньги и стал издавать [в Париже] журнал «Континент». И, слава богу, он дал работу Наташе Горбаневской, она там делала большую часть работы, что помогло ей выжить в эмиграции. Ей было бы очень трудно, если бы не было этой работы. Он платил деньги и Виктору Платоновичу Некрасову, который в журнале участвовал мало, но ему стипендию выплачивали, так сказать. Довольно быстро Солженицын от этого журнала отошел. А с Синявскими произошла большая ссора, они ушли. Позднее Марья Васильевна [Розанова-Синявская] стала издавать журнал «Синтаксис».

«Континент», если вы теперь посмотрите, был журналом очень неровным. Там бывали интересные и хорошие вещи, но он стал

очень политизированным, максимовским журналом. Максимов пытался и меня пригласить участвовать, но я уже понимал, что мне там не место. Это был примитивный антисоветский журнал, в котором попадались хорошие публикации: стихи Бродского, интересная повесть Владимира Корнилова [«Без рук, без ног»] и так далее. Но общее политическое настроение, которое Максимов создавал, было довольно гнусное. И у меня была одна схватка с Максимовым, в которую даже вмешалась Наташа Горбаневская, мой близкий друг. Он написал абсолютно гнусную статью про Синявского. Называл Синявского агентом КГБ. Я написал в защиту Синявского, в общем, произошел скандал с разрывом.

— **Какие из эмигрантских институций вам были ближе? Где вы чувствовали себя более органично? Или таких не было вообще?**

— Было наше издательство «Хроника-Пресс», я полностью с ним идентифицировался. Я был близок с Синявскими и их изданием «Синтаксис». Этот журнал тоже был очень неровный. Марья Васильевна издавала нерегулярно, работать с ней было трудно. Мы очень большие друзья и до сих пор друзья, хотя с ней немногие дружат. Есть люди, которые дружат, а есть те, которые ее очень не любят. Мы с ней дружили. Но я ей всегда говорил, если мне не нравилось, что она делала, если ее заносило. Она от меня это принимала. Если сейчас посмотреть подборку журнала «Синтаксис», я бы сказал, что 95 процентов материалов там очень хороших, по тому времени передовых. Какое-то время мы с Борей Шрагиным и той же Розановой издавали журнал-газету «Трибуна». Мы ее составляли в Нью-Йорке, а печаталась она в Париже. Но это продолжалось меньше года.

— **Если говорить в целом о Западе, насколько ваши представления о Западе, существовавшие в Советском Союзе, совпали с тем, что вы там увидели?**

— В главном — совпали. То есть свобода есть, была и остается. Что бы там ни говорить, как бы эта свобода ни была непосредственна и во многих случаях разочаровывала, в общем это примерно то, чего я ожидал. Просто демократию не надо идеализировать, не надо думать, что она держится на идеализме людей. Нет, они — такие же люди, с тем же незаконченным моральным развитием. По моему мнению — и я считаю, что это экспериментально моей жизнью подтверждено, — возможность построить сбалансированное общество существует. Это трудно сделать, и плохие традиции мешают его построить, но если его не идеализировать, а сформулировать принципы, написать конституцию и дальше давать жить другим и самому понимать, что осуществимо, что неосуществимо, то можно найти баланс. Я в это верю, я не разочарован. Если думать, что демократическое общество может построить рай на земле, все будут святыми и благородными, будут всегда поступать правильно — нет, конечно. Люди эгоистичны, себялюбивы, думают о себе и о своей семье

в первую очередь, а не о государственных интересах. Тем не менее надо призывать всех уважать права человека, уважать конституцию, законы и быть милосердными. Я в эти вещи верю, они существуют. Но, конечно, в каждом месте оно происходит по-разному, не везде хорошо, не всегда получается. Я не знаю, когда это произойдет в России, хотя верю, что произойдет. Не знаю, что будет с Россией, это большой вопрос. Останется ли она в том виде, в котором есть, станет ли каким-то абсолютным болотом или распадется на части — этого предсказать не могу. Меня интересует Россия, меня она волнует и остается моей родиной, хотя я вполне американец, очень интересуюсь американской политикой, участвую в выборах и даже участвовал в президентских кампаниях. Так что западная демократия — хорошая вещь, но она, ее принципы требуют защиты. Думать, что мир сам, без постоянной защиты, выберет правильный путь — нет, этому я не верю. Когда-то Черчилль сказал об Америке: «Наши друзья американцы всегда поступят правильно в конце концов, после того, как они попробуют все остальное». В этом проблема демократии — она всегда очень медленна. Поскольку она демократия, она должна решать и пробовать, находить политический вектор — сумму огромного количества векторов, не все из которых могут вам нравиться. Но в конечном счете этот вектор выберется, просто недостаточно быстро. Это всегда обидно.

© Из архива Маши Слоним



«Мама очень не хотела, чтобы меня арестовывали»

— Если бы вас в год вашего отъезда из СССР — 1974-й — спросили, принадлежите ли вы к диссидентскому движению, как бы вы ответили тогда?

— К тому времени думаю, что да. Потому что уже начались неприятности, связанные именно с этой деятельностью. Дело в том, что я подключилась на довольно позднем этапе — на позднем этапе своей жизни в Москве и на позднем этапе движения. Потому что тех людей, кто действительно этим занимался серьезно, начали арестовывать. Павел Литвинов, Наташа Горбаневская, [Александр] Гинзбург. А я была где-то на периферии всего этого. Они были друзьями друзей, ну, не считая, конечно, Павла, который был двоюродным братом. Это немножко более старшее поколение было, во-первых. А во-вторых, для нас дома, для папы Павел был таким примером не для подражания, он очень боялся, что я втравлюсь в эту историю, действительно волновался. Не из-за этого, конечно, я не бросилась тогда в диссидентство с головой — просто мне было 20 лет, у меня был маленький сын, и немножко было не до того. Потом, еще учась в университете, стала подписывать письма протеста, когда начали арестовывать людей.

Ходила на демонстрации на Пушкинскую, до этого был у меня очень юный опыт, когда на Маяковке поэты читали стихи, и я то-



Москва, 1968
© Из архива
Маши Слоним

Мария Ильинична (Маша) Слоним (6 ноября 1945, Москва) — российский и британский журналист. Родилась в семье скульптора И.Л. Слонима и Т.М. Литвиновой — дочери наркома иностранных дел СССР (1930—1939) М.М. Литвинова и англичанки Айви Лоу. Двоюродная сестра диссидента Павла Литвинова. В 1970 году окончила филологический факультет МГУ.

В 1974 году эмигрировала в США. С 1975 года жила в Лондоне. В 1975—1995 годах — сотрудник Русской службы Би-би-си. В 1989—1991 годах — продюсер документальных телевизионных фильмов Би-би-си. В 1992—1994 годах — московский корреспондент Русской службы Би-би-си. В 1997—2000 годах — ведущая телепрограммы «Четвертая власть» (РЕН ТВ). В 1998—2006 годах — преподаватель в школе журналистики некоммерческой организации «Интерньюс». Сопродюсер сериала «Вторая русская революция» (BBC, 1991), автор фильма «Это тяжкое бремя свободы» (2001, производство «Интерньюс»), сопродюсер фильма «Анна Политковская: семь лет на линии фронта» (2008, Channel 4), сопродюсер фильма «Путин, Россия и Запад» (BBC, Discovery, 2012).

В 1991—2016 годах жила в Москве. В 2016 году вернулась в Великобританию.

же ходила тогда, я еще в школе была. Это 1961—1962 годы, когда там [Юрий] Галансков читал свой «Человеческий манифест». Прямо у памятника, на постаменте и вокруг, собиралась в основном молодежь. Много. Вечерами это было, я помню, было темно. Потом брандспойты приезжали, кого-то заталкивали в автозаки, которые тогда еще так, впрочем, не назывались.

— **Никаких звукоусилителей не было, читали в силу собственного голоса?**

— Да-да. Я невинное что-то, Цветаеву читала. И вообще большинство читало стихи. Потом появились СМОГи, молодые гении. И Галансков, конечно, с «Человеческим манифестом» прогремел. И, по-моему, загремел. Вот это было раннее. Потом — ребенок, университет, то-се, какая-то богемная тусовка, скажем так. Но я еще одним боком оказалась в этом деле — у нас дома крутилось много иностранцев... По традиции приходили, приезжали.

— **По традиции от дедушки?**

— От бабушки, скорее. Бабушка — англичанка, она очень-очень тосковала, она сюда приехала в 20-х годах с мужем, Литвиновым, не зная русского.

— **То есть он ее, симпатизантку Советов, вывез в СССР.**

— Да. Она была левой, как многие среди интеллигенции тогда, увлекалась Фрейдом. Но главное — они любили друг друга. Даже не то чтобы она рвалась в Россию, но это сошлось как-то. Не знаю, полюбила ли она его за то, что он был эмигрантом в Лондоне... Он же бежал из киевской тюрьмы и оказался в Лондоне. Полюбила ли она его за то, что он революционер, или за то, что... Ну, он очень обаятельный был человек, скорее всего за то, что он Максим... Ну, за все, она романтик была, конечно. И она приехала в 20-х годах, они ездили очень много потом, он часто выступал в Лиге наций, так что были поездки бесконечные за границу. А потом жизнь как-то сузилась у нее здесь. И она всегда искала каких-то знакомых англичан, английские книжки, английские газеты. Помню, у нее всегда были с конца 50-х The Times на этой хрустящей папиросной бумаге, air mail, воздушный вариант The Times для посылки за границу. Когда не было туалетной бумаги, мы ее использовали, и казалось, что это здорово, а на самом деле краска типографская там была очень маркой. После чтения этой The Times руки совершенно черные были, и все остальное тоже. А потом в гостях стали появляться иностранные корреспонденты. Мы с ними задружились. И я начала изготовление и распространение. Я передавала в основном [выпуски] «Хроники [текущих событий]», какие-то документы, открытые письма и заявления знакомым иностранным корреспондентам.

В общем, моя деятельность ограничивалась этим. Про демонстрацию в августе 1968 года, например, я ничего не знала. Я помню, как я услышала о ней по «Голосу Америки». Мы с сыном пришли в дом [Корнея] Чуковского в Переделкине, и там кто-то ко мне подошел и сказал об этом. Мы включили радио...



Москва, 1968

© Андрей Зализняк

— **Корней Иванович был дома?**

— Да, Корней Иванович был, но это было в саду. С ним это не обсуждалось. Может, и обсуждалось, но я просто не помню этого совершенно. Я помню, у калитки кто-то меня остановил... чуть ли не моя мама, моя мама там была, она сказала, и мы сразу бросились — тут же оказался приемник под рукой — и стали слушать.

— **И вам сказали, что Павел там?**

— Да, сказали. Я ничего не знала до этого. И даже у меня смешанные чувства такие промелькнули: что же он, гад, не сказал! С одной стороны. А с другой стороны, у меня тут болтается, между прочим, двухлетний Антоша, и я не знаю, что бы я сделала. Я не такая, как Наташа Горбаневская. Так что, в общем, хорошо, что он мне не сказал, очевидно, потому что у меня не было проблем с выбором действий. Хотя Чехословакия, конечно, страшно на нас повлияла, действительно! Мы себя видели прямо в этой Праге весной! Просто это был какой-то... такая надежда. Я помню, мы ходили на фильм «Чехословакия: год испытаний». Очень хорошо сделанный фильм, и я его видела как сделанный специально для меня, я видела себя среди этих студентов там. Просто там была девушка, дико похожая на меня, и я как-то представляла, что я там. Потом я прочла, кстати, про этого режиссера [Анатолия Колошина], он был корреспондентом чуть ли не ТАСС, но сочувствовал. И фильм сделан был...

— **Тайно сочувствуя.**

— Да-да! Вот правда! Я потом с ним интервью читала. И я ходила на этот фильм раз десять, его показывали в кинотеатре «Россия». Так сейчас смешно вспоминать, господи, это была такая детская пропаганда по сравнению с тем, что сейчас видишь по телевизору, про Майдан и прочее. Не знаю, мне это даже не казалось пропагандой, это фильм для меня был.

— **Вам важно было видеть фактуру свободы, лица...**

— Да. Это были лица, свобода, этот воздух свободы. Поэтому, когда случилось вторжение, это был страшный шок! До этого, правда, летом приезжала Ева, молодая девушка из Праги, и нам рассказывала про все, про Пражскую весну. Мы знали о ней из первых рук. И рассказывала, что она вступила в партию Дубчека, чтобы его поддержать. И мне ужасно стыдно... Мне до сих пор стыдно за свои детские жестокости, когда я надувала лягушек через соломинку, — и то же самое, как мы тогда над ней смеялись и говорили: «Да ну, наши танки войдут — и вы их будете встречать цветами». Прямо так и говорили. И она плакала. Потом я о ней думала, конечно, в августе. Ужасно! Это был всплеск какой-то надежды, а потом все рухнуло, страшно совершенно. Нет, депрессии не было, но действительно казалось, что все, теперь никогда ничего... И вдруг появилась «Хроника».

«Хроника» частично делалась у меня. У меня была машинка, «Эрика» знаменитая. Иногда Наташа Горбаневская ко мне, наверное, из конспирологических каких-то соображений приходила стучать на машинке.

— **Где вы жили тогда?**

— На Бутырском Валу. У меня была уникальная ситуация — у нас с мужем и ребенком была отдельная квартира, как-то родители устроили. Ко мне приходили всякие люди. И [Илья] Габай за углом жил, на Новолесной, прямо буквально через Новолесную от нас. И к нему ходили, у него как раз подписывали тоже всякие воззвания. Развозила я эту «Хронику» по домам друзей, передавала иностранцам. Ну, в общем, больше ничего. А потом стали уже сажать людей близкого круга. Мы все стали подключаться, те, кого не посадили, начинали собирать передачи, еще что-то, доставать информацию и втягивались таким образом. Я ездила — [2 июля 1973 года] арестовали Гарика Суперфина, ездила с его мамой в Орел на суд, потом в Пермь на свидания, маму возила. Собирали передачи всякие.

Да, у меня еще было огромное преимущество! Мой муж, отец моего сына, уехал в Америку и оформил алименты через Инюрколлегию, и эти алименты выдавались — 200 долларов в месяц — чеками Д и не облагались никаким налогом. Поэтому я ходила в «Березку» и покупала уникальные совершенно вещи, типа колбасы копченой, и передавала это все тоже, включали это в передачу. Ездила еще по поручению Наташи Горбаневской в Ленинград, там в каком-то магазине «Детский мир» в отделе канцтоваров продавалась совершенно фантастическая бумага, удобная для самиздата, — тонкая, но достаточно хорошая. И закупали ее в больших количествах, я, помню, в рюкзаке возила.

— **Для «Хроники»?**

— Да, для «Хроники». А еще я умела фотографировать, у меня была лаборатория, ну, такая самодельная, увеличитель и все, что нужно для печати. У меня в школе производственный профиль был — фотография, поэтому я это умела. И снимали «Архипелаг [ГУЛАГ]», у меня был у одной из первых экземпляры «Архипелага».

— **Сразу после выхода?**

— Да. В общем, «изготовление и распространение». 70-я статья могла бы быть предъявлена.

— **Были у вас какие-то контакты с КГБ? Они как-то выходили на вас, угрожали? Или, наоборот, пробовали завербовать?**

— И то и то, и так и так, да. Когда арестовали Гарика Суперфина, меня вызвали на допрос. Не вызвали даже, а прямо привезли. Я была в Апшудиемсе с сыном, с мамой и с друзьями, и мне из тукумского КГБ позвонили на почту и просили передать, чтобы я срочно пришла туда, что будут звонить из местного КГБ. По телефону мне сообщили, что завтра я должна быть на Лубянке. Я сказала, что это как-то в мои планы не входило. А они говорят тут же: «Мы вам покупаем билет на самолет!» Я говорю: «Во-первых, я не летаю, во-вторых, у меня сын тут маленький». Антону было четыре. И как-то у меня другие планы были на лето. Они говорят: «Если вы не приедете, мы за вами машину пришлем...» В общем, велели ехать, меня на вокзал

должен был встретить «товарищ». Ну, что-то мне на их машине уже не хотелось ехать, и я говорю: «Ладно. Только я не летаю». Звонили, узнавали, перезванивали — ни одного билета нет на поезд. Толя Найман, который там был, говорит: «Я тебя провожу до Риги». Мы приехали чуть раньше, чем у нас назначена была встреча с товарищем из КГБ, пошли в кассу железнодорожную и купили билет в замечательное международное купе, двухместное. И когда уже мы встретились с этим товарищем, которого было легко узнать, вот прямо легко, он говорит: «Быстро-быстро, едем в аэропорт, там уже самолет, билеты у нас...» Я говорю: «Нет, мы никуда не едем, я как раз скоро на поезд сажусь». — «О, это невозможно!» Я говорю: «Возможно, возможно, я купила билет». — «Нет, ну как же, а что же скажут товарищи?» Я говорю: «Вы меня проводите до вагона и увидите, в каком я вагоне, на каком месте, и товарищам сообщите. Они, наверное, меня захотят в Москве встретить». Он дико волновался, но уже ничего не мог сделать, потому что я не под арестом была. В общем, он меня проводил, а товарищи встретили меня уже московские, в Москве, на Рижском вокзале. И это была действительно операция по взятию Маты Хари. Я поняла, почему они на самолете хотели меня отправить — потому что не нужно следить: я села — и меня встретили. А тут я могла соскочить, убежать... Я не знаю, о чем вообще они думали. Но посадили, действительно, товарища на следующей остановке после Риги, и он всю дорогу, день и ночь, в коридоре стоял, потому что билет они ему не купили. Ну вот, встретили меня и сразу повезли. А меня друзья встретили тоже, я их предупредила еще из Риги, что я еду, и сказала, что, наверное, будет еще торжественная встреча на вокзале. Вот они встретили, их оттеснили, потом нас всех закинули в машину, меня зажали там сзади между ними, друзьями, и повезли на Лубянку: меня — на допрос, а их выпустили.

— **И что они хотели от вас?**

— Ну, информацию про «Хронику», конечно. Считалось, что Гарик — главный редактор «Хроники», он же в моей квартире часто жил перед арестом, когда я была там, в Апшудиемсе, в Латвии. Они следили за ним и все знали. До этого же его допрашивали, когда он у меня в квартире жил, еще до этого лета, зимой, и каждый день его таскали на допросы вначале, не арестовывая. Поэтому они все прекрасно знали, и я, значит, должна была выдать все тайны, где архив самиздата, все-все-все. В общем, я к этому времени прочла много книг про то, как вести себя, особенно главную — «Как вести себя на допросе».

И я ничего не помнила, вообще! Потому что я поняла: Гарик с ними играл в игры, когда они вызывали его на допросы, он думал, что их переиграет. Потом его арестовали, и, в принципе, стало понятно, что они профессионалы, а мы любители, нам нельзя играть. Я знала совершенно точно. Хотя очень соблазнительно было поиграть! Мы же играли с ними все время. Вот когда слезка, например. Они втягивают тебя в эту игру.



Маша Слоним,
Анатолий
Найман, Галина
Наринская,
Елена Чуковская,
Юлия Живова.
7 августа 1973,
Апиуциемс.
© И.Д. Рожанский

Позднее КГБ стал следить за моим домом — это было позже, потому что я еще участвовала в истории с вывозом библиотеки Солженицына.

— Это после того, как Александра Исаевича в феврале 1974 года выслали и Наталья Дмитриевна с детьми уезжала?

— Да, выслали, но тогда Наташа еще не уехала, она была еще здесь. А я обзвонила, кстати говоря, иностранных корреспондентов, когда его арестовали [12 февраля]. Потому что у меня была книжка Виктора Луи и его жены, они составляли ежегодник Information Moscow, где были все телефоны всех корпунктов иностранных СМИ в Москве. Мне позвонила Екатерина Фердинандовна, теща Солженицына, и сказала: «Маша, Маша, сообщи!» И я из телефона-автомата обзванивала всех-всех-всех. Это было мое первое журналистское задание, пожалуй (*смеется*). Я поработала агентством таким. А потом нужно было вывезти его библиотеку через иностранцев, и была какая-то бесконечная операция. Все знали всё, я уверена, потому что за мной ездил микроавтобус КГБ буквально. Мой Антоша, которому было к этому времени шесть лет, выглядывал в окно и говорил: «Мама, они опять стоят!» И они за мной все время ездили, я же для конспирации ездила в квартиру Солженицыных с большой сумкой, набитой памперсами... Тогда вдруг появились памперсы, и младшему сыну Солженицыных, Степе, нужны были пампер-

сы. И под видом того, что я снабжаю семью Солженицына памперсами, я привозила большую сумку с памперсами, а потом эту сумку набивала книгами из библиотеки и передавала.

— **В посольства?**

— Нет, журналистам своим знакомым. А они уже передавали в посольства. Везли, конечно, диппочтой. Так что следили все время. И это даже заводило немножко. Меня это раздражало тогда, потому что ты втягиваешься, это уже становится какой-то авантюрной игрой, и весело, даже это тебе льстит немножко, тебе кажется, что ты знаешь, как сбросить хвост, как уйти... Никто не сбрасывал и не уходил, наверное, хотя и были проходные дворы в Москве, и возможности были. И вот после ареста Гарика меня допрашивали на Лубянке, потом обыск, прямо с Лубянки привезли домой. Еще когда везли на Лубянку, я не совсем понимала, в каком качестве, на самом деле, я туда еду.

— **Когда ты с двух сторон окружен...**

— Нет, с двух сторон в машине посадили как раз моих друзей, Диму [Вадима] Борисова и Андрея Зализняка, которые меня встречали. Они вот так зажали почему-то нас втроем, а впереди были водитель и следователь [Михаил] Сыщиков. И он, уже когда отъехали от Рижского, говорит: «Мария Ильинична, я хочу прочитать и передать вам повестку...» И прочитал он: «Вы вызывается на допрос в КГБ в качестве...» И такая театральная пауза. И я думаю: так, Антоша с мамой — это хорошо, но садиться совсем не хочется! «...В качестве свидетеля», — закончил он радостно и торжественно. А потом на обыске тоже этот Сыщиков был, масса каких-то молодых ребят была, ну, не масса, несколько человек. И молодые очень со мной флиртовали, говорили: «Вот, вы не с теми вообще связались. Вы бы с нами лучше...» Какой-то такой разговор был. Тогда угроз никаких не было. Но тогда еще шел Московский кинофестиваль, и билеты на него достать было просто невозможно, а они мне предлагали билеты. И даже оставили телефон свой, если я вдруг захочу...

В общем, оставили телефон, которым я, при всем желании пойти на фестиваль, как-то не воспользовалась. Но все равно говорили: «Вы смогли бы быть с нами, вы не с теми связались...» Но там все было так неплохо. Я даже заснула во время обыска, он долгий был, правда. Они искали там архив «Хроники», архив самиздата, немножко испороли старые кресла. Искали — смотрели на потолок, потому что на стене были следы... Ребята развлекались, мои друзья, мужики, выпив, взбегали — кто выше взбежит по отвесной стене в ботинках на резиновой подошве. Поэтому оставались следы прямо на стене. Ну, наверное, метра на два уходили. И сыщики говорят: «А это куда следы?» Я говорю: «А это в архив «Хроники» как раз...» В общем, потолок они не потрошили, но искали самиздат в моей маленькой квартире долго, часов восемь обыск продолжался. Но к тому времени, сразу после ареста Гарика, друзья мне почистили квартиру, а может быть, Гарик сам уже что-то унес, я не знаю.

И, в общем, ничего такого особо опасного они не нашли. Ну, конечно, нашли в ящике письменного стола какое-то заявление, какое-то письмо Солженицына на папиросной бумаге.

— **Вы были знакомы с семьей Солженицыных?**

— Да, конечно! И с ним, и с Наташей в основном. Потому что Дима Борисов дружил с Наташей, и у нас как бы одна компания была.

— **Бывали у них дома?**

— Да. Бывала. Не только в Москве, а бывала у них и в Цюрихе. Заехала уже по дороге в Лондон, когда эмигрировала. С Наташей у нас очень теплые были всегда отношения. Александр Исачевич отдельно, конечно, был. Хотя я помню его и за столом, очень дружелюбным. Но он все время работал, он у себя в кабинете по большей части был уже тогда. Я ничего не знала, конечно, когда я с ним в Москве виделась, про «Архипелаг». Еще не знала. Потому что это был очень узкий круг посвященных, я не была посвящена.

Так что тогда был такой обыск, и потом меня отпустили. А после допроса мне даже выписали деньги за билет назад в Ригу, они прошли как командировочные. Правда, по-моему, в один конец. Я помню, какая-то такая фигня все-таки была, что не в оба конца. Или не оплатили международное купе. Но деньги я получила прямо на Лубянке. Так что вот так все было мило. А потом, уже перед отъездом, были не то что угрозы, а уже меня вызвали на допрос на Лубянку по совершенно другому делу...

У Наташи Гутман — а мы дружили... ну, я не могу сказать, что дружили, но папа делал портреты, лепил ее, в общем, это скорее родительские были друзья — был муж в тот момент, красавец Володя Мороз. Он собирал и продавал иконы, по-моему. Во всяком случае, у него была большая коллекция искусства. И вот [в июне 1974 года] его арестовали. Уже они, по-моему, с Наташей были в разводе. А я его знала, потому что он доставал нам контрамарки, и я якобы была в его телефонной книжке, когда его арестовали. А там очень серьезное было дело, действительно, ему чуть ли не расстрел грозил. Или большой срок. И мне совершенно не хотелось с этим связываться. А вызвали меня, потому что за мной следили и я передала ночью какой-то самиздат знакомому корреспонденту. Он меня подвез на машине домой (я тогда с родителями жила на Миусах), остановился за один квартал от дома — у нас конспирация такая была, считалось, что нельзя прямо до подъезда, — я вышла из машины, пошла к дому и слышу — тук-тук-тук, за мной шаги, и потом в подъезд за мной входит мужик. И говорит: «С кем вы сейчас встречались?» Я говорю: «А вы кто такой?» — «Я из уголовного розыска». Я говорю: «Да ладно!» — «Хотел задать вам несколько вопросов». Я говорю: «Хотите задавать — присылайте повестку на допрос». Я ужасно грамотная была уже. Он говорит: «А в какой квартире вы?» Я говорю: «Ну, вы же угрозыск, на Петровке,

38 все знают, так что узнавайте номер квартиры, мой адрес». И меня через несколько дней вызвали повесткой, но не на Петровку, а на Лубянку. А у меня к тому времени был уже заграничный паспорт, прямо выданный мне на ПМЖ в США. Мне друзья говорили: «Не бери с собой паспорт!» Я говорю: «Какая разница, они могут отобрать мой паспорт в любой момент и аннулировать выездную визу могут когда угодно, не обязательно на Лубянке... Конечно, я возьму паспорт». А другого уже и не было. Тогда ведь забирали внутренний, как только выдавали заграничный для выезда на ПМЖ. И тут началась какая-то чехарда. Ну, про Володю Мороза спрашивали, я сказала, что я абсолютно не знаю его. «А вот ваш телефон найден в его телефонной книжке». — «Не имею понятия». И потом даже был «парад» — мне показали фотографии шести уголовников и его среди них, красавца: «Узнаете?» Я говорю: «Нет, никого не узнаю». И пошла какая-то чехарда — один следователь уходил, другой приходил, и все вертели мой паспорт в руках. Все вертели паспорт, играли так им. Говорят: «Вот, у вас всегда был зеленый свет, но может быть и красный...» Я говорю: «Я знаю. Я знаю, что я в ваших руках. Вы захотите — меня выпустите...» — «А вот зачем вам туда ехать? Чужие люди. Лучше бы вы с нами...» Я говорю: «Ну, как-то мне иногда чужие ближе, чем свои. Я знаю, что я в ваших руках, можете меня выпустить, а можете запретить выезд. Так что мне все равно абсолютно. Захотите — выпустите, не захотите — не выпустите». И это, я думаю, они еще прощупывали на предмет того, можно ли меня будет использовать каким-то образом за границей, смотрели, буду ли я плакать и умолять: «Дяденьки, отпустите меня, я все для вас сделаю».

— **Тот факт, что вы — внучка Литвинова, играл какую-то роль?**

— Конечно! Я думаю, конечно. Поэтому они не арестовывали. Они уже с Пашей прокололись, потому что шум был большой. Паше дали ссылку, а не лагерь, тоже, в общем-то, благодаря деду...

— **А как возникли желание и возможность уехать — и (уникальная ситуация) не через Израиль?**

— Желания никакого у меня не было, было желание у моей мамы меня вышвырнуть из страны, как из горящего дома. Она боялась, что меня арестуют, что она одна останется с моим сыном... К тому времени мой бывший муж [Григорий Фрейдин], отец Антона, уже уехал в Америку. Он женился. Я ему нашла невесту. Он женился на американке и уехал как ее муж. Ну и стал профессором Стэнфорда. То есть я нашла ему невесту, там оказалось все замечательно и прекрасно, они до сих пор вместе живут. Хотя на обыске меня подозревали в том, что у нас фиктивный развод. Потому что они нашли от Гришки письма: «Дорогая Машуля... Машенька...» Я говорила: «Мы друзья! Какая разница...» А они: «Так друг другу не пишут люди, которые развелись!»

И он был уже там, мама очень не хотела, чтобы меня арестовывали... Я об этом и не очень думала, честно говоря, мне было вполне весело здесь, я чувствовала себя на месте. Но я вообще



1974, Москва,
накануне отъезда
© Андрей Зализняк

человек авантюрный. И я просто пошла в ОБИР, взяла анкеты... Мне прислали приглашение Чалидзе, Валера и Вера, моя сестра. Моя сестра тогда была замужем за Чалидзе. Чалидзе — соратник Сахарова...

— **Чалидзе уехал в 1972-м, по-моему.**

— Он не уехал. Он поехал читать лекции в Колумбийском университете в 1972-м, и его там лишили гражданства просто. И Вера, моя сестра, как жена декабриста, можно сказать, осталась с ним в Нью-Йорке.

А он не хотел уезжать! Вот что удивительно. Он был страшно расстроен, Валера. Он не собирался уезжать, он человек очень такой... упертый и принципиальный. Нет, он не хотел уезжать, он собирался здесь продолжать борьбу. Он думал, что он докажет, что можно поехать в США и просто прочитать лекции. А потом вернуться. Вот так и доказал... и он сказал: «Да, я еду читать лекции». И для Веры это был страшный удар, когда его лишили гражданства.

И они мне прислали приглашение. А тогда были, если помните, Хельсинкские соглашения и «третья корзина», касавшаяся прав человека, в том числе принципа «воссоединение семей». И вот мы шли как воссоединение семьи с «врагом народа» Чалидзе. А у Валеры довольно такие крутые связи были уже к тому времени в Америке. И я попала в «список Киссинджера». Когда Киссинджер сюда приезжал, он тряс этим списком, в котором была и моя фамилия. И мне дали разрешение на выезд просто на ПМЖ с советским паспортом в США прямым. Ну, оказалось, что не прямым, а надо было все равно в Риме провести время, потому что американцы тогда ставили такие недовизы въездные. У них был какой-то закон, что они не могут давать эмиграционные визы на территории стран Восточного блока. И поэтому они для советских ставили эту визу, что я еду туда, а на самом деле в Риме надо было пройти какой-то фильтр — типа анализы на туберкулез, рентген, реакция Вассермана. В Риме мы провели недели три, а из Рима я поехала с Антоном к Солженицыным в Цюрих. Антон, как утверждала нянька солженицынских детей, научил их ругаться матом. Наташа очень смеялась. Мы несколько дней там провели. А потом поехали в Англию, где была уже моя бабушка, она вернулась в 1972-м. Ее Брежнев выпустил. Первый раз ее Хрущев выпустил, в 1960 году на год, у нее сестры еще были живы. А уже в 1972 году она сказала, что хочет умереть на родине, и ее выпустили. Не мучили. Маму с ней не выпустили, но ее отпустили. И бабушка очень хотела, чтобы я в Англии застряла, но поскольку у меня было направление на Америку, Англия меня бы так просто не взяла. И бабушка хотела, чтобы я подала на работу на ВВС. В общем, я подала, пожила в Англии и отправилась в Америку ждать приглашения от ВВС.

— **То есть у вас получилось выехать так, как очень хотел выехать Иосиф Бродский, но у него как раз не получилось.**



Маша Слоним
и Иосиф Бродский,
Москва, 1971—
1972

© Из архива
Маши Слоним

— Да, у него не получилось. Они хотели его унижить. Потому что они знали, что он хотел выехать как свободный человек. Ой, до этого у меня тоже были авантюры, я тоже пыталась доказать, что я свободный человек! Я хотела съездить в Калифорнию, к своему бывшему мужу... Просто съездить на месяц, чтобы ребенок мог повидаться с отцом. Ответы ОВИРа были чудесные. «Мы не хотим, чтобы вы разрушили новую американскую семью» (*смеется*). Я говорю: «Хорошо, тогда давайте отправим одного Антона — повидаться с папой». Но это тоже было никак невозможно. Нет, я всякие интересные варианты рассматривала.

— **Вопрос немного в сторону. В «Хронике текущих событий» фиксировались эмиграция, выезд за рубеж деятелей культуры, правозащитного движения. Но там никак не отражен отъезд Бродского. С чем это связано? Случайность ли это или это тогда совсем не воспринималось в политическом контексте?**

— Нет, для нас, безусловно, это было событие. Но, конечно, не для многих.

— **То есть его совсем не ассоциировали с правозащитным кругом...**

— Нет, совсем нет! И он был принципиально как-то «не».

— **У него не было связей с диссидентским кругом?**

— Не было, не было.

— Сознательно или просто, как говорится, жизнь так складывалась?

— Не тот он человек, вот не тот.

— Он же был хорошо знаком с Натальей Горбаневской?

— Да, но исключительно как с поэтом. Одно время он говорил: «Пожалуй, лучший поэт России — это Горбаневская». Подразумевалось, конечно, «после меня».

— Но на территорию политического он не заходил?

— Не заходил, не заходил. Потом они написали с [Андреем] Сергеевым «Письмо Брежневу», но уже перед самым отъездом.

— Оно вместе с Сергеевым написано?

— Да, они с Сергеевым написали. Я не перечитывала это письмо потом, но тогда оно странное произвело впечатление. Но он почти сознательно не хотел во все это влезать. Ну, поэт...

— Бродский читал «Хронику», было ли ему это интересно?

— Вот насчет интересно... Нет. В нашем с ним общении это никак не присутствовало.

— То есть политическая повестка шла параллельно.

— Абсолютно, да. Не было там обмена книжками какими-то, не возникало. По-моему, сознательно он всегда как-то этого сторонился... Но он и не был правозащитником, и в душе не был.

Кстати, с Бродским связана еще одна история того же времени. Помимо Киссинджера с его списком в СССР тогда приехал мой старый приятель Джерри Шефтер, который работал здесь в «Вашингтон пост». Он приехал с Киссинджером, освещать его визит. Он уже, по-моему, был в Америке к тому времени. И я через него в Газетном переулке, который назывался тогда улицей Огарева, по-моему, передала фотопленки со стихами Бродского. Это была весна 1972 года. Было еще холодно, я помню, Джерри в плаще был, и это была совершенно шпионская история. Центральный телеграф, мы идем в сторону улицы Герцена, тихо разговариваем, как будто то ли знаем друг друга, то ли нет, не глядя друг на друга. И я так незаметно ему в карман сую эти самые пленки, которые получила от Иосифа.

И в ту же поездку, по-моему, Джерри вывез воспоминания Хрущева.

Имя Чалидзе напомнило, кстати, мне еще одну историю. Как я, находясь в Москве, была связующим звеном с [Звиадом] Гамсахурдиа. Это была чудесная история! Звонок по телефону. А уже довольно напряженное время было, как раз мы вывозили библиотеку Солженицына. Звонок, из автомата явно с акцентом: «Я друг Чалидзе...» Ну, друг Чалидзе — я решила, что это из Америки. Я говорю: «Заходите». Приходит грузин с бутылкой коньяка. Говорит: «Я Звиад Гамсахурдиа». Красивый, но уши немножко оттопырены. А в это время следили за всеми — и кто, откуда, какой-то Звиад... А он выкладывает вот такую пачку, пухлую, подержанных купюр и говорит: «Это от нашего движения вашему движению». Я говорю: «Нет, Звиад, подожди. Давай позвоним Валере



Москва,
1971—1972

© Из архива
Маши Слоним

Чалидзе». А у меня телефон как раз тогда работал. Он иногда не работал, а тогда работал, в смысле, за границу можно было звонить. Звоню Валерке и говорю: «Валер, у меня тут твой друг сидит — Звиад Гамсахурдиа». Он сразу понял, что меня интересует, и говорит: «Все нормально, только уши ослиные». Типа — дурак. Ну, выпили мы бутылку коньяка, он стал приставать, естественно. Вначале, значит, долго-долго мне рассказывал про свои философские взгляды — он увлекался тогда антропософией, а потом стал приставать. В общем, я его выперла. Я говорю: «Деньги забирай! Я поговорю с друзьями». И он сказал: «Я еще зайду». Я поговорила с Наташей Солженицыной, с Димой Борисовым, еще с кем-то, с Володей Альбрехтом, кажется. В общем, в конце концов я Альбрехту все и отдала, потому что он как раз передачами занимался, помощью семьям [политзаключенных].

— **Уже был фонд солженицынский?**

— Нет, это еще до фонда. Альбрехт занимался помощью семьям политзаключенных. Фонда еще не было, еще и Наташа не уехала. А потом Звиад мне стал звонить из Тбилиси прямо и говорить: «Так, Маша, записывай...» Какие-то заявления (*смеется*)... Вначале я действительно записывала и передавала. «И передавай иностранным журналистам!» — говорил он прямо по телефону прямым текстом. И я, как дурочка такая, все это делала. Потом уже я поняла... Помню, лежу в ванной, а он звонит: «Маша, записывай...» И я так на пару по стене что-то пишу и понимаю, что уже никому не буду ничего передавать. А потом он меня объявил агентом КГБ, когда уже я была в Англии, работала на ВВС, и вообще запретил мне въезд [в Грузию]. А у него тогда связи уже были, он еще не был, конечно, никаким президентом, но уже открывал ногой многие двери...

— **Это самый конец 80-х.**

— Да. Уже когда грузино-абхазский конфликт был. Он мне говорил: «А что ты делаешь интервью с абхазами? Ты должна наши заявления давать на ВВС». Я говорю: «Слушай, я на ВВС, я должна и то, и то давать». И он, потом мне сказали, объявил, что я агент КГБ, что мне въезд в Грузию запрещен. Вот такой друг у меня был! (*Смеется*.)

— **В Англии вы были дружны с Буковским...**

— После отъезда, да. Удивительно, что с Буковским здесь мы разминулись как-то, то есть я уехала — он еще сидел, до этого я его видела, но так, мельком. А потом он приехал, когда его выслали, из Цюриха он приехал ко мне в квартиру, можно сказать.

— **Почему он в Штаты не поехал, например?**

— Он в Англию поехал. Он и хотел в Англию. И его, по-моему, Кембриджский университет пригласил тогда уже. Как вышло, что он у меня в квартире оказался... Это интересный вопрос... У меня все оказывались в квартире! Я купила большую квартиру, взяв ипотеку и заняв у Солженицыных, кстати, пять тысяч долларов, которые я потом отдала. Я работала на ВВС, и деньги были очень, скажем так, ограниченные.



*Иосиф Бродский,
Эллендея Проффер,
Маша Слоним,
Василий Аксенов.
Энн-Арбор, 1975
© Из архива
Маши Слоним*

— **Пять тысяч — это по нынешним временам тысяч 50?**

— Нет, даже побольше. Квартира стоила 17 тысяч фунтов.

Это дорого было! По моей зарплате, я получала четыре тысячи в год. А это — 17. И мне все говорили: «Ты не потянешь ипотеку». Пять тысяч были первым взносом, у меня не было никаких вообще денег, и дали Солженицины, заняли мне денег. Я их торжественно выплачивала каждый месяц и выплатила. Квартира эта меня привлекла тем, что она была похожа на московские... не такие, как, знаете, перестраивают английские большие дома в какие-то клетушки, а она была с коридорной системой, и пять комнат. Пять комнат! И коридор. И из коридора можно было попасть в пять этих комнат. У меня была одна комната свободная. К тому времени [Зиновий] Зиник у меня уже жил... Подруга моя английская снимала комнату. И одна была свободная комната. И я Володьке сказала... А она маленькая такая комнатка, прямо камера. Это была единственная комната, где у нас был полный порядок (*смеется*)! Потому что Володя — мне прямо хотелось плакать — каждый день заправлял кровать, и все было так чисто и аккуратно, как в камере. Помню, [Андрей] Амальрик приезжал. С Володей было замечательно совершенно! Мы выпивали, была тяжелая для меня, жутко тяжелая жизнь, потому что московские привычки, гости потоком... А мне в 10 утра надо было быть на BBC, между прочим, работать. В общем, ночью конча-

лась, конечно, выпивка, ну и казалось, что уже все, пора расходиться. А Володя говорил: «Ну?» Я говорила: «Что ну? Все, нету! Тут в 11 перестают продавать». Он говорит: «Этого не может быть!» Я говорю: «Да, это Англия, Володя». Он говорит: «Так, вызываем такси». Я говорю: «Какое такси? О чем ты говоришь?» Вызываем такси. «Блэк кэб», все нормально, и я робко говорю: «А где тут можно сигарет купить ночью?» Водитель отвечает: «Есть один магазин». А все закрывалось тогда просто! Сейчас-то там есть круглосуточные. Он говорит: «Там в Collyndale есть лавка». Володя говорит: «А там выпить-то можно купить?» Тот говорит: «Можно». И мы нашли, какие-то выходцы из Вест-Индии держали эту лавку. На витрине ничего не было, конечно, но прекрасно мы там отоваривались! И это уже называлось у нас «collyndale special». Так что вот так мы жили. Это весело было, но немножко тяжело было на работу вставать.

— **Как журналист, вы освещали какие-нибудь эмигрантские инициативы?**

— Да, конечно! Я делала интервью в Париже с [Андреем] Сиянским, с [Владимиром] Максимовым... Смешно было! Они к тому времени поссорились, в студии невозможно их было вместе посадить. Невозможно! И я назначила им разное время в студии ВВС в Париже, чуть разрыв такой во времени — Максимов, потом Сиянский. И вдруг они пересеклись, прямо там, в маленьком, тесном помещении. В общем, был неприятный момент. Потому что тогда была война прямо страшная. А мне хотелось, так сказать, объективно все стороны осветить. Руки друг другу они не подали, и, в общем, воздух, что называется, трещал от электричества.

— **Работая на ВВС, чувствовали ли вы со стороны английских коллег, администрации, руководства изменение отношения к информации, исходящей от диссидентов, к месту диссидентства в информационном пространстве? Какая-то эволюция была от вашего приезда до перестройки?**

— Ну, наверное, какая-то была, конечно. Потому что мы — новая волна все-таки. Но дело в том, что ВВС старалась действительно получать информацию из двух независимых источников или от собственного корреспондента — такой был принцип. Собственный корреспондент ВВС (тогда не нужно никакого подтверждения) или же два независимых. Поэтому уговорить их, что вот эта информация важная, очень важная, ее надо пустить в эфир, — я пыталась это делать, но приходилось доказывать достоверность. Ну, действительно, когда что-то было важное здесь. И довольно трудно было. Я помню собеседование, когда я подавала на должность... не помню, как это называлось, ну, типа шеф-редактора, и были коварные, каверзные вопросы от английской ВВС: «По какому принципу вы дадите информацию из России, если невозможно проверить?» В общем, я что-то такое отвечала... Я тогда не получила эту работу, получил работу другой, более хитрый человек (смеется). Или более равнодушный, не знаю. Ну нет, конечно, пы-

талась. Потом уже, когда перестали глушить, вдруг открылся эфир, у нас уже просто отсюда шло все. То есть не все, но очень многое, прорвало с 1987-го.

— С чем, на ваш взгляд, связано то, что почти никто из диссидентов не сыграл важной роли в строительстве новой России или начинал играть, но очень быстро сходил со сцены?

— Россия все-таки — страна системных администраторов, как повелось с коммунистических времен. Господи, мы же помним первый Съезд народных депутатов, были депутаты — [Юрий] Афанасьев, Сахаров, чудесные люди, но они же тоже не остались в политике. Они были личностями, а политика российская требует системных жоп. Думаю, что да. А они все-таки романтики все. Хотя я считаю, что, родись Володя Буковский в другой стране, он был бы замечательным просто политическим деятелем, политиком именно, один из немногих! Я давно так думаю. Он мог бы быть, но не в этой системе. Система выбрасывала таких людей.

II

«ПОЛЫНЯ СМЕРЗАЕТСЯ...»

© Getty Images



ТОМАС ВЕНЦЛОВА:

«В Литве получилось лучше, чем в России»

— Если говорить о правозащитном движении в Советском Союзе, чем ситуация в Литве отличалась от ситуации в Москве, в Ленинграде, в России в целом?

— Прежде всего, Литва — это не Россия, это отдельная страна. Каковой она и стала после распада Советского Союза, каковой она была до 1940 года. Страна совершенно другая. Прежде всего, явно ориентированная на Запад, на Европу, католическая, не православная. И вот этот сепаратизм, то есть стремление к независимости, в Литве был очень силен. Практически вся интеллигенция думала в глубине души об этом, хотя старалась вслух об этом не говорить. То же самое касается и более широких слоев населения. Об этом думали и многие литовские коммунисты, может быть, и не все, но, я полагаю, большинство. То же имело место в Латвии, в Эстонии, в большой степени в Грузии, в меньшей, но все-таки в заметной степени — на Украине. Кроме того, у нас где-то уже, по крайней мере, с начала 1970-х годов или даже раньше довольно откровенно сопротивлялась советской власти католическая церковь. Она была прошита гэбистами и приспособленцами, но тем не менее была достаточно независимой. Такого не было в других областях тогдашнего Советского Союза. И католики стали издавать — кстати, под воздействием и по модели русской «Хроники текущих событий» —



1959
© Из архива
Томаса Венцловы

Томас Венцлова (11 сентября 1937, Клайпеда) — литовский поэт, переводчик, эссеист, литературовед и правозащитник. Сын писателя Антанаса Венцловы (1906—1971), в 1940—1943 годах — наркома просвещения Литовской ССР, в 1954—1959 годах — председателя Союза советских писателей Литовской ССР, члена секретариата СП СССР. С 1946 года жил в Вильнюсе. В 1960 году окончил филологический факультет Вильнюсского университета. В 1966—1973 годах — внештатный преподаватель Вильнюсского университета. В 1972—1976 годах — завлит драматического театра города Шяуляй. В 1974—1976 годах — сотрудник отдела философии Института истории АН Литовской ССР.

В 1976 году — один из основателей Литовской Хельсинкской группы. Выехал из СССР в США по приглашению университета Беркли 25 января 1977 года, 14 июня 1977 года указом Президиума Верховного Совета СССР лишен советского гражданства.

В 1977—1980 годах преподавал в университетах Лос-Анджелеса и Огайо. С 1980 года — профессор Йельского университета. Живет в Нью-Хейвене, США.

«Хронику Литовской католической церкви». Выходил такой журнал, неофициальный, подпольный, проникал на Запад, там перепечатывался, переводился на разные языки, его читали папы римские, особенно Иоанн Павел II, поляк, который даже знал литовский язык. Журнал был чисто фактографический: тут-то и тут-то таким-то образом нарушены элементарные права верующих или священников. Никаких особых комментариев там не было, никакой особой ругани не было. Но сами факты были достаточно красноречивы. После этого журнала появились и другие неофициальные или подпольные журналы, люди писали там под псевдонимами, всего этих журналов в Литве было четырнадцать, больше, чем в любой другой части тогдашнего Советского Союза. Эти четырнадцать были в основном националистическими, сепаратистскими, они выступали за независимость Литвы, и все статьи, так сказать, били в эту точку, что это народу совершенно необходимо, без этого он погибнет. Я бы не сказал, что это было на очень высоком интеллектуальном уровне, но люди, которые этим занимались, были людьми достаточно храбрыми. Имена их оставались мало кому известными. Был такой момент, когда КГБ арестовал в Литве четырнадцать человек, и все сказали: «Ну вот, было четырнадцать журналов — теперь ни один из них не будет выходить». Потому что каждый журнал — это якобы один человек. Но оказалось не так, большинство журналов продолжало выходить и после этого. Такова была картина в Литве в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

— Можно ли сказать, что благодаря особенностям национального характера, которые вы очертили, политика КГБ и вообще обстановка в Литве были чуть либеральнее, чем, например, в Москве или в Ленинграде?

— Вы знаете, и да, и нет. Обстановка была, пожалуй, более либеральна в области культуры. То есть в Литве можно было писать и даже выставлять абстрактные картины, что в Москве или в Питере пресекалось, даже, как вы помните, бульдозерами. В Литве можно было ставить довольно неожиданные по советским понятиям спектакли, можно было печатать кое-что из того, что не проходило в Москве и в Петербурге, — Рильке, Борхеса, я и сам этим занимался. То есть интеллигенцию в определенной степени старались этим подкупать. Но сепаратистов, национально мыслящих людей — можно называть их националистами, я это не всегда считаю отрицательным термином, хотя сам я не националист, — или католических активистов, конечно, преследовали, ловили, и, может быть, даже чуть более усердно, чем в России.

— Вы упомянули важнейшую диссидентскую институцию Литвы — «Хронику Литовской католической церкви», которая была создана во многом по модели московской «Хроники текущих событий», но вы лично были причастны к созданию другой важнейшей институции, которая наследовала Москов-

ской Хельсинкской группе, а именно — Литовской Хельсинкской группы, организованной в конце 1976 года. Как вы оказались в компании людей, создавших эту организацию? Ведь пятью годами ранее, в начале 1972 года, в Вильнюсе у вас вышел сборник стихов, в 1962 и 1965 годах были опубликованы две научно-популярные книги. Как проходила ваша эволюция — от человека, который официально печатается в Литовской ССР, до участника диссидентской группы?

— В 1972 году у меня вышел маленький сборник стихов. При чем я пытался его пробить в печать лет пятнадцать. Естественно, содержание сборника как-то менялось по ходу дела, появлялись новые стихи, но пробить его было трудно. В принципе считалось, что можно печатать стихи, даже вполне модернистские, но при этом надо иметь «локомотив» — похвалить Ленина, или Фиделя Кастро, или обоих, а потом уже можно печатать то, что хочешь. Но я на это не шел. Практически все молодые поэты на это шли, а я нет. И мне в конце концов удалось этот сборник издать без Ленина и без Фиделя Кастро, что было исключением. Потом, году к 1975-му, я очутился в своеобразном вакууме, то есть меня перестали печатать вообще. Я работал как переводчик, причем переводил вещи, тоже не вполне приемлемые для властей, включая Пастернака, Мандельштама, Томаса Стернза Элиота, Дилана Томаса, Сен-Жона Перса, Джойса (три главы из «Улисса»), и это удавалось как-то печатать. Но потом, с 1975-го примерно года, это прекратилось наглухо, напрочь. Тогда я [9 мая 1975 года] написал письмо Центральному комитету Коммунистической партии Литовской ССР и отправил его. Но я, не будь дурак, копию этого письма послал в самиздат, оно проникло именно в «Хронику Литовской католической церкви» и тем самым попало на Запад, хотя я понятия не имел и до сих пор не имею, какими путями это шло в «Хронику». Я в «Хронике» сам не участвовал и даже не очень знал людей, которые этим занимались, ну, может быть, одного-другого подозревал, что они к этому причастны, но не более того. И именно одному такому знакомому я дал копию письма. И вот это, так сказать, проникло: какими путями — я до сих пор не знаю, в конце концов, это меня не так уж интересует, главное, что проникло. Письмо на Западе вызвало некоторую сенсацию. В нем было написано: поскольку я больше не могу участвовать в культурной жизни, то в согласии с Декларацией прав человека и действующими законами прошу разрешить мне выезд на постоянное жительство за границу. Это восприняли как текст сумасшедшего, да в какой-то мере так оно и выглядело даже в моих собственных глазах. Меня вызвали через месяц в ЦК — у них, наверное, было такое правило: отвечать на запросы трудящихся в течение месяца — и сказали: мы готовы забыть это, это написано в минуту отчаяния, живите и работайте, никто вам особенно мешать не будет. На что я сказал: я готовился написать это письмо всю свою сознательную жизнь и раз уж написал, то отказываться не буду. На это мне сказали:



1969

© Из архива
Томаса Венцловы

тогда идите в ОВИР, если у вас есть для этого хоть малейшие основания. Оснований у меня не было, поэтому ОВИР меня отправил восвояси.

— **А что они имели в виду под основаниями?**

— Родственники за границей, объединение семей — вот такие вещи. Евреи могли уезжать в Израиль, хотя и не все, но я не еврей. Но потом, услышав, что я написал такое письмо, мои знакомые на Западе, в частности, Иосиф Бродский, уехавший в 1972-м, и его друг Чеслав Милош, польский поэт, вильнюсский человек, который интересовался тем, что в Вильнюсе происходит, это письмо прочли, заинтересовались моей судьбой, стали шуметь, печатать про меня в разных газетах, говорить об этом по радио, и Милош мне прислал приглашение в университет Беркли — на один семестр, преподавать. Я с этим приглашением попробовал опять пойти в ОВИР, мне сказали: не смешите народ, разрешение преподавать — это чисто ведомственное дело, это проходит через служебные инстанции, к которым вы не имеете отношения, поэтому идите подальше. Ну, я ушел подальше и стал откровенно вести себя совершенно как диссидент.

Дело в том, что тогда были диссиденты открытые, как Александр Гинзбург, Наталья Горбаневская, Владимир Буковский, и были сочувствующие — некий круг вокруг этих людей, к которому я и сам принадлежал. К нему вообще принадлежали очень многие. Кстати, я знал и Гинзбурга хорошо, и Горбаневскую. Буковского, правда, не знал, он сидел, когда я жил в Москве, мне не случилось с ним тогда познакомиться. В случае чего люди из этого круга иногда вставали на место вышедших диссидентов. Не все и не всегда, но это довольно часто случалось. За этим кругом был еще более широкий круг, а за этим кругом была вся так называемая либеральная интеллигенция — Окуджава, Высоцкий, люди из «Нового мира», подпольные художники... Но они совсем не обязательно становились откровенными диссидентами. Хотя нам, конечно, было легче знать, что такие люди существуют. И после этого письма я стал открытым диссидентом. О том, что я диссидентам сочувствую, знали и КГБ, и партийные верхушки, но пока я не шумел, можно было как-то существовать. А тут существовать уже стало трудно. И вот ко мне пришли два человека: один из них был католический активист, ныне покойный, его звали Викторас Пяткус. Он был старый политзэк, уже просидел лет пятнадцать, сел еще при Сталине, будучи мальчишкой, и долго сидел. Потом вышел и как-то существовал в Вильнюсе. Второй был Эйтан Финкельштейн, еврейский активист, которого интересовали выезд в Израиль и вообще проблемы того, что называлось «алия», то есть еврейское движение за выезд в Израиль. Он в этой области был активен и тоже жил в Вильнюсе. Очень любопытно и очень хорошо, кстати, что католический активист и еврейский активист, невзирая на разницу вероисповеданий и взглядов, нашли общий язык. И под



Середина 1970-х
© Из архива
Томаса Венцловы

воздействием Андрея Дмитриевича Сахарова, который был в декабре 1975 года в Вильнюсе на процессе Сергея Ковалева, они решили по образцу Москвы устроить Литовскую Хельсинкскую группу. Всего таких групп было пять: Московская, Украинская, Литовская, потом Грузинская под руководством небезызвестного Звиада Гамсахурдии, который позднее стал президентом независимой Грузии (но не самым удачным президентом) и погиб, и потом еще была Армянская, которая себя практически ничем не проявила. И вот они сказали: «Ты сейчас стал довольно известным человеком, о тебе говорит западное радио. Мы организуем такую группу, пока она еще о себе не объявила. Может быть, ты вступишь?» Я говорю: «Ребята, я, конечно, все душой за и считаю, что это очень полезное дело, но я же хочу уехать! Не исключено, что меня выкинут за пределы Советского Союза, что мне, собственно говоря, и нужно, а вы останетесь, и вас посадят лет на пятнадцать. Хорошо же я тогда буду выглядеть — как дезертир и предатель! Поэтому я очень сомневаюсь, следует ли мне в группу вступать». Они мне сказали: «Ну, знаешь, во-первых, не выкинут, а тоже посадят. Пятнадцать лет мы тебе почти гарантируем. Но если не посадят, могут выкинуть. И Эйтана тоже могут выкинуть, он подает на Израиль, но находится в отказе. И кого из вас выкинут, тот будет представителем группы на Западе. Будете делать нам рекламу». И дали мне книжку прочитать — воспоминания Эдуарда Кузнецова, он проходил по «самолетному делу», его приговорили сначала к смертной казни, а потом дали 15 лет.

— **«Дневники» Кузнецова, которые Габриэль Суперфин помог передать на Запад в 1972 году.**

— Да-да, он, сидя в тюрьме, написал некий текст, который удалось переправить на Запад, там его напечатали, и это проникло в Союз, в том числе и в Литву, и они мне это дали прочесть. Я за ночь прочел и стал дрожать мелкой дрожью, потому что там советская тюрьма описана в очень откровенном виде, и совершенно ясно, что это одно из самых небольших удовольствий, которые в мире бывают. А потом пришел к ним — после этой книжки мне стало стыдно не вступать. Так что я вступил. Это было в конце 1976 года, где-то в ноябре. И еще два человека вступили. Пяткус нашел католического священника, очень пожилого человека по фамилии Гаруцкас, он был иезуит, провинциальный настоятель в литовской деревне. И меня попросили кого-то найти, но чтобы был, скорее, левый. Потому что мы считали, что Хельсинкская группа должна объединять людей самых разных взглядов, это должна быть как бы модель будущего литовского парламента, чтобы были левые, католики, нацмены (Финкельштейн был нацменом) и просто интеллигенты. Вот я был не то чтобы католик, нацмен, не то чтобы сильно левый, но просто литовский интеллигент. «И найди еще кого-нибудь, по возможности левого, даже коммуниста можно, если таковой найдется». И я нашел пожилую женщину, с которой был знаком, [Ону] Лукаускайте, писательницу, которая просидела десять лет в Воркуте, потом вышла



*Томас Венцлова
и Михаил Мильчик.
Ленинград. 1977*
© Archive of
Ramūnas Katilius
and Elė Katilienė

и жила в городе Шяуляй. Уже очень немолодая, чудесная совершенно женщина, бывшая эсеровская активистка. Она участвовала в антисталинском движении еще в 1940-е годы, за что и села. Но потом вышла и относительно спокойно жила. Когда я к ней поехал, повел ее погулять и на улице, подальше от чужих ушей, рассказал ей об этой идее, она сказала: «Вот это то, чего я всю жизнь ожидала! Начинается какое-то серьезное дело. Конечно, я вступаю! Тем более мне семьдесят с лишним, меня уже, вероятно, не посадят, ну, может быть, сошлют, но к этому я человек привычный». И вступила. И нас оказалось пять человек. Трое поехали в Москву, потому что в Москве есть иностранные корреспонденты и дипломаты, можно связаться с Западом. Поехали в трех разных поездах — Пяткус, Финкельштейн и я. Документов с собой не везли на всякий случай, если кого-то ссадят с поезда, то двое, может быть, останутся. Двое стариков, священник и эсерка, уже не поехали, но дали нам разрешение использовать их имена и фамилии. И мы так доехали до Москвы, никого не ссадили, пошли ко Льву Копелеву. У него была одна из немногих на всю Москву машинка с латинским шрифтом. И мы на этой машинке быстро сочинили манифест группы на литовском языке, потом перевели его еще и на русский. Пошли [26 ноября 1976 года] на квартиру Юрия Орлова, которую он нам предоставил. Там был Анатолий Щаранский, худо-бедно, но лучше нас всех знавший английский язык. Созвали иностранных корреспондентов, они пришли, и Щаранский перевел это все с листа с русского языка на английский. Мы обнародовали манифест, что будем принимать жалобы на нарушения прав

человека от всех, кто считает себя ущемленным, и объявляем свои фамилии и адреса. Это было открытое движение. Принцип Хельсинкских групп был, как вы знаете, таков: мы действуем в рамках существующего законодательства. И если нас посадят, то правительство само нарушает свои законы. Это был очень важный момент. Два новых принципа, во всяком случае, для Литвы. Первый — что мы занимаемся не только национальными вопросами и не только вопросами католической церкви. Ими тоже, и если кого-то сажают за то, что он агитирует за независимость Литвы, то мы этим занимаемся. Если кого-то сажают за католическую, излишнюю с точки зрения властей, активность, мы тоже этим занимаемся. Но мы занимаемся и проблемами меньшинств, и проблемами свободного выезда, и многими-многими другими. Кстати, если ущемляют православного, или баптиста, или иудаиста, да хоть буддиста — такие тоже попадались в Литве, и с ними случались неприятности, — то мы тоже этим занимаемся. Это первый принцип — не конфессиональный и не чисто национальный. Любой человек на территории Литвы, тогда еще Литовской ССР, чьи права ущемлены, может к нам обратиться, и мы стараемся ему помочь. И второй принцип — мы, в отличие от прежних деятелей, действуем открыто и настаиваем на том, что наша деятельность вполне законна. Так вот это и пошло. Мы стали писать документы и передавать их на Запад — о нарушениях прав человека в Литве.

Когда я вернулся в Вильнюс, мать и жена мне сказали: «Тебя приглашают в Министерство внутренних дел такого-то числа к такому-то часу». Я в шутку всегда говорил, что взял «допровскую» корзину, как у Ильфа и Петрова написано, положил чистое белье, зубную щетку и пошел в Министерство внутренних дел. На самом деле я ничего не взял, но немножко побаивался, что, может быть, оттуда уже и не выйду. Это было спустя месяц после обнародования манифеста. А там мне сказали: «Вот у вас предложение от университета Беркли. Почему вы не едете?» Я говорю: «У меня нет ни иностранного паспорта, ни выездной визы». Они сказали: «Будет и паспорт, и виза, только уезжайте». Я говорю: «Нет, мне надо посоветоваться с семьей, с друзьями». Они сказали: «Даем на это две недели». Ну, и мать, и жена сказали: «Поезжай. Лучше уехать, чем сидеть». Друзья все до единого сказали: «Поезжай, будешь нашим представителем». А еще через месяц я улетел из московского аэропорта «Шереметьево», как сейчас помню. И оказался на Западе. Причем не просил политического убежища. Сразу сделал заявление для печати, для прочих СМИ, что мое пребывание на Западе временно, я остаюсь членом Литовской Хельсинкской группы и буду в меру сил представлять на Западе ее интересы. Политическое убежище не прошу, чтобы иметь возможность вернуться в Литву и там участвовать в работе группы. Но через некоторое время меня лишили советского гражданства специальным указом Верховного Совета, и я очень этим гордился, потому что был девятым. Мы называли это «космонавтами». Первый «космонавт» был Троцкий,

лишенный [в 1932 году] советского гражданства — это считалось наказанием худшим, чем «вышка», но о случае с Троцким уже все забыли. Второй такой человек — Светлана Аллилуева. В шутку, что, наверное, некрасиво, ее называли среди «космонавтов» Лайкой. Потом был Солженицын — это уже Гагарин. А я был девятый, то ли Терешкова, то ли Попович, во всяком случае, в первой десятке «космонавтов». Потом «космонавтов» стало около 40, в том числе Ростропович, Любимов, Аксенов... но это уже после меня. И я поговаривал: ну, это мелюзга, а вот девятый человек — кое-что... Это, конечно, наглая шутка. Ну, вот так я оказался на Западе. Был приглашен на комиссию американского Конгресса, сделал там публичный доклад о положении в Литве, после чего меня лишили гражданства. Это случилось не сразу, примерно через полгода. Но тогда я уже попросил политического убежища в США, которое и получил. Был уверен, что никогда больше не увижу Литву, Москву, Питер, а там оставались мои родственники, не говоря уже о друзьях. Пяткус вскоре был посажен на пятнадцать лет как глава группы, отсидел одиннадцать, но в перестройку вышел и еще долго жил, долго был активен. Эйтан Финкельштейн через шесть или семь лет выехал-таки в Израиль, сейчас он живет в Германии. Два старика, то есть священник и эсерка, сильно не пострадали, умерли своей смертью. Вот такая вот история Литовской Хельсинкской группы.

— Насколько вы в этой опасной игре с КГБ надеялись, что имя вашего отца послужит вам охранной грамотой? Или это уже не играло роли?

— Это не мне судить. Отец мой, известный писатель и номенклатурное лицо (кстати, таким был и отец Звиада Гамсахурдии), был уже к тому времени покойным. Я стал открытым диссидентом только тогда, когда его уже не было в живых. При жизни он никогда пальцем не шевельнул, чтобы меня как-то прикрыть от властей, но само его существование, его статус, его имя воздействовали. Примерно как если бы Максим Пешков, сын Максима Горького, вдруг стал отчаянным диссидентом; это была бы примерно такая же ситуация. И тоже, наверное, была бы для властей загадка: что делать? Хотя при Сталине особой загадки бы не было, с ним бы расправились очень быстро. Но при Брежневем — уже была бы загадка. А после его смерти... мне трудно судить. Какую-то роль это, видимо, сыграло. Хотя Павел Литвинов, человек с еще более известной фамилией, все же сидел. Но он и сделал гораздо больше.

— Когда Андрей Дмитриевич Сахаров в декабре 1975 года, в день присуждения ему Нобелевской премии мира, был в Вильнюсе на суде над Ковалевым, куда его не пустили, вы с ним встречались?

— И Пяткус, и Финкельштейн с ним встречались, я — нет. С ним приехали свидетели защиты, в том числе родители Павла Литвинова, и их надо было где-то разместить, так вот они жили

Tomas Ventslova
2615-A Ridge Road
Berkeley, CA 94709

August 23, 1977

Венцлова Томас-Андрюс Антанович

Сообщаем, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1977 года Вы лишены гражданства СССР за действия, порочащие звание советского гражданина.

Ваш советский паспорт СМ-VI № 088631 аннулирован.

А. Ермаков А. Ермаков
Консул

в моей квартире. Но я на суд над Ковалевым не ходил. В тот момент я уже письмо отправил, но все-таки с Сахаровым не встретился. Хотя то, что я с этими людьми связан, было для властей очевидно. Сам Андрей Дмитриевич жил на квартире Эйтана Финкельштейна.

— В мемуарном интервью Элен Хинси, которое напечатано в «Иностранной литературе» в русском переводе (это фрагмент, насколько я понимаю, из готовящейся вашей мемуарной книги), вы рассказываете о своих московских друзьях, говорите о Горбаневской, упоминаете Гинзбурга. А с кем еще до отъезда из СССР из правозащитной среды вы познакомились и общались?

— До отъезда из СССР именно в связи с Хельсинкской группой я познакомился близко с Людмилой Михайловной Алексеевой. И до сих пор с ней в довольно близких отношениях, когда бываем в Москве, мы с женой у нее даже ночуем, как правило. Я с гордостью могу сказать, что мы друзья. Она была лидером Московской группы, приезжала в Вильнюс еще до основания Литовской группы, оказалась как бы нашим ментором, мы ее знакомили с положением в Литве.

— Как относился к вашей диссидентской активности Иосиф Бродский, ваш друг? Обсуждали ли вы с ним эту сторону вашей жизни?

— Иосиф Бродский говорил мне, и говорил неоднократно: «Заниматься этим надо, и я очень уважаю людей, которые этим зани-

маются». Он очень хорошо относился к Сахарову, он хорошо относился к Буковскому, даже дружил с ним, прекрасно относился к Горбаневской. Что касается Гинзбурга, он говорил: «Это мой первый издатель, я этого никогда не забуду». Потому что первая публикация стихов Бродского была в «Синтаксисе» [№ 3 в 1960 году] у Гинзбурга. То есть отлично к ним относился, но продолжал: «Поэту этим заниматься не надо, потому что это отнимает время и силы. Надо сидеть и писать стихи». И поскольку я тоже как бы поэт, он меня немного за это порицал. Но я говорил, что раз я уж взялся за гуж, не говори, что не дюж, приходится заниматься. Я уже отвечаю перед своими друзьями, часть которых сидит в тюрьмах. Повторю: Бродский считал, что делать это надо, но у поэта свое дело, своя область, поэт занимается другим. Хотя в конечном счете эти области как-то соприкасаются.

У Бродского не было никакого осуждения по отношению к диссидентской работе, хотя конкретно отдельных диссидентов он недолюбливал — даже могу сказать, кого недолюбливал, но не скажу, это излишне.

— После вашего приезда на Запад вы продолжали заниматься делами Литовской Хельсинкской группы?

— Вы знаете, практически до момента освобождения Литвы. То есть лет одиннадцать, наверное. С каждым годом как-то меньше, поскольку сами дела Хельсинкской группы со временем почти прекратились. Я все-таки старался делать паблисити, как говорят по-английски, или пиар, как сейчас говорят (тогда говорили «рекламу»), тому же Пяткусу и другим людям, связанным с литовским диссидентским движением, и льщу себя надеждой, что, может быть, это им чуть-чуть даже помогало.

— Но формально вы оставались представителем Литовской Хельсинкской группы на Западе?

— Я формально им оставался до освобождения Литвы. Мы попытались тогда ее реанимировать, когда Пяткус вышел из тюрьмы — а он вышел в конце 1988-го или даже в 1989-м и вернулся в Вильнюс. Но это уже не имело большого смысла, уже можно было действовать в области прав человека иными способами. Пяткус стал советником президента Литвы по правам человека и пребывал в этом качестве, это как раз для него занятие отличное. А Анатолий Щаранский был уже израильским министром и приехал в Литву по поручению израильского правительства вести какие-то переговоры между свободной Литвой и свободным Израилем. Они с Пяткусом сидели в одной камере 18 месяцев вдвоем. Говорят, если посадить безумно влюбленных мужчину и женщину в одну камеру, то через несколько месяцев они глаза друг другу выцарапают и никогда не захотят больше друг друга видеть. Тем более два зэка, которые не являются влюбленными. Причем думали: тут католик, тут сионист, они обязательно поссорятся. А они не поссорились. Напротив, Пяткус попросил Щаранского, чтобы тот ему излагал основы Талму-



*С Людмилой
Алексеевой, 2007*
© A. Žygavičius

да, а Щаранский попросил Пяткуса, чтобы тот ему излагал основы католической доктрины. И оба как-то просветились в этих областях и вышли большими друзьями. Так вот, когда Щаранский приехал в Литву, первый визит до того, как пойти к президенту, к премьер-министру, куда его приглашали, он нанес своему поделщику и сокамернику Пяткусу. На мой взгляд, это было очень красиво.

— Сложилось так, что в постсоветской России люди из диссидентской среды — за исключением, пожалуй, Сергея Адамовича Ковалева — почти не принимали участия в строительстве нового государства. Так получилось, что они были очень быстро маргинализированы, и их роль, особенно после смерти Сахарова в 1989 году, в строительстве новой России оказалась ничтожна. А как это было в Литве?

— Я бы сказал, что в России все-таки принимала определенное участие в построении новой ситуации также и Людмила Алексеева, не только Сергей Ковалев. Но это исключения, я согласен. Если бы Сахаров жил дольше, кто знает, как бы у него сложилось, но он, к сожалению, скончался рано. В Литве диссиденты, связанные с «Католической хроникой» и с национальным движением, тоже оказались маргинализированы. Кроме нескольких крупных католических деятелей. Это были епископ [Юлийонас] Степонавичюс, который стал архиепископом Вильнюса и скончался вскоре, епископ [Винцентас] Сладкявичюс, который стал кардиналом (он тоже скончался), и, наконец, редактор «Хроники» [Сигитас] Тамкявичюс, который стал епископом в Каунасе, занял важное место в Литве и до сих пор здоровствует, хотя уже ушел на покой. Так что католики приняли участие в строительстве новой Литвы, но не те, кто конкретно делал каждодневную работу по изданию «Хроники», те оказались, скорее, маргинализированными. А что касается тех, кто издавал подпольные газеты национального толка, — они, как правило, оказались не у дел и на это даже обижались: дескать, в Литве ничего не изменилось, это не та Литва, которую мы хотели... Они об этом писали, говорили, в Литве, слава богу, полная свобода слова, так же как, впрочем, какое-то время полная свобода слова была и в России. Но они в строительстве государства уже не принимали участия. Пяткус, как я сказал, стал советником президента по правам человека. Ну, это в какой-то мере синекура, хотя и не совсем. Он основал даже политическую партию, но большого успеха эта партия не имела.

— То есть в этом смысле ситуация похожа почти буквально — ведь Ковалев также был советником Ельцина по правам человека — на российскую?

— Да, в этом смысле похожа. Хотя в Литве получилось лучше, чем в России. Литва осталась вполне демократической страной, вошла в европейские структуры, и дай ей бог. И экономическое положение в Литве тоже значительно лучше, чем оно было в советское и даже в довоенное время. Правда, имеет место эмиграция, но куда меньшая, чем об этом иногда говорят.



«Я бы в ссылку поехала еще, если бы там Саша был»

— Сима Борисовна, при каких обстоятельствах вы столкнулись с таким новым для советского общества явлением, как диссидентство, или, иначе, правозащитное движение?

— Я не могу точно сказать, когда я впервые столкнулась с термином «правозащитное движение». В 1960-х годах, когда шел процесс Синявского и Даниэля, когда поместили в психушку Есенина-Вольпина. Александр Павлович [Лавут] подписал письма в их защиту.

В 1967 году Саша пошел работать к Израилю Моисеевичу Гельфанду в лабораторию математических методов в биологии, где работал Сережа Ковалев. Они очень дружили. А вскорости был суд над вышедшими на Красную площадь 25 августа 1968 года. Около суда собиралось много народу, и там Сережа познакомил Сашу с Петром Григорьевичем Григоренко. Ну, и они подружились, к Григоренко Саша ходил очень часто, и я иногда вместе с ним ходила. Во всех разговорах и делах живо участвовала [жена Григоренко] Зинаида Михайловна.

В 1969 году 15 человек объединились — потом еще были прикнувшие — и назвали Инициативной группой по защите прав человека в СССР (ИГ). Участники группы отправили письмо в ООН, и по этому поводу было большое собрание в университете. Там Александра Павловича и Сергея Адамовича всячески обзывали. На них очень давили, и вскорости они ушли из лаборатории «по собственному желанию». Саша довольно быстро устроился работать в Центральную геофизическую экспедицию и там работал до самого ареста в 1980 году.

Сима Борисовна Мостинская (8 сентября 1928, г. Златоуст Челябинской области) — математик, программист. В 1946 году поступила на мехмат МГУ, который окончила в 1951 году. В 1951 году вышла замуж за математика Александра Павловича Лавута (1929—2013), впоследствии одного из деятельных участников правозащитного движения в СССР. Работала учителем математики в школе в г. Атбасар Акмолинской области в Казахстане (1951—1952), на станции Славянск Донецкой области (1953—1955) и в Москве (1955—1956). С мая 1956 года работала в Вычислительном центре МГУ вплоть до увольнения на пенсию в январе 1984 года. Живет в Москве.



Александр Лавут
с внуком Яшей.
Чумикан, 1984
© Из архива
Симы Мостинской

— А не помешало ему то, что у него репутация неблагодарного?

— Нет, не помешало. А я все время работала в университете, только в вычислительном центре, в отделе матобеспечения ЭВМ.

— А на вашей жизни обстоятельства мужа, его связь с правозащитным движением, его увольнение из университета как-то сказывались?

— Конечно, сказывались. Мне, например, не присвоили звание ветерана труда. У меня нет никаких льгот поэтому, только пенсия, и все.

— Это тогда же или позже было?

— Это было позже, в 1983 году. У нас там очень такая энергичная женщина пошла разговаривать к парторгу: «Почему Симе не дали премию?» А они с одного курса были. Он говорит: «А ты знаешь, что она будет делать с этой премией?» А у моей дочери было уже четверо детей (*смеется*)... Вот такое было. Тогда начались эти ударники труда, и у меня стажа хватало, всего хватало, но мне это звание не присвоили... В общем, понятно, что из-за Саши — жена «врага народа».

— Александр Павлович рассказывал вам о том, что он вошел в редакцию «Хроники текущих событий»?

— Ну, если и не рассказывал, как-то само собой всегда получалось, что я знала. Я знала, где он сегодня, пошел «по «Хронике»». Он вообще все это говорил, и мне так было легче. Я все переживала, когда его не было, где он застрял. Может, его уже арестовали, а я сижу и не знаю. Так что я всегда знала, туда он пошел или сюда.

— «Хроника» у вас дома печаталась? Или он старался этим дома не заниматься?

— Печаталась. И разбиралась, обсуждали кое-какие вещи. Очень активной была Таня Великанова, она у нас часто бывала, и вообще мы дружили. Сейчас много пишут о том, как информация попадала в редакцию «Хроники» из лагерей. Они на личных свиданиях, например, передавали. На очень тонкой бумаге, такая какая-то самолетная была, вроде пергамента, тоненькая-тоненькая, и на ней убористым почерком, надо было прямо в лупу смотреть, писали текст. А потом эти бумажки заворачивали и глотали. Тот, кто приехал на свидание, глотал. А потом надо было из своего желудка доставать это. И вот эти шарики, они так делали в виде шариков, я не очень много, не регулярно, но иногда помогала разбирать информацию из лагерей, ее же надо было напечатать. И в «Хронике» появился прямо отдел — «Вести из лагерей». Но все-таки я не очень регулярно этим занималась. Я же работала, и детей полно в доме.

— Когда вы впервые почувствовали какое-то давление властей или КГБ?

— Я так точно сказать не могу, но почувствовала. Во всяком случае, вот, пожалуйста, [знака] ветерана труда у меня нет. Но вообще ко мне всегда кругом относились хорошо. Меня ниоткуда не выгоняли, я без перерыва с мая 1956 года работала в ВЦ.

— Каков был ваш с Александром Павловичем круг общения? Он был связан с правозащитниками или был шире?

— Шире. Правозащитников было много знакомых, близких, но на самом деле были и университетские друзья, с которыми мы учились, и вообще много очень друзей было.

— Александр Павлович скрывал свою принадлежность к «Хронике» или это было в дружеском кругу известно?

— Никто из причастных к «Хронике» до 1973 года не ставил под информацией своих фамилий. А когда арестовали Якира и Красина, трое — Сережа Ковалев, Таня Великанова и Таня Ходорович — объявили, что они ответственны за распространение «Хроники». Собрали пресс-конференцию с иностранными журналистами.

— Вам никогда не казалось, что напрасно Александр Павлович занимается этими вещами?

— Мне казалось, конечно! А им нет. Конечно, и я говорила, что все это зря. Ну разве здесь что-нибудь когда-нибудь будет (*смеется*).

— Вы считали, что это бессмысленно, потому что не принесет никакого практического результата?

— В общем, конечно. Я всегда переживала, что с ним что-то случится, если он поздно возвращался. И действительно бывало. Его однажды посадили в машину и катали по всей Москве, провезли мимо Лефортовского изолятора, потом провезли еще где-то, ну, с намеком. А потом где-то далеко, на Кутузовском проспекте, по-моему, высадили.

— Это уже ближе к аресту было?

— Да, это было близко к аресту.

— **Своего рода предупреждение.**

— Да.

— **То есть к 1980 году, к моменту ареста, вы были уже внутренне готовы, что Александра Павловича арестуют? Или это все-таки было для вас неожиданностью?**

— Неожиданно, конечно. Нет, я знала, что его арестуют, предчувствовала. Поэтому я всегда думала: вот его нет и нет, а вдруг его уже арестовали? И в тот день, когда его арестовали, я ушла на работу, я рано уходила, в половине девятого. Я ушла на работу, а здесь Женю надо было проводить в школу, она в первом или во втором классе была. Так за ними [за А.П. и Женей] шел товарищ, наблюдал, куда они идут. И так же в детский сад проводили Олю. Да, очень веселая была жизнь, конечно. Вот в 1976 году, в декабре, 10 декабря, когда была годовщина Декларации [прав человека], Александр Павлович собрался в прачечную. Олька маленькая была, она в августе родилась, ей было четыре месяца или пять, я с коляской стояла у нас на крыльце и вижу — машина подъехала, и выходит оттуда тип какой-то. Походил-походил, сел опять в машину. Потом вышел Александр Павлович, пошел в прачечную, через двор надо было идти, и товарищ вышел из машины и пошел следом за Сашей. Саша говорил, что он был и в прачечной, стоял, пока тот сдавал свое белье. Или вот у нас там, наверху (мы тогда наверху жили, в том же доме, где теперь, но выше, на последнем этаже), от старого дома остался дымоход, раньше там было печное отопление, и там Саша однажды услышал шуршание какое-то. Саша утверждает, что там было подслушивающее устройство.

— **То есть вы считаете, что вас подслушивали?**

— Да, подслушивали. Вот за Сашей следили — об этом Саша несколько лет назад рассказывал в интервью журналу «Большой город». Я сначала не верила, что следят лично за ним. И вот мы однажды поехали в гости к Юре Гастеву. Троллейбус шел по Олимпийскому проспекту в сторону Выставки [народного хозяйства]. Когда мы только вошли в троллейбус у нас тут, под горкой, я увидела, что за троллейбусом стоит машина. Саша говорит: «Ты наблюдай, наблюдай...» А я не верила. Я смотрю в заднее стекло — только мы отъехали от остановки, машина двинулась и ехала ровно за нами. Когда мы остановились, вышли, машина тоже остановилась и стояла, пока мы были в гостях. А потом снова за нами поехала. И тут я поверила: «Правду говоришь, а я не верила...»

— **Как его арестовали?**

— Я была на работе. Незадолго до этого у нас был очень обширный обыск. Тогда я тоже была на работе... А арестовали его 30 апреля, под май, близилась нерабочие дни. В тот день, когда Сашу арестовали, было четыре обыска в четырех квартирах одновременно. Мы, Мартинсоны, Гастевы и, кажется, Эми Ботвинник. У нас они очень долго копались. И ко мне в МГУ приехала



*Двухэтажная кровать, построенная с помощью охотника Николая Пруса. На верхнем этаже слева направо: Юлия Кронрод, Яша Кронрод, Сема Кронрод, Женя Лавут, Оля Лавут, Татьяна Лавут. Стоит: Александр Лавут. Чумикан, 1984
© Из архива Симы Мостинской*

жена Сережи Ковалева и говорит: «Сима, собирайся, иди скорей домой, Сашу арестовывают». А он тянул, то говорил, что кофе надо выпить, то еще что-нибудь... Он тянул-тянул — хотел, чтобы я пришла. И так получилось, что я приехала домой, а они все еще копались. Кофеик Саша попил, а потом пошли вниз уезжать. Я хотела ехать, но они не разрешили, в машину не взяли никого. Но мы с одной сотрудницей Сашиной на троллейбусе поехали в прокуратуру. В прокуратуру его повезли.

— **На Дмитровку?**

— Нет, в районную, на Пятницкой. Жданов была фамилия следователя, который Сашей занимался. Ну, и мы поехали за ним. Пришли — пустая прокуратура, предпраздничные дни. Мы прошлись по коридорам, и в одной комнате была приоткрыта дверь. Я туда заглянула и вижу — сидит Саша, а с ним беседует этот замечательный Жданов. Беседовали-беседовали... А мы решили ждать с этой женщиной. Ждали-ждали, а потом услышали стук — хлопнула дверь. Вышел из этой комнаты этот товарищ, Саша был уже с руками назад, не помню, были ли наручники... нет, наручников не было, он идет — перед ним милиционер, и за ним милиционер. Он с третьего этажа спускался. А мы следом. И я смотрю, как он спускается. А он повернул голову и говорит: «Сима, 190-я, прим.».

А они зашикали, нас стали гнать оттуда. Но мы все равно посмотрели. Провели его... Я сразу побежала к автомату позвонить, за мной шли два человека. Но я была не одна, была вот с этой женщиной. Мы вошли в телефонную будку, а они остановились около будки и ждали, пока я поговорю. Но я только сообщила статью, а там Софья Васильевна [Каллистратова] подняла уже сразу бучу.

Ну, вот так его и арестовали. Нашей Ольке было 4 или 5 лет, она 1976-го, она кричала: «Женька, давай соберемся и пойдем подкоп устроим, дедушку освободить!»

— **А они ездили в ссылку к нему потом?**

— Да. Олька там даже ходила в школу. Я сразу ушла с работы и жила у Саши по полгода. Оставаться дольше я не могла, так как меня могли лишит прописки.

— **Его отправили в ссылку после трех лет лагеря?**

— У него же два приговора... Второй добавили в лагере [в 1983 году], это была ссылка — пять лет. И я сразу к нему поехала.

— **Где Александр Павлович отбывал ссылку?**

— Село Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Ехать надо было так: самолетом до Хабаровска, потом от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре самолетом и третьим маленьким самолетом до Чумикана.

Это был районный центр, там всего пять населенных пунктов было в районе. Но я бы туда поехала еще, если бы там Саша был (*смеется*).

— **Чем он там занимался?**

— Сначала он был разнорабочим. В основном таскал разные тяжести — мешки, бочки, очень уставал. Как-то раз уронил на ногу бочку какую-то, у него вот такая яма здесь, в икроножной мышце, образовалась. А потом ему дали очень престижную должность — кочегара. На его дежурство я приходила в котельную. Чай кипятили, он чифирь пил. Ну и работал. Тяжелая была работа, конечно, топили углем, и ему уголь надо было подсыпать все время. Отапливался совхоз, контора и еще несколько домов — дом директора совхоза и некоторых сотрудников...

— **Какое к нему было отношение среди местных жителей?**

— К нему — просто потрясающее! Его очень уважали все. И относились к нему хорошо... Но на работу не взяли. И я пошла тоже на работу устраиваться, пошла к председателю горисполкома, сказала, что я могу преподавать математику. Поговорила-поговорила — «Нет, мы не можем вас взять на работу, у вас такой муж...»

— **Причем это были уже соответственно 1984—1985 годы, уже перестройка, можно сказать, маячила.**

— Я потом пошла работать ночным сторожем в совхозе. Неприятная, конечно, работа, но ничего. Откуда бралась смелость... Я ходила одна в темный поселок. Все спят, я иду, у меня ни нагана не было, ничего. Но я все равно ходила (*смеется*). Мне надо было пройти все склады. Склады там всякие были, и продовольственные, рыба, икра в чанах стояла красная, потом одежда всякая... Я обойду, посмотрю все замки. Входить туда нельзя, замки висели. Сарай большие. Я подходила, трогала замок и шла дальше. А Саша в кочегарке был.

— **Где вы жили?**

— А жили мы замечательно! Когда я приехала в первый раз, в общежитии, где жил Саша, ребята освободили нам комнату.

В этом общежитии жили рыбаки, охотники и так далее. Вот там мы пожили. Потом нам уступил свой домик, не домик даже, а половину домика, редактор газеты «Советский Север». Он ушел в общежитие или уехал в командировку, а нам оставил свое помещение. Полгода была там, а потом уехала в Москву. А потом было хорошее время, сторожка была. Там жили сторожа, они ее отремонтировали и отдали нам, мы жили в собственном доме (*смеется*). Очень там было хорошо! И со мной была Оля, я Олю взяла на все полгода, в конце лета мы уехали с ней, а в конце весны приехали обратно. Там очень хорошо ей было, она была довольна. И девчонки ее любили, она всех защищала, дралась... «Сейчас Лавут появится, она вам покажет!» — девчонки кричали, когда мальчишки что-то у них забирали. А Оля смелая!

— **Вы вернулись в Москву раньше Александра Павловича или вместе с ним?**

— Мы приехали последний раз вместе.

— **Просто кончилась ссылка? Это была не горбачевская амнистия?**

— Кончилась, да. Все у него кончилось, и мы приехали. Здесь нас встречали друзья...

— **А был у него после ссылки минус? Или ему можно было жить в Москве?**

— Нет, нельзя.

— **И как он с этим обошелся?**

— Ему вроде бы нельзя, но его прописывали временно. То есть послабления все-таки уже начались. Его прописывали два или три раза временно, а потом уже прописали постоянно... Он даже ездил с Андреем Дмитриевичем [Сахаровым] в Америку в 1988-м, но он был не прописан еще. Его каждые полгода прописывали. И я все говорю: «Как ты поедешь?» Я не верила, что он поедет в Америку без постоянной прописки. Но Андрей Дмитриевич грозился голодовку объявить, если не дадут визу. Они вообще задерживали [выездные визы]. Даже очень смешно: вот здесь у нас под горкой был ОВИР центральный.

И мне позвонила Елена Георгиевна [Боннэр] и говорит: «Сима, там все наши отъезжающие сидят у вас под горкой. Приготовь им бутерброды, пусть они поедят» (*смеется*). Прямо вот здесь, действительно, под горкой сидели. Было не готово, не подписывали. Я не помню уже этих фамилий, но какой-то человек, большой начальник, должен был подписать. И утром уже самолет, билеты были, а они все сидели в ОВИРе.

— **То есть подписали в последний момент вечером или прямо утром?**

— Да, ночью подписали.

— **А с Сахаровым вы были знакомы до высылки в Горький?**

— Да.

— **Вы бывали у них с Еленой Георгиевной?**

— Да.

— **Расскажите, как была устроена у них жизнь.**

— Просто, обыкновенным образом. Приходили люди, садились на кухне в основном, пить чай или разговаривать. Андрей Дмитриевич что-то иногда делал, заваривал чай... Он вообще очень простой человек был. Он очень спокойно разговаривал всегда, очень приветливо. Очень хорошие были люди.

— **Александр Павлович и вы соответственно вернулись в Москву одновременно с Сахаровым? Или чуть раньше даже Сахарова?**

— В эти же дни. Это случайное совпадение. Сахаров 16-го, что ли, а мы 17 декабря приехали¹.

— **Вы, наверное, сразу пошли к ним?**

— Нет, сразу я не пошла. Саша — наверное, я сейчас не помню. Просто в феврале день рождения у Елены Георгиевны, 15 февраля, это был 1987-й, и мы пошли на этот день рождения. Там очень смешная была история. Ей же исполнилось, насколько я помню, 64 года. Где 64 свечи поставить? Я не помню кто, но предложили поставить лампочку 60-свечовую (смеется). Поставили в торт лампочку и вокруг четыре свечи. Я только не помню, каким образом зажглась эта 60-свечовая лампочка, что к ней было подведено.

— **Кто еще входил в круг близких друзей Александра Павловича до ареста кроме Ковалева? Ковалева в 1974 году арестовали, он был в лагере и в ссылке до 1987-го. А кто оставался в конце 70-х в ваших друзьях?**

— Таня Великанова. Потом Татьяна Сергеевна Ходорович, Боря Смушкевич, Фрейдины, Юра Гастев и многие-многие другие.

— **А с Фондом помощи политзаключенным, солженицынским, как-то вы были связаны?**

— Я — нет.

— **А Александр Павлович?**

— Александр Павлович — тоже нет.

— **Но вы знали, что такой существует, что Татьяна Сергеевна Ходорович им занимается?**

— Знали, да. Я знала, и потом мне там предлагали даже помощь, когда я начала ездить на Дальний Восток. Мне предложили помочь купить билеты. Нина Петровна Лисовская, она этим занималась. Но я сказала, что не надо, потому что у меня есть брат, есть тетушка и подруга Мила Нейгауз... Дочка Генриха Нейгауза. Она каждый раз, когда мне надо было уезжать, как-то мне вспомоществовала. Так что мне не надо было, я деньги никогда не брала у фонда.

— **Наверное, у вас были люди, подруги на работе, знакомые, которые знали, что Александр Павлович — диссидент.**

¹ А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр вернулись в Москву 23 декабря 1986 года. 16 декабря Сахарову позвонил М.С. Горбачев, сообщивший ему о разрешении вернуться в столицу. — Г. М.

Какое было тогда отношение к этому у интеллигентных советских людей?

— Можно сказать так, что отношение было разное. Некоторые проявляли большое участие, расспрашивали, как там Саша, и так далее. А были люди, которые переставали даже здороваться, были и такие в университете, несколько человек. Были разные люди. Наверное, были и такие, которые осуждали. Боялись, конечно. Потому что если я разговаривала с кем-то, то некоторые все время оглядывались — не идет ли кто из партийных руководителей (*смеется*).

— Предпринимал ли КГБ попытки поговорить с вами?

— Один гэбэшник был приставлен ко мне, но он за мной не ходил, ничего такого. Вызвал один раз в кабинет директора, и директор ушел: «Беседуйте-беседуйте, я вам не буду мешать...» Говорил о том, что я, как жена, должна Александра Павловича остановить. Это еще было до ареста. Чтобы я на него подействовала, повлияла, поговорила. Я говорю: «Нет, он не такой человек. Его не уговоришь...» Первый раз это было в ВЦ, в кабинете нашего директора. А второй раз... Я даже одна боялась идти, взяла одну близкую приятельницу, мы вместе пошли — вызвали в ректорат.

— Один и тот же человек или другой уже?

— Один и тот же. Вот когда в ректорат вызывал, он мне говорил: «Вы знаете, я могу вам помочь. Я могу вам устроить свидание с Александром Павловичем». Первый раз это было, когда Александр Павлович еще не был арестован, а вторая беседа была уже после ареста. «Я вам могу устроить разговор с Александром Павловичем». Я говорю: «Нет, спасибо, не надо». «А вот я дам вам телефон, — и телефон записал на бумажке, — и, если что, вы звоните и спросите такого-то». Не помню сейчас уже, как его звали, и бумажки этой нету. Вот так. Но у меня беседы были короткие. Потому что, на самом деле, ведь были и такие, которых часами держали.

— То есть вас просто просили влиять на мужа?

— Да, и все, больше ничего.

— А отношение в ссылке, например, простых людей, которые знали, что вы ссыльные, политические ссыльные...

— Да они ничего не понимали! Политический был один-единственный — Александр Павлович. Один был! Там в основном отбывали ссылку алиментщики, но и уголовники были. Алиментщики подженивались и жили припеваючи.

— Ну вот тем более к нему должно было быть внимание привлечено! Что какой-то еврей из Москвы приехал, политический.

— Про еврейство никто никогда ничего не говорил. Все вокруг относились очень внимательно к нему. Вон рога висят, это они там подарили Александру Павловичу, охотники.

— Рога, значит, из ссылки приехали.

— Да, это мы привезли. Специальный ящик ребята построили, чтобы не сломались рога, и отправляли багажом.



*С внучками
Женей и Олей.
Москва,
1 сентября 1979
© Из архива
Симы Мостинской*

© Московская школа гражданского просвещения



«Поскольку я боролся против коммунистов, я был свой человек»

— В своих воспоминаниях вы пишете, что толчком к началу вашего пути в правозащитную деятельность были самиздатские материалы, которые к вам попадали, и одним из первых называете стенограмму суда 1964 года над Бродским.

— Да. Это даже не было толчком, потому что я тогда этому материалу просто не поверил. Я считал, что советский суд не может себя так идиотски вести и задавать такие глупые вопросы. Поэтому я подумал, что это некоторая подделка, фейк.

— **То есть это было началом некоего процесса разрушения иллюзий?**

— Тогда этот процесс еще даже не начался. Он начался чуть позже, когда я уже поступил в Физтех. И на втором или третьем курсе Физтеха у нас была театральная студия. Мы там ставили самостоятельно написанный нашим режиссером спектакль, он назывался «Убили поэму» и касался истории России, Советского Союза, того, каким образом поэзия Серебряного века — потрясающая, гордость России — превратилась в ту поэзию, которую назвали «поэзией рабочих рук» (по названию одного из сборников того времени) и которая ничего общего уже не имела с той высокой поэзией.

— **Было ощущение культурного регресса?**

— Да. Ты начинаешь это понимать в ходе подготовки к постановке пьесы, когда читаешь постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», когда ты знакомишься со стенограммами съездов, когда ты понимаешь, что делалось что-то совсем не то, что ты думал, что делалось в то время. И после такого столкновения с документами, с реалиями прошлого, воспоминаниями людей — особенно когда ты понимаешь, что были репрессированы лучшие люди, которыми ты можешь только гордиться, — ты начинаешь понимать, что твое восприятие советской власти и Советского Союза — оно, в общем, ущербно, оно ложно. Процесс такого переосмысления был довольно болезненный. И вот этот наш театральный эксперимент параллельно с чтением самиздата, который у меня стал появляться, знакомство с Юлием Кимом, семьей [Петра] Якира, другими диссидентами и, конечно, события 1968 года в Чехословакии, суд над демонстрантами [против советской оккупации Чехословакии], у стен которого я провел три дня, — все это



*Первый день
в Москве после
освобождения.
Февраль 1984*
© Из архива
Вячеслава Бахмина

за один год, наверное, сильно меня изменило, и я стал уже совсем диссидентом, новообращенным.

— **Очень интересно ощущение границы между человеком, который просто понимает несправедливость советского общества, и человеком, который уже считает себя диссидентом. Вы сказали, что с вами за один год произошла внутренняя трансформация. А после каких событий вы смогли бы сказать: «Да, теперь я диссидент»?**

— Ну, во-первых, когда в круг моих знакомых вошли люди, связанные с диссидентским движением. Таким образом я стал членом этого круга, хотя еще очень молодым, неопытным, мало что знавшим. Когда я начал читать «Хронику текущих событий». Фактически чувство принадлежности к этому кругу тогда и появилось, потому что эти люди были моими друзьями.

— **Но самоназвания «диссиденты» тогда еще не было?**

— Не было. Тогда это были просто правозащитники. Это слово появилось еще в 1966 году, с первых демонстраций, с идей [Александра] Есенина-Вольпина, что надо требовать у властей уважения к своей конституции, к законам, которые принимает власть. Вот с тех пор это чувство — причастности движению — появилось. И, конечно, после первого ареста все это лишь укрепилось. Важно было осознание собственной правоты. Для меня было очень важно, что я прав и те люди, которые разделяют мои убеждения и мою точку зрения на существующую в стране ситуацию, — мы все едины, мы все понимаем, что происходит. И вот это знание, которое из неявного стало явным, пусть даже тайное знание — оно, конечно, тоже влияло на ощущение, что вокруг

Вячеслав Иванович Бахмин (25 сентября 1947, Калинин) — программист, правозащитник, дипломат. В 1966—1969 годах учился в Московском физико-техническом институте, но был исключен после ареста 30 ноября 1969 года (дело до суда не дошло; Бахмин был помилован Указом Президиума Верховного Совета СССР и освобожден 24 сентября 1970 года). После освобождения окончил в 1974 году заочное отделение Московского экономико-статистического института. С 1973 года работал программистом в институте «Информэлектро» в Москве.

В 1975—1980 годах неоднократно подписывал письма в защиту политзаключенных.

С января 1977 года активный участник Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях (РК) при Московской Хельсинкской группе.

В июне 1977 года инициатор выпуска «Информационного бюллетеня» РК (1977—1980, всего вышло 24 номера).

Арестован 12 февраля 1980 года. 15 мая 1980 года в Лондоне состоялись общественные «слушания защиты» по делу Бахмина, организованные английскими юристами и психиатрами, Международной амнистией и членами британского парламента. На слушаниях выступили свидетелями бывшие узники психбольниц, эмигрировавшие на Запад; были представлены показания друзей Бахмина, находившихся в Советском Союзе.

В Москве дело Бахмина слушалось в народном суде Люблинского района 22—24 сентября 1980 года. Приговорен по ст. 190.1 УК РСФСР к трем годам лагерей.

ходят тысячи людей, которые многого не понимают и не знают, а ты уже это понимаешь и знаешь.

— **Но это одновременно и самоощущение своего рода избранности.**

— Несомненно, да.

— **Избранность неизбежно имеет парой жертвенность.**

— Жертвенности пока еще не было. Жертвенность — это уж после того, как тебя арестуют.

— **Но была готовность? Вы понимали, насколько это рискованное дело и к чему оно потенциально может привести?**

— Одно дело — понимать теоретически и видеть, что того выгнали, того посадили, а другое дело, когда ты лично начинаешь сталкиваться с этим. Только тогда проверяется, насколько ты к этому готов. Потому что готовность теоретическая — она может ничего не значить. Важна готовность практическая: сможешь ты выстоять, сможешь устоять перед моральным давлением? Слава богу, физического не было, но моральное было очень сильное.

— **И многие не выстаивали.**

— Не многие, я думаю, меньшинство, но тем не менее такие примеры были. И если сам ты это не пережил, не попробовал, говорить, что ты все выдержишь, сложно. Поэтому насчет жертвенности — я бы не сказал. А насчет избранности — наверное, в какой-то степени, потому что она была еще и в том, что, например, я был хорошим специалистом по физике и математике, учился в одном из лучших вузов страны, по физике даже лучше, учился в интернате при МГУ, который тоже был лучший, — их всего четыре было в стране, а московский считался лучшим. То есть ощу-

Срок отбывал в п. Асино Томской обл. За неделю до освобождения был арестован в лагере «за антисоветские разговоры» и в начале марта вновь приговорен по той же статье УК РСФСР к 1 г. и 1 мес. лагерей.

После освобождения в феврале 1984 года направлен для проживания под надзором в г. Калинин (ныне — Тверь). Работал программистом в ЦПКБ «Спецавтоматика». В результате подстроенной властями провокации обвинен в злостном хулиганстве. 29 марта 1985 года состоялся суд, на котором Бахмин был в третий раз осужден; приговор — три года лишения свободы. В кассационной инстанции приговор был пересмотрен, обвинение перекалвалифицировано на более мягкое, а в качестве меры наказания назначено полгода исправительных работ по месту службы с удержанием 15% зарплаты. 19 апреля был освобожден из-под стражи. В 1988 году вернулся в Москву, работал программистом в НПО «Спецавтоматика».

С 1989 года — член возрожденной Московской Хельсинкской группы, а также Российско-американской проектной группы по правам человека.

После августа 1991 года — заведующий Отделом глобальных проблем и гуманитарного сотрудничества МИД России. В 1992—1995 годах — член Коллегии МИД, заместитель руководителя российской делегации в Комиссии ООН по правам человека. С 1992 года — Чрезвычайный посланник II класса. В 1993—2002 годах — член Комиссии по правам человека при Президенте РФ.

В 1995 году оставил государственную службу. Работал исполнительным директором Московского института «Открытое общество» (Фонд Дж. Сороса), консультантом Фонда Мотта, Фонда Форда, Швейцарской программы сотрудничества. Живет в Москве.



В школе-интернате при МГУ № 18. Ансамбль, созданный Юлием Кимом. Бахмин — третий слева. 1965
© Из архива Вячеслава Бахмина

щение того, что ты можешь что-то, у тебя есть какие-то способности, таланты, — оно присутствовало. Оно не обязательно связано с высокомерием, пренебрежительным отношением к другим, и у меня-то этого совсем не было, а было ощущение того, что ты обладаешь некоторым знанием и желанием, кстати, это знание передать своим друзьям. Мне всегда хотелось поделиться, объяснить, хотя я всегда понимал, что навязать тоже ничего нельзя. Но я со своими друзьями общался, и в конце концов это и привело меня к посадке.

— Меня поразил документ (не знаю, насколько он типичен для тех лет), который вы приводите в своих воспоминаниях, — письмо ваших коллег по институту, десяти человек, в вашу защиту. Письмо людей, которые, насколько я понимаю, не были причастны к движению.

— Да, абсолютно.

— Это же было связано с большим риском.

— Но позже они все как-то тоже втянулись (*смеется*). Вокруг меня было много людей, которые поначалу не были связаны с движением, но потихоньку втянулись. Это было и в Физтехе... Но в Физтехе меньше, потому что меня быстро оттуда убрали. Пока я там был, мало кто знал, что я этим занимаюсь. А вот потом уже, когда я работал в «Информэлектро», там очень многие как-то заразились этим делом. Я туда приносил самиздат, с людьми разговаривал, сложилась некая своя «группа поддержки», хотя там и так было немало людей, которые, в общем, симпатизировали диссидентству. Некоторые потом сидели, некоторых допрашивали и так далее. В «Информэлектро» обстановка была специфическая. Там было много отказников, людей, которые хотели уехать, но их не пускали, и у них, конечно, настрое-

ние было диссидентское. Они тоже читали какие-то книжки. Так, однажды у сотрудницы я увидел книжку, завернутую в бумагу. По формату и по цвету бумаги было ясно, что это «тамиздат» — то ли «Раковый корпус», то ли «В кругу первом»; в общем, сразу было понятно, что вокруг здесь свои люди.

— В какой момент вы стали понимать, что вы не физик, что не это главное для вас, а главное — ваши занятия правозащитной деятельностью?

— Это понимание появилось после первого столкновения с КГБ. Будучи студентом, я ходил на все занятия, мне было интересно, я ездил специально в МГУ, чтобы послушать лекции по биофизике академика Спирина, известного ученого, который занимался белками, ДНК, все это мне было жутко интересно. Но в начале четвертого курса меня первый раз вызвали в КГБ и допрашивали там почти целый день; после этого я сразу понял, что с физикой мне надо завязывать, с Физтехом точно, потому что у всех студентов там был допуск [к секретным материалам], допуск второго уровня, и я понял, что мне там не учиться. Я перестал фактически ходить на занятия, и перед сессией, которая должна была быть сразу после Нового года, я стал уже волноваться, как я буду сессию-то сдавать (*смеется*). Но вот в конце ноября меня арестовали, и на этом я успокоился, что все правильно я рассчитал — мне все равно не учиться в Физтехе.

— Когда вы думали о будущем, какие вы рисовали перспективы?

— Честно сказать, я особо и не рисовал. То есть я понимал, что, поскольку я человек способный, я все равно найду какую-то работу. Так и получилось — я стал программистом и работал во многих конторах. То есть заработать на хлеб я мог. Более того, мне всегда везло — все, чем я занимался, мне жутко нравилось, мне было интересно. И программирование меня тоже увлекло. Поэтому работа работой, но было что-то важнее, потому что это касалось твоего мироощущения, мировоззрения, вообще твоего существования, твоей жизни. Просто забыть про это, врать себе, что все в порядке и я буду делать карьеру, — это уже было невозможно. Когда ты попадаешь в этот мир, в эту обойму, выйти оттуда почти невозможно. Только поступившись очень серьезными вещами. И это значит, что будущее уже предопределено, и в нем было два пути — на Восток или на Запад.

— Но эмигрировать вы не хотели?

— Эмигрировать я не хотел никогда. Я патриот, мне нравилась моя страна, мне нравились люди в стране. Сейчас все говорят: что это за народ, он ничего не понимает... Я так не считаю. Когда ты разговариваешь с обычными людьми где угодно, по всей стране, то ты этого всего не видишь, это люди, которые находятся под определенным влиянием пропаганды, и им очень сложно от этого влияния избавиться. У них нет, с одной стороны, особых возможностей получать информацию, а с другой стороны, она им не силь-

но нужна, они ее получают просто как воздух, как некоторое излучение, даже не запрашивая, оно разлито в воздухе, в разговорах соседей, в телевидении, во включенном радио. И происходит то, что называют зомбированием, а на самом деле это не совсем зомбирование. Для 90 процентов людей то, что происходит в Америке, на Украине или в Грузии, особого значения не имеет. Но мнение на этот счет они имеют, и мнение это они получили из медиа. И поэтому я считаю, что это беда наших людей, а не их вина. Просто так устроено общество, так устроена пропаганда, так работает эта система, что она их держит в определенном информационном поле и в неведении и тем самым программирует их поведение.

— **Думали ли вы в 1970—1980-е годы о том, что советскую систему можно изменить, что ваша деятельность приведет к слову системы?**

— Нет, конечно. Почти все говорят, что никто не представлял себе, что система столь непрочна. Мы считали, что напрямую политикой не занимаемся, но на самом деле влияние, несомненно, какое-то происходило. Опять же еще в Физтехе, когда я стал об этом думать, я понял вещь, о которой тоже многие говорят: что если ты не будешь сам заниматься политикой, то она займется тобой все равно, она придет к тебе домой в нужный момент. И потом ты удивись: а что случилось? А ты ничего не знал про это, ты этим не интересовался. Вот пока ты этим не интересуешься, ты можешь получить множество сюрпризов от власти, от политики. Поэтому имеет смысл интересоваться. Иное дело — заниматься этим профессионально, это уже совсем другая история, и этого мы, конечно, не хотели. А чего хотели? Мы хотели, чтобы люди знали правду. Мы хотели, чтобы информация была разная, разнообразная, чтобы доступ к этой информации у людей был. То есть мы хотели, чтобы люди сознательно определяли свое поведение, свою жизнь, исходя из некоторой реальности, более-менее объективной, а не из какого-то одного источника.

— **Поэтому вы и стали издавать «Информационный бюллетень»...**

— По психиатрии, да.

— **Это фактически модель «Хроники текущих событий», только сконцентрированная на более узкой тематике.**

— Да. Конечно, «Хроника» началась много раньше. Просто когда ты накапливаешь определенный материал, особенно текущий материал, касающийся судеб конкретных людей, то всегда появляется желание его систематизировать, сохранить, сделать его доступным. И идея информационного бюллетеня родилась естественным образом. Но некоторые принципы нашего «Бюллетеня» и принципы «Хроники» были разными. «Хроника» до определенного момента была анонимной, никто не знал, кто и как ее делает. У нас сразу была полная открытость, мы публиковали имена всех членов комиссии с адресами, с телефонами, на об-



Проводы семьи Петра Григоренко за границу, 1977. Второй слева — Сергей Ходорович, крайний справа — Вячеслав Бахмин
© Из архива Вячеслава Бахмина

ложке. В конце каждого выпуска мы писали (это тоже был наш принцип), что если что-то вы считаете неверным, у вас другая информация — пожалуйста, пришлите нам, и в следующем номере будет исправление. В конце каждого номера, если такие исправления были, мы писали — исправления и дополнения к таким-то материалам. Еще одно наше новшество — все материалы, которые касались конкретной больницы или конкретного учреждения, мы вырезали, вкладывали в конверт и посылали им по почте с просьбой посмотреть и если там что-то неверное — написать нам.

— **И были случаи обратной связи?**

— Никогда! Потом, на суде, выяснилось, что они тут же отсылали это в КГБ. Потому что боялись.

— **Ни одного случая?**

— Нет, ни одного случая не было. Тем не менее мы считали правильным делать вот такие рассылки. И, конечно, поскольку я был редактором этого издания на протяжении трех лет, я очень жестко старался добиваться беспристрастности текста, то есть безоценочности, того, чтобы там не было публицистики. Должны быть изложены только факты. Это то, чего добивалась и «Хроника». В некоторых материалах, может быть, это не всегда удавалось, но принцип этот был очень важен.

— **А как вы оказались сконцентрированы именно на теме психиатрических депрессий?**

— На самом деле это произошло и случайно, и не случайно. С одной стороны, уже начиная с 1970 года я так или иначе попадал в эту сферу (*смеется*). Я сам был в [Институте им.] Сербского на



Съемка документального фильма режиссера Бориса Евсеева. Слева направо: Вячеслав Бахмин, Леонард Терновский, Татьяна Хромова. Конец 1980-х
© Из архива Вячеслава Бахмина

амбулаторной экспертизе по первому делу. Провел там всего один день. Просто поскольку 70-я статья, то надо было проверить...

— **Человек выступает против режима, надо проверить, не сумасшедший ли он?**

— Да. Я тоже их понимаю. Когда люди во все это верят, когда для них очевидно, что страна замечательная, мощная, запустила человека в космос, а кто-то говорит, что это вообще ужасная страна, там давят свободу и так далее, — ну как можно говорить про это? Это же еще Хрущев сказал: «Те, кто выступает против коммунизма, — это ненормальные». Поэтому понятно, почему они пытались проверить. Ну, меня, слава богу, признали вменяемым. Но одну мою подельницу, Олю Иофе, признали больной.

— **А что было основанием?**

— Я не знаю, но, видимо, из нас троих у нее было больше характерологических особенностей личности. Может быть, она не так на них смотрела, может быть, отвечала дерзко или не совсем так, как надо. В общем, они решили, что она страдает вялотекущей шизофренией, и отправили ее в спецбольницу в Казань. И она там год провела. А поскольку я знал ее очень хорошо, я понимал, что она совершенно здоровый человек. Потом некоторые другие знакомые, в первую очередь генерал Григоренко, с которым я близко был знаком, тоже бывали несколько раз в психушках, я сам навещал Григоренко в «Белых столбах»...

— **Какое отношение было к таким людям, в том числе к известным, как генерал Григоренко, в больницах? Понимали врачи репрессивный характер их помещения в стационар?**

— Как правило, понимали, да. Они же тоже не идиоты, они видят, что за человек. Была группа врачей-психиатров — идеологов,

в том числе изобретших термин «вялотекущая шизофрения». Они, возможно, и верили, что, скажем, генерал Григоренко действительно болен. Другие, уже не теоретики, а практики, поскольку им было с чем сравнивать, видели, что человек нормальный. Ну, бывают у него какие-то эмоциональные взрывы, но это у всех бывает. Я думаю, они относились вполне неплохо к этим людям, хотя не везде. Потому что в некоторых спецпсихбольницах обслуживали заключенные из колоний, из лагерей, и это была возможность проявить свои садистские наклонности. Такое тоже имело место. Много зависело от людей, конечно. Были люди хорошие, были плохие. Были люди, которые нам давали информацию о том, что происходило в психушках. Как и в КГБ были люди типа [капитана Виктора] Орехова.

— **Насколько я понимаю, Орехов — это, увы, уникальный случай.**

— Да, конечно, это случай уникальный. Потому что человек рисковал своей свободой и потом был посажен. Но сочувствующих и понимающих, что в стране что-то не так, было довольно много. И даже в КГБ. Идейных людей, которые считали, что все правильно и надо давить, может быть, было большинство. Некоторым было все равно, они делали карьеру, но были и люди, которые сочувствовали, хотели, чтобы что-то поменялось.

— **В своих записках вы вспоминаете, что дважды сталкивались с небезызвестным Филиппом Бобковым...**

— Да, это мой крестный папа по жизни оказался нечаянным образом (*смеется*).

— **Один раз — в 1970 году, когда вас неожиданно отпустили из-под ареста, а второй раз — когда уже, наоборот, сажали.**

Какое впечатление на вас производил этот человек?

— Когда я встречался с ним первый раз, я даже не знал, кто он. Когда встречался второй раз [18 октября 1979 года] — тоже не знал. Он представлялся Сергеем Ивановичем. Однако я понял, что это какая-то известная фигура, потому что мой следователь сказал: «Ты не понимаешь, с кем будешь встречаться...» — и так далее. И потом Булат Базарбаевич Каратаев, который после освобождения в 1970-м был моим «куратором» в КГБ, когда меня приглашал на Лубянку, тоже говорил нечто подобное... Я видел, что мы идем на 9-й этаж, там большие кабинеты... Это было в главном здании Лубянки. А когда я первый раз с ним столкнулся, это был просто опрятный, очень неплохо одетый мужчина в штатском, который играл роль доброго отца по отношению к заблудшим детишкам. Он объяснял: «Да, конечно, я даже понимаю вашу мотивацию. Вы читали материалы XX съезда, вы знаете, что Сталин плохой... а тут какие-то появились тенденции по поводу его реабилитации. Конечно, никакой реабилитации не будет. Я тоже к Сталину отношусь неважно, и я бы тоже... Единственное, вот зачем листовки? Листовки — это не метод. Пришли бы к нам, поговорили, рассказали. Мы же тоже люди...» Вот такой был очень душевный разговор с рекомендацией заниматься математикой, физикой и не свя-



Калинин, 29 марта 1985 года, перед началом суда по обвинению Бахмина в хулиганстве. Слева направо: брат Владимир Бахмин, Борис Румицкий, Александр Подрабинек, Вячеслав Бахмин, Валентин Антонов, Валентина Бахмина, крайняя справа – жена Бахмина, Татьяна Хромова
© Из архива Вячеслава Бахмина

зываются с этими диссидентами, до добра это не доведет. В общем, как бы наказ доброго, заботливого родителя ребенку. Ну и выпустили нас с этим наказом. А второй раз, когда мы встречались, это уже был совсем не заботливый родитель, а очень недовольный поведением своих подопечных руководитель: «Вы злоупотребляете терпением, вы подрываете авторитет Советского Союза на международной арене, вы подаете клеветническую информацию...» То есть пошли уже штампы.

— **Достоверность информации вашего бюллетеня КГБ отрицалась? Или отрицалась ее значимость?**

— Нет, формально отрицалась достоверность. И приводились аргументы — например, Бобков рассказывал про [Виктора] Файнберга, что, мол, его на Западе тоже признали ненормальным, хотя это была ложь. Файнберга назвала сумасшедшим британская коммунистическая газета Morning Star, но он подал на нее в суд, выиграл, и газета была вынуждена извиниться. Я рассказал ему об этом, он отвечал, что это вранье. Когда человек тебе врет и я знаю, что он это знает, после этого с ним не хочется разговаривать. И фактически в ходе этого разговора с Бобковым я понял, что он просто выполняет определенный ритуал, определенную функцию — он должен был поговорить со мной перед арестом, и это укрепило меня в теории о том, почему три года работала Рабочая комиссия [по расследованию использования психиатрии в политических целях] и никто из ее участников все это время не был арестован за работу в ней. И [Александра] Подрабинек, и [Феликса] Сереброву арестовывали за другое.

— **Почему?**

— А потому, что если арестовать за работу Рабочей комиссии, например, меня, то этим самым они должны были признать свое поражение в 1970 году. Потому что тогда именно КГБ СССР об-

ратился с ходатайством в Верховный Совет, чтобы нас помиловали. Это значило бы, что они ошиблись!

— **Но чем они руководствовались в 1970-м? Идеей, что вы исправитесь?**

— Мне трудно сказать, что у них было в головах, но мы фактически ничего не сделали. Единственное — мы напечатали антисталинские листовки. И эти листовки потом были изъяты из обвинения, нас в этом уже не обвиняли.

— **Почему?**

— А именно потому, что, видимо, было как-то неловко обвинять за листовки. То есть листовок не было в обвинительном заключении, оставалось только хранение литературы. У меня был чемодан целый, у девочек гораздо меньше было, и получалось, что сажать особо и не за что, только за чтение и распространение Джиласа или Авторханова. За это могли посадить, но не на большой срок. А по 70-й статье-то чего? Хотя уже была 190-я, но тем не менее мы шли по 70-й, «антисоветская агитация и пропаганда» среди студентов университета, Физтеха... О нас уже говорили по «голосам», и эффективность этой меры была сомнительна, потому что терялось больше, чем приобреталось. И это был, скорее всего, один из мотивов. Другой мотив, возможно, — тот же следователь Зайцев, который вел мое дело и был руководителем группы следователей из трех человек, ко мне относился очень хорошо, по-отечески, тоже вел со мной всякие беседы. Мы с ним обсуждали мировую политику, он мне в камеру книжки передавал почитать, «Осторожно, сионизм» и другие (*смеется*)... Он был убежденным антисемитом, человеком, который считал, что евреи много сделали вреда для Советского Союза, и поскольку я был русский, а две мои подельницы — еврейки, он, конечно, говорил: «Как ты мог связаться с ними...» И наше поведение было очень открытым, мы говорили, что мы все это делали, не отрицали, что печатали листовки, хранили литературу, но говорили и о том, что мы не понимаем, что в этом плохого, почему это нельзя делать. Есть конституция, есть свобода слова, и почему мы не можем это делать? Правда, естественно, мы не сдавали никого, кто нам литературу давал, не говорили, где была машинка (они машинку очень хотели получить, но я им так и не сказал), — тем не менее эта искренность, открытость, наверное, наивность вызывали определенную симпатию даже у следственных органов. Поэтому думаю, что, когда их спрашивали, они тоже говорили, что вообще-то не за что сажать.

— **Отношение следователей в 1970-м и в 1980 году сильно различалось?**

— Это были совершенно разные конторы. В 1969—1970-м это был КГБ, в 1980-м это была московская прокуратура, хотя уши КГБ и торчали. Потому что я был один из немногих, я даже таких и не знаю, кто по 190-й сидел в «Лефортово». По 70-й — понятно, это особая часть Уголовного кодекса, а 190-я считается уголовным преступлением, и по ней все сидели в Бутырках,



Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в СССР. Слева направо: Александр Подрабинек, Александр Волошианович, Гарри Лоубер, Вячеслав Бахмин. Москва, 1976
© Из архива Вячеслава Бахмина

в «Матросской тишине», а меня сразу в «Лефортово» отправили. И я кроме «Лефортово» в Москве ни в какой тюрьме и не был, так что у меня ощущение от московских тюрем очень позитивное (*смеется*), хорошее. Когда меня повезли в «Лефортово», Булат Базарбаевич, разумеется, уже стоял неподалеку, было видно, что все это гэбэшные дела, хотя формально это должна была вести прокуратура. И фактически, пока я там сидел 10 месяцев, даже меньше 10 месяцев, потому что в феврале 1980-го меня арестовали, а в сентябре уже суд был, как раз на день рождения у меня был приговор, — я же с ними не разговаривал. Меня вызывали раз в неделю, просто чтобы заполнить стандартный бланк, что я отказался от дачи показаний. У меня была бездна свободного времени! Я много чего прочитал, я учил английский язык, очень сильно продвинулся тогда, то есть это было очень полезное время. Поэтому сравнивать тут сложно. Хотя, конечно, это все были гэбэшные дела, и даже по тому, как со мной обращались и как потом меня везли по этапу, видно было, что они ко мне относились очень серьезно и осторожно, старались везде изолировать, чтобы я ни с кем не общался.

— **Насколько я понимаю, срок, который вам добавили в лагере, связан, судя по приговору, с агитацией. То есть вам вменяли, что вы продолжаете агитировать вокруг себя...**

— Да, это тоже была 190-я...

— **Насколько это было желание органов навесить вам новый срок в лагере и насколько вы реально продолжали убеждать людей в своей правоте?**

— Нет, тут, скорее всего, у них появилась такая стратегия. Это, конечно, отдельный разговор. 70-я статья уже была, и по ней можно было сажать всех, кто этим занимается. Там единс-

твенная разница со 190-й, что 190-я — без «цели подрыва советского строя», а там «с целью подрыва». Показать, была какая-то цель или не было ее, — это дело техники.

Почему они решили ввести эту 190-ю? Только потому, что 70-я требовала содержания осужденных по ней отдельно, в специальных лагерях, и их называли политическими лагерями. Это Пермь, Мордовия... Там сидели единомышленники, и потом они вспоминали, как это классно — сидеть вместе с друзьями. Это были своего рода университеты, и некоторые считали, что время, проведенное в таком лагере, — лучшее время их жизни. Конечно, КГБ это раздражало. Поэтому они считали, что надо нас сажать с уголовниками — пусть, мол, почувствуют, что такое настоящий лагерь. Помните, в сталинские времена, когда политзекков сажали к уголовникам, их на ножи брали и так далее. Вот здесь они тоже раскидывали по уголовным лагерям, которых было в десятки раз больше, чем политических, даже в сотни раз. Старались, чтобы в уголовной зоне ни один политический не сидел с другим политическим. Когда я приехал на зону в Асино, мне говорят: «У нас уже есть один такой!» Я сказал: «Не может быть, ребята, не должно быть такого». Потом выяснилось: да, был парень, который тоже из Твери оказался, его посадили, когда я уже сидел, поэтому я про него не знал. Ему там было очень непросто, он такой был интеллигентный математик в очках, его прессовали... Потом его через месяц убрали. Но, с другой стороны, по 70-й было до семи лет, а тут только три максимум, и это уже несправедливо (*смеется*). И как сделать так, чтобы и срок был нормальный, и с уголовниками сидели? Тогда они решили (как раз это было в 80-е годы), что надо второй срок давать. И первой ласточкой был, насколько я помню, [Валерий] Абрамкин. Я тогда отнесся к информации о его втором сроке легкомысленно, подумал: ну да, посадили Валеру еще раз, но меня-то вроде не за что... А когда мне уже предъявили новое обвинение, я понял, что они это делали стратегически. Что я делал, в чем было мое преступление? Я фактически просто рассказывал, за что я сижу. А когда я рассказываю, за что сижу, я распространяю заведомо ложные измышления (*смеется*).

— **Еще один документ, показавшийся мне очень любопытным в ваших «Записках», — это письмо от судьи, который покался.**

— Да, это уникальная вещь! Я такого больше не слышал. Это абсолютно не характерно. И даже тогда, в 1983 году, когда суд мне дал год вместо трех, к которым я готовился — Абрамкин три получил, а мне дают год, — тут же появляется протест прокурора на этот приговор из-за его мягкости, который он отправляет в Верховный суд Российской Федерации, — для меня это все было очень странно. Но год оставили, слава богу. Год тяжелый был, я его отсидел в лагере строгого режима. А потом, уже в конце 80-х, я получил письмо от судьи, который извинился и сказал, что он ничего тогда не мог сделать, освободить меня он не мог и максимум, что он мог, — это дать мне один год, и что он добился моей

реабилитации, и в этом же письме он прислал мне справку о реабилитации по этому делу.

— **По собственной его инициативе?**

— Да, по собственной его инициативе. Это, конечно, уникальный случай!

— **До сих пор чрезвычайно актуальная тема — судейский корпус, его представления о порядочности...**

— Да. Но тут надо сказать, что просто ситуация сильно изменилась, а его, видимо, этот вопрос как-то задевал и мучил. В провинции нет спецсудей, которые судят диссидентов, а в Москве были те, кто уже судил нескольких диссидентов, они уже были проверенными, их можно спокойно назначать, у них с совестью все в порядке. А там выбирали судью, и оказался «гнилой», что-то он сомневался, беспокоило ему было. Но, с другой стороны, надо сказать, что и сам процесс проходил странно. Потому что даже на зоне замполит зоны давал показания в мою пользу. Там в чем смысл статьи? В том, что распространяешь заведомо ложные измышления, то есть я знаю, что это вранье, тем не менее это говорю. А он говорил: «Я считаю, что это человек честный, что он верит в то, что говорит» — это слова замполита, не кого-нибудь...

— **То есть люди не хотели быть подлецами.**

— Да, им это было совершенно не нужно. Там единственный был подлец, но он по должности им был, кум — опер, который следил и подсылал ко мне специально провокаторов, чтобы разговоры заводить. Но и замполит, и хозяин зоны — они были вполне нормальными людьми.

— **А вы чувствовали разницу в отношении к себе и к уголовникам?**

— Да, конечно. Ко мне было гораздо больше внимания... К уголовникам — у них уже отработанная система, они знают, кого там прессовать, кого куда сажать, какие сроки. И там, конечно, вообще другая жизнь. Зона — это опыт бесконечно интересный и важный. Там же своя иерархия, свои «черные», элита, которых не трогают, потому что они бригадиры, и они держат всю зону, они де-факто работают на хозяина. Они считают себя белой костью, хотя одеваются в черное. Они очень элегантные, для них очень важно, чтобы были сапоги начищенные, все с иголочки, у них свои денщики и так далее. То есть там существовала своя интересная иерархия. Я в нее не вписывался, но ко мне относились очень уважительно практически все заключенные. Они считали, что мы в чем-то единомышленники, потому что они тоже считали себя врагами советской власти, не любили советскую власть. По другой, правда, причине, но тоже не любили. Для них главные враги были коммунисты и москвичи. Москвичей не любил никто.

— **Как зажавшихся?**

— Конечно! Их и сейчас не любят. Поскольку я боролся против коммунистов, я был свой человек. И, конечно, для них удивитель-



Справка о реабилитации, присланная судьей В.А. Мироновым по делу 1983 года © Из архива Вячеслава Бахмина

тельно было — если бы я признался, сказал, что я виноват, меня бы отпустили. Они говорили: «А что же ты не признавался-то?!» Они не понимали, за что я сижу, почему, зачем это нужно. Для них это было непонятно, но они с уважением относились. Хотя очень важно было, как ты относишься к ним. Если бы я смотрел на них свысока (у меня же высшее образование, образованный человек, в библиотеку ходил, читал книжки) — это они не прощают, не любят. Должно быть отношение на равных. Человек есть человек — в зоне, в тюрьме. И обязательно уметь постоять за себя. Если тебя пытаются нагнуть, что-то несправедливо сделать и ты при этом на это идешь спокойно, то ты дождешься того, что тобой будут помыкать. Они чувствуют, оказывает человек сопротивление или нет, и это сопротивление они уважают. Такие там отношения и порядки. Если им возразить, встать в жесткую позицию, они отступят.

— **Вы и Сергей Адамович Ковалев, кажется, чуть ли не единственные представители диссидентской среды, кто был в постсоветское время во властных структурах новой России.**

— Фактически да. Среди тех, кто реально сидел, а не просто придерживался диссидентских взглядов, я других таких не знаю.

— **Чем вы объясняете такую малочисленность, невостребованность диссидентов в новой России?**

— Если бы я не знал английского языка, меня бы никто не порекомендовал МИДу. Это одно. Другая причина, что, конечно, [министру иностранных дел РФ Андрею] Козыреву такой человек был нужен. Никому из других министерств такие люди были совершенно не нужны. У них своих полно было! И самое главное, что все руководящие позиции после победы демократии в стране в 1991 году заняли



*Заседание Комиссии по правам человека ООН в Женеве, российская делегация: Сергей Ковалев (руководитель) и Вячеслав Бахмин — его заместитель. Начало 1990-х
© Из архива Вячеслава Бахмина*

те же самые люди. Ну, то, что сейчас происходит во многом и на Украине, это стандартная штука. Еще причина в том, что все эти люди из диссидентства, конечно, не менеджеры, не руководители и вообще не политики. И у них нет этого навыка. Конечно, можно обучить, и в конце концов они станут таковыми...

— **Но можно обратиться к опыту Восточной Европы — у Гавела тоже не было навыка быть президентом.**

— А еще есть такие примеры? Гавел — это наш Ковалев...

— **Валенса?**

— Нет, Валенса другой. Валенса с самого начала был политиком, Гавел политиком не был. Гавел был чистым диссидентом, писателем. Валенса с самого начала был политиком среди рабочих, он заварил эту всю кашу, он был лидером, и у него были политические задачи. И вел он себя как политик во власти. А Гавел вел себя как интеллигент во власти.

— **Были ли люди среди советского диссидентства, потенциально способные стать Валенсой?**

— Валенса завоевал свой авторитет в то время, когда шла борьба, то есть после победы завоевать такой авторитет уже было сложно. У него уже был этот капитал, который он и использовал. В советское время был набор диссидентов, известных людей. Солженицын, Сахаров... И Сахаров, кстати, был на Съезде народных депутатов, в политике, Ковалев пошел за ним следом. Ковалев только по настоянию Сахарова пошел в политику, он не хотел туда идти, а Сахаров ему объяснил, почему это важно.

— **То есть Сахаров единственный понимал необходимость встраивания в систему?**

— Да! Он хотел этого, верил в это и видел, что это шанс, что это та самая возможность повлиять или что-то сделать. Именно

по этой причине он убедил Ковалева, и Ковалев за этим пошел. И я попробовал, потому что меня отчасти тот же Ковалев убедил пойти туда. И я шел как бы с внутренним условием, что буду там до тех пор, пока смогу делать что-то полезное.

— **Не хотелось идти, было предубеждение против властных структур?**

— Конечно! У всех диссидентов.

— **Почему? Это же другое государство! Произошла революция, есть возможность...**

— Ну, во-первых, их не приглашали. Я думаю, что если бы их пригласили, многие бы пошли. Другое дело, что бы они там делали. Просто сфера политики — она совсем иная, там совсем другие ценности, совсем другие категории. И там такие правила, как «цель оправдывает средства», вполне нормальны, так и должно быть, иначе ты не будешь в политике.

— **То есть этика, этическая основа мешала?**

— Конечно! Потому что основой всего диссидентского или правозащитного движения были нравственные мотивы: не могу лгать, не могу жить по лжи, как сформулировал Солженицын. У всех это было очень сильно. И не было задачи завоевать власть, изменить страну, потому что не знали как, не умели, да никто и не дал бы это сделать тогда. То есть политика всегда рассматривалась как дело неприятное, грязное.

— **Ретроспективно оглядываясь на свой опыт 70—80-х годов, на опыт всего движения, вы придерживались бы той же стратегии или попытались бы пойти в политическую жизнь?**

— Нет, я бы более глубоко не стал входить. Даже вот так войдя, одной ногой как бы, в политическую жизнь, я, конечно, понимал, что я там инородное тело и меня терпят до тех пор, пока... Там работать с моими взглядами, ценностями, с моим отношением к миру, людям очень непросто.

Другое дело, когда есть высший руководитель, который говорит, что все в порядке, так и надо, и постепенно люди могут втянуться в это дело и начать работать по другим принципам. Но это в отдельно взятом министерстве... Когда все вокруг по-другому, тебя все равно в нужный момент либо выкинут, либо поломают. Это то же самое, что происходит с полицией, с ФСБ, где угодно. Туда можно внедриться хорошему человеку, но либо тебя сами они съедят, либо ты уйдешь. Ты не можешь все время идти против. Ты начинаешь смиряться, подстраиваться и в конце концов становишься таким же. Я этого не хотел.

© Борис Кавашкин/ТАСС



«Я был диссидент в диссидентстве»

— Ваш первый опыт создания политических кружков относится к школьным или уже студенческим годам?

— Когда я начал создавать первый подпольный кружок, мне было 17 лет, я учился в 11-м классе школы. На самом деле, когда я говорю о том, что начал, это не означает, что 30 октября 1965 года я принял внезапное решение. Этому кружку предшествовали дружеские беседы о происходящем вокруг, о проблемах нашего общества. Но при этом я вовсе не собирался стать политиком. Я думал, что физика — мое призвание, я ею буду заниматься, а политика... ну, любой человек не может не обсуждать окружающую жизнь.

— А что послужило стимулом для создания этого кружка?

— Стимула никакого не надо было, чтобы кружки создавать, организации революционные. Потому что мы все были воспитаны в марксистской традиции, везде в школе царил культ революционеров, культ героев, и кроме того, официальная идеология утверждала, что любой общественный строй совершенствуется через спазмы революции. Вот революция — это нечто такое возвышающее, поднимающее общество на следующую ступень. Поэтому, когда человек хочет сделать что-то лучше, он тут же говорит: совершу революцию. И если обратить внимание на 50—60-е годы, они просто полны марксистских революционных кружков! Они возникли один за другим. Мы знаем несколько десятков, а сколько мы не знаем? Потому что очень многие уходили, особенно в провинции, в никуда. Поэтому ничего особенного и не надо было придумывать. Надо было только решить, что ты занимаешься общественной деятельностью, а там сразу — подполье, революция, коммунизм (*смеется*)... А решение выросло из целого ряда впечатлений, событий. Первым сильным впечатлением, которое уже потребовало от меня осмысления, надо ли что-то менять, была моя последняя поездка в деревню, к своим родственникам, в 1963 году, когда я вполне осознал жалкое крепостное состояние крестьянства, увидел совершенно разорительную политику. Хотя как раз тогда, в это время, она начала меняться, но еще я наблюдал, как живут мои родственники, когда ты за год наработал на три рубля трудодней и это считалось здорово и хорошо!

— Это была Украина?

— Украина, Житомирская область... И человек не может выехать в город, он прикреплен... Не буду перечислять свои наблюдения нескольких лет. А в 1963 году были очень долгие разговоры



Вячеслав Игрунов с родителями на озере Рица. 1959
© igrunov.ru

с моей тетушкой, старшей сестрой мамы, которая просто рассказывала о том, как они живут. Я ее очень любил и в этот раз жил у нее дольше, чем у кого-то другого. И разговоры с ней на меня произвели очень сильное впечатление. С этого начался настоящий мой путь в общественную деятельность.

В Одессе тоже происходили ужасные события. Самое сильное из них, которое я всегда отмечаю, — это серия убийств малолетних детей, трех-четырёх-пяти лет, одного за другим. И жуткие слухи о том, что их просто проигрывают в карты уголовники. Когда ты ребенок, ты не доверяешь этому, считаешь, что это невозможно, тем более с нашими советскими идеалами о всесторонне развитой духовной личности. И я всячески сопротивлялся слухам. Один раз моя мама, совершенно убитая, вернулась с работы. Моя мама — врач «Скорой помощи». Она нечасто делилась тем, что видела, но в этот день была настолько расстроена, что я заговорил с ней, и она рассказала. Она привезла в морг трех- или четырехлетнего ребенка со множеством ножевых ран, которого они вытащили из дворового туалета. То есть это тот типичный случай, о котором я слышал, о котором говорили, что проигрывают в карты и так далее. Что могло послужить поводом к гибели такого маленького ребенка в собственном дворе? Конечно, после этого я сразу поверил в то, что слышал ранее. И слышал я потом многократно о таких пари, проигрышах, но в голове это не укладывалось. В таком обществе жить нельзя! Кем бы он ни был, самым отвязным уголовником, как можно совершать такое преступление?! Это немыслимо!

И тогда уже начался мой окончательный путь к революционной деятельности. То есть я еще не осознавал этого, теперь я понимаю, что это был щелчок храповика, после которого не было пути назад. И многие мои друзья — а я дружил, как правило, с евреями, армянами, ну, так сложилось... Молдаванка — еврейское место. Кого выбирать в друзья? Самых лучших! Из кого выбирать? Из тех, кто вокруг. А вокруг — евреи. Один, второй, третий, пятый, десятый... Раньше или позже, особенно когда

Вячеслав Владимирович Изрунов (28 октября 1948, село Черницы Новоград-Волынского района Житомирской области) — правозащитник, политик. В 1965 году организовал нелегальный марксистский кружок в Одессе. Учился в Одесском институте народного хозяйства (1969—1973), был отчислен за политическую деятельность за год до окончания. Создал первую — и единственную — в СССР библиотеку неподцензурной литературы.

Арестован 1 марта 1975 года по обвинению «в хранении, изготовлении и распространении клеветнических материалов о советском общественном и государственном строе». Отказался участвовать в следствии. Был направлен на психиатрическую экспертизу сначала в Одесскую психиатрическую больницу, где комиссия отказалась дать заключение о вменяемости «ввиду сложной структуры личности». Затем был переведен в Институт судебной психиатрии им. Сербского (Москва), где провел два месяца — там ему был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения» и рекомендовано лечение в специальной психиатрической больнице. Из-за международных протес-

приближалось время поступления в институт, должны были начаться разговоры о дискриминации, о государственном антисемитизме. Мне, русскому мальчику, об этом и слышать не доводилось, в голову не приходило, а мои друзья уже готовились: я не поступлю в институт, я пойду на завод... «Вы что говорите, какая может быть дискриминация? Вы о чем, ребята? Мы же в Советском Союзе! Социализм, равенство!» — «Ты что, не знаешь, какова жизнь?» — «Не-а, не знаю. Ведь можно же сменить национальность». — «Ха-ха-ха... Фамилию, имя — да, но национальность — нет, ты не сменишь!» — «Как?!» Ну вот такие вопросы.

Ну и наконец, то самое событие, которое сделало для меня осознанным мой выбор.

У меня тогда сильно испортилось зрение. И я до сих пор плохо вижу. Меня положили в больницу, где я впервые лежал со взрослыми. До этого я лежал с детьми, а тут уже 15 лет — со взрослыми. Замечательные люди вокруг, ребята очень хорошие, старшие товарищи. Мне 15, а человеку рядом со мной, скажем, 40 с чем-то. Они меня чему-то учат, отношение лучше некуда.

И в какой-то момент мои соседи начинают разговаривать между собой о том, как они воевали. Один рассказывает: «Это было почти в самом начале войны, взяли мы языка в высоком чине. Я немецкий язык знаю, я его допросил, и выяснилось, что этот человек очень много знает. И я обязан был по чину доставить его наверх. Оформили документы, допрос закончен, и я решил ему задать личный вопрос. Я ему говорю: “Почему вы войну начали, несмотря на наши союзнические отношения, несмотря на дружбу? Вы начали против нас войну!” И пока он это говорит, я думаю: какие союзнические отношения, какая дружба? С фашистской Германией! О чем ты говоришь? В школе же учили чему-то другому. «А немец отвечает: “Мы начали войну против вас, потому что у нас есть три врага. Первый враг — коммунисты, второй враг — энкавэдисты, а третий враг — жидаы. И вот для уничтожения этих групп населения мы и начали войну с вами”. Я говорю: “Ах ты, сука, я же коммунист, полковник НКВД и еврей! Ну, живым ты от

тов был вновь освидетельствован непосредственно в следственном изоляторе, после чего рекомендация была изменена на более мягкую — содержание в больнице общего типа.

После суда, состоявшегося в Одессе 1—13 марта 1976 года, был направлен на лечение в психиатрическую больницу, где находился до начала 1977 года.

В 1980 году работал почтальоном 74-го отделения связи Киевского узла связи Одесского почтамта. В 1980—1982 годах — сторож («контролер КПП военизированной охраны Научно-исследовательского технологического института «Темп») в Одессе, был уволен с работы как диссидент. В 1983—1987 годах — техник, инженер, мастер, старший мастер Одесского производственного объединения «Точмаш».

С 1987 года живет в Москве, занимается политической деятельностью. Депутат Государственной думы РФ (1994—2003).

меня не уйдешь”. Оформляют, и я его сам веду в штаб. Вышли мы за блиндаж, и я разрядил в него всю обойму. Отчитались: “при попытке к бегству”. И с тех пор всякий немец, который ко мне попадал в руки, пока уже они не пошли толпами, не уходил от меня, я убивал их всех». Второй свою историю рассказывает: «Да, а я только в конце войны пришел, когда уже шли в Германию, но я тоже ни одного не упустил. Вот мы занимаем город, ходим по домам и кого видим — убиваем всех. Однажды обыскали весь дом — никого нет, решили уйти. И уже выходим, смотрим — где-то возле двери щелочка в полу. Мы открываем погреб, и там две тетеньки немецкие накрыли деток, сидят тихо-тихо. Мы говорим: “Ну ладно, вам это не поможет!” Чеку вынимаем, пару гранат туда, крышку закрыли и выходим. Возвращаемся, поднимаем — никого живых нет».

Объяснить вам, что со мной произошло, невозможно. Они еще не закончили разговаривать, а я уже вылетел из палаты. Я не мог больше в ней лежать! Я немедленно потребовал, чтобы меня выписали. Не надо мне вашего лечения, все равно вы ничего установить не можете, я здесь находиться не могу! Лежала старушка, как сейчас помню, Зейнаб Мурсаловна Шахмалиева, 82 года женщине. Я прибежал к ней жаловаться, она меня утешает и говорит: «Ничего, ничего, успокойся. Такого много в жизни. Не надо, имей мужество терпеть». А я... я не мог. Через день меня выписали, я ушел. Но ровно за день до выписки ко мне пришел мой друг, с которым мы занимались поэтическим творчеством, и в нашем клубе мы много говорили о несовершенстве мира. Я писал какие-то стихи, и руководитель группы мне говорит: «Ну, у тебя старая тема! Вот во времена Маяковского если бы ты писал, это, может быть, были бы хрестоматийные стихи, а сейчас это не имеет отношения к жизни». — «Как не имеет?!» — «Ну, сейчас жизнь совсем другая, социализм...» И вот с ним, с моим другом, с которым мы вели эти разговоры, я разочарован. А он был очень близким мне человеком, ближе отношений просто быть не может. Я сказал: «Все, я начинаю революционную деятельность!» Он: «Я тоже». И этот день я считаю началом своей общественной деятельности. Я точно знаю — 30 октября 1965 года.

— **Как произошел у вас перелом от коммунистических идеалов к антисоветизму, антикоммунизму?**

— Мы начинали как все: революционный кружок. Просто траектория у нас была другая. Люди сразу начинают бороться с чем-то, а мы же были интеллектуалами, насколько можно говорить про интеллектуалов применительно к безграмотным мальчикам. Но мы работали головой и в этом смысле были интеллектуалами, а не в том смысле, что мы чего-то знали и понимали. И первое, что мы должны были понять, — ну хорошо, нас не устраивает это общество, а как должно выглядеть общество, которое нас устраивает? Вот когда совершалась Великая француз-

ская революция, там было Просвещение, Жан-Жак Руссо, Монтескье, Вольтер — они давали какие-то ориентиры. У нас перед революцией были Маркс, Энгельс, Ленин. Плеханов, может быть. Они нарисовали впечатляющую панораму счастья, а что перед нами? Перед нами же ничего нет.

К чему идти? Во-первых, если ты не знаешь, к чему идти, то, во-вторых, не знаешь, как идти. Иди туда — не знаю куда, да? Что это такое? Нет, так не годится! Мы должны понять исторические процессы. Мы должны понять, как развивается общество. Мы должны понимать, куда оно идет, что возможно и что нам нужно сделать, чтобы эта возможность стала действительностью. Засели за Маркса, за Энгельса. А в мае 1966-го — «Государство и революция» [Ленина], которая произвела совершеннейший переворот в нашем сознании. Потому что до этого мы философствовали, и это было очень хорошо, это философствование позволило нам выстроить какие-то правильные подходы, мы думали о том, что есть революция, дурно это или хорошо, но уже с самого начала мы как бы отказались от идеи двигаться в сторону революции, очень быстро. 14 февраля 1966 года мы такой девиз для нас записали с моим товарищем Анатолием Гланцем: «Преклоняться, но отрицать». Это касалось Энгельса, Маркса, их философских представлений. Ну и прежде всего диалектики, которая нас как бы подталкивала к революционности, а наши философские представления говорили о том, что это бессмыслица, что развитие общества должно идти эволюционным путем, как и, в общем-то, в окружающем мире окружающая материя.

Да, мы не стали еще антиреволюционерами, но мы стали уже неревolucionерами. Революция еще признавалась как, возможно, неизбежное зло, которое возникает в силу тех или иных обстоятельств. Ну, если забуферится исторический процесс, то, может быть, надо что-то ломать, чтобы идти вперед. А антиреволюционерами мы стали чуть позже. «Нам надо стараться выйти на эволюционный путь развития». Кстати, это не мешает мне несколько недель спустя пытаться в устав нашей организации внести пункт о ношении оружия (*смеется*). Очень интересная такая мысль. Этот пункт был выброшен, потому что вся наша подпольная группа протестовала против этого, и я, сжав зубы, сдался. Но то, что революция — это нечто неестественное, еще не зло, но нечто неестественное, уже было принято. А «Государство и революция» — тут на нас обрушивается политическая проблематика, от философских мы переходим к политическим вопросам: борьба за власть, организация партий, слом государственной машины... Все это начинаешь обдумывать, и сначала, читая том за томом, книжку за книжкой, мы вдруг обнаруживаем много чего. Дело не только в том, что мы жили в эпоху разоблачения культа личности Сталина, что не могло не наложить на нас отпечаток при формировании гражданской позиции даже в самые ранние периоды, еще до подпольной организации. А вот тут ты читаешь и вдруг обнаруживаешь, что все эти страсти-



*Вячеслав Игрунов,
Анатолий Глани,
Александр Феллер.
Одесса, 1967—1968
© igrunov.ru*

мордасти, убийства невинных людей, концентрационные лагеря, враги народа — это, в общем, не сталинское извращение ленинской политики, а все это сделано самим Лениным, который требовал «поощрять массовидность террора».

Подождите, и это дорога к социализму? Хорошо, читаем Энгельса, Маркса — и вдруг смотрим... Ленин говорит: ни в коем случае нельзя привлекать буржуазных специалистов, ни в коем случае нельзя позволять кому-то что-то решать, распределять, это должны делать рабочие. Большинство в партии ошибается, нам не надо возврата капиталистов, не надо всяких этих буржуазных спецов приглашать, все должны делать рабочие. И тут же при этом рядышком Ленин в 1917—1918-м говорит: рабочие разрушают, рабочие не заботятся о том, что произвели, то-се, пятое-десятое... Ничего не могут! И мы будем отнимать у них суда, которые на Волге стоят и разрушаются, не задействованы, заводы, где люди выбрасывают продукцию гнить на улице, мы будем... Пардон-пардон, ребята! И что же вы построили? И вот у Энгельса вычитываешь, у него все ясно и понятно: он борется с бисмарковским государственным социализмом, где чиновники занимаются соци-

альными программами. А что мы имеем сейчас? Мы имеем государство, которым распоряжаются чиновники, бюрократы, они для этого рабочего класса что-то делают, но, конечно же, как всякий новый эксплуататорский класс, не забывают о себе — привилегии, то, се... Ну, значит, у нас государственный социализм, вовсе не то, что хотели Маркс и Энгельс, а то, против чего Энгельс выступал.

Следовательно, первое, что нужно сказать, — что наша программа КПСС вообще ведет нас не туда, она ведет вместо разрушения государства, вместо исчезновения государства к новому государству с новым эксплуататорским классом. Ну, и я начинаю писать книжку — «К критике программы КПСС». По мере работы над ней я читаю все больше и больше Ленина, естественно. Понятно, что это не только Ленин, а это протоколы и стенограммы ЦК КПСС, это какие-то исторические книжки, это всевозможные оппортунисты, Бернштейн, например. Не столько Каутский — он мне не запомнился, я с ним познакомился, но интереса он не вызвал, а Бернштейн вызвал. Вдруг я читаю, и аргументация Бернштейна совпадает с моей! Вот с эволюционистской концепцией, что нельзя давать людям, не имеющим образования, власть в руки, нельзя им отдавать всю жизнь общества и государства, если они к этому не готовы, если не знают, как это делать. Это же сложная вещь! И то, что вы ломаете, вы просто... ну, вы ведете к деградации общества, к деградации жизни. И ваша, гражданин Владимир Ильич, позиция — это позиция убийственная. И вы не построили социализм не потому, что Сталин что-то там извратил, а потому, что марксистские послышки не могли привести ни к чему другому. Это закономерный результат того, что заложено в вашей теории.

Когда я начинал свою марксистскую деятельность, была какая мысль? Что рабочие — прогрессивный класс при переходе от капитализма к социализму. Но всесторонне развитая личность, прежде всего — интеллектуально, духовно развитая личность, является революционным классом при переходе от социализма к коммунизму. Что это за личность? Интеллигенция, понятно. И некоторый такой пиетет к интеллигенции, который был заложен семейным воспитанием, стал политическим кредо. Когда я начинаю изучать историю, я говорю: батюшки, во времена перехода от капитализма к социализму рабочий класс не был никаким прогрессивным классом! Это был класс разрушителей, они делали это, это и это. Следовательно, вообще все, что было заложено марксизмом, является ложной посылкой! Ну, и отсюда начинает вырастать... Начинаешь читать Платона и прочее и обнаруживаешь, что социализм — это реакция на буржуазный всплеск, на динамическое развитие, на слом старых моральных установок и так далее. Что во времена Платона, что во времена Маркса, что в России накануне революции. И вот ты становишься либералом, отвязным, радикальным. Не просто антикоммунистом, а человеком, который воспекает какие-то идеалы, прямо противоположные тем, что он усвоил в школе вчера.

— В вашем идеологическом движении от коммунизма к либерализму, видимо, важную роль играла литература, книги. И наверняка вы сталкивались с какими-то ограничениями в доступе к ним. Не это ли привело вас к идее создания библиотеки самиздата?

— Ну, идея библиотеки возникла до всяких ограничений. Библиотека ведь начиналась не с самиздата. Библиотека начиналась с Ленина. Нам нужно было обсуждать, а что обсуждать? Мы начали обсуждать «Людвига Фейербаха и конец классической немецкой философии». Где мы берем его? Быстренько бежим в книжный магазин, там стоят коричневенькие такие тома, ты берешь нужный, по-моему, это 21-й том, покупаешь, он стоит рупь, дорого для нас, но это же такая ценность! Кроме «Людвига Фейербаха» там еще масса всего. Ты покупаешь этот томик и начинаешь читать. Но не все из наших могут себе позволить рупь, понимаете. У нас, например, девочка была в первой нашей группе — жила с одной только мамой. Ее отец, милиционер, погиб во время исполнения своих обязанностей. Понятно, что они жили очень-очень скромно, очень-очень бедно. Мама зарабатывала мало, минимум, и вот они вдвоем жили. Понятно, что она должна прочесть. Кроме того, многие другие не прочтут. Поэтому книжки должны быть у нас.

Сначала — Маркс и Энгельс, полное собрание сочинений выросло, Ленин, съезды партии. Кроме того, многие книги можно было получить. Вот когда я стал рабочим, я тут же записался в областную публичную библиотеку. Школьникам нельзя, студентам нельзя, а рабочий же у нас — класс-гегемон, а как я есть рабочий, я могу туда записаться. Но другие мои друзья — студенты, они же не могут, им же это недоступно. А когда мы читаем Ленина, пишут, что второе и третье собрания сочинений Ленина уничтожены, потому что там вредительская рука Бухарина, там всякие вредительские комментарии, ссылки. Вот быстренько ищешь эти второе и третье издания. Мы не так много томов сумели достать, они действительно как-то очень тотально были выведены из оборота, но зато нам удалось найти вырезки самих этих комментариев. Люди сохраняли комментарии, а книжки выбрасывали. Нам повезло, мы собрали пачку комментариев, и отдельные тома были у нас.

Понятно, что нужна историческая литература. Не какая-нибудь там забытая, спрятанная, исчезнувшая — нет, обыкновенные учебники истории... Ну как можно рассуждать об эволюции человеческого общества, если ты не знаешь историю, не знаешь, что было в Греции, в Риме, во Франции. Мы ходили в букинистические магазины, покупали литературу. К счастью, в Одессе можно было достать самую блестящую, самую редкую литературу. Одесса, видимо, перед революцией и вскоре после нее была весьма интеллектуальным городом, ну а новое поколение сдавало эти книжки [в букинистические магазины]. Лишь бы денег хватало. Денег не хватало, но что можно было, скупали.

Самиздат появился случайно. Мы о нем совершенно не знали. Вот мой коллега Александр Рыков, тот самый, который меня записывал в одну библиотеку, в другую, вообще он у нас был самым активным коммуникатором, он читал в городской публичной библиотеке имени Ленина какую-то книжку, и ему понадобилось посмотреть, кто такой Троцкий. Он быстренько полез в Большую советскую энциклопедию, а статьи о Троцком нет. Пардон, как это — Троцкий есть, но о Троцком нет! Зато там есть статья «Троцкистско-зиновьевский блок». Ну, за неимением гербовой пишем на простой. Читаем «Троцкистско-зиновьевский блок». Страничку переворачиваем, а там лежит рукопись — письмо Раскольникова Сталину, в книге, от руки переписанное. Он хватает эту бумажку и быстро ко мне: «Смотри!» Мы читаем и обалдеваем! Это пафос, который мы сами разделяем. Это январь 1967 года. Это наш человек, наше письмо! Это такое сильное впечатление — вот, уже в 30-е годы сам Раскольников... Ну, во-первых, он нам встречался у Ленина где-то, по каким-то волжско-каспийским делам. И во-вторых, он-то есть в справочниках. И вот Раскольников, эта фигура, он пишет такое письмо! И судьба у него такая трагическая. Ну всё!

Тут же я дал переписать от руки невесте одного из участников нашей группы, она переписала, а через некоторое время мы в четырех экземплярах распечатали на машинке и раскидали копии: одну оставили у меня, чтобы с этим работать, а остальные — в трех разных хранилищах. Причем мне даже сейчас трудно вспомнить эти три хранилища. Два я точно помню, где они были, потому что я с ними постоянно взаимодействовал, а третье, видимо, было НЗ, я даже не помню, где оно находилось. И это была первая бумага. До того как у нас появился другой самиздат, прошло довольно много времени, еще целых полгода.

Через полгода я приезжаю к Александру Рыкову в Ленинград, он проходит там практику от своего Политехнического института, преддипломную, и приглашает меня к себе в гости. Мы там знакомимся с разными людьми, многие из них будут потом довольно известными социологами. И вот через одного из них — Владимира Магуна — я прихожу на лекцию к [Владимиру] Ядову. Тогда он был молодой, 40-летний, я сижу у него на лекции, и он мне очень нравится. После лекции я остаюсь с небольшой группкой людей побеседовать с Ядовым. И у нас завязывается спор об историческом материализме, мы с ним спорим — это метод или это наука... В общем, долгий такой спор, он собирает вокруг нас какую-то толпу людей. Когда спор этот кончается, за мной увязывается какое-то количество народу, и один из мальчиков говорит: «Ты знаешь, я могу тебя познакомить с моим товарищем, он историк, он тоже этим занимается...» Я говорю: «Класс! Давай!» И он меня отвозит в Павловск, к своему учителю истории Григорию Кановичу. И мы с Гришей часами ходим по павловскому парку, беседуем. В конце концов он рассказывает о ВСХСОН, они где-то там на периферии с ними были связаны, знакомит с товарищем, который к ним хо-

дил. А они уже арестованы. Ну и на прощанье после какой-то очередной встречи дает мне письмо Бухарина с послесловием Лариной и последние слова Синявского и Даниэля. Это уже какой-то материал. Я его везу в Одессу, ну и, понятно, размножаем, четыре копии и так далее.

А потом Саша Рыков еще что-то привозит. После этого вдруг выясняется, в начале 1968 года... Мы не очень внимательно следили за тем, что происходит в Праге, но в начале 1968 года Саша возвращается из Ленинграда и спрашивает, как мы относимся к Дубчеку... Он был оторван от нашей среды. Подпольной организации уже давно не было, но все-таки своя такая неформальная тусовка существовала... Вот как мы к этому относимся? И я не знаю, как мы к этому относимся! Ну, и тут мы погружаемся в чтение польских газет, чешских газет, они коммунистические, но совсем другие, особенно в Чехословакии: более свободные. Находим там «Две тысячи слов», в частности, и начинаем их переводить. Это нас в конце концов привело в КГБ, но тем не менее мы их перевели, и это тоже был собственный самиздат. И вот из таких простых вещей начала накапливаться библиотека.

А в 1968 году, в августе, мой товарищ Анатолий Гланц, с которым мы писали «Преклоняться, но отрицать», возле букинистического магазина, куда он в очередной раз пошел что-то поискать, встречает молодого человека, который предлагает Бродского, изданного там. И еще что-то там было, чьи-то мемуары. И нет денег у него, чтобы купить, дорого, не по карману. Но он объясняет этому парню, его зовут Александр Живлов, что у нас в Одессе с этим можно загреметь. Тот не понимает... ну подумаешь, Бродский, [Юрий] Анненков... Парень — московский, студент биологического факультета МГУ, в Одессе жила его сестра, он просто приехал отдохнуть в Одессу, деньги кончились... Ну, во-первых, мой товарищ сразу пообещал, что мы это купим... Бродского мы, кажется, таки купили, да, все остальное уже ушло. Но он у него берет адресок. Меня в это время в Одессе нет. Если бы я был в Одессе, мы бы купили сразу все! Но я в это время поехал в Ленинград, к Григорию Кановичу, обсудить какие-то вещи. Все-таки выстраивание сети. Мой товарищ Виталий Сазонов поехал в Новочеркасск проводить расследование, что же там произошло в 1962 году. И потом мы встречаемся в Москве.

Так вот, я поехал в Москву устраиваться там. Потому что мы уже услышали о диссидентах. Мы до этого принципиально не слушали всякие голоса, а с чешскими событиями мы вынуждены были слушать, записывать и узнали о демонстрации на Красной площади [25 августа 1968 года]. Обнаружили потом письмо Александра Даниэля, которое после этого вышло, и поняли, что не только у нас в Одессе все это происходит, есть еще места. И надо ехать в Москву. Нам не удалось устроиться, не важно сейчас, как это было, и я возвращаюсь в Одессу. Тут мне Гланц

и говорит: вот, такой есть мужик, у него то-то и то-то. Я беру ноги в руки... А по другим каналам тоже друг Гланца, Додик Штрихман, рассказывает о своем брате, который знаком с Ларисой Богораз, с этим кругом людей. Они книжки получают, «Раковый корпус», «В круге первом». Ну, что делать, я собираю все деньги, какие возможно (тогда я уже жил в полной нищете, но на это же деньги точно есть), и быстренько в Москву. У русского человека нет денег детей покормить, но выпить всегда деньги есть. Я вот тот тип русского человека, только у меня вместо выпить — почитать.

Значит, быстренько еду в Москву. В круг Ларисы Богораз я попасть не могу, потому что там все перепуганы после арестов [25 августа]. Понятно, что будет, что с этим [властями] решено покончить. Тишина, никаких книг, ничего. Ладно, но я останавливаюсь в комнате Саши Живлова в университете. Сначала у Шахмалиевой я думал остановиться, но не получилось, и я у Саши в общежитии. И как-то так я им пришелся по душе, разговорились. Мы, конечно, получили и «Доктора Живаго» Пастернака, и «Новый класс» Джиласа, и «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяева, книжку об американской политической системе, расследование убийства Кеннеди... Там кучу всяких книг мы получили! Но кроме того, он рассказал мне о книге «Мои показания» Марченко, которая только-только появилась.

И также рассказал о некоей книге, содержание которой такое-то, она выглядит так-то, там такие-то документы, в общем, рассказал довольно подробно. Но, говорит, это текст анонимный, автор неизвестен, название неизвестно, я тебе рассказываю то, что я видел и читал. Когда мне попался лет шесть спустя «Архипелаг ГУЛАГ», я, читая первые же страницы, вспоминал слово за словом Александра Живлова. Вот как это может быть? Все мои коллеги говорят, что это невозможно! Это было настолько законспирировано! Но, послушайте, дословно — структура книги, те же самые документы... Значит, как-то возможно. Это 1968 год. Это удивительно, но вот такой факт.

Так или иначе, с Сашей Живловым мы уже поддерживаем отношения и имеем довольно большой пакет материалов. Мы, естественно, в четырех экземплярах перепечатать «Доктора Живаго» не могли. Я сначала в десяти пытался «Стихотворения Юрия Живаго» перепечатать. Потому что, скажем, там стихи Цветаевой, или Ахматовой, или Мандельштама мы за самиздат не считали. Ну, в поэтической своей среде это наш рабочий инструмент, ну, не печатают их — так мы распечатаем. Как мой отец собирал Есенина, который хоть и не приветствовался, но в нем не было уже криминала, он от руки переписывал и у себя хранил, точно так же вот у нас были списки... Это не считалось чем-то особенно крамольным. Следовательно, и перепечатать стихи Юрия Живаго можно в десяти экземплярах, раздавать. А хотелось всю книжку, но не по зубам — толстенькая, а печатать я не умел. Я вот на этом, а потом еще на «Собаьем сердце» учился печатать.

Так вот, в той самой библиотеке, где Александр Рыков нашел письмо Раскольниковца, он подружился с заведующей читальным залом, которая проводила в этом читальном зале постоянные какие-то обсуждения, в частности — Дудинцева «Не хлебом единым». Он с ней разговорился, и она говорит: «Ой, я тебя познакомлю со своим приятелем, который этим интересуется». И познакомила его с человеком по имени Исидор Моисеевич Гольденберг. Они встретились, понравились друг другу, и Саша Рыков говорит: «Вот я своего друга приведу». И он меня привел к этому человеку. Он был вдвое старше нас, мне было 20, ему, по-моему, 42. Мы пришли к нему домой, нищие, голодные, нас накормили борщом, напоили чаем и разговоры разговаривали. И в этих разговорах вдруг выясняется такое вот совпадение! Он получает от нас «Доктора Живаго», еще что-то... И вдруг открывается, что у него где-то в подвальчике лежит «Хроника текущих событий», первые выпуски, письмо [Петра] Григоренко и [Алексея] Костерина к Будапештскому совещанию, померанцевская речь «Нравственный облик исторической личности» и куча другого. Ну можете себе представить! Григоренко — это вообще на душу легло, и вдруг — [Григорий] Померанец! Как обухом по голове! Это же наша позиция, это же мое! Это же мы! Давай знакомиться с Померанцем!

— **И вы поехали в Москву?**

— В Москву поехал, но безуспешно, потому что вся эта литература текла через учеников Исидора Моисеевича, они как-то были связаны с Москвой. Гольденберг был школьным учителем русского языка, у него было довольно много учеников, и его ученики впоследствии составили значительную часть нашей организации. Так вот, я поехал в Москву — бессмысленно, потому что человек, который обещал с Померанцем меня познакомить, был трусоват, впоследствии он стал стукачом. В общем, безуспешная попытка была. Но зато я в очередной раз побывал у Живлова, привез оттуда что-то новое, вернул ему его книги, получил новые. Не зря съездил, но знакомство с Померанцем не состоялось.

Зато к Исидору Моисеевичу Гольденбергу ходил Абрам Исаакович Шифрин, как потом выяснилось, это был лидер одесских сионистов. И позже, когда он эмигрировал, он даже работал в представительстве Израиля в ООН. То есть он незаурядный человек. И у него есть книжка мемуаров «Четвертое измерение». Ну вот он ходил. А сам он бывший политзаключенный, отсидел 10 лет в лагерях. Когда мы познакомились с Гольденбергом, его рядышком не было, но к Гольденбергу приходил его товарищ — Толик Альтман, будущий «самолетчик», с которым мы о многих вещах беседовали. И в конце концов вот этот Толик Альтман и рассказал о Шифрине. И когда Шифрин появился, пришел к Гольденбергу, мы, конечно, тут же встретились, разговорились, и выяснилось, что Шифрин знаком чуть ли не со всеми диссидентами. Он связал нас с [Владимиром] Тельниковым.

Я был такой подпольный человек... Я вообще человек камерный, никуда не высываюсь, всегда сижу дома, книжки читаю, слова говорю какие-то, но на публику не суюсь. У нас был Саша Рыков для этого дела. Вот Саша Рыков поехал в Москву, познакомился с Тельниковым, и через Тельникова и Сашу к нам потек самиздат. Он и в Ригу поехал, и в Ленинград и тамошних, и всяческих диссидентов уже, так сказать, нашел. И к нам не просто стала поступать литература, а мы стали заказывать: нам нужно это, это, это... И действительно, нам заготавливали, давали. Больше всего Тельников. Очень ему благодарен, потому что, когда мы с ним познакомились, я рассказал о Померанце и тут же он мне привез «Неопубликованное» Померанца. Это было счастье! Душой отдыхаешь, когда читаешь человека, который твой.

Да, я, конечно, был диссидент, но диссидент померанцевского толка. Диссидентом, кстати, не называл себя и это слово не любил. Я готов был считать себя инакомыслящим, но вообще, конечно, я называл себя политиком. Для меня важна политическая деятельность. Ну да, инакомыслящий. Ну какая политика, когда в стране нет политики?

— Но многие диссиденты принципиально настаивали на том, что они не политики...

— Да-да, «мы не политики». Не многие, а вот как раз все то самое движение, на которое мы вышли, категорически отвечало: мы — нравственная оппозиция, точка! И никакой политики. Политика — грязное дело, мы в этом не участвуем. А я говорил: а я — политик. В этом я как бы был диссидент в диссидентстве.

Так вот, в какое-то время у нас начались некоторые трения с Сашей. Потому что Саша начал как бы торговать самиздатом, а я считал, что бизнес и политика несовместимы. Либо мы занимаемся политической деятельностью и все, что мы делаем, — это вот ради идеалов, либо мы на этом зарабатываем, и тогда это отдельно. Саша в конце концов уезжает в Москву, и поэтому я сам еду к Тельникову, но, к сожалению, он уже уезжает. Он влюбился в нашу одесскую девушку Галю Ладыженскую и вместе с ней рванул в Израиль. Это была наша последняя встреча. Но зато он меня знакомит с [Виктором] Хаустовым, знакомит с [Юрием] Шихановичем, Шиханович — с [Валерием] Чалидзе, в общем, короче говоря, начинают вырастать какие-то связи. И Шиханович оказывается замечательным человеком: ты ему оставляешь перечень, чего надо, и к моему следующему приезду все эти бумаги есть. Ну а если их нет у Шихановича, он идет куда-нибудь к [Крониду] Любарскому и находит это у Любарского. Во всяком случае, я все это получаю.

И библиотека становится на правильные рельсы. Мы выясняем, что есть, что ходит, вот это нам нужно... Мы же не просто собирали библиотеку, чтобы полюбопытствовать, а мы занимались исследованиями социальной динамики нашего общества. Мы изучали то, что начали изучать с самого начала, нам нужно это было, чтобы понять, что реально происходило в 20-е годы, в 30-е годы, что

мы имеем сейчас и так далее. Конечно, по ходу дела, когда я говорил, что мне это и это надо, мне говорили: а у нас есть «Любимов», а у меня есть еще что-то, художественное... Почему нет? Давай! И в какой-то момент стало для нас важным просто иметь все. Потому что если я хочу прочесть Мельгунова, то, скажем, Исидор Моисеевич хочет прочесть Замятина, мне Замятин неинтересен, но ему интересен, значит, это должно быть. И мы начинаем собирать все!

В это время закрывают доступ в научных библиотеках ко многим авторам, к тому же Юнгу, Фрейду, Ницше, там большой перечень. Раньше ты в научной библиотеке мог заказать и прочесть, а тут ввели норму, когда ты можешь прочесть эту литературу, только если это относится к твоей дипломной работе, диссертации или еще чему-то. Это конец 60-х годов. Как же так, почему мы не можем прочесть Ницше? Поэтому мы начинаем копировать Ницше, Фрейда... И уж, конечно, Юнга, который оказался мне лично близок. Когда мы после статьи Аверинцева в 1970 году в «Вопросах литературы» [№ 3] узнали о Юнге, то сразу начали искать «Психологические типы». Оказывается, не зная об источнике, я использовал термины «интроверт», «экстраверт» — в своих концепциях, не зная, что такое Юнг. Мой приятель в 1969 году эти слова принес, прочтя «Чужое лицо» Кобо Абэ. Он мне какую-то ерунду рассказал про этих интровертов и экстравертов, но формулировки так были близки к моим представлениям о психологических типах, что я тут же акцептировал. И когда вдруг выясняется, что автор — Юнг, мы начинаем его искать; сначала находим изданную в 1924 году главку итоговую этой книги, а потом достаем цюрихское толстое издание «Психологических типов», переведенное на русский язык [в 1939 году]. И вот, пожалуйста, кто хочет... А в нашем кругу было очень много психологов или людей, интересующихся психологией. Это мне потом помогло.

Вообще моя судьба сложилась прекрасно благодаря тому, что такие люди были в нашей среде. Словом, я хочу читать воспоминания Деникина, а они хотят читать Юнга или Фрейда.

— **И библиотека становится универсальной.**

— Она с самого начала была универсальной. У нас в библиотеку что мы закупали? Новейшие книги по экономическим концепциям, по биологии и так далее. Потому что, для того чтобы понимать многое, мы должны были быть образованными людьми, а мы же ими не были!

— **В какой момент на эту активную общественную деятельность обратил внимание КГБ?**

— На самом деле впервые на нас обратили внимание, я думаю, в мае 1966 года. Но еще не особенно на нас обращали внимание, потому что мы работали со всякими комсомольскими организациями, там был какой-то «Поиск», потом коммунары, еще что-то. Но у меня такое ощущение, что в какой-то момент мы проколо-

лись. Дело в том, что Саша Рыков как приходит к кому-то новому — в первый же день рассказывает, что вот у нас подпольный кружок, революционная организация... Того же Магуна в Питере мне пришлось успокаивать: нет-нет, никакой революции, никакой организации, мы хорошие, это Сашины фантазии. Мы замирились с Магуном, потому что он был жутко встревожен — какой-то провокатор пришел. А Магун участвовал в коммунарском движении. И благодаря тому, что я замирился с Магуном, он повел меня к Ядову, и там все это так закрутилось... Он с Сашей не захотел иметь дело.

И в Одессе происходило то же самое. И, видимо, нас сразу засекли.

Но мы ничего собой не представляли, никакой особой информации вовне не выходило. Мы не подписывали писем протеста, не выходили на демонстрации, сидели у себя дома и обсуждали — был красный террор таким-то или был он другим, это было прогрессивно, неизбежно или это было зло, которому надо было сопротивляться. Ну, что мы обсуждаем в своих кругах. Мы обсуждаем, какая экономическая модель должна быть для развития того-то и сего-то. При чем здесь КГБ? Это интересно узкому кругу людей, а с другими мы об этом не разговариваем — не из опаски, а просто другим это неинтересно, а нам интересно. Поэтому информация о нас мало просачивалась. Впервые КГБ на нас вышел в 1968 году, когда «Две тысячи слов» Саша Рыков отправил одному нашему товарищу в Томск. Ну, в Томске они договорились, что он посылает под какой-то смешной фамилией, с какими-то смешными инициалами и там в университете в ячеечке кладут письмо, а он проверять будет... Товарищ письмо не получил, зато КГБ его получил и очень быстро выяснил, откуда оно. Каким образом — я не знаю, возможно, нас уже пасли. Тем более что первый перевод «Двух тысяч слов» сделал товарищ Зуся Тепера, одного из активных наших участников, он нам его начитывал, просто с листа переводил, хорошо знал чешский язык. Впоследствии у нас сложилось впечатление, что он был стукачом, что информация шла от него. И поэтому, когда нашли это письмо, видимо, уже по перечню людей обнаружили, кто это.

Привели Сашу Рыкова в КГБ, он тут же рассказал, что вот Игрунов создал подпольную организацию по типу ленинского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Игрунова за шкуру в этот самый КГБ. А Игрунов тут же раскололся. Он же не знает, откуда что... «Ну, рассказывайте, — говорят, — контрразведке, почему, как вы думаете, вас сюда привели?»

— **То есть отношение было не враждебное, а скорее такое... ироническое?**

— Скорее запугивающее. Это я рассказываю с некоторой иронией, но это было вполне всерьез, вполне жестко. Ну, лично я считал, что я уже не выйду, что я уже сел. У нас была мифология тогда, что если попадешься в руки советской власти — все, от тебя уже ничего не останется... Мы совершенно не знали, что происходит. В 1968 году только-только мы узнали о демонстрации на

Красной площади, о том, что существует какое-то движение. Ну и тут же нам говорят: «Все-все! Мы все попрятались, потому что страшно, будут уничтожать, эти люди уже никогда не выйдут... Там [при разгоне демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года] зубы выбивали, еще что-то, этим людям конец!» И это подкрепляло наши представления о советской власти, мы же ее по сталинским репрессиям, по лагерям оценивали, по ленинским текстам о массовидности террора и уничтожении врагов. Поэтому я думал, что все, конец. Но у нас была выработана определенная тактика поведения, по которой ты должен был брать все на себя, чтобы оставить жить других, чтобы другие продолжали твою великую революционную деятельность.

Кроме того, накануне, мне так повезло, в течение месяца я общался с молодым человеком, очень активным гражданским деятелем, борцом — Хаимом Токманом. Я его совершенно не знал. Он на меня вышел через одного из наших молодых участников, студентов-филологов, Мостового. И он предложил мне печатать листовки против нашей оккупации Чехословакии. Я пытался его убедить, почему это бессмысленно. Потому что в августе мы пытались протестовать, выходили на улицу, там чего-то демонстрировали и убедились, что бессмысленно, эти люди не понимают вообще, о чем речь. Если речь идет о Чехословакии, они просто пожимают плечами: а тебе-то что? Не к кому обращаться! То есть это не через листовки, а нужно долго заниматься просвещением, накоплением актива, который что-то понимает, созданием среды, политической силы. Но он этого не понимал. Я ему сказал: «Ну, ладно, я тебе помогу». Через два-три дня он встречается со мной и начинает меня допрашивать. Причем говорит какие-то странные слова: «Наша организация все о вас знает, и о детстве, и о том...» Ну, какие-то такие глупые слова, из которых я понимаю, что я попался. Мы знали о провокациях, и я попался, КГБ на меня вышел, устроил провокацию, я провалился, меня пытаются сначала сделать стукачом, но это кранты.

И я быстренько иду домой и уничтожаю все, что у меня есть дома, или почти все. Я писал тогда книгу, как я сказал, «К критике программы КПСС», все это уничтожаю, выписки какие-то... Ну, что-то оставлял, но что там, Бернштейн и Бернштейн. Потом ко мне пришли: читают, смотрят на Маркса и Энгельса: «А чьи это книги? Вашего отца?» — «Почему отца? Это мои книги». — «Ваши книги?» (с уважением) — «Да, я это читаю». А сам думаю: ты небось ни одной книжки не прочитал (*смеется*). А потом находят, счастливые, Бернштейна, Каутского, Масарика, еще кого-то. Это я не уничтожил — просто сил и времени не хватало. Я быстро жег. Быстро жег, и пока горели какие-то бумажки на кухне, другие я рвал, спускал в унитаз, чтобы быстро... Я думал, что вот через час придут, через два придут, и уничтожил все, что можно было. Жалею теперь, но... Тем не менее, когда меня при-

везли с обыском, ничего криминального не было. Но я предполагал, что этот самый Хаим Токман меня заложил, я предполагал, что придут. Пришли не сейчас, а через неделю, но это точно он.

И я говорю им: «Ну, наверное, из-за моей позиции по Чехословакии». — «А с кем вы об этом говорили?» — «Я говорил с одним молодым человеком». — «С каким молодым человеком?» — «Да я не знаю его, познакомились, разговорились...» — «А как его хотя бы зовут?» — «Точно не знаю, но, кажется, Хаим». — «Ну хорошо...» Проходит пять минут, они приносят мне фотографию, кладут: «Этот?» Я говорю: «Этот». Как они через пять минут могли это сделать? Значит, это их человек, они все знают. И они дальше: «Какие еще разговоры?» — «Ни с кем больше не говорил». В общем, я замыкаюсь на этом. «Как вы с ним познакомились?» — «Познакомил меня вот такой-то человек». Ну понятно, что если Хаим — их человек, то парень, который меня с ним познакомил, которого я тоже не так уж хорошо знал, он был для нас новым, и с ним у меня не очень хорошие отношения складывались, наверное, и он... И я его сдаю, этого парня. Они все равно это знали, ну, что... Зато всех остальных я сберег!

Ну хорошо, потом они меня сажают в машину и везут домой, к родителям. Меня взяли в другом месте. Взяли там пару американских книжек, что-то посмотрели, отложили. Например, осталось невзятым расследование убийства Кеннеди, хотя можно было бы взять как зарубежное издание, но, видимо, они его просто не заметили. У меня ровно в таких же футлярах были тома Маркса и Энгельса, они перелистали, посмотрели, отложили и, видимо, не все тщательно пересмотрели. А какая-то книжечка по американской политической системе лежала другого формата — забрали, еще что-то, но не важно. Значит, меня везут домой, чтобы сделать обыск, мы проезжаем мимо вокзала, и мужик, один из этих следователей, не помню, кажется, звали его Сахаров Александр Иванович, говорит: «Тормозни, тормозни...» И показывает: «Это он?» И стоит Хаим. Ну таких случайностей не бывает! Только что поговорили, через пять минут они мне дают фотографию, мы едем домой, а он тут стоит... Ну явно это их человек.

Сажает его в машину, я думал, что он обернется и что-то мне скажет. А он — нет, он тихонечко садится на переднее кресло, и ему говорят: «Не поворачиваться!» Он послушно не поворачивается. Со мной на заднем кресле сидят два толстых опера, они меня сдавливают. Разворачивают и едут в КГБ, обратно. Сдают его в КГБ, потом берут меня и везут домой.

И тут я понимаю, что дал маху, заложил людей. Ну, что... Потом я начинаю валять дурака, потом выясняется, что на самом деле это «Две тысячи слов», Саша Рыков, еще какие-то друзья. Но я продолжаю валять дурака. Мне приносят какие-то мои письма, которые изъяли у Саши Рыкова, я их интерпретирую, тоже играю ваньку. И очень странно — где-то часам к 11 вечера меня отпускают: иди, паря, домой...



*Вячеслав Игрунов,
Михаил Гефтер
и Арсений Рогин-
ский на даче
у Гефтера.
Конец 1980-х
© igrunov.ru*

Моя жена, девочка 18-летняя, которую я привез из чужого города, у которой ни кола ни двора, ждет меня на углу Бебеля, ждет уже много-много часов. Ее быстро выпустили, а меня еще держали, и она дежурила там. Понятно, я ее беру, и мы едем быстро домой. За нами хвост, понятно. Мы пошли домой спать. Потом начинается довольно долгая и тяжелая история, так или иначе нас начинают тягать некоторое время, но все заканчивается пшиком, ничем. Нас отпускают. С этого момента, конечно, я понял, что себя так вести в КГБ нельзя, что наша тактика была ошибочной. И с этого момента мы меняем свое поведение. Ну вот, таким образом мы попали первый раз в КГБ.

— **Второй, более серьезный, если можно так выразиться, ваш контакт с КГБ закончился арестом 1 марта 1975 года?**

— Нет, второй контакт был гораздо раньше. Меня сначала пытались сделать стукачом. Я тогда уже понимал, как надо себя вести, и не послал их по-русски. Я очень вежливый человек. Я опять-таки сваял ваньку. Может быть, очень неправильно себя повел, но ваньку валял. Но больше к ним не явился никогда. Мне назначали какие-то встречи, но я не приходил. И они меня оставили. Потом они вышли на меня, когда у меня уже была мастерская, где я занимался довольно приличным бизнесом, который позволял мне порядка 400 рублей в месяц вкладывать в самиздат. А в то время 400 рублей — это были очень солидные деньги. Там впервые мы чуть не залетели. Но мы не залетели. У меня был мужественный товарищ — Олег Курса, который пошел на то, что взломал замок опечатанный, вошел в нашу мас-

терскую, вынес оттуда самиздат и чесанул, пока следователи КРУ находились в соседнем помещении. Там был Амальрик [«Просуществовал ли Советский Союз до 1984 года?»], это уже совсем криминальная вещь, был «Раковый корпус», что-то еще было. Ну вот он это все вытащил, мы не попали. Но нашу мастерскую тем не менее закрыли. Несмотря на то что в КРУ оказался мой бывший дальний родственник.

— **А КРУ — это что такое?**

— Контрольно-ревизионное управление. Это была до ОБХСС самая высокая стадия проверки. По итогам закрыли массу цехов, на фабрике народно-художественных промыслов, где я занимался, сняли директора. Но руководителем этой вот группы КРУ оказался бывший муж моей двоюродной сестры. Когда он узнал меня, мы с ним поговорили, и он решил это дело замять. Откуда мы сделали вывод, что это все-таки не КГБ, как думали наши друзья. Тем не менее он сделал отчет, этот вот руководитель группы, из которого следовало, что мы — единственная мастерская на фабрике, соответствующая всем показателям, вообще всю фабрику можно закрыть, а нас надо оставить. И на самом деле это была правда, по большому счету. Это действительно была правда, мы единственные делали художественные изделия, уникальные, и единственные не эксплуатировали всякие промышленные методы для ширпотреба. Так что отчет был просто честным. Но нас все равно закрыли (*смеется*), отняли у нас помещение, выставили нас, не дали работать. И я думаю, что КРУ там тоже оказалось не случайно. Как бы прямого указания не давали, кагэбистов среди карэушников не было, поэтому все окончилось для нас благополучно, но все-таки КГБ за этим стоял. Вот это был такой момент, когда нас уже стали довольно серьезно изучать. И я думаю, что после 1968 года за нами как-то посматривали. Поэтому и перекрыли этот канал финансирования. Для меня это был серьезный контакт с КГБ.

А следующий был уже в августе 1974 года, который в конце концов через полгода закончился моим арестом.

— **Приговор был достаточно мягкий.**

— Да. Приговора вообще не было, то есть приговор был, но я не был осужден. Я же сумасшедший! Кто же больных людей судит за их болезнь?

— **Это был акт гуманизма со стороны врачей? Или это была какая-то договоренность с КГБ?**

— Нет, здесь была довольно сложная история. Начнем с того, что я занял по тем временам просто самую жесткую позицию, она потом уже употреблялась диссидентами, а до этого такая была тактика: а вы докажите, что я клеветал, докажите, что мои действия клеветнические, или докажите, что я это делал.

— **Вам вменялось распространение...**

— Да, распространение. Это статья довольно легкая... По российскому законодательству — 190-прим, по украинскому — 187-я. Она до трех лет лагеря, ничего страшного. И ею занималось МВД.

Но меня арестовывал КГБ, поэтому не было никаких сомнений, что эта статья начальная, а в ходе следствия она должна быть переквалифицирована на 70-ю — «Призыв к подрыву, ослаблению советского общественного и государственного строя». У меня сомнений не было, какая у меня будет статья. Это известно по «Хронике», не раз читаешь — людей арестовывают, и если их везут в КГБ... С Буковским так было, Буковского [в 1971 году] арестовывали по маленькой статье — 190-й, но везли в КГБ и там переквалифицировали на 70-ю. И меня тоже по маленькой, но повезли не в тюрьму МВД, а в тюрьму КГБ. И вопросов не было, что мне будет. Но я просто их послал — и все, сказал: «Я с вами разговаривать не собираюсь». Еще в сентябре [1974-го], когда они мне предостережение выносили, что если я буду продолжать, то... я им сказал: «Буду! Это мое конституционное право. Имею право на свободу слова, мнения и так далее. Имею право получать любую информацию. Мы подписывали Всеобщую декларацию прав человека, в ней сказано, что человек имеет право получать все, что он хочет. Вот я и получаю. И живите здорово!»

Когда меня арестовали, я им сразу сказал: ребята, ваш закон неконституционен, он незаконен, поэтому с вами разговаривать не буду. Через день я им написал заявление: в связи с тем, что мой арест противозаконен, нарушает то-то и то-то, отказываюсь с вами разговаривать. Меня спрашивают: «Как ваше имя, отчество?» Я говорю: «Вы не знали, кого арестовывали? Что я буду с вами разговаривать? Если не знали, то скажите вы, кого вы арестовали!» В общем, не отвечал ни на какие вопросы. Пошли вы! Единственное, в чем я участвовал, — опознание, очная ставка. Мне нужно было это! Когда я встречался на очной ставке, скажем, мой техник, просто гениальный человек, фактически создатель библиотеки, он все фотографировал, копировал, сдавая кровь, — Валерий Резак — он попал в очень тяжелую жизненную ситуацию в этот момент, и какие-то показания по поводу того, что нашли, обнаружили у него в доме, он дал. Ну, этого было достаточно, чтобы мне инкриминировать. Но когда мы с ним встретились, он начал переформулировать, так сказать, свои показания, фактически отказываясь от них. А его жена на опознании вообще повела себя очень странно. Да, она меня опознала, но она опознала, потому что рядом со мной были толстые, а я — худенький, вот и все доказательства. И я тут начал излагать, что у вас неправильно проведено опознание, то-се, пятое-десятое, и это тоже все рушится. И так я трижды в чем-то участвовал, и это все у них рушилось. А показаний не давал.

В какой-то момент они сломались и не стали брать у меня показания. Ну, странное поведение у человека, надо отправить на психиатрическую экспертизу. На психиатрической экспертизе мне повезло: я уже говорил, в моем кругу было много психологов, и отец одного из них, Бориса Херсонского, был известный профессор медицинского института, который знал всю эту бра-

тию. И приблизительно за год до этого, когда учительницу литературы Анну Голумбиевскую пытались лишить работы за то, что она рассказывала школьникам об «Одном дне Ивана Денисовича», ее намеревались отправить на экспертизу. Экспертиза была незаконная, естественно, но Аню познакомили со мной, и мы начали выработать стратегию поведения, что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить худшее развитие событий. И, в частности, мы должны были выяснить, кто будет проводить экспертизу. И поэтому, когда я попал год или полтора спустя на эту экспертизу, я уже знал всех, с кем имел дело.

Кроме того, мне здорово повезло — председатель комиссии Джон Иосифович Джункин попал в зону моего внимания еще по другой линии. Уехавший сионист Исай Авербух оставил какие-то бумаги. Ну кому вы идете сдавать бумаги уехавшего человека? Конечно, мне! Принесли мне эти бумаги, какой-то самиздат я отдал в библиотеку и наткнулся на стихи. Он был поэтом. Стихи, конечно, несколько графоманские, я сам такие умею писать, но один из них Джону Иосифовичу Джункину был посвящен, и он там описывал какие-то свои переживания, из которых было понятно, что симпатии Джона Иосифовича Джункина к сионистам наличествуют. И во время этой экспертизы я должен был оказать давление на него.

Понятно, что разговаривать с [Аллой] Кравцовой, заведующей отделением, бесполезно — ее надо посылать, с этим все понятно. Как разговаривать с моим врачом [Верой] Ляминой, тоже было понятно, небольшого ума тетка. Но Джон Иосифович Джункин — это уже очень интересно!

И вот уже во время заседания комиссия представляет документы, что он — то есть я — псих. Ну, доказательства какие? Его любимый автор — Булгаков, значит, он шизофреник. Почему шизофреник? Ну, потому что Булгаков — шизофреник, а шизофреники друг друга хорошо понимают (*смеется*). Первый довод. Второй довод. «Скажите, пожалуйста, — говорят они, — вы не можете прочесть ни одного стихотворения Пушкина, а у вас в блокноте стихи написаны. Вы, наверное, любите поэзию»? Я говорю: «Да, в общем, поэзию люблю». — «Ну вот прочтите». А в таком состоянии и в самом деле ничего не вспомнишь, хотя, наверное, мог бы постараться. Знаете, я наизусть знаю тысячи строк, но в этот момент какой-то спазм. И кроме того, почему я перед ними должен выпендриваться? Я говорю: «Не могу». Но перед этим меня спросили, кого из поэтов я люблю, я и перечисляю: Мандельштама, Бродского, Гумилева, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Авербуха и так далее. Эти тупые тетки, конечно, не знают, чем отличается Пушкин от Авербуха, но Джункин-то знает, о каком Авербухе я говорю. И он понимает, кому я это говорю, понимает, что не этим теткам. И он уперся: нет, мы не можем признать его сумасшедшим, не можем признать невменяемым. И у меня диагноз был такой: «Невозможно сделать заключение о вменяемости в связи со сложной структурой личности». Точка!

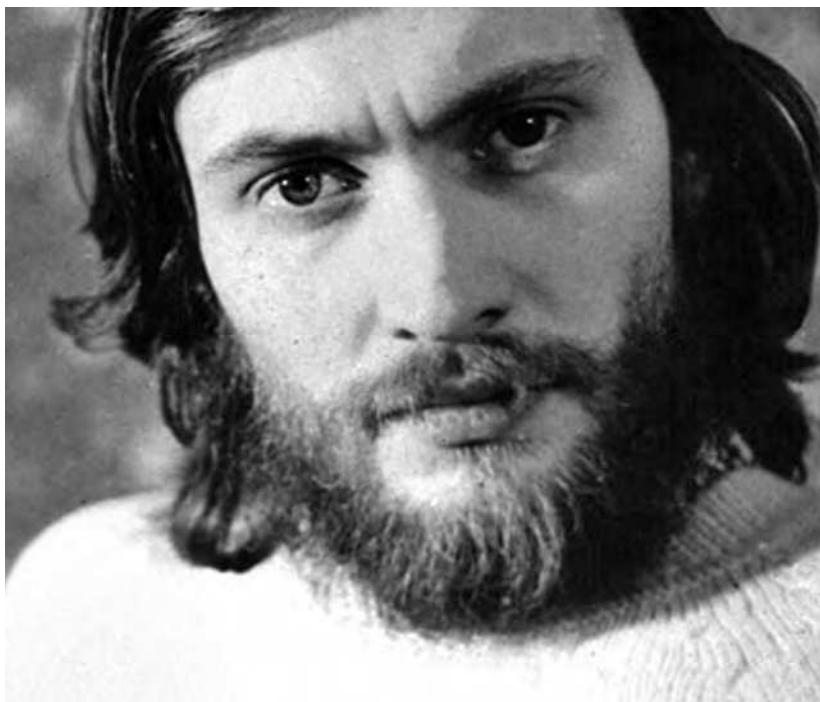
Меня уже не хотят видеть на суде, потому что обвинение рассыпается, а здесь... В самиздате ходило мнение, что сопротивляться невозможно. Если они решили сделать сумасшедшим, то сделают. А я же был молодой и такой наглый. Всю жизнь был наглый! Я был уверен, что вот можно сопротивляться, и мне нужно было доказать это. И я доказал! И меня выпустили оттуда — и все.

Меня 1 марта [1975 года] арестовали, а с 22-го меня уже на допросы не дергали, ничего. Понятно было, что я не буду давать никаких показаний, меня перестали спрашивать. Смотрю — готовят куда-то. На пересылку. Я смекнул, что мне «повезло», меня отправляют в Москву, в [Институт имени] Сербского. И действительно. Еду я уже в вагонзаке, ко мне подходит мальчик, ему на дембель вот-вот, и он со мной разговорился: «Вот, я посмотрел, интересно. Почему вы склонны к побегу? И за что вас посадили?» Я ему все рассказываю. Что мне теперь-то, что я буду скрывать?... Теперь-то я могу всем рассказывать! Чего тихариться? Все и рассказал. Он говорит: «Вы знаете, мне кажется, вы заняли неправильную позицию на экспертизе». Когда заговорили о том, почему я склонен к побегу, я рассказал, почему мне это сделали, а это уже означало спецпсихбольницу. Если признали сумасшедшим, то спецпсихбольница, уже общего типа не получится. Он говорит: «Вы неправильную позицию заняли. Вы отказались участвовать в следствии. А в экспертизе участвовали. Это нелогично». — «Почему нелогично?» — «А потому что экспертиза — часть следствия. Почему это вы в одной части следствия принимаете участие, а в другой — нет?»

«Батюшки! Какое счастье, что он это мне сказал, — думаю я. — Я же ведь не хочу свои семь плюс пять. Я хочу как можно быстрее на свободу! Ну отделаюсь я этой спецпсихбольницей, ну за три года я оттуда выйду. Я умный, я сумею выйти за три года!» Откажусь-ка я от участия в экспертизе медицинской, и уж тогда меня точно признают психом, и я отделаюсь маленьким сроком, выдержу я эту спецуху и вернусь! И все будет хорошо.

И вот я туда к ним еду и на первом же обследовании говорю: «Нет, ваша экспертиза — это часть следствия...» Почему я иначе должен был бы себя до разговора с этим мальчиком повести? Я считал это своим долгом — доказать, что... Но этот долг чреват большим сроком. Ну, докажу, что я здоров, и получу семь. Чревата, но совесть не позволяет уклониться от борьбы. А когда он мне объяснил, что я же могу логично выводить это из первоначальной позиции, моральный груз с меня снялся (*смеется*)! Я домой хочу! И я говорю, что я не участвую, поскольку это часть следствия и до свидания вам.

Месяц они меня держат, [врачи-психиатры Георгий] Морозов, [Даниил] Лунц... «Еще месяц подержим». Подержали еще месяц — и опять ничего. Ну, в общем, признали меня вялотекущим шизофреником, и я, счастливый, с рекомендациями в спецпсихбольницу еду домой. Дорога была довольно тяжелая. В харьковской



*Вячеслав Игрунов
накануне своего
ареста. Ночь
с 28 февраля
на 1 марта
1975 года*
© Александр Чернов

пересылке во второй раз мне было совсем плохо, я уже был среди признанных дураков в камере, там были и уголовники, которые по всей логике должны были меня пришить, я вел себя неправильно с ними. Я им говорил, что они уголовники, а не политические... ну, не важно, там довольно сложная история. Но в ту ночь, когда я боялся, что меня замочат, меня увезли. Неожиданно, на три дня раньше, чем положено. Может быть, поэтому мы с вами и разговариваем сейчас.

Когда я вернулся, я уже вернулся психом. Следователь Шалагин пригласил меня после всего и говорит: «Ну хорошо, давайте поговорим. Вот у вас такая ситуация, вы понимаете. Давайте поговорим, может быть, мы как-то изменим вашу судьбу». А я же попка-дурак: «В соответствии с моим заявлением от 3 марта 1975 года я отказываюсь участвовать в следствии, отвечать на любые вопросы в связи с тем...» И так далее. Он взял трубку, чтобы вызвать охрану меня увести, а потом ка-а-ак шмякнет ее на стол! И говорит громким голосом: «Зайдите! Уведите его!» И все, это был мой последний контакт со следствием.

Я еще долго сидел, но это означало, что, во-первых, в каком-то смысле я выиграл схватку, я не получил свои семь плюс пять, и у меня с судом ничего не получается, я пойду в психушку.

Второе начинается дальше. Это была моя часть работы, но еще же была часть работы других людей. В это время меняют Буковского, «обменяли хулигана на Луиса Корвалана». И он начинает бо-

роться с психиатрическим преследованием политзаключенных. Выезжает Наташа Горбаневская, которая тратит очень много сил на мое спасение. Вот когда она приезжала сюда получить Ельцинскую премию, она, такая счастливая, смеялась:

«Вот реальный человек, которого я спасла!» Я говорю: «Конечно! Правда, Наташа, спасла, реально спасла». В общем, очень много она активно делала. Обо мне говорили Сахаров, Солженицын. Ну, в общем, шум был большой. Я не знаю, так ли уж много было политпсихов, о которых говорили столько. О [Леониде] Плюще говорили больше, о Григоренко говорили больше, но остальные... Ну, вот я в следующем ряду после Григоренко и Плюща. Тем более что, поскольку я нравился многим московским диссидентам чисто по-человечески, конечно, все старались мне помочь. А моя жесткая позиция вообще сделала из меня чуть ли не героя. Когда я вернулся, меня так встречали, как будто я там Александр Македонский, с поля боя вернулся.

Так вот, их часть работы была сделана, но сверх этого — Хельсинкские соглашения, и Союзу нужно какие-то уступки делать. А я еще одну часть выиграл. А именно: я разговаривал со всеми — с кагэбэшниками, с надзирателями, с врачами — по-человечески, я не кричал им: «Вы — убийцы в белых халатах!» Ну, настоящий герой — что он должен делать? Он должен говорить: вы занимаетесь противозаконной деятельностью, то-се... Как [Петр] Старчик, который был у того же врача [Института им. Сербского Альфреда] Азаматова и говорил ему: «Вы понимаете, что, когда советская власть рухнет, вы окажетесь на скамье подсудимых?» Азаматов был человек с большой долей юмора, и он ему ответил: «Ну что вы, на этой скамье мне места не хватит» (*смеется*).

А я вел себя совсем не так, как Старчик. Я никому не объяснял... Как в диссидентстве — я не подписывал писем протеста, ну, подписал одно, может быть, сам. Готовил я несколько писем, но подписал, может быть, одно. Моя задача была — думать, вот это моя работа, непубличная работа.

Я понимал, что перевоспитать своего следователя в КГБ я не перевоспитаю, резать ему правду-матку в глаза — что это даст? Смысла никакого. Я просто послал его, но разговаривал как с человеком. И с врачами разговаривал как с людьми. Я помню, уже после освобождения два раза я встречался с надзирателями, оба надзирателя в разных случаях пожимали мне руку и благодарили меня, говорили, что они очень рады, что со мной знакомы, что я такой замечательный мужик. При том что я бунтовал, чего-то требовал, протестовал. Просто другие отношения привели к тому, что я оказался тем самым, кого можно было выпустить. Азаматов приезжал ко мне в камеру и говорил: «Вы идете на поправку, у вас все хорошо...» Я думал: я только что добился спецпсихушки, они меня признают нормальным, и я загремлю в семь плюс пять? Нет, ребята! Я начинаю ему говорить, что мое

состояние только ухудшилось (*смеется*). Потому что вот такие условия. Да, я, конечно, здоровый, но какое тут улучшение состояния? Вот так держать, в таких условиях... Он говорит: «Нет-нет, вы себя чувствуете лучше».

Через несколько дней меня везут в Одесскую психиатрическую больницу, никакой не Днепропетровск, никакой не спец. На суде объясняют, что у меня началась спонтанная ремиссия и меня можно везти не в спецпсихбольницу. Я знаю много случаев, когда людям выписывали больницу общего типа, а их переводили в спец, потому что, ну, политические. А у меня — все наоборот. Мне выписали спецуху, а попадаю в общего типа. Поэтому тут, видите, множество факторов сложилось один с другим. По-честному — повезло! Потом были... Как я вам уже сказал, я и в диссидентстве был диссидентом, я какой-то такой... Как у меня в стихотворении есть:

*Среди чужих — чужой,
Своим — еще чужее.*

Я всегда был какой-то такой, и находились диссиденты, которые выискивали уже много позже: а что-то он так легко отделался, не стукач ли он, не сотрудничал ли он... Вот такая логика, к сожалению, присутствует у многих. Потом, когда Сеня Рогинский [в 1991 году] пошел в архивы КГБ — а у меня с ним тоже были сложные очень отношения, — он сказал: «Да, правда, тебя они ненавидели» (*смеется*)!

© Павел Кассин/Коммерсантъ



ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ:

«Идея заняться политикой диалога в Бутырке была плохая»

— Учась в Одесском университете во второй половине 1960-х, вы участвовали в неофициальном студенческом кружке. Насколько вы были информированы о происходившем в Москве, о начале того движения, которое позднее назовут диссидентским? Доходил ли до вас самиздат?

— Я был информирован, но ведь дело не в информации, а в личной установке. Прежде всего, должен сказать, что, хотя я знал об инакомыслящих в Москве, меня это не заводило. Откуда знал? Были западные радиостанции — их слушал отец и соответственно я. Я слушал скорее из любопытства и чтоб с ним спорить. Я был крайне антикапиталистическим молодым человеком, и в радиоголосах меня интересовало больше всего чтение книг, запрещенных в СССР. Чтения из Маркузе и [Ивана] Иллича были мне интереснее всего. Но многие вещи помню до сих пор. Скажем, как Георгий Иванов ледяным тоном читает свое «Хорошо, что нет царя...» или задушевный голос Анатолия Максимовича Гольдберга по ВВС. С другой стороны, из среды фанатов фантастики и от учителей доходили тексты, которые для меня тогда не были «самиздатом». Среди всего, что я бы сейчас определил как литературу new age, наряду с «Дхаммападой» я впервые прочел эссе [Григория] Поме-



Одесса. 1968
© Из архива
Глеба Павловского

Глеб Олегович Павловский (5 марта 1951, Одесса) — российский политолог и политтехнолог. В 1968 году поступил на исторический факультет Одесского университета, который окончил в 1973 году. В 1974 году за распространение книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» попал в поле зрения КГБ и лишился работы, после чего переехал в Москву, где с 1977 года подрабатывал столяром, маляром и лесорубом. В том же году он присоединился к московскому демократическому подполью, сблизившись с историком Михаилом Гефтером.

С 1978 по 1980 год был членом редакционной коллегии самиздатского журнала «Поиски». Арестован 6 апреля 1982 года. На суде признал свою вину, приговорен к пяти годам ссылки.

В 1986 году поступил на работу в ежемесячник «Век XX и мир». В 1987 году стал соучредителем и заместителем председателя правления информационной службы «Факт», в 1989 году создал на основе «Факта» первое частное информационное агентство «Постфактум» и до 1993 года был его директором. Основатель, директор и совладелец Фонда эффективной политики с 1995 года. В 1997—2013 годах — главный редактор «Русского журнала». В 1999—2011 годах — сотрудник Администрации Президента РФ. С 2012 года — главный редактор интернет-журнала «Гефтер.ру». Живет в Москве.



*Руководство
коммуны СИД
(«Субъект Исто-
рического Дейст-
вия»), справа —
Глеб Павловский.
Одесса, 1969
© Из архива
Глеба Павловского*

ранца. Вся волна нью-эйдж вращалась вокруг вопросов расширения возможностей человека и его свободы, а это легко накладывалось на задачу сопротивления.

К концу 60-х я был «ньюэйджирован», в том числе смесью Стругацких, Лема и Брэдбери с фэнтезийным романтизмом украинца Олеся Бердника. Я в юности был его поклонником и ради него выучил украинский язык. Бердник после сам окажется диссидентом.

Но все, что было в университете, шло по колее уже сделанного в школе выбора, который можно назвать выбором политической судьбы. Хотя я называл это для себя «революцией» и другими громкими словами. Если отжать лишнее, уже с последних классов школы я был гиперполитизированный юноша, решивший про себя, что буду действовать в политике, невзирая ни на что.

— **Но ведь тогда занятие политикой предполагало два пути, и очень разных. Или ты идешь в комсомол, партию и так далее... Или это не рассматривалось?**

— Встроиться в систему — для верившего в «революцию духа» это была не политика. И такое не рассматривалось вообще. Я называл это вариантом *intra muros* — жить замурованным «в стенах» системы — и начисто отвергал.

— **Тогда — нелегальщина?**

— Но и та мне не была интересна. Понимаете, внутри богатого тогда вариантами советского мира, на пересечении магий научной революции и революционной истории, простые «анти» меня не соблазняли. Бороться с начальниками, то есть с какими-то, на мой взгляд, старичками-мещанами? Это казалось мелким. Я хотел большего. Думалось: да, может так выйти, что придется

однажды и пострелять, но сперва надо разобраться — в кого. А может, и не придется. То есть не здесь был выбор. Выбором было — перестать быть реципиентом, пассивным зрителем происходящего, вернуть советскую повседневность в историю. И в этом выборе тоже были коммунистические основания, но другие, идейные. В 1968 году, когда все это происходило, в коммунизме в последний раз активизировался его исходный всемирный импульс. Даже в официозной идеологии, где он было подавлен, след его оставался. Мы ведь не жили в какой-то локальной стране — мы, советские, жили в мире. Это очень важно! Советский Союз — это был глобус универсального проекта. Выехать из него нельзя, зато глобус всегда у тебя дома, под рукой. И поздний Лем, и Стругацкие учили, что главные проблемы надо решать дома, а я и хотел решать главные.

В университете на втором курсе возникла коммуна. Она сложилась из нескольких человек, и не я был инициатором. Но я стал тем, кто толкал в сторону неомарксизма, так как искал язык, на котором можно строить большие проекты. Тяжело побившись о свой дилетантский буддизм, «Дхаммападу», Рериха и лотмановские сборники, я выбрал на диалектику деятельности. И всю коммуну засадил за чтение молодого Маркса, Грамши и Генриха Батищева. А это подсказывало, кого нам искать в Москве, при ясном понимании того, что наш «младомарксизм» карьерно бесперспективен. В Одессе это было яснее, чем в Москве. В Москве 70-х ты мог быть гуссерлианцем и при этом комсомольцем и студентом философского факультета. А на Украине уровень личного маневра был меньше. Поставив на активистскую диалектику, ты знал, что покидаешь общество и выходишь в какое-то Зазеркалье, где будешь жить. То есть нашей коммуне было предопределено наткнуться, с одной стороны, на одесский Комитет [государственной безопасности СССР], а с другой — на кого-то из диссидентов.

И это довольно быстро случилось. С диссидентством мы столкнулись в лице [Вячеслава] Игрунова, который был в Одессе самиздатским бароном. Он распространял самиздат, и у него был свой кружок, но другого типа, не левый совершенно. Что-то типа артели из романов Чернышевского. Они зарабатывали неплохие деньги, делая деревянные поделки для туристов. На эти деньги покупали у москвичей запрещенную литературу по спискам. Я видел один такой список, довольно смешной, Орвелл там стоял в соседстве с «Камасутрой» и «Новым классом» Джиласа. Библиотека у них была большая, и мы бросились читать все подряд. На «Хронике текущих событий», «Большом терроре» Конквеста, трактате [Андрея] Амальрика [«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?»] и нобелевской речи Камю моя участь самиздатчика окончательно определилась для меня самого. Я не стал антисоветчиком, но выбрал для себя быть, как я это назвал тогда в своей первой статье для самиздата 1972 года, «координатором контркультуры».

Но уже тогда наш круг был под наблюдением КГБ. Оно началось почти сразу, как я съездил в Москву. Только надо правильно понимать, что это значит. Сегодня сложился миф о КГБ как Всевидящем Оке. Но «контора» состояла из банальных людей, она просто следила за всем, что движется. Этот политический Госплан был такой же малоэффективный, как экономический, он с трудом фокусировался на действительно важных вещах.

— **Первое открытое столкновение с КГБ произошло в университете или после?**

— Столкновение произошло в университете, но сперва я не знал, кто за этим стоит. Дело в том, что мы довольно быстро вышли на искомым московских гуру. Сперва это были люди в Институте философии, круг Генриха Батищева, [Эвальда] Ильенкова, [Владимира] Библера. И [Михаила] Гефтера. А Гефтер, как я узнал сильно позднее, почему-то считался в КГБ очень опасной фигурой. Одно время даже решали, арестовать его или нет. Он был под особым наблюдением, и его квартира числилась «узлом» Демократического движения. Где-то уже тогда наша коммуна в Одесском университете попала под наблюдение. Мне не дали толком окончить университет и распределили работать в отдаленную сельскую школу без диплома. Со справкой, что «прослушал полный курс, но не сдал экзамен по истории КПСС». Это уже была работа одесского Комитета, о чем я тогда не знал, полагая, что дело только в декане истфака. А персонально Комитет вышел на меня лишь год спустя, в 1974-м, уже в деле с «Архипелагом ГУЛАГ».

Это не была просто очередная история с самиздатской книжкой. Шло лето 1974 года, солженицынский «ГУЛАГ» тогда только начинал распространяться в СССР. На Украине поменялось партруководство, ушел Петро Шелест, его последние годы украинские диссиденты вспоминали как сравнительно вегетарианские. Пришел «чистильщиком» [Владимир] Щербицкий, сменилось руководство одесского КГБ, их стали трясти. Нужна была демонстрация закручивания гаек. Они давно подбирались к игруновской библиотеке и теперь решили с ней покончить. Это было большое предприятие, Одесса маленькая, а читателей много, и я думаю, что какой-то процент стучал. У меня было сильно развито культуртрегерское начало, и я дал почитать «ГУЛАГ» профессору Владимиру Сергеевичу Алексееву-Попову, историку Просвещения, с которым у меня были очень теплые отношения.

— **Это была книжка, перепечатка?**

— Это был основной тип местного самиздата — фотографии разворотов книги. Основная игруновская техника. Когда ко мне пришли, я сперва повел себя нагло, будучи уверен, что дом чист и у меня все в порядке. Почему-то я исключал, что они могли выйти сперва на Владимира Сергеевича. Не знаю почему, но это не пришло мне в голову. А они явились к нему и забрали Солженицына, книга была уже у них. Я до сих пор не знаю точно и, честно говоря, не пытался понять, как это произошло. Алексеев-

СВЕДЕНИЯ				О РАБОТЕ		
№ записи	Дата			Сведения о приеме на работу и увольнении	работу, перемещении по (с указанием причин)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
	Год	Месяц	Число			
1	2			3		4
				Информация о работе в ДК ВЛКСМ		
1.	1974	12	09	Временно работал на научном сотрудником сектора истории ВЛКСМ 1. зав. отделом кадров: [подпись]	Тр. № 426 от 20/12-74г.	
	1975	02	08			
2.	1975	III	18	Обиделовское среднее СПТУ-11 Зачислен на работу преподавателем истории. [подпись]	Тр. № 100 от 18/III-1975г.	
3.	1975	07	18	Уволен по ст. 38 п. 307 по своей воле Высокому начальнику [подпись]	Тр. № 303 от 21/VI-75г.	

Попов называл мне одного своего подозрительного знакомого, который мог видеть у него книгу... Думаю, он просто никогда не выпадал из поля зрения Комитета — он же старая одесская мишень, с большими связями в культурной среде. Его еще во время борьбы с космополитизмом пытались изгнать из университета. Короче, мне был поставлен такой детский мат, что стыдно рассказывать. Пока я с апломбом умничал [с КГБ], они меня вдруг срезали, достав из стола мой «Архипелаг» — которого у них быть не могло! И тут внутри меня очень нехорошо защелкнуло на Игрунова, которому я сказал про Попова: ага, вот кто меня выдал! В таких случаях из человека лезет тайный неадекват, и у меня он был — недоверие левого по отношению к антикоммунисту Игрунову. С моей тогдашней точки зрения, антикоммунист запросто мог сдать. И они меня на этом раскрутили, я им все расписал и дал совершенно омерзительные показания обо всем, что я у Игрунова брал.

Тут комитетские страшно обрадовались. И сделали ошибку, поскольку тут же захотели меня повести дальше. Почувствовав мою склонность к игре, соблазняли большой игрой вокруг библиотеки самиздата, чтобы, превратив меня в свою фигуру, внедрить к Игрунову. Но это же Одесское ГБ, одесситы — банальные люди. Начиная с того, что совершенно по-булгаковски один из них представ-

Трудовая книжка
© Из архива
Глеба Павловского

лялся «Александром Сергеевичем», другой — «Николаем Васильевичем». Впрочем, один из них потом действительно оказался Александром Сергеевичем, про другого не знаю (*смеется*). Сатанизм в одесском исполнении и их казенные коридоры у меня вызвали тайный смех. И вдруг я почувствовал во всем такой дух ЖЭКа, такой советский коммунхоз, что потерял к игре с ними всякий интерес. Кончилось дело тем, что я пошел к Игрунову, а они, отследив это, испугались и назавтра устроили у него обыск. Забрали до фигища самиздата — а у него его всегда было много — и стали варить большое одесское дело. Мне вынесли официальное предостережение по указу, на бумаге под подпись. Профилактировали, так это тогда называлось.

Через полгода Игрунова арестовали и посадили. Я должен был стать одним из главных свидетелей, ведь мои показания у них были, но этого не получилось. К тому времени я уже не собирался иметь с ними дело, а за арест Вячека страшно рассердился. И на суде я просто забрал свои показания в КГБ — причем в той форме, которая помешала им включить их в приговор. Как мне объяснила Татьяна Ходорович, просто отрицать прежние показания нельзя — если меняешь показания, суд сам решит, какие выбрать. Надо было тупо повторять, что отказываешься от любых показаний вообще, ничего не оспаривая и не подтверждая. Что довольно трудно. Они меня долго держали в зале суда, зачитывали и говорили: «Это же ваши показания! Это же вы писали? Что за подпись внизу стоит?» — а я тупо повторял, что от показаний отказываюсь. Да, мол, там написано «Павловский», но я отказываюсь от показаний... В итоге суд вынес постановление о привлечении меня за отказ от дачи показаний, но из приговора Игрунову мои показания сняли. Игрунов получил смешной приговор — его признали невменяемым, но приговорили к лечению в обычной больнице общего типа, куда всем можно ходить. И он провел на Слободке, где все его посещали, несколько месяцев, потом его выпустили. Шел зенит «детанта», 1976 год.

Но благодаря делу Игрунова КГБ меня окончательно втащил в Движение, как мы его с большой буквы писали. Я даже переселился к нему, чтобы сжечь все мосты. Снимал такую одесскую пристроечку во дворе, где есть окно, печка, стул, стол и кровать, больше там ничего не может в принципе поместиться.

— **Это очень важный момент — «силовой контакт», как сейчас бы выразились, с КГБ определял причастность человека к Движению.**

— Не определял, а заставлял определиться: либо — либо. Они сами меня заставили сделать выбор. Я ведь как раньше думал — что буду жить, займусь наукой, буду читать книжки, а выбора делать не стану. А мои фантазии о революции были бы просто темой эссе да бесед с московскими интеллектуалами. Но КГБ всю эту двойную конструкцию развалил, и я вдруг оказался видным одесским диссидентом. Что в свете киевских нравов было очень

опасно, как показывал пример такого местного протестанта, как Леня Тымчук. Он выковырял из стены микрофон прослушки, а ему сделали липовое дело с изнасилованием. Это украинский стиль, в Москве тогда такого еще не было. Просто подъезжает «рафик» с мнимой жертвой и двумя лжесвидетелями, втаскивают тебя и везут в отделение, где составляют протокол об изнасиловании. И поехал на зону. Украинские комитетчики славились в СССР отморозенностью.

Тогда я уже решил сбежать в Москву. Там жил Гефтер, с которым мы познакомились в 1970 году и с 1972—1973 года дружили. Приезжая в Москву, я останавливался у него или у Генриха Батищева. И когда меня выгнали из университета, я в Москве искал работу и жил у него.

— А как тогда это было возможно? Вы переехали из Одессы в Москву, а прописка? Как это решалось?

— Никакой прописки не было у меня вовсе. Когда мы начали ездить в Москву, то спали чаще всего на Ярославском вокзале. На втором этаже там было милое и опрятное место, скамьи удобные из гнутой фанеры, милиция гуманно не мешала спать на скамьях с 12 до 6. После шести утра будила, и можно было спать только сидя. А я сбежал из села, где преподавал, и сбежал, естественно, без трудовой книжки. Работать было нельзя. Свою первую трудовую книжку я получил в Москве, вовсе не имея прописки.

— И как это удалось?

— Запросто. Я был дружен с Леном Карпинским, очень сильным политическим мыслителем, в этом качестве сегодня совсем неизвестным. В прошлом он был чуть ли не секретарь ЦК комсомола. В это время он уже был отовсюду изгнан, но «шестидесятники» были настоящей мафией, очень крепкой, в отличие от «семидесятников». Лен просто снял трубку и позвонил старому другу — ректору Высшей комсомольской школы в Вешняках. А тогда это было закрытое режимное заведение, где учились всякие латиноамериканские подпольщики. И тот меня оформил временно на полставки. Я два месяца там проработал лаборантом, потом, конечно, вылетел, зато уже с книжкой. У меня первая запись в трудовой книжке стоит из московской ВКШ. И это было в период, когда в Одессе меня с собаками искали, а я себе жил у Гефтера, работая в Высшей комсомольской школе. Система была очень неоднородной, дырявой. В тот период я был близок с кругом Вени Ерофеева, даже в сквоте одно время жил вместе с ним.

В 1976 году я окончательно уехал [из Одессы]. Я пошел на тотальный разрыв с системой, дауншифтинг, как бы теперь сказали. Я уже был женат, у меня был сын, и надо было работать. Но как только я куда-нибудь устраивался учителем, КГБ меня начинал выжимать. В какой-то момент я понял, что так ничего не выйдет. Семья моя к этому времени распалась. В 1976 году одновременно, в один месяц, я развелся с женой, устроил скандал на суде Игрунова, бросил преподавание, вышел из комсомола и выучился на стоя-

ра, решив, что никогда больше не стану зависеть от государства. Наконец, уехал из Одессы под Москву, в Киржач, где устроился работать на стройке. Это было очень романтическое время. Я даже побродил с хиппи. И в 1977 году женился в Москве.

Но за зиму, пока я работал в Киржаче, я написал хороший разбор конституции. Знаете, есть такое отстойное подпольное занятие — писать конституции. Тогда как раз была принята новая Конституция СССР, брежневская, сильно хуже сталинской, на которую любили ссылаться правозащитники. И я поставил себе задачу как-то деконструировать — расколоть ее текст, как хакер ставит задачу расколоть программу. Вот отвратительный официальный текст, ни с какой стороны к нему не подойдешь, но даром, что ли, я Маркса читал и беседы Мамардашвили с Пятигорским о метатеории сознания? И я решил, что его расколю. За зиму на стройке я написал статью. Там много избыточных слов, но я был доволен. Это была неплохая для того времени герменевтика в стиле Карла Шмитта, дискурс новой конституции как государственно-правовой вещи. Статья понравилась людям в Москве, в частности, Гефтеру, [Валерию] Абрамкину и [Александру] Даниэлю, который ее пустил дальше. Корооче говоря, текст попал в круги, где проектировались журналы. А кругов было несколько. Тогда одновременно готовилось несколько самиздатских журналов. Абрамкин начал свой журнал «Воскресенье», Раиса Лерт и еще живой тогда Элькон Георгиевич Лейкин, старый зэк со времени партоппозиции, вместе с [Петром Абовиным-] Егидесом готовили журнал левых социалистов в пику Рою Медведеву. Одновременно в Одессе Игрунов готовил культурный оппозиционный журнал. В какой-то момент столы были сдвинуты — и все в итоге вылилось в журнал «Поиски». Введение — манифест для него — написал Гефтер, я его отредактировал.

— **«Поиски» родились сразу как платформа для объединения?**

— Да, скорее площадка поиска договоренности в Движении, чем просто толстый самиздатский журнал. Это было время после нескольких крахов и нескольких взлетов. В Москве начала 1970-х я застал самый конец эпохи Демократического движения. Внутри него существовал Комитет прав человека, но движение еще не называлось правозащитным. Права человека рассматривались тогда как часть общедемократической и культурной повестки.

— **Кем это персонально было представлено?**

— Для Запада в первую очередь представлено такими людьми, как [Петр] Якир, [Виктор] Красин, [Павел] Литвинов, [Валерий] Чалидзе и так далее.

— **Но это потерпело крах в 1973 году?**

— На деле Якира—Красина общелиберальный фронт раскололся. Когда я появился в Москве впервые в начале 70-х, якировское дело как раз развертывалось, сотню людей таскали на до-

просы, и либеральная профессура проклинала свою недавнюю оппозиционность. Даже Генриха Батищева таскали на допросы по делу Якира, а уж, казалось бы, где Гегель и где Якир... Демократическое движение 1960-х не считало себя политическим, оно было культурно-общественным, и в него легко включались самые разные люди. Это была типа сеть, большая и открытая, «диссидентством» это еще не называлось. Был очень вольготный культурный круг, в котором было почти безопасно участвовать. Очень колоритное время — йоги, поэты, коммунары, буддисты, — и мне это все ужасно нравилось! Нравилось, что такое широкое поле действия, которое я понимал тогда как поле для конструирования параллельных структур. Но я застал уже раскол советского либерализма. Уже шел погром.

Первыми в 1969—1970-м смяли «Новый мир» Твардовского и Институт истории, затем левадовский Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ). Институты грохнули так, что даже названия изменили. Чтобы задавить Институт истории, где ЦК сопротивлялась даже партийная организация, его поделили на два института, которые есть и сейчас. Прежде был один Институт истории — стал отдельно Институт отечественной истории и отдельно — всеобщей. Это сделали, чтобы разбить сообщество историков, которое не оправилось от этого по сей день. И ИКСИ был на оккупационном положении. Когда я туда зашел в 1972 году, в холле висела стенгазета с постановлениями нового партбюро. Им руководил присланный в роли гауляйтера партидеолог [Михаил] Руткевич, и, помнится, последний пункт был такой: «Тираж такой-то брошюры полностью уничтожить».

Все худшее в старом Демократическом движении произошло в 1972-м. Шло знаменитое дымное лето 1972-го. Москва долго помнила его, даже в романах Трифонова действие часто происходит летом 1972 года. Напряжение на советско-китайской границе росло. Повисло общее ощущение апокалипсиса. А уже осенью стало определенно ясно, что Якир и Красин дают показания.

Власти считали, что нанесли фатальный удар по Движению, но он стал стимулом для нового взлета диссидентства. Раскол либеральной среды породил последний всплеск публичного советского активизма. Осень 1973-го я помню уже как время подъема. У меня было совершенно ясное понимание, что кремлевская стена шатается. Тогда для радикальных перемен чуть-чуть не хватило политического импульса. В центр событий теперь выдвинулись Сахаров и Солженицын с принципом личного противостояния. Все начало склеиваться по-другому, и склейка состоялась осенью 1973 года. Как я понимаю, в Кремле началась некая метафизическая паника. Только в панике они могли пойти на такое экзотическое дело, как высылка Солженицына. Ведь все мы еще в школе учили, что из СССР выслали Троцкого!

Тогда вообще шло несколько инновационных процессов. Режим прибегал к инновациям, которые нельзя было легитимизиро-

вать по правилам того же режима. Например, выезд для евреев в Израиль. Что такое выезд из СССР, откуда никому не было выезда вообще? Раз выезд есть для некоторых, значит, и стены уже нет. Мы росли в уверенности, что отсюда можно выехать, только если ты моряк или если ты Евтушенко (*смеется*). Ну, кто-то переплывал Черное море до Турции, но это для любителей экстрима. А тут вдруг легальное окно на границе. И затем высылка Солженицына. Они сами устроили из этого колоссальное мировое шоу.

— **Вспомните свои ощущения февраля 1974 года. Для вас высылка Солженицына была неожиданностью?**

— Не столько неожиданностью, сколько историческим событием. Высылка была огромным потрясением, огромным! Но специфическим. Это было единоборство. Солженицын — очень талантливый режиссер, и он сделал из высылки великолепное шоу. Самолет ему подал КГБ, но в центре был он один. И очень верно все это разыграл. Собственно говоря, с декабря [1973-го] по февраль [1974-го] они с Сахаровым раскачали систему так, что к февралю их обсуждали люди, которые вообще о диссидентах прежде не знали. Противостояние вышло в массы. Собственно, здесь и начинается недолгий взлет диссидентства. Которое иногда именовали «Противостоянием».

— **А какие варианты действий по отношению к Солженицыну вы себе могли представить? Так сказать, мнение человека, причастного к Движению, но не понимающего кремлевскую кухню.**

— Здесь нужно сделать сноску, что для меня в это время уже не существовало давления советской системы в ее банальном смысле. Она стала для меня объектом воздействия. Я не смотрел телевизор, бросил читать советские газеты, хотя со школы был «крейзи» в смысле международных дел. Читал только самиздат, «Хронику текущих событий», слушал западное радио, но даже не это главное — я жил в мире, где испарился советский режим как давящая сила. Да, он сильный, конечно, и я мог бы объяснить, как он устроен, но теперь он для меня был только устарелой моделью, реликтом сбоя в советском проекте, и мне он не мешал, в сущности. Он был, как сказал бы Владимир Соломонович Библер, неким идеальным объектом, идеальным предметом, и я с ним экспериментировал. Среди других, действующих как я. Отчасти, действуя интеллектуально, открыто, публичным образом, мы возвращаем делам управляемость, вот в чем дело. СССР, некогда возникший как проект, опять становится управляемым политическим проектом.

Поэтому я наслаждался зрелищем того, как Солженицын управляет не им созданной политической ситуацией. В каком-то смысле он переигрывал тех, кто решал, как с ним быть, он создавал для них очень узкий коридор. Он свел их с ума, Политбюро чуть не потеряло тогда управление ситуацией.



Страница
из протокола обыска
на квартире
Глеба Павловского
© Из архива
Глеба Павловского

Я хорошо понимал, что посадить им его легко, но одновременно и невозможно по правилам брежневской системы. Посадить человека за Солженицына легко, а самого Солженицына — нельзя. Потому что он принадлежит к тому слою, который Хрущев легитимизировал как сливки советского. Сахаров, Капица, Чуковский, Солженицын, Королев, Твардовский — это были советские нобели.

— В данном случае даже в буквальном смысле — «нобэли» (смеются).

— Да! Посадить Солженицына нельзя, для него придется строить отдельную тюрьму или сослать в Шушенское. Но это значило бы превратить его в воскресшего Ленина! Недаром после высылки его первой книгой станет «Ленин в Цюрихе». Я понимал, что это не значит, будто власть ничего не сделает. Он подводил их к невыносимой ситуации «политического дзэна», когда уже ничего сделать нельзя, ни одна из прежних стратегий расправы не подходит. Но и ничего не делать тоже нельзя. Облаяли во всех газетах, изгнали из всех советских организаций, назвали литературным власовцем, а дальше что? Тут харизма всемогущей власти вдруг испаряется, и все это видит.

Зимой 1973—1974-го система власти ненадолго полурасплавилась, пришла в «полужидкое» состояние. Многие считали, что раз нельзя посадить, то ничего и не сделают, но я знал, что так не бывает, что система в муках родит какой-то третий вариант. Им оказалась высылка, сразу придавшая диссидентству мировой масштаб. У советского противостояния возникло глобальное «плечо» в виде мировой поддержки. Это было грандиозно, но Движение при этом схлопнулось. Противостояние дальше шло внутри более узкой среды, на порядок более узкой, чем Демократическое движение.

— Вы сказали, что ваше окончательное обустройство в Москве совпало с крахом одних течений и взлетом других...

— Да, к 1974-му исчерпалось, закончилось старое Демократическое движение. И закончилось оно во многом потому, что от него бежали тогдашние либералы — те, кто работал в институтах, в журналах, часто партийные, кто подписывал коллективные



*Глеб Павловский
с Михаилом
Гелфтером за неде-
лю до ареста.
Москва, 1982
© Из архива
Глеба Павловского*

письма протеста... А тут ситуация, что подписал письмо — и милости просим вон из партии, а заодно с работы... Совсем другие наценки на личный поступок. Соответственно отслоилась бóльшая часть этой московской публики. Теперь говорят о «шестидесятниках», но это был, в общем-то, советский образованный класс. Солженицын нашел ему имя — «образованщина», адекватное, если его не понимать как ругательство. Вот она, образованщина, повернулась к нам спиной. Движение уже не могло остаться прежним.

Возникает новое, второе Движение, которое, собственно говоря, и является диссидентством. Оно не сразу, но очень быстро приняло это название, которое, конечно, было заимствовано из западной прессы. Я его не любил, но деваться некуда, ведь надо было дистанцироваться теперь и от «шестидесятников». Диссидент означало несогласный не только с властью, но и с лояльными ей силами. Вот в диссиденты я и попал.

Эпоха диссидентства была короткой, десятилетие с 1973-го до смерти Брежнева в 1982-м. «Поиски» пришли под занавес ее, тогда еще не понятый нами как финал. «Поиски» обдумывались и планировались в 1977-м, вышли в мае 1978 года, когда все уже шло под горку.

— Одновременно с судом над Юрием Орловым, который означал разгром Московской Хельсинкской группы.

— Да. Но Хельсинкская группа не мыслилась как единственная и ею не была. В Движении вообще никогда не было ставки на одну какую-то группу или одного лидера. Солженицына могли выслать на Запад, но не было и мысли, что можно выслать Сахарова. Тем более на Запад — по соображениям секретности. Главное, работала инерция двадцатилетней непрерывности Движения. Она создавалась не лидерами или организациями, а кадровой подпиткой снизу через самиздат. Как действовал «моральный карбюратор», подававший в Движение горючую смесь молодых кадров? Человека сажают, его друзей трясут по его «делу», и те начинают помогать арестованному. А тем самым мобилизуются в Движение. На место одного приходят двое-трое, потом арестованный откидывается по концу срока и опять включается в дело. Так ведь было и со мной.

1937 год в брежневской системе был невозможен, масштабные репрессии ее догмой были исключены — это все ясно понимали. Значит, будет действовать механизм мобилизации новичков. Поскольку я сам для себя был примером работы этого механизма, он мне казался естественным. Этот механизм работал с конца 60-х, и, несмотря на постепенно усиливающиеся репрессии, казалось, что это вечный двигатель. Только разрешение выезжать из СССР по израильской визе сломало эту механику, сбив мотивацию. Но, будучи внутри, я не видел, как польня с мерзает.

— Это очень интересно, потому что современный читатель (условно говоря, я сам), читая «Хронику текущих событий», ощущает по мере чтения, к концу 1970-х, кромешный ужас. Все, что он видит, — нарастающий вал арестов, отъездов, разгром всех проектов и инициатив. И вдруг возникают «Поиски». На что вы рассчитывали?

— Но вся «Хроника» с 1968 года была про вал обысков да арестов, и это мотивировало, а не расхолаживало. Парадокс в том, что все это вы читаете в «Хронике», которую сами получили от кого-то, далее размножили и распространяете. Из нее читатель узнавал, что в стране происходит нечто нечистое, чему не место в «передовом обществе». Самиздат и был основным сетевым механизмом мобилизации новичков в диссидентство. Но тут неизбежна — это и в большой политике бывает — иллюзия близости. Ведь изнутри тебе не видны края того поля, внутри которого сам действуешь. Для меня тогда все выглядело наоборот — шла интенсификация диссидентства. К середине 1970-х я уже сильно дистанцировался от моей первой московской среды вокруг Института философии. Владимир Соломонович Библер говорил мне несколько раз, что политика — прекрасная вещь, но это не логика. Это привело меня к тому, что я перестал ходить к нему на семинар. Батищев и Мамардашвили говорили примерно то же, я стал их избегать. Политически для меня это звучало как дискурс измены: полезли на рожон — выпутывайтесь как знаете.

Гефтер же, наоборот, шел в обратную сторону и этим был мне все ближе. Он ведь до разгрома Института истории и его сектора

методологии был очень этаблированный человек. Он себе и позволял больше многих, будучи другом гуманитарных академиков, [бывшего главного редактора «Правды» и вице-президента АН СССР, члена Президиума АН СССР Алексея] Румянцева и других, позволял себе дерзить [заведующему Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС Сергею] Трапезникову, чего уже не смели другие. В то же время, еще в 1960-х, к нему ходил советоваться Григорий Соломонович [Померанц] перед выступлениями по политическим вопросам. Гефтер долго был фигурой «на грани легального», но теперь он радикализовался. Нас с ним сближали и реакции на тогдашние дела. В частности, он тоже недолго любил столичную либеральную публику. К которой сам принадлежал. В либеральной среде была раздраженная реакция на публицистику Солженицына. И реакция Гефтера была совсем иной, нежели у, условно говоря, «новомирской» публики. Он сразу принял радикальный критицизм Солженицына. «Образованщина» и мною, и им была принята полностью. В порядке самокритики, так сказать. Он даже более, чем я, жестко относился к [Рою] Медведеву. В споре Сахарова с Солженицыным, при его личной близости к Сахарову, Гефтер все же был идейно на стороне второго. У нас был целый ряд очень близких реакций.

— **Что, казалось бы, парадоксально в связи с вашей левой ориентированностью.**

— Дело в том, что я был слишком радикален для того, чтобы меня всерьез заинтересовали социалисты. Они были скучны, как троцкисты. Я был, с моей точки зрения, радикальнее тех и других. Но это, я бы сказал, был философский экстремизм. Я не хотел ни строить в СССР социал-демократию, ни возвращаться к «ленинским основам». Я искал инструменты управления системой. Марксизм был для меня проектной технологией. И на пункте, что марксизм теперь обязан стать «постсолженицынским», а все прочие умеренные его варианты неинтересны, мы спелись с Гефтером полностью. Я и в самиздате эту тему проводил еще с Одессы, и в «Поисках».

— **Когда вам стало понятно, что «Поиски» раздавят?**

— Странно, конечно, но я об этом почти до конца не думал. К тому же мне казалось, что мы опережаем неповоротливую систему и выиграем на опережении. Надо понимать, что в «Поисках», да и в Движении я был довольно странной фигурой. Мне была интересна практика открытого альтернативного действия. Поэтому мне был ближе отчаянно радикальный Валерий Абрамкин. А социал-демократические статьи Петра Марковича Егидеса я по возможности саботировал, опираясь на литературный вкус Раисы Борисовны Лерт — социалистки «по Оскару Уйальду». Зато я организовывал движение материалов, впервые стал редактировать и вошел во вкус, и мне понравился сам процесс редактирования. Я и мыслил себя как практика, техника, если хотите. Мне нравилось перепечатывать, издавать... Ведь я одновременно

еще работал в подпольной дизайнерской фирме в это же самое время. И они [в КГБ] так и не нашли, не отловили этот момент.

У моего очень старого друга, одного из первых людей, с которыми я в Москве познакомился, была дизайнерская фирма. Сам он на волне «ню-эйдж» конца 1960-х, защитив докторскую по физике, ушел сперва в театр, потом в йоги... Теперь он известный психотерапевт, а тогда у него была фирма для таких аутсайдеров, как я. Она очень интересно работала, на разовых работах. Если тебе надо вдруг заработать, прямо сейчас нужны деньги — приходишь к нему, называешь, когда и в какое время ты можешь поработать, и он начинает обзванивать Москву. Допустим, на окружной железной дороге надо выкосить бурьян или выкрасить тупичок. Или полы где-то отциклевать. Скосил бурьян, получил свою десятку в день на руки — и доволен. Или красишь крыши. Вот я красил мост под Юхновом, это было тоже сильное переживание в моей жизни.

— **То есть к нему стекались заказы.**

— Да, он был сам шеф и сам логистический диспетчер. Естественно, ему бы не поздоровилось, если б его поймали. И он же создал дизайнерскую фирму, которая делала интерьеры разным жилкомхозовским людям, а те за это давали ключи от квартир в пустующих арбатских домах. Такие расселенные под капремонт дома стояли годами пустые, с горячей водой, с телефоном и мебелью старых хозяев, сейчас сказали бы — антикварной; впрочем, тогда не ценили антикварную мебель. Я получил возможность жить в Староконюшенном переулке, и в доме, где теперь камбоджийское посольство, у меня была столярная мастерская. Там же я держал «Поиски», там редактировал и тиражировал их. Поэтому ни при одном из многочисленных обысков журнала у меня так и не нашли.

— **Какой был тираж?**

— Трудно сказать, ведь это самиздат. Тиражей делалось несколько кроме моего. Соня Сорокина делала тираж, [Юрий] Гримм делал тираж, [Владимир] Гершуни делал тираж, Лев Копелев, насколько я знаю, тоже. Не было номинального тиража. Микротираж — это одна закладка, 15 штук на папиросной бумаге. Посчитать все вместе трудно, но, я думаю, в целом не больше 150 экземпляров по Москве — до переиздания журнала на Западе.

— **Почему вы появились там под псевдонимом Прыжов сначала?**

— Потому что я вообще прежде писал в самиздате под псевдонимом. Но, собственно говоря, псевдонимной была только статья о конституции в первом номере. Со второго я псевдоним снял и печатался уже под своей фамилией. Это уже был политический проект, а не журнальный. Кстати, думаю, что в целом демонстративная публичность редакции была нашей ошибкой — хороший журнал в самиздате так делать долго невозможно.

— **В этом смысле, может быть, становится понятно то ожесточение, с которым КГБ боролся с ним.**

— С 1979 года КГБ вообще приступил к фронтальной ликвидации Движения. У них была своя тактика, теперь она известна, но ее надо рассматривать отдельно. Для КГБ «Поиски» были просто еще одним центром оппозиционной мобилизации. Отчасти они правы: проект был в том, чтобы склеить расходившиеся сектора диссидентства — а те реально расходились. Основная линия раскола шла по национальным секторам, но были другие. Легальность-подпольность, самиздат-тамиздат, правые и левые. За всем этим стояли еще и поколенческие различия. Укреплялись группы, ориентированные в первую очередь на тамиздат. Скажем, «Метр6поль» с самого начала делался для печатания на Западе. Его выход в самиздате (в виде большого фолианта *in octavo*) был просто арт-объектом. Распространялся он в таком виде только внутри писательского дома у метро «Аэропорт».

Я тогда очень тесно сотрудничал с прекрасными людьми — [Львом] Копелевым и Раей Орловой, их квартира была, можно сказать, тогда одной из наших опорных точек. Они реально помогали, много и охотно, и никогда не отказывали. Потому что интеллигентный человек умеет легко уклониться, если хочет. Копелевы были «шлюзами» между нами и той средой, которая переориентировалась на тамиздат и в целом далее, на отъезд. Надо понимать, что тамиздат к началу 80-х невольно обесмыслил самиздат: инопечатные издания расходились шире, но они перестали включать читающего в Движение.

Через Копелевых пришел [Фазиль] Искандер, [Владимир] Войнович. Войнович тоже присылал нам каких-то писателей. Я горжусь тем, что я первый в СССР напечатал Игоря Померанцева, два его эссе, — в «Поисках». Юрий Домбровский дал нам свой самый мрачный рассказ и стихи. Он умер почти сразу, еще при начале «Поисков». Нас с ним свел скульптор Федот Сучков. Померанца я нашел, работая в ИНИОНе, вот еще любопытный пример ячеистой структуры советского общества. ИНИОН ведь был абсолютно закрытой организацией. Она издавала литературу под номерами для номенклатуры, и там жестокий режим пропуска. Но я пришел с улицы в хозотдел, нанялся в качестве столяра-краснодеревщика и стал царем по всем дверям и замкам. У меня была гигантская мастерская в подвале, с отдельным ходом на улицу. После конца рабочего дня весь ИНИОН был моим. И там же тогда работал Григорий Соломонович, которого я затащил в «Поиски». И его участие тоже было открытым. Раньше он делал вид, как все, что тексты сами уходят в самиздат, а теперь уже просто открыто писал нам. Впервые это было его эссе о Толстом и «Сон о справедливом возмездии» — большой текст спора с Солженицыным.

У меня была страсть к изданию журнала. Она долго, 40 лет, меня мучила, эта страсть, исторически свойственная людям, которые хотели что-то менять в России. У нас ведь с XIX века считалось, что политика начинается с создания журнала. С другой

стороны, мне технологически интересно было построить механизм влияния на страну, создать независимый от власти коммуникатор.

Первые обыски у нас были в январе 1979-го. И хоть Абрамкина еще не посадили, но уже стало заметно, что на место старых новые люди в Движение не придут. Рубежом была середина 1979 года, когда развернулись предрелигиозные чистки. За каждым ходила и ездила «наружка», практически работать стало трудно. После первых обысков наблюдение уже было непрерывным. Первые четыре номера «Поисков» мы успели издать, проскочили, а тираж пятого забрали у Сорокиных, и началось «дело «Поисков». Было понятно, что журнал забрел в какой-то пятый угол. Ведь издание журнала — это работа с авторами, поиск и заказ новых текстов, а как это делать, когда за тобой ездит по двести три машины наблюдения? Даже когда мы работали в лесу на порубках, и там была слежка. Было видно, как «грибники» ходят по двое, по трое, фотографируют. Когда уже и в лесу следят (*смеется*), ясно, к чему идет.

Собственно, для «Поисков» начался их последний, «экзистенциальный», период, самый отчаянный в человеческом смысле. С конца 1979-го была масса драм. Их запустил арест Абрамкина [4 декабря 1979 года], но еще раньше возникла ситуация шантажа КГБ: остановите журнал или посадим Абрамкина. Абрамкин решил для себя не принимать условия КГБ: еще один номер — и его арест. Впрочем, его арестовали все равно. А когда его арестовали, был ряд драматических споров и обсуждений в редакции. Егидес решил уезжать, Гефтер, я и [Виктор] Сокирко выступали за то, чтобы сделать паузу в издании. Старики — в первую очередь Егидес и Володя Гершуни, возможно, еще Юра Гримм, сейчас не скажу точно — выступали с непримиримыми заявлениями о том, что мы не подчинимся давлению. Но реально продолжать редакционную работу все равно было нельзя.

Кончилось тем, что Гефтер написал заявление о том, что редакция идет на «паузу». Однако я сам вовсе не собирался на нее идти и втайне готовил следующие номера. Потом был еще один удар: арест Вити Сорокина и Вити Сокирко 22 января [1980 года] — в день, когда высылали Сахарова в Горький. У меня был тогда очень долгий обыск, но журнала опять не нашли. Хотя записку жене, где было написано «брось за шкаф», они тщательно скопировали в протокол, но сами за шкаф не заглянули. Привезли меня на Лубянку. Какой-то генерал, возможно, [Филипп] Бобков, не знаю, орал: «Сирот плодите!» Требовали капитулировать и разоружиться. Я отказался, они вызвали машину [везти в тюрьму], я сказал: «Пожалуйста». Но потом, минут через 10, предложили уехать из страны. Я согласился, думаю, просто чтобы получить лишнее время для дальнейшей игры.

Я написал под их диктовку бумагу, что «обязуюсь покинуть пределы Советского Союза в течение 30 дней» — без каких-либо уточнений. Потом они заставили дописать туда еще строчку, что



Бутырская
тюрьма.
6 апреля 1982
© Из архива
Глеба Павловского

я обязуюсь за рубежом не наносить вреда СССР, я гордо сказал — нет, напишу «народам России». Меня отпустили, велели идти в ОВИР.

Подумав, я в конце концов решил не уезжать. Сперва просто не пошел искать ОВИР. Я лентяй и в Москве, как одессит, плохо ориентировался, я не любил ходить в места, которых не знаю. Сперва я просто тянул, советовался с друзьями, Гефтер, естественно, все это переживал драматически, но говорил — надо ехать. Копелевы тоже говорили, что надо уезжать: «в эмиграции очень нужны либеральные почвенники». У них и Синявского тогда шла война с группой «Континента», с [Владимиром] Максимовым.

Важен был разговор с Сеней Рогинским. Мы долго ходили и обсуждали мой вопрос. И, в общем, сошлись на выводе, что, уезжая, человек рискует потерять внутреннюю мотивацию. Сеня назвал это «иглочки» — если тебя перестают покалывать советские иглочки, хрен знает, что будешь делать. Это был очень важный разговор, и я по сей день благодарен Сене за тот «разбор кейса». Были, конечно, и личные причины не ехать. Но главное, думаю, — вера, что мой предмет деятельности здесь, внутри: это страна. Короче говоря, я решил не уезжать.

— Как вся эта история закончилась тем, что на суде вы признали себя виновным и согласились с обвинением?

— Нет, это еще было задолго до ареста в 1982 году — на Лубянку меня привезли 22 января 1980 года. Через месяц я им сказал, что решил не ехать. После этого мы долго согласовывали договоренность об условиях моего неотъезда и жизни в СССР. Составили бумагу на двух страницах. Главным в ней была формула, что «я отказываюсь от всех видов политической деятельности, как официальной, так и неофициальной». Смешной квазидипломатический протокол, которым я тогда очень гордился. Впрочем, немедленно после этого я его нарушил. В течение 1980 года подготовил еще три номера «Поисков» и вопреки только что подписанному протоколу их выпустил. А потом был суд над Абрамкиным, где в припадке слепого бешенства я запустил кирпичом в окно Мосгорсуда, тогда он был на Каланчевке, где теперь Басманный, кажется. Убегая по крышам, сломал ногу. Если бы меня поймали тогда, наверное, посадили бы по злостной хулиганке, и все. Но меня не поймали, а когда стемнело, Виктор Томачинский с Линой Горган меня вытащили оттуда и отвезли в Склиф к знакомому врачу.

— А в КГБ узнали, что кирпич бросили вы?

— Не сразу. Но многое потом было связано именно с тем, что узнали. Меня положили в Склиф под чужой фамилией, с чужим паспортом, и там полулегально сделали операцию. Отчего я так потом и не вынул из ноги железо, иначе заложил бы хозяина паспорта. Но уже в начале 1981-го в КГБ узнали, кто кинул кирпич. Вызвали меня, я со сломанной ногой к ним пришел, на костылях,



Ворота Мосгорсуда на Каланчевке в день суда над Валерием Абрамкиным. На заднем плане — крыша гаража, с которой Глеб Павловский бросил в окно суда кирпич. 1980
© Из архива Глеба Павловского

ногу-то не спрячешь. Сказали: Глеб Олегович, зачем же вы нас дурачили? Теперь пеняйте сами на себя.

Но они так и не смогли доказать этот эпизод... Попытались снять отпечатки с пыльного кирпича и не смогли. Тем более по хулиганке надо брать на месте преступления. Короче, не посадили меня тогда.

Пока я лежал в Склифосовском, я окончательно разочаровался в идее противостояния и в диссидентстве. Отчасти под влиянием тогдашних польских и чешских дебатов о Хартии-77 и пределах компромисса и я стал сторонником диалога с властью. В Польше и Чехословакии шли дебаты об этом, я кое-что из них поместил в последнем номере «Поисков». И стал в тогдашней манере писать обращения в самиздате, призывая искать путь взаимодействия с властью. Открытое письмо Софье Васильевне Каллистратовой, открытое письмо Сокирко, Игрунову.... Я считал, что диссидентство должно от противостояния перейти к поиску компромисса с властью. Но не понимал, что для этого надо быть силой.

Я никогда прежде не писал писем властям и не подписывал их, а тут вдруг начал забрасывать Политбюро письмами... Писал Брежневу, писал Андропову. Возникла целая большая переписка, правда, она была односторонней. Мне писали положенные отписки — «получено, передано». Все это был политический дилетантизм. Как-то мне сказали, что в окружении Брежнева усиливается Черненко, и я Черненко написал тоже. Трудно представить что-то глупее, чем писать Черненко, будучи под надзором у его врага Андропова! Тогда же я много читал по кибернетике, системному подходу и теории управления, стал большим поклонником модели Римского клуба. Его создатель Аурелио Печчеи меня, можно сказать, всего перепыхал, как Ленина Чернышевский. Книга Печчеи

«Человеческие качества» как раз вышла в 1981 году в русском переводе. И я думал: вот ведь какую крутую штуку, переворот в политике, может залудить один-единственный человек! Я укреплялся в идее создать рычаг давления одновременно и на Кремль, и на Движение. Смешно, но я еще и намеревался в этом качестве интегрироваться в советскую систему.

Стал думать, чем дальше играть, но играть особо было нечем, и в этом состоянии я наконец въехал в тюрьму... Меня просто включили в очередной эшелон на посадку. В день, когда меня арестовали [6 апреля 1982 года], арестовали еще кучу народу из самых разных групп. Там были и националисты, и левая группа «Вариант». Впервые был большой обыск у Гефтера, когда уже и Гефтер сам ждал ареста.

Мне в это время уже стало неинтересно диссидентство как таковое, хотелось заниматься политикой диалога ради спасения СССР. Но идея заняться политикой диалога в Бутырке была плохая. Я, как полный идиот, не понял: чтобы тебя признавали за политическую силу, ты не должен сдаваться, наоборот — надо упорствовать. Особенно когда хочешь вести умеренную линию, следует лично вести себя более твердо. Следствие хотело от меня, естественно, показаний на друзей, а я, естественно, показания давал любые, кроме тех, что им было надо. Когда мне сказал адвокат, что [Виктор и Соня] Сорокины уехали на Запад, я и их добавил в показания. Меня много допрашивали по разным делам — и по Томачинскому, и по Смирнову, и по Абрамкину. Ни на кого из действующих лиц я компрометирующих показаний не дал, это для меня был важный момент того, что я считал тогда основой «новой позиции». Но, конечно, позиции в этом не было, а была сделка.

Комитетские это сразу поняли и говорят: «Вы что, с нами опять играть решили? Играть не получится. Тогда, если хотите смягчения приговора, для вас остается политическое раскаяние». И в Бутырке гэбэшник, который курировал дело — формально оно шло через Московскую прокуратуру, — написал мне четыре пункта: признать себя виновным, осудить «Поиски», осудить Егидеса, осудить издание «Поисков» на Западе — там возникло уже что-то типа комитета, и сын Григоренко переиздавал там продолжение журнала. Я так и сделал. На суде признал себя виновным, приведя софистический аргумент: поскольку меня признают виновным, то я соответственно и виновен в рамках этой статьи. Естественно, выпускать меня, как Витю Сокирко [осужденного в 1980 году условно], они не стали, признав «смягчающие обстоятельства», но отправили меня в ссылку. Я просил ссылку в Одессу, как Пушкин, но меня отправили в Коми АССР.

— **А почему выпустили Сокирко?**

— Сокирко занял компромиссную позицию, причем в более вегетарианское время — годом раньше. И то из-за него разгоре-



*Глеб Павловский
и Аркадий Шурков
в ссылке, в вагон-
чике Павловского.
Декабрь 1985
© Из архива
Глеба Павловского*

лась ужасная диссидентская склока. Собственно, последние дебаты вокруг «Поисков» были связаны с так называемым делом Сокирко. В чем поучаствовала и отчасти перессорилась масса народу — Софья Каллистратова, Гефтер, Раиса Лерт, Померанец: имел Сокирко право или не имел [написать покаянное заявление] и так далее. Я тогда, еще будучи на свободе, резко выступал в защиту его позиции. Сокирко уж точно никогда не был этическим радикалом, у него даже псевдоним был «Буржуадемов». Он призывал к диалогу диссидентов с «народными сталинистами». Собственно, и открытое письмо Каллистратовой, резко антидиссидентское, я писал по поводу Сокирко, в его защиту. Та история отвратила меня от диссидентской концепции противостояния властям.

Но должен сказать, что для нашего круга «раскаяние Павловского» на суде в августе 1982-го было нешуточным горем. Как бы я тогда ни обосновывал свои действия (а мои обоснования были еще хуже моих действий), я сознавал, что отступничеством ломаю дорогих мне людей. Потому что «Поиски» были общиной внутри тесного, сужавшегося под ударами человеческого круга. Саня Даниэль после говорил мне: «Ты же еще прежде свою позицию заявил как “государственник” и сторонник компромисса, я ничему не удивился» — но все прочие были законно возмущены. Члены редакции и близкие мне люди, даже Гефтер. У нас с ним настал глубокий кризис отношений. И хотя тогда мы перешли на «ты», ему своим падением я нанес реальный удар, он такого не ждал. Потом уже я узнал, что вокруг проекта моего освобождения Игрунов вел сложную политическую интригу с КГБ. Он думал построить вокруг моего казуса модель компромисса с государством,

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 274

Фамилия Павловский Осужден (а) 18 август 1982г.

Имя Л. ЛЕБ Отчество Олегович Срок наказания 5 лет ссылки

1951 г. Одесса Начало срока 6.04.1982

год и место рождения

Конец срока наказания 24 декабря 85

Проживает по адресу ул. Богородицы

район

Действительно по 24 декабря 1985г.

Паспорт серия 11-НА № 635676


16/ХТ-77 Киржасовский ОВД, Анжуй

когда и кем выдан

Начальник РОВД ГОВА И. Д. Шелест

личная подпись

подпись



форма печати ОВД

обсуждавшуюся нами ранее в переписке. То есть они меня выпускают на определенных условиях, эти условия мной далее соблюдаются и превращаются в прецедент смены политики в отношении Движения. Но я ничего такого не знал, а моя сдача все эти переговоры сломала.

И после начинаются главные последствия, они же психологические. Ты же осознаешь, что преступил некое табу. Все-таки диссидентство было племенем внутри советского мира и имело свои внутренние табу. Не только нравственные запреты в обычном смысле, а нечто более глубокое. Одни табу — скажем, на выдачу людей — я сохранил и за это держался, но табу на признание себя виновным я нарушил! А это табу было связано с основой личной идентичности как независимой легальности. Императив, позволявший жить в советском обществе вне рубрики «советский/антисоветский», разработанный еще Есениным-Вольпиным и Чалидзе в 60-е годы. Я чувствовал себя туземцем, который, нарушив табу своего племени, обязан лечь и умереть в слезах. Первый год в ссылке был для меня внутренне страшен. К тому же в 1983-м в лагере умер мой близкий друг Витя Томачинский, фактически необъявленный сотрудник редакции «Поисков». Но далее я оклемался, в значительной степени благодаря письмам Абрамкина и Гефтера. Еще вытягивала работа с гефтеровскими бумагами — заочная, естественно.

— **Какой приговор вы получили?**

— Пять лет ссылки, по смягчающим обстоятельствам. Но перед этим около года провел в Бутырке, а день тюрьмы идет за три дня ссылки, и мне оставалось три года в Коми. В ссылку я поехал в день, когда умер Брежнев, — в этот день я поехал на этап. Когда камеры вели на прогулку, каждую встречал замначальника тюрьмы и говорил шепотом: «Товарищи, тише — Леонид Ильич умер». Естественно, вся Бутырка — а она, можно сказать, посреди Москвы — орала: «Ура!» На пересылке я отментов хлебнул лиха, но в общем Бог миловал. И рецидивисты

Удостоверение
ссылного

© Из архива

Глеба Павловского

защищали. Я был вроде как политический, и меня полосатики так называемые в обиду не давали. А на пересылке принимали менты с деревянными молотками-киянками, пока бежал через коридор. Длинный такой коридор, почти бежишь быстро-быстро, а вертухаи тебя — кияночками... Наконец довели до места и выпустили.

Смешной момент был на дороге к Ухте. Везли меня на эковозке в «стакане» в Троицко-Печорск, был гололед, и машина съехала с дороги. Менты выгнали эков наружу, и мы все вместе с ними толкали, вытаскивали эту падлу из кювета. Она была очень тяжелой и ледяной, а для меня это был важный инсайт советской жизни — вертухаи с эками толкают машину, и никто не сбежал! А там серьезные ребята вообще-то ехали, один я был с мягкой статьей. В Троицко-Печорске я провел все три года до конца срока [25 декабря 1985 года]. Там еще тогда жили в ссылке из политических старый украинский национал Иван Гель и диссидент Валера Репин из Ленинграда. А под конец добавился еврокоммунист-подпольщик Аркадий Цурков с женой Ирой.

— **У вас потом был «минус», наверное?**

— Да. Прежде «минус» был неформальный, но при Горбачеве приняли специальный указ, летом 1985 года. Теперь политическим законодательно запрещалось жить в крупных городах. До того долго «минуса» не было как законодательной нормы, после Сталина не существовало. Она была возвращена при Горбачеве, в 1985 году.

— **Тем не менее вы вернулись в Москву.**

— Да, я вернулся в Москву. Сперва как не уволившийся, номинально работающий и прописанный в Коми. У меня три месяца отпуска накопились, и формально я был в положняке — с пропиской. Но с лета 1986-го стали меня ловить, и у меня было уже два оформленных протокола о нарушении режима. Однако в то же самое время я стал членом первого в Москве политического «Клуба социальных инициатив», который мы тогда, в сентябре 1986-го, создали. Началось парадоксальное время взлета «неформалов», когда, с одной стороны, домой шли повестки из милиции, а с другой, я в составе «Клуба социальных инициатив» требовал от властей помещений для клуба. И нас опасно принимали в райкоме. Время для всех стало непонятное, и пошло по-новому.

Я написал письмо Ельцину с протестом против выталкивания меня из Москвы. Большое политическое письмо, Сеня Рогинский, раньше вернувшийся из лагеря, мне помогал его править, вычеркивая слишком громкие слова. Шел 1986 год. Я направил письмо двумя путями — официальным и неофициальным. По официальному довольно быстро получил отказ, но был еще второй путь — через того же Лена Карпинского. 1986 год вообще был ничуть не либеральный, плохой. Знающие люди (в отличие от меня, я-то настоящему пайки не ломал) говорят, что 1985—1986 годы в зоне были тяжелые. Собственно, [Анатолий] Марченко умер в декабре 1986 года.

— **За две недели до освобождения Сахарова.**

— Ситуация начинает меняться только после смерти Марченко и отчасти в результате ее. В зоне ГУЛАГа никакого либерализма не было.

Письмо, отправленное через Лена, дошло Ельцину в руки. В этом еще как-то участвовал знакомый Ельцина из Свердловска, но вроде не из тех, кого он забрал в Москву. И потом была встреча не встреча — скорее, смотрины, где меня показали Борису Николаевичу. Дело было на Николиной Горе, на даче, но не у Лена. Он не сказал мне, чья это дача, большая дача. И меня, так сказать, привели в гости к неизвестному мне хозяину. Но не узнать Ельцина было трудно, хотя он ни слова не сказал, просто сидел и смотрел. А Лен чего-то в своем стиле говорил хозяину. Все они еще для меня были тогда на одно лицо как «старики», хотя, думаю, многие были помоложе меня нынешнего (*смеется*). А мне они казались старцами.

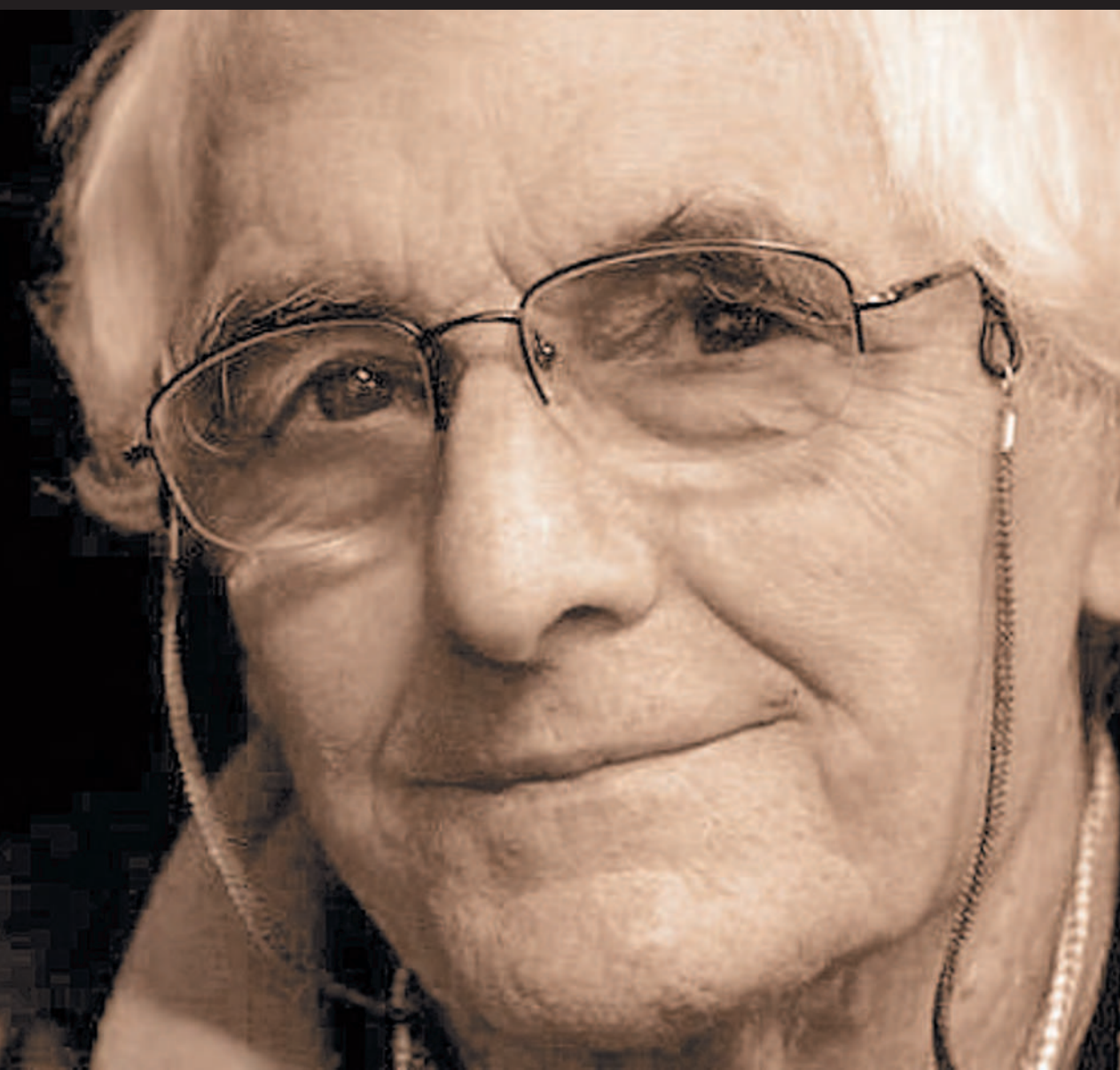
Лен рассказывал, какой я хороший, толковый парень и какой «государственный». Мне было, честно говоря, неприятно, и я ждал, чем все закончится.

Тем не менее в результате этой интриги я в конце декабря 1986 года получил бумагу, с которой пошел в милицию, и меня тут же прописали в Москве — временно. И потом я продлевал прописку каждые полгода, временная прописка у меня оставалась еще долго, несколько лет. На амнистию для политических я подавать не захотел. Уже давно работал в «Веке XX и мире», был директором ИА Postfactum, а у меня все еще была временная прописка. Но это совсем другая история, другие люди и журналы.

III

**«ДЛЯ ТЕХ, КТО СИДЕЛ И СОБИРАЛСЯ
СИДЕТЬ, ЭТО БЫЛА БОЛЬШАЯ
ОТДУШИНА»**

© Из архива Сергея Ходоровича



СЕРГЕЙ ХОДОРОВИЧ:

«Мы находили в себе силы противостоять идиотическому безумию»

— Как вы оказались в диссидентской среде? Кто был вашими проводниками в эту среду?

— Когда началась оттепель, стали появляться кое-какие шевеления, и я, входя уже во взрослый возраст, стал задумываться и смотреть по сторонам. И советское устройство жизни стало мне представляться... ну просто противоестественным. Ведь изначально человек знал, что у него есть какая-то национальность, представлял всегда Бога над собой и всегда понимал, что такое частная собственность. И вот этих трех основ жизни человека пытаются лишить! Национальность — это выдуманное, Бога нет, и частная собственность — от нее одно зло, которого быть не должно. И продолжали упорствовать в этом во всем, даже когда уже совсем очевидно стало, что эксперимент дал отрицательный результат, что далее жизнь так не может продолжаться.

Кстати, меня натолкнул на эти размышления о противоестественности коммунистического образа жизни Станислав Лем. У него есть рассказ о сообществе людей, в котором люди прониклись идеей, что человек должен жить под водой... Подключен мощный пропагандистский аппарат, разработаны методики, подготовлены и трудятся инструкторы, радио постоянно ведет репортажи о достижениях и рекордах в осваивании жизни под водой. Это очень похоже на то, что нам что-то противоестественное пытаются привить всю жизнь, потом уже и сами в это не верят, но по инерции все продолжают. В общем, вот так представлялось мне наше жиз-



Сергей Ходорович в квартире Александра и Арины Гинзбург. Москва, середина 1970-х
© Из архива Сергея Ходоровича

Сергей Дмитриевич Ходорович (8 февраля 1940, Сталинград) — правозащитник. В 1960 году окончил Барнаульский строительный техникум. В 1965—1972 годах жил в Крыму, с 1972 года — в Москве.

В 1977—1983 годах — распорядитель созданного на средства А.И. Солженицына Русского общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям. Арестован 7 апреля 1983 года. 15 декабря 1983 года приговорен к трем годам заключения. В лагере в Норильске обвинен в злостном нарушении режима, в апреле 1986 года приговорен к трем годам нового срока. Освобожден в конце марта 1987 года.

С мая 1987 года живет в Париже.



Слева направо:
первая жена
Сергея Ходоровича
Людмила, их дочь
Марина, племян-
ница Ходоровича
Татьяна Леденёва,
сын Татьяны
Ходорович Алек-
сандр Макушечев,
Сергей Ходорович.
Крым, конец
1960-х
© Из архива
Сергея Ходоровича

неустройство. И полное понимание своей ничтожности, никчемности, невозможности как-то действовать. Это начинало все больше и больше угнетать. Но, с другой стороны, что я мог сделать? А ничего не делать — тоже не мог...

Помню, ко мне в Крым приезжал друг из Новосибирска и с упоением слушал «голоса». И видя, что я скептически к этому отношусь, не рвусь слушать, говорит: «Почему ты не слушаешь? Тебе неинтересно, что ли?» Я говорю: «Ты знаешь, это на мазохизм похоже. Вот я слушаю то, то, то, ничего не делаю. Завтра я опять слушаю и ничего не делаю. И такое желание — лучше этого не слышать». Это больше всего тяготило. А в Москве уже явно началось общественное оживление, бурление, тогда говорили об инакомыслящих, потом прицепилась кличка — диссиденты. И среди них очень активна была моя двоюродная сестра Татьяна Сергеевна Ходорович. Через нее я очень быстро мог получать самиздат, тамиздат, читать все. Таня рассказывала, что у них то делается и то, интерес у меня был огромный, и к чтению тоже, но в то же время я продолжал ощущать себя былинкой, ни на что не годной. Такой вот был во мне разрыв.

Вообще мой случай, я бы сказал, чисто литературный. В «Круге первом» Солженицына есть персонаж — Володин, советский дипломат, он перебирает архив своей матери, читает письма того времени и останавливается на одном письме, когда она описывает подруге свою жизнь. В частности, она пишет, что вокруг много разных несправедливостей и она понимает, что несправедливости всегда были, есть и будут, она человек маленький и не в состоя-

нии с ними бороться, но не участвовать в них она считает своей, так сказать, жизненной позицией. А я уже к этому сам подошел, но мне толчка как бы не хватало. И я подумал: а чего ради я на все субботники, на выборы, на демонстрации, куда гонят, хожу, как баран? Что мне, собственно говоря, о карьере заботиться, зачем я это все делаю? И решил, что не буду я ничего этого делать.

Очень быстро оказалось, что это крайне трудно осуществить. Тут же стало видно, что целый аппарат всяких партийно-пропагандистских работников каждого советского человека держит в поле зрения и от каждого добивается непосредственного участия в советской жизни. А так, чтобы кто-то оказался неохваченным, — это их не устраивает. И сильно раздражает...

Скажем, профсоюзная работница нам говорит: «Вот марочки, ДОСААФ, давайте по 30 копеек». Я говорю: «Я не дам». — «Почему?» — «Я не член ДОСААФа». — «А кто член? Я пошла, мне их дали, а я что с ними буду делать?» — «А зачем ты их брала?» — «Ты что, сбрендил, что ли?» Она, вытаращив глаза, убегает, и звонок — меня к директору зовут. Это я уже в вычислительном центре работал, в Москве. А директор уже наслышан, что у меня с КГБ разные сложности, чем-то я опасным занимаюсь, но пока их из начальства никто не дергал, они с пониманием относились. И он говорит: «Да, я все понимаю... Но это что за баловство? Вам что, 30 копеек жалко?» Я ему говорю: «Знаете, вот вам не жалко 30 копеек — отдайте за меня 30 копеек». — «А, вон как ты... Ну, иди». Если бы я ему сказал, что мне на сигареты или на хлеб 30 копеек не хватает, никаких разговоров нет, а тут он, значит, спросил и понял, что дело не в 30 копейках.

И это повседневно: давайте возьмем повышенные обязательства, давайте политзанятия проведем... И каждый раз тяготящийся разговор по поводу этого ДОСААФа или еще чего-то. Поход, идти работать на базу, строится где-то здание новое... С какой стати мы должны туда идти? В общем, это было трудно. Позже такая позиция формально и четко была изложена Александром Солженицыным — «Жить не по лжи». И тогда я с Александром Исаевичем чуть-чуть был не согласен, когда он считает, что это довольно просто проделать. Я бы сказал, что жизнь была так устроена, что человеку такая позиция была просто не по силам. Просто съедят! Это же каждый день происходило. То придумают — давай мы тебе значок ударника труда дадим. Я говорю: «Не надо». Начинают настаивать — говорю: «Отстаньте! Чтобы я его не выбросил в окошко». Почины какие-то, сообразительства. Я говорю: «У нас заключен трудовой договор, по которому я обязуюсь работать без придури, с отдачей сил, как могу. Вы, со своей стороны, обязуетесь мне платить зарплату. Я понимаю, не в ваших силах мне платить больше. Не можете больше платить, но зачем вы мне эту фитюльку даете?» Это я по поводу значка говорил. «Вот договор заключен, и дай бог мне выполнить этот договор. Никакие сверхучастия в беге или еще чего-то там я на себя брать не буду». Начальник

парткома мне говорит: «Зайдите ко мне поговорить». — «Я к вам не пойду. Я беспартийный». А у нас партия — это все.

И прочее-прочее, каждый день такая без всякого диссидентства маета. Я готов выполнять ваши законы, я их даже не берусь критиковать, все, что в законе прописано, я делаю, но оставьте меня в покое! Нет, это их не устраивало. Это было бóльшим неприятием советчины, чем даже прийти к суду [над кем-то из диссидентов].

А еще до этого я работал в Алуште на мебельной фабрике и был материально ответственным лицом. То есть материалы, из которых делалась продукция этой фабрики, я получал на себя, а в конце потом их списывал на выпущенную продукцию по определенным нормам. И там была такая ситуация, что вата какая-нибудь для диван-кровати — она такого разного качества, что иногда она в эту норму отпущенную укладывается и остается лишняя, а иногда она бывает с опилками и ее идет вдвое больше, надо составлять акт. В процессе, пока делаются эти диван-кровати, очень трудно определить, сколько именно ее идет, проще определить в конце месяца: вот я получил полтонны ваты, сделали столько-то диван-кроватей, посчитали — столько-то ушло на каждый диван-кровать, и тогда составляем отчет. Когда нормальные отношения, так это везде практикуется. А тут я быстренько подумал: сейчас я только начну попадать на заметку — в любой момент среди месяца придут: «Получил столько ваты, сколько осталось, сколько сделано диванов? А по нормам столько-то. А где остальная вата?» — «А ее больше идет!» — «А где акты?» И я вижу, что работать невозможно. И я просто уволился с этой работы.

Или — работал я в аппарате архитектора города. И тут выборы. Приходит стандартная открыточка по почте: «Мы вас приглашаем прийти проголосовать...» Я на этой открыточке написал: «Поскольку кандидат один, считаю эти выборы недемократичными и в них участвовать не буду». И отослал эту открытку. И такой тарарам в этом маленьком городке поднялся! Тем более что я работаю в исполкоме, у главного архитектора при горисполкоме. Там на меня начали наезжать, весь день ко мне приезжали, урну под нос совали. Потом не выдерживает председатель горисполкома: «Ты не понимаешь, что делаешь! Мы вот все в демократию играем, а мне в области придется докладывать, что я им там скажу?» «А скажите, — говорю, — что не надо играть в демократию, хорошо бы, чтобы она была в действии, демократия». — «Ах так!» И он сорвался: «Ты ко мне на коленях приползешь! Поздно будет!» Сели по машинам и уехали. А в понедельник по месту моей работы, то есть в горисполкоме, собрали собрание (председателя не было, он уехал на три дня, видимо, оставив распоряжение, чтобы меня больше не было к его возвращению), на котором высказывались в том духе, что с таким человеком одним воздухом нельзя дышать, и постановили, что надо меня уволить. Я, помню, подумал еще: по какой статье меня

увольнять будут? Потом в кадры меня зовут и говорят: «Знаете, а вот вы бы могли по собственному желанию уволиться...» Я говорю: «Вот я уволюсь по собственному желанию, потом меня нигде брать не будут, и через три месяца меня, как тунеядца, посадят. Нет уж, лучше пусть у меня будет, что меня по статье уволили, — у меня хоть какое-то оправдание будет, почему я безработный...» — «Никто вас не будет... Да нет, да вы что...» Я тогда еще не очень стойкий был и говорю: «Хорошо, если найду себе другую работу, я уйду». — «Давай! Только быстрее!» Опытные люди мне говорили: «Тебе лучше бы уехать. Они тебе чего-нибудь сделают, посадят, еще что-то...» В общем, настрой такой был.

Я вышел — там доска объявлений, кто где требуется, и вот требуется там... интересное название у должности было — мастер по экскурсиям Трансагентства. В общем, диспетчер Трансагентства, которое обеспечивает население перевозками и экскурсиями. Иду. В каком-то подвальчике сидит человек. «Надо вам? Возьмете?» — «Да, возьмем». Я тогда иду к своему кадровику и говорю: «В Трансагентстве требуются, я к ним буду устраиваться. Они, естественно, позвонят на предыдущее место работы и у вас спросят. Вы им что скажете? Можно меня брать или нет?» — «Можно, можно! Давай!» Ну хорошо, давайте. Они мне в пять минут и расчет сделали, и все, тут же документы отдали. Пошел, и меня там действительно взяли, там я работал потом, в этом Трансагентстве, долго. Вот такая история про неучастие в голосовании.

А в 1972 году, женившись на москвичке, я переехал в Москву. Надо сказать, что потом пришлось все-таки и из этого Трансагентства уходить. Непросто было уже.

— **А где вы работали в Москве?**

— В Москву я приехал с настроением, что, быть может, меня и не пропишут. Но я еще, видно, не попал в списки заметных. Еще до моего переезда в Москву [5 января 1972 года] был [третий] суд над Буковским, и я приходил к суду, но там тогда много народу было. Тогда же я совершил и первое свое действие — описал, за подписью своей и сестры Татьяны Сергеевны Ходорович, впечатления от суда, и это было по «Свободе» или где-то прочитано. Поэтому я ждал чего-то нехорошего... но они еще не расшевелились. В общем, меня без проблем прописали к жене.

А насчет работы... Вернусь немного назад. У меня вся трудовая книжка заполнена разными работами, все мелкие инженерно-технические должности или мелкое начальствование. Была тогда такая штука — объединениям совхозов стали выделять лесоучастки где-нибудь для сельхозстроительства, и они образовывали свои леспромхозы и разрабатывали лес. И вот Белгородское управление имело такой свой леспромхоз в Коми АССР, и работников оно нанимало временных, на полгода. Я с ними контракт временный заключил и числился у них слесарем пятого разряда, а они меня быстренько назначили исполняющим обязанности — у них ушел начальник — начальника лесоучастка. Они меня очень уговарива-

ли постоянно оформиться, не зная пока никаких изъяснов моей биографии, а дело в том, что постоянно я там не намерен был оставаться, а получалось, что слесарь пятого разряда получает больше как командированный туда, а если начальник лесоучастка — он должен быть постоянно оформлен, местный житель, через сколько-то лет северные надбавки... В общем, зарплата меньше получалась. Я им говорю: «Ну какой мне смысл?» И числился я слесарем, и.о. начальника этого лесоучастка.

И там я попробовал, можно ли работать, не требуя нарушений трудового законодательства от работников. И окончательно убедился, что это при нашей системе невозможно, надо все время их или жать, или обманывать, то сверхурочно заставлять работать и не платить сверхурочные, то еще что-нибудь. Законодательство так устроено, что иначе не получается работать. И после этого опыта я решил, что больше я не буду никаким, даже мелким, начальником работать. Поэтому, приехав в Москву, я устроился на мебельную фабрику простым рабочим. Меня приставили к автоматической линии, автоматические линии хорошие были, заграничные. Только быстренько у них сломался приемник, где загружается линия и где выгружается, там автоматические были загрузки, и вместо этого автоматического загрузчика ставили человека — меня, в частности, вот я щиты хватаю и весь день щиты туда загружаю. Как белка, он быстро идет. Год проработал, и, когда стал увольняться, они: ой, куда, чего, давай... Я говорю: «Я сколько работал — вы не чесались, как белка там стоял...» — «Ой, да что же ты сам молчишь...» А я все это время факультативно занимался с очень хорошим человеком и программистом, он меня обучил программированию, и я потом уже работал программистом. А первый год в Москве работал на мебельной фабрике загрузчиком.

И вот по мере сил я очень быстро познакомился со всеми тогда активными правозащитниками, инакомыслящими, диссидентами — через мою сестру Татьяну Сергеевну Ходорович, которая была тогда членом Инициативной группы по защите прав человека в СССР. И по возможности ко всем судам старался ходить. Мотив у меня был такой. Я знал, что никому ничем наш приход к судам не поможет, что никогда никому это не облегчило приговора, и очень быстро стали нас и в здание суда не пускать, но я делал это для самого себя, чтобы чувствовать себя человеком... Вот человека сажают, моего знакомого, ему там тяжело и одиноко, и я себе представлял все время картину 30-х годов, когда кого-то сажают и вокруг него образуется пустое поле, вокруг его семьи тоже, им надо как-то это скрывать, и чтобы кто-то пришел на суд с поддержкой — этого и быть не могло.

Я считал, что человеку станет известно, что люди к нему приходят, и это будет ему очень хорошей моральной поддержкой. И на своем опыте я убедился, что это абсолютно так и есть. Когда меня из «воронка» перед моим судом высадили и пока прово-

дили до дверей суда, я увидел людей, которые пришли к суду и стоят, мельком, но я их успел увидеть; моей радости не было конца! Так что думаю, что это я не зря делал, что ходил ко всем судам, это все-таки была реальная помощь человеку, которого начинают гонять. И родственникам этого человека, чувствовавшим к себе человеческое отношение, это тоже было не лишнее совсем.

— **Когда в 1974 году в СССР образовался Фонд помощи политзаключенным и во главе его встал Александр Гинзбург, вы уже принимали участие в деятельности фонда или еще нет?**

— Еще до того, как был образован фонд, ситуация была такой, что если, скажем, мужа сажали, жену гнали с работы, и люди оставались без денег совершенно, деньги требовались постоянно. Были места, как, например, по средам у Подъяпольских, где всегда собирались диссиденты. Каждую среду я тоже приходил туда, и каждый раз кто-то говорил: «Вот из Прибалтики Н.Н. с детьми едет на свидание к мужу... Давайте соберем деньги». Это было постоянно. Помню — 1,50 руб. на завтра на обед, возьму с собой бутерброд, обойдусь без обеда. Люди, многие уже лишённые работы, кто-то отсидел, которые готовы были участвовать и помогать, сами были без денег. И все время это было, конечно, очень трудно.

И вот Александр Исаевич отдал фонду свои гонорары за «Архипелаг»... Кстати, меня все время удивляло, что он за свою тогда основную книгу отдал все свои бывшие и будущие гонорары — при непонятности своей судьбы, при четырех маленьких детях. Ну да, он, конечно, мог рассчитывать, что голодными они не останутся, если с ним что случится, а каждый день могло что угодно случиться, риск всякий был. Уже было на грани, шло к тому, что его посадят, или вышлют за границу, или еще что... Тем не менее он завещал все гонорары, уже существующие и будущие, за «Архипелаг ГУЛАГ» в учрежденный им Русский общественный фонд помощи политзаключенным и их семьям. Писатель отдал практически все, что получил и мог получить в будущем за свой неизмеримый труд. Ну, скажем, Лев Николаевич очень старался избавиться от того, что у него было, и всячески помогал, но все-таки это была часть какая-то, а здесь такая ситуация... И вот когда сейчас писатели что-то негативное гундят про Солженицына, я их читаю и думаю: вот ни один из них на такое не способен — написать такую книгу, изданную во всем мире, и все деньги за нее отдать. Больше таких нет и не было вообще, по-моему.

Поэтому для нас, для тех, кто сидел и кто собирался сидеть, это, конечно, была большая отдушина и какая-то надежда, что дети голодными не останутся. Хотя денег фонда все равно не хватало, чтобы нормальную жизнь человеку устроить, и было продекларировано в положении о фонде, что задачей его является «помочь физически выжить». О нормальной жизни речи не могло быть, но чтобы физически выжить — брался фонд помогать.

Ко времени образования этого фонда с Гинзбургом я был знаком не близко. Мне случалось выполнять какие-то отдельные поручения по фонду. Тогда и все, кто ходил к судам, писал протесты,

как-то участвовали в работе фонда. То есть какое-то участие я принимал, но очень незначительное.

— **А с Солженицыным вы не были тогда знакомы?**

— Нет.

— **И с Натальей Дмитриевной Солженицыной тоже?**

— С Натальей Дмитриевной я... даже не познакомился, а увидел ее мельком [12 февраля 1974 года], когда арестовали Александра Исаевича и я, узнав о том, что он где-то в прокуратуре, решил, что надо пойти к прокуратуре, на Пушкинскую улицу. Пришел, смотрю — никого нет. Я робко себя чувствую — прокуратура, вечер, уже закрыто все. Хожу, хоп — пришел Андрей Твердохлебов, и мы с ним стали звонить в звонок на воротах и звонили, пока к воротам не вышел дежурный. Я начинаю ему говорить... А тогда уже выработалось: говорить надо ближе к тому, что есть, а не мямлить вокруг да около... И вот мы говорим: «Известно, что арестован Солженицын и что он находится в прокуратуре. Мы пришли, чтобы узнать, в чем дело». — «Никого тут нет! Ничего нет!» И ушел. Тут стали собираться люди, насобралось несколько десятков человек, появились военнослужащие, нас от этих ворот отогнали. Погода, помню, была плохая, и там была такая ниша или подъезд, мы в ней стояли, ждали неизвестно чего. А потом кто-то пришел из квартиры Солженицына — она была неподалеку — и сказал, что сейчас Наталье Дмитриевне позвонили, сказали, что Александр Исаевич арестован, что он переправлен в тюрьму, его в прокуратуре нет, и она считает, что к ним могут прийти с обыском, и хотела бы, чтобы в квартире побольше людей было, и просит тех, кто тут есть, прийти в ее квартиру. И вот вместе с другими я тогда и пришел. И увидел тогда только, как Наталья Дмитриевна из одной комнаты вышла, от ребенка, который плакал...

Я увидел ее, и сразу впечатление: женщина очень молодая, трое малых детей, но полная уверенность в себе, никакой растерянности, ничего. То есть человек владеет полностью собой и ситуацией. Если обычно было: ой-ой, мужа арестовали, это, то... То здесь ничего похожего. Помню, что она начала говорить и я что-то вставил, явно невпопад, она изучающе на меня посмотрела, так сказать, я это всерьез или... Но сказать — ничего не сказала, так, глянула оценивающе и ушла. И долго-долго мы потом с ней не виделись. А познакомился я с ней уже здесь [в Париже], после своей отсидки. И все мои впечатления подтвердились, такая вот она и есть, какую с первого взгляда показала.

С Аликом я знаком был. Запомнилось мне, что Алик — человек, конечно, феноменальный. Оставшись без работы, во-первых, он был оформлен как секретарь у Сахарова и реально выполнял эту работу, хотя смысл этого секретарства был в том, чтобы легализоваться, не числиться безработным и иметь возможность приезжать в Москву, он ведь только освободился и жил в Тарусе. А во-вторых, он себе на жизнь зарабатывал, взявшись ремонтировать и переоборудовать кухни в домах. То, что вот теперь евро-



*Вера Лашкова
и Сергей Ходорович
в квартире Алек-
сандра и Арины
Гинзбург, Москва,
середина 1970-х
© Из архива
Сергея Ходоровича*

ремонт называется, — он это с кухнями проделывал. Ему достали очень хороший инструмент, помню... Я как-то приезжал к нему в Тарусу, ночевал. Как-то надо было нам поговорить, и он говорит: «Я буду там-то...» У Копелевых он, кстати, кухню делал. «Буду там работать завтра, приходи». И вот я пришел, мы целый день проработали вместе, я ему — где поддержать, где что — помогал, и целый день с ним все говорили. Тогда меня просто поразило, как человек спокойно ко всему относится. Он сказал: «Ну, меня уже скоро арестуют...» Его и вправду через день или два после этого арестовали. И так было странно слышать — я еще не полностью проникся этим, — когда человек так спокойно говорит о том, что его арестуют. Это было еще мне непривычно. Он уже два срока к тому времени отсидел, опыт был, тем не менее выглядел он тогда еще совсем молодым и тихонький такой. Удивительно было!

Так же для меня был удивительным и долго оставался примером 1968 год. Я как раз, когда [25 августа] была демонстрация на Красной площади, был в Москве. Я помню, целый день ходил где-то по городу, к вечеру я пришел к сестре, и она говорит: вот, на Красной площади была демонстрация, 8 человек... Меня тогда это поразило — как люди могли отважиться? Мне казалось, это ужас такой — так вот выйти, заявить всем. Ведь эти 8 человек были готовы, что их то ли растопчут, то ли раздерут на части... И тогда я подумал: если бы я оказался рядом или знал про это, смог бы я выйти? Нет, пожалуй, у меня бы духу не хватило, я бы не смог на такое решиться.

Потом я понял, что человек ко всему привыкает. Одно дело — когда я приехал из своего тихонького Крыма, из деревни из-под Алушты, где все тихо, в чужую Москву. И другое дело — они тут все варятся, и как-то у них другое ощущение, нежели у меня, чтобы выйти вдруг на Красную площадь. Это я позже потом понял. Я регулярно ходил на Пушкинскую площадь на демонстрации, да и к судам тоже, а для многих это ужасом казалось, может быть. А потом привыкаешь, и уже не так это воспринимается. Тем не менее все-таки, конечно, демонстрация 1968 года — это нечто необычное. И вот нашлось считанное количество людей, которые принесли как бы извинения за всех остальных, кто молчал...

Когда Алика посадили, появилась идея, чтобы управление фондом было коллективным и был не один распорядитель, а трое. И объявили, что будут распорядителями Кронид Любарский, Мальва Ланда и моя сестра Татьяна Сергеевна Ходорович. И тут я уже, конечно, более активно принимал участие. Но ситуация была такая, что, с одной стороны, этот фонд — не подпольная организация, а с другой стороны, все понимали: чем меньше знаешь, тем легче жить. Поэтому как и что делается, кто с кем на связи — я этого не знал, но выполнял все равно отдельные поручения. Ездил, отвозил деньги в Киев, кого-то встречал, провожал, масса поручений, так сказать, втемную. Я не знал, где деньги лежат, откуда они берутся, кто их кому передает, кто кого опекает. Механизм для меня оставался закрытым. Таня [Ходорович] говорит: «Вот надо

съездить к тем, к тем...» В Прибалтику ездил, помнится, там был председатель колхоза, пошел против власти, и она его посадила.

Посадили его, жена с тремя детьми осталась, и им деньги отвезти надо было. И вот я ездил. И с широко открытыми глазами вокруг смотрел и поражался, что находятся такие люди, которые готовы на многое. Но тогда была установка КГБ быстро кончать с фондом, поэтому, не давая передышки, за этих новых распорядителей органы взялись сразу очень жестко, на них начали давить. Мальве Ланде устроили пожар в собственной квартире, обвинили ее в поджоге государственного имущества, так как квартира государственная, и уперли в ссылку. Кронид Любарский к этому времени только-только отсидел, я не видел, что и как с ним делали, но он решил уехать, и Бог ему судья. Я видел, что они делали с Таней, как они мою сестру обрабатывали. Было понятно, что ее, одинокую мать четырех детей, сажать несподручно, и они ее всеми силами выдавливали [за границу]. Она всю жизнь в этом не хочет признаваться, что они ее выдавливали, говорит, что это ее решение было, что она сама решила уехать. Но я видел, как было принято это решение. Так или иначе, вынудили ее и Кронида уехать.

Мне предлагали раньше вступить в Хельсинкскую группу, и я чувствовал некоторую не то чтобы фальшь, но какую-то неувязку с моей позицией. Значит, если я считаю, что все это противостоит естественному — советское устройство, ну что я буду следить за выполнением их обещаний? Я их просто не признаю для себя, так скажем. Я не борец, я с ними не борюсь, делайте что хотите, но не трогайте меня. Хельсинкская группа — мне в нее не хотелось. А фонд, я видел, — это то, что нужно. Не как инструмент какой-то борьбы или воздействия или еще что-то. Он сам по себе ценен, и, конечно, пока он существует, то реально многим людям и особенно семьям севших облегчает жизнь, и это нужно.

При этом я ясно понимал, что у фонда должен быть именно объявленный распорядитель, известный человек, которого можно найти. Если фонд будет подпольным, его скорее прихлопнут, и все равно невозможно ему функционировать так, чтобы не видна была его деятельность, органы на него выйдут, а для людей, которым нужна помощь, он будет безымянным, и где им его искать, к кому обращаться?.. Поэтому кто-то должен подставить себя под удар и стать объявленным распорядителем. Я видел, что после очередных арестов как-то не очень много желающих. И я очень робко, увидев, что не находятся желающие три человека, сказал, что я бы мог быть, и даже сказал, что я понимаю, что есть люди, которые реально занимаются делами, но должен быть объявленный публично руководитель и я готов им стать, даже не полностью вникая во всю деятельность фонда. Оказалось, конечно, что это иллюзии и, будучи объявленным, надо во все вникать, просто так номинально оставаться невозможно. Но я так тогда предложил. Были активные люди, которые очень хорошо

работали, но не готовы были пойти и объявиться, а потом сесть. Я до этого, скажем, созрел, а другие не созревали. И кто бы бросил в них камень?

Вообще ничто так не мешает в жизни, как недооценка самого себя. Когда я увидел, что вдруг все признали, что да, я вполне приемлемая кандидатура, я даже удивлялся. И президент фонда [Н.Д. Солженицына] не возражала. И мы тогда объявили, что Мальва Ланда остается, хоть и в ссылке, а мы вместе с Ариной Гинзбург, женой Алика, будем распорядителями. Арина, конечно, была полностью в курсе всех дел Алика, и реальным распорядителем, пока она оставалась в России, была она. А я на себя взял более конкретную работу. Каждая, кстати говоря, смена распорядителей очень дезорганизует дело в силу того, что очень многое не афишируется и распорядители знают несколько больше, чем другие участники фонда, потом приходится восстанавливать потерянные связи. Особенно тогда были разрушены связи с Украиной, там прошли крупные посадки. И вот я взялся все это налаживать, моя часть деятельности — это Украина. А общим распорядителем была Арина. Я налаживал связи с Украиной, кто кого опекать будет, кто у них сидит там и так далее.

Арина уехала в 1980 году. Алика выслали в конце 1979-го, а она уехала весной. После того как она уехала, я увидел, что по три человека объявляться — это уже непозволительная роскошь. Потому что они бьют по распорядителям, и скоро просто некому будет объявляться, и лишних людей подставлять ни к чему... И когда Наталья Дмитриевна спросила, согласен ли я один оставаться, я сказал: да, конечно, я согласен. И так я один остался объявленным распорядителем. Формально оставалась Мальва Ланда, но она была в ссылке и не могла принимать участие в работе фонда.

— Как при тогдашних средствах связи была устроена ваша коммуникация?

— Ох, а вот это я задним числом просто не понимаю! Вообще не понимаю, как можно было что-то делать. Сейчас я уже пришел к тому, что, чтобы что-то сделать с позитивным знаком, надо уже себя заставлять, громадные усилия предпринимать. А тогда я хитрил, в отличие от многих других, когда меня уволили с работы, устраиваться на новую работу, я скрупулезно ходил и искал работу, не хотел устраиваться каким-нибудь сторожем. Вот я программист — и пушай меня программистом берут.

Вот меня один раз уволили, и я устраивался три месяца, ходил — и устроился. Они меня, правда, взяли с испытательным сроком один месяц и потом уволили — не по своей воле совершенно однозначно. И я снова продолжал ходить и устраиваться на работу. Записи в трудовой книжке: «Уволен за нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в опозданиях на работу». Вот с такой записью я ходил и через четыре месяца опять устроился. И до самого ареста я все-таки формально на работе работал. Хотя на той основной работе, где я раньше работал, меня все уговаривали: «Уволься, а то мы уволим за



Подмосковье,
начало 1980-х
© Из архива
Сергея Ходоровича

опоздания» — и они, в конце концов, мне перестали давать работу. Это было очень серьезное испытание, которое я в результате не выдержал — осознанно опоздал второй раз, и они смогли уволить. Вот начали охоту, работы не дают, я прихожу и сижу целый день на месте. При этом они проверяют приход вовремя, уход вовремя, все. И потом, когда я устроился четыре месяца спустя снова, последние, может быть, полгода они опять пришли к этому и тоже мне перестали давать работу. И вот я прихожу и сижу, опять не работая. Нельзя было говорить по телефону.

Я внутренне быстро чувствовал, как у них накапливается дело. Вот папочка есть, вот у суда замечен — подкладывают, вот подписал письмо — подкладывают. Вот они мою переписку читают — подкладывают. Я прекратил переписку с кем-либо, по телефону о делах не говорил, очень активно в разных акциях не участвовал, но все-таки регулярно ходил на демонстрацию на Пушкинской [в День прав человека, 5 декабря], ко всем судам ходил. И это мне дало возможность довольно долго продержаться, я думаю. К ним просто-напросто никакого материала в руки не попадало. Заявлений я не делал, с иностранными корреспондентами крайне редко встречался или совсем не встречался, что тоже у них обычно фиксируется.

По телефону говорить нельзя было, писать было нельзя. Почти по любому вопросу надо было встретиться с кем-то лично и обговаривать. Как это можно было проделывать, теперь очень трудно представить. У меня было три места в неделю — три, так сказать, присутственных дня, когда я после работы бежал и до глубокой ночи сидел: среда — это у Подъяпольских, у Марьи Гавриловны, пятница — это у Нины Петровны Лисовской, где мы собирались, собственно, уже по фонду... У Марьи Гавриловны встречались широко, и мне важно было присутствовать — там меня всегда могли найти и приезжающие, всегда все приезжающие через них проходили. У Нины Петровны мы собирались более узким кругом, активно об-

говорить разные фондовские дела. И еще день — он четким не был, но очень удачно было расположено место жительства у четы Коганов, Игорь и Вера Коган жили около Курского вокзала, у них квартира хорошая, и тоже постоянно у них кто-нибудь жил проездом.

Кроме этого, кто-то откуда-то приехал — надо было встретиться. Запомнилось постоянное желание — все время спать хочется. Потому что до глубокой ночи там, а утром надо было на работу, они ведь меня пасут. И, учитывая это, я просто поставил в известность (с чем сразу согласилась, конечно, президент фонда Наталья Дмитриевна), что при такой жизни мне нужно ездить на такси на фондовские деньги. Естественно, я не гулял на такси, но вот когда совсем не успевал или когда никаких сил нет, я возвращаюсь, а уже метро не ходит, ездил на такси. Довольно много, конечно, ездил. Иногда думаю — нехорошо все-таки, но по-другому просто вообще не справиться было бы.

— Как осуществлялась ваша связь с Вермонтом, где жили Солженицыны?

— Время от времени случались оказии, с которыми можно было передать почту. Исходя из апробированного принципа «чем меньше знаешь, тем легче жить», я не знал, что это за оказии, кто и как это проделывает. Просто тот, кто знал, уведомлял меня, когда это будет, и я к этому времени подготавливал почту и передавал этому знающему человеку. Таким же образом я получал письма от Натальи Дмитриевны.

— Фонд — инстигудия денежная. Она связана, во-первых, с деньгами, во-вторых, с отчетностью, бюрократией. И все это совершенно невозможно, казалось бы, в обстановке слежки КГБ, преследования, обысков. Потому что любые бумаги становятся вещественными доказательствами. Как удавалось обойти это все?

— Наталья Дмитриевна за границей находила деньги в советских купюрах, чтобы нам еще не шили валюту, и до нас деньги доходили наши, советские. Как они доходили — это не мое дело. Когда они доходили до меня, очень быстро, моментально, чтобы не задерживалась сколько-нибудь заметная сумма (а я знал, когда деньги будут), я договаривался с людьми, разделял деньги на суммы, которые советский человек может у себя держать, их быстро разносили, и вот они хранились там, там и там. Никаких письменных пометок про это нет. Был один случай, еще до меня была распорядителем Татьяна Сергеевна [Ходорович], когда в Киев привезли фондовские деньги, которые там были нужны, и деньги лежали на столе, туда примчались с обыском и эти деньги нашли. Но ничего не могли сделать, надо сказать. Деньги и деньги. Несколько облегчило дело еще то, что это была внучка или родственница какого-то киевского академика. Ну, деньги и деньги лежат, советские, сумма довольно хорошая, но... Они сразу их забрали, конечно, но покрутились-покрутились и вернули.

Такой способ хранения денег — две-три тысячи на руках у человека — был довольно безопасным. Бывали разные моменты при переноске более заметных сумм, но у нас больших обвалов, к сча-

тью, не было. Уже когда я сидел, забрали большую сумму, тысячу 30, у кого-то, но там уже сплошные облавы были. При мне был случай, когда Нина Петровна под две тысячи в сумке несла, нужно было кому-то передать, на нее напали, ударили по голове, сумку вырвали. По наводке гэбэшников или уголовщина — бог весть. Но один случай такой был. Нападения, особенно на молодых участников, были, имитации попытки изнасилования... кстати, ни разу никого не изнасиловали, никто, по крайней мере, не сознался, а вот имитация попытки — очень распространенный случай, когда на девчонок молодых где-то в подъезде набрасывались, пугали. Избиения были часто. Это как бы в ряду других внесудебных преследований, дабы запугать и отвадить от участия в работе фонда. Да, говоря, что с деньгами у нас обвалов не было, я неспроста добавил «к счастью». Опыта специфического у нас не было — дилетанты безголовые, короче говоря. Вот такой был случай. Поступили деньги. Договорились, когда и куда их привезут для передачи мне. Я собрал тех, кому намеревался вручить части этих денег для хранения. Вечер, сидим ждем... Наконец появляется женщина, выглядит она как мальчик с пальчик, несмотря на то что она мать пятерых (!) детей. Сумка у нее внушительных размеров. Тащу сумку в ванную комнату, открываю — как есть полная пачек денег. Как в кинe. Я, по крайней мере, только в кинe видел такие сумки! Уточняю у доставщицы: «Ты что, одна это везла?» — «Одна. На такси». Немая сцена. Мысленно пробегаю путь: надо выбраться из своего дома, ловить такси с этой сумкой, здесь двор запутанный и жуткий, какие встречаются в Москве, лифт, площадка... Бр-р-р.

— Такой деликатный вопрос — были ли случаи, когда кто-то оказывался нечестен и деньги исчезали?

— Я чувствую, что в наше время этот вопрос моментально у всех возникает. Структура фонда была выстроена еще, спасибо, Аликом Гинзбургом, он начинал. Когда уже есть что-то — продолжать просто, а на ровном месте начинать это делать... Все было выстроено, набраны волонтеры, люди, и — спасибо моим соотечественникам — не было у нас периодов, когда бы не хватало этих волонтеров, которые брали себе двух, трех, пятерых, до десяти человек, их опекали и вели.

И вот представьте себе картину. У кого-то есть пять человек сидящих, он в переписке с их семьями, через него к ним поступают небольшие деньги, которые фонд может выделять. Этому человеку, волонтеру, я отдаю деньги, отдаю ему на квартал, чтобы он их доводил. Он мне очень формально, на клочке бумаги, указывает, кому он реально деньги отдал. Мне это было необходимо, потому что я свожу и смотрю — вот у нас есть списки подопечных, вот по этим отчетикам я смотрю: этому попало, этому попало, этому попало, этому попало. Этому два раза, оттуда и оттуда, попало, а вдруг кто-то выпал, и тогда выясняю, почему кому-то деньги не дошли. И вот я этому человеку дал на пятерых, и он их куда-то, эти деньги, денет?

Прежде всего, это станет известно, в конце концов, что кто-то не получил деньги, они не дошли. Это просто исключено для рядовых.

И, как я уже пояснял, реальная возможность что-то воровать только у распорядителей фонда была. А им просто доверяли уже. Даже не доверяли, а они не оставались одни, все равно был круг людей, которые знали, сколько денег, где деньги... И все-таки реально возможность такая была, и тут нужно сказать, что распорядителям доверяли. В распорядители попадали люди, уже прошедшие отбор, и ради того, чтобы воровать деньги, я не знаю, кто бы нашелся. Легче куда-нибудь в торговлю пойти и там подворовывать. Но, главное, есть же люди, которые не воруют? Вот распорядители и были такими людьми.

— **А была ли у вас отчетность перед Натальей Дмитриевной Солженицыной?**

— К сожалению, отчетность в первую очередь я вел для себя, и так же Алик делал, иначе вслепую я не буду знать, кому дошла помощь, кому не дошла. А потом уже эти данные я ей сообщал — просто перечислял людей, кому дошло. И отправить это не было проблемой. Проблема была (и она оказалась роковой) — эти вот маленькие отчетики от каждого. Они не одновременно поступали, и мне их надо было до какого-то времени собирать и хранить, чтобы потом сделать общий отчет, по которому проверить, кому помощь дошла и не упущен ли кто из подопечных, и отправить Наталье Дмитриевне. И вот этот период — общего хранения — был опасный. И я подумал, что отдать на хранение я их могу только тому, кому доверяю как самому себе, а эти люди так же подвержены обыскам и слежке, как и я сам, и я их подставляю. И это лишнее таскание туда-сюда. Поэтому я решил, что буду их у себя держать. Оправдания нет, чтобы сослаться на неопытность и наивность, но я их держал — нашел, что в холодильнике у меня есть такая пустота прикрытая, я там их и держал. Ну и кончилось это однажды плохо — на одном обыске гэбисты у меня эти бумажечки захватили.

Конечно, они только для оперативной работы им нужны были, их никак использовать было нельзя, потому что буквально там писались фамилия и циферка, причем я говорил, чтобы циферку на порядок убавляли. И там стоит, к примеру, фамилия — 7, фамилия — 3... Они понимают, что это такое, и, конечно, по фамилиям они дергали людей. Оправдания моей оплошности нет, если берешься хранить, то обязан сделать так, чтобы ничего не попадало туда. Это самый большой провал, который у меня был, — что у меня забрали однажды этот отчет и масса людей потом подвергалась давлению, их дергали.

— **Чтобы современный человек представлял масштаб вашей деятельности, можете ли вы назвать сумму, которая за эти годы прошла через ваши руки?**

— У меня как-то брал интервью Иван Толстой. И я там назвал сумму, какая через меня прошла. А потом я засомневался — это было в год или за все мое время? А потом вообще засомневался.

И позвонил Ивану: «Уберите это вообще, я не могу за это ручаться». А сейчас тем более. Эта сторона впрямую в полной компетенции президента фонда, которая жива и здорова. И если Наталья Дмитриевна сочтет нужным высказать, опубликовать что-то на эту тему, она это сделает. Я сейчас искренне говорю, Борис [Михайлов] тоже жаловался, что не все помнит, и мне за голову ручаться очень трудно.

— Как в среду Солженицынского фонда попал последний его распорядитель Андрей Кистяковский? У меня сложилось впечатление, что изначально он вообще не принадлежал к диссидентскому кругу.

— Да.

Надо сказать, что все люди, которые участвовали в общественном пробуждении, пытались что-то делать — кто практически пытался, а кто просто занять позицию: они вспомнили о том, что они люди и что человеческое достоинство — это не просто звук. Главное, что всех их объединяло, — это были люди, которым надоело бояться. Нетрудно было, поглядев по сторонам, понять, что так не должно быть. И только страх заставлял людей признавать, что все хорошо. Кстати говоря, когда нужно было находить волонтеров, чаще всего люди находились сами, предлагали что-то делать, главный костяк — это были родственники уже осужденных. Недавно вы брали интервью у Лены Санниковой — а начало ее деятельности было именно в фонде. Были не только люди, у которых родственники сидели, но и вполне сознательные помощники, у которых никто не сидел.

Лена — очень характерный пример, и это мне очень запомнилось. Я помню, как Нина Петровна Лисовская раз говорит: «Приходите, нужно с одной девочкой поговорить». Хорошо, прихожу — появляется девочка, и меня сразу подмывает поинтересоваться: она совершеннолетняя или нет, девочка-то? Девочка говорит, что она хочет опекать политзаключенных, ссыльных политзаключенных. «Хорошо, — говорю, — Лена, это всегда надо. Всегда найдется работа». «Нет, — говорит, — вы не поняли, я хочу одна опекать всех политзаключенных» (*смеется*). «Лена, ну как же ты себе представляешь — что у нас есть ссыльные политзаключенные и их никто не опекает? Ты как-то плохо о нас думаешь. Мы их все-таки опекаем, но работа всегда найдется. Вот Нина Петровна всех политссыльных в поле зрения держит, ей надо помогать». Кончилось тем, что Лена очень эффективно с Ниной Петровной работала, меньше всего у меня с ними было забот. Всех ссыльных они опекали, вели с ними переписку, были в курсе всех их дел. И кроме того, большинство волонтеров чем-то еще занимались. Как и Лена, в общем-то. Она и мне в лагерь чудные письма писала.

Так вот, я относился и отношусь ко всем этим людям с большим пиететом. Тем более я еще был из провинции, со всеми знакомился, всеми восхищался. Каждый человек оставался непохожим на другого, и были свои индивидуальности. И очень

большой индивидуальностью был, конечно, Андрей Кистяковский. Я его впервые увидел, когда он пришел к Татьяне Сергеевне Ходорович, я еще не был распорядителем. К ней часто и много людей приходило, он пришел с парочкой своих друзей. Помню, он все время молчал и вокруг посматривал с некоторым скепсисом. Может, и Марина [Шемаханская] уже тогда с ним была. Марине вы вопрос задавали, и она поясняет, что это не я его нашел, а что это они меня нашли. И действительно, Андрей, когда я стал распорядителем, стал целенаправленно искать встречи со мной. Мне было несколько странно: как же так, думаю, человек — известный переводчик, я пока не видел, чтобы он где-то у судов был, и что мне до него, и что мне с ним... Но он проявил настойчивость. Надо сказать, что у Андрея в общении с людьми были очень строгие, высокие моральные требования и к людям, и к себе, высочайшие. Это несколько сковывает, и как-то многие при нем скованно держались. И я себя так же скованно держал и думал: ну что же это со мной...

Из общения с ним я почерпнул массу полезного. Мы много общались. Но у меня все равно был комплекс, что я откуда-то из провинции, а вот Андрей перевел такую книгу [Артура Кестлера «Слепящая тьма»]... Как-то полностью я никак не мог оттаять и не считал себя доходящим до его уровня. А он улавливал, что я благодарный слушатель и воспринимаю его. Он, можно сказать, мыслитель был, он размышлял над всем и выводил четкие формулировки — о Боге, о философии, о литературе. И главное, у него я научился, сформировался как читатель. Читатель литературы — это тоже штука непростая, Андрей меня научил, и я считаю — и могу этим похвалиться, — что я могу читать литературу, научился читать (*смеется*).

Марина в дела фонда не вникала, но у них была такая гармония, и их дом был одним из пунктов, где можно было расслабиться, передохнуть. Они жили у Пушкинской площади, на пересечении с Малой Дмитровкой, и я, бывая там, всегда знал, что зайду. А у Андрея бывали депрессии, и работать ему было трудно, часто нужно было заставлять себя, и один раз, когда я стал их гостеприимством злоупотреблять, он даже пожаловался: «Ну вот ты забегаешь прямо, не предупредив. А я же работаю все-таки все время». Я ему сбивал рабочее настроение. Когда я замотанный приходил, меня поили чаем, кормили обедом, давали отлежаться, оказывали моральную, любую помощь. Можно было расслабиться со всех сторон и обратиться с любой просьбой, если она была, то есть очень комфортно себя чувствовать. И вот Андрей беседовал со мной, считал, что я могу его беседы воспринимать, скажем так.

Его близкими друзьями на то время, когда я с ним познакомился, были люди тоже очень незаурядные. Это был переводчик Володя Муравьев, чудный человек. Саша Морозов, специалист по Мандельштаму, человек, который имел доступ к Шаламову. Алеша Чанцев. Ленинградский поэт Миша Еремин. Вот это был его круг, очень интеллектуальный. И я, конечно, себя чувствовал ягненком среди

них. Однажды, помню, они что-то обсуждали очень умное, и один говорит: «Ну вот Андрей сказал, что вот так». И другой говорит: «А, если Андрей сказал так, значит, так оно и есть». То есть он у них там тоже был непререкаемым авторитетом.

И однажды, когда очевидным стало, что мой арест не за горами, Андрей сказал, что он готов после меня стать распорядителем. Это для меня была полная неожиданность. Я ведь продолжал его воспринимать как ученого, философа, мыслителя, готового посочувствовать, но далекого от практических дел. Это было неожиданно, и в то же время я понимал, что его позиция и восприятие его многими в нашем кругу будут ему очень осложнять работу распорядителя. Там люди самые разные. И с чистыми критериями к людям нельзя подходить. Надо выделять главное. Вот человек имеет такое же право, как я, если хочет кому-то помогать. А если он тебе чем-то не нравится, не надо фыркать, если он устраивает тебя как волонтер — все, дальше работа... Я заранее видел, что у Андрея будут сложности со многими, он скидку людям нисколько не делает. Но самое главное, о чем я ему тогда сказал: «Андрей, посмотри, уже раздолбано все. Пересажены и разогнаны Хельсинкская группа, Комиссия по психиатрии — все разгромлено. У них из целей остался один фонд, и работать они уже не дадут. Подумай, за что ты берешься». Но когда он подтвердил, я спорить с ним не мог.

Когда я говорю, что у четы Коган было одно из мест, куда я мог приходиться и с меня сдували пылинки, оживляли, я мог полностью расслабиться, лечь или съесть что-то, — вот у Андрея несколько по-иному, но тоже я попадал в такую душевную атмосферу. И еще много таких было мест, я с благодарностью вспоминаю, сколько все-таки находилось людей, которые относились с пониманием, смотрели на меня и понимали, что мне надо помогать и поддерживать. Среди них — семейство Бори Михайлова.

Борис — по-своему человек совершенно незаурядный. Он, в отличие от Андрея, в общении с людьми был проще, с другой стороны, тоже необычайного интеллекта, и не так много было людей, которые с ним могли на этом уровне тягаться. Необычная работоспособность, постоянная занятость чем-то. У него было пять детей, и в то время их просто прокормить было трудно. Он не вспоминает это в своем интервью, но он же параллельно с музеем [Останкино] дворником работал, как следует чистил без конца, чтобы еще что-то все-таки зарабатывать и вытягивать их. И кроме своих детей он ухитрялся и мне помогать. Добираться до них, я тоже расслаблялся, и эти дети как цветник все, один чудеснее другого. У него была феноменальная жена Наташа, которая, как и Марина у Андрея, — прекрасная женщина с мощным характером и фантастической работоспособностью. Она активно в фонде участвовала.

И Боря тогда считал, что он тоже готов быть распорядителем фонда.

— Одновременно с Андреем Кистяковским?

— Ну, одновременно или кто-то раньше, но уже подходило к концу, то есть слепому только не было видно, что ко мне уже сходится, вот-вот это кончится и кому-то надо принимать дела. И где-то в это время и Андрей сказал о своей готовности, и Борис. И вот, с одной стороны, люди взрослые, каждый решает сам, но у Бориса с его пятью детьми это было явным перебором. Видно было, чем это кончится, и представить, что они останутся без отца, было невозможно! Тем более что, в отличие от Андрея, Борис в фонде очень большую нагрузку и роль имел, лучше его на этом месте не придумаешь, и заменить его было очень трудно.

Я все это высказал Наталье Дмитриевне — что нежелательно Бориса, но самая главная причина — с кем останутся дети. И что Андрей берется всерьез и я настаиваю на Андрее. Надо сказать, что Наталья Дмитриевна — это просто феноменальный человек! Из всех феноменов феноменальный. Никогда никакого диктата с ее стороны не было. Никаких распоряжений, настаиваний на чем-то. Она осознала, что мы тут что-то делаем и она призвана обеспечивать возможность, чтобы мы могли это делать, по мере сил меньше нас риску подвергать и прочее и с решениями нашими не спорить. Когда разрабатывали положение о фонде, Наталья Дмитриевна мне его прислала: «мы втроем — Александр Исаевич, Алик Гинзбург и я — выработали и думаем, что это положение будет хорошее». Я смотрел, что там надо изменить, увлекся и начал делать какие-то пометки, довольно много нашел, что там поправить, и отослал ей со своими поправками: у меня вот такие замечания, но в общем я согласен с тем, как есть. Все до одной поправочки мои они внесли! И мне потом стало неудобно, что я там несколько перегибал, что у них можно было бы оставлять, не трогая, а я уже так, что и не надо, подчеркнул. Что действительно надо, я там не сомневался, в частности, сумма на одного — я сказал, что это крайне мало, надо увеличить несколько на одного ребенка помощь, которую фонд оказывает.

С другой стороны, у нас такая складывалась картина: были многодетные семьи, а по фонду установили, что фонд может выделять ежемесячно по 40 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. И когда вдруг у нас там оказалось у кого-то 9 детей, я смотрю, складывается такая ситуация, что мы выплачиваем сумму, которую бы глава семьи никогда не заработал, и это получается какое-то подталкивание: с такой оравой детей просто легче сесть и получать деньги от фонда, чем заработать их, оставаясь на воле. Такого не должно было быть. И я предложил, что по 40 рублей на ребенка, но не больше 120 рублей на семью. 120 рублей — кондовая советская зарплата, чтобы это не выглядело странно. Тем более что и деньги не бесконечны в фонде, нам нужно было помочь людям выжить.

Мы старались привлекать людей, кто может помимо фонда помогать тем, кто особо нуждается. Кстати, до 10 процентов в год от того, что мы тратили, были деньги, собранные внутри страны, так что все-таки это было заметно, находились люди, которые были готовы вно-

сдать деньги в фонд. Причем тоже интересно — люди отдавали деньги, и я им говорил: «Вы понимаете, что вы деньги отдаете мне, а я не могу вам потом отчет давать, куда пошли именно ваши деньги, они идут на общую помощь заключенным. Я вам предлагаю: вы сами выберите себе, кому бы вы хотели помогать, и конкретному человеку, его семье давайте деньги. Если это вам неудобно, у нас есть все время люди, которым от фонда помощь получается недостаточной, но мы не можем выделять больше, чем это предусмотрено положением о фонде. А если вы свои деньги не в фонд отдадите, а для кого-то конкретно, мы их передадим этим людям». На это всегда все, конечно, соглашались. Или отдавали и говорили: «Берите и делайте с ними что хотите, с этими деньгами». Таким образом, была возможность оказывать дополнительную помощь, не отходя от установленного положения о фонде.

Я долго думал, что людьми движет — теми, кто принимал участие в работе фонда, вот теми, которые не родственники репрессированных. И смотрю — и верующие, и неверующие были, и были люди, от рождения альтруисты просто. И это просто потребность кого-то опекать, кому-то отдавать последнее. Вот в чистом виде такой альтруисткой Лина Туманова была. У нее в квартире постоянно останавливались едущие на свидание или еще по каким делам приехавшие в Москву гонимые. Она ходила с ними по присутственным местам, по магазинам и, естественно, кормила их. Вот она, бедолага, с базедовой болезнью, приходит и говорит: «Ко мне опять приехали...» Я говорю: «Ну Лина, ну что я могу сделать? Деньги не мои. Сколько положено — столько мы дали». — «Ну да, понимаю...» И все свои деньги она на них тратила. Это фантастика просто, что такие люди находились! И я бесконечно благодарен этому периоду моей жизни, когда судьба дала мне возможность общаться и быть знакомым с этими людьми. И, в частности, что снизошли до дружбы со мной и Андрей Кистяковский, и Борис Михайлов.

Я могу понять Марину, которой пришлось пережить такое время. Пришел Андропов, всех посадили, и я понимал, в какой ситуации они с Андреем остаются. Работать фонду все равно не дали бы. Андрей больной, его отказываются лечить, дергают с обысками, какие-то еще неурядицы — ее эмоции я вполне могу понять. Мне только непонятно, когда человек, который к фонду весьма опосредованное отношение имел, пишет, что роль Бориса Михайлова в фонде была провокационной. Этого и близко не было. И объяснений, которые сам Борис дал, думаю, вполне достаточно.

У Лидии Корнеевны Чуковской в дневнике в то время [21 мая 1983 года] об Андрее такая запись осталась: «Объявлен новый распорядитель фонда — Андрей Кистяковский». И далее такое замечание: «Значит, нашелся еще один человек, добровольно идущий на гибель». Это исчерпывающе характеризует ситуацию, в которой все происходило. И с большой скидкой надо потом отнестись к тому, как и что человек в такой ситуации делает.

Ситуация была жуткая. Атмосфера сменилась, когда пришел Андропов, сразу появились тяжесть и безысходность впереди. Они начали добивать фонд. И в этой ситуации Андрей твердо решил, что он будет распорядителем. Как-то я слышал произнесенную им фразу: «Добро должно быть активным». И он чувствовал, что нужно не просто говорить, а брать на себя ответственность. И в этой же ситуации Борис со своими пятью детьми. Ох...

— **Правда ли, что роль Бориса Михайлова в фонде была очень значительна уже в то время, когда вы были распорядителем?**

— Да.

Кстати, говоря об Андрее и Борисе, надо упомянуть одну очень важную сторону и для их характеристики, и для характеристики моего с ними общения. Андрей крестился уже во взрослом состоянии и много размышлял на эту тему, как, что и почему. И со мной, в частности. Я тоже крестился, будучи взрослым. С другой стороны, Борис, который был человеком воцерковленным, нес еще большую нагрузку в храме, и дворником работал, и в фонде успевал. Я могу подтвердить, что его участие было крайне важно, просто неопределимо, и меня удивило, зачем он вдруг заговорил, что хочет быть распорядителем. Кажется, он нашел, чем в фонде заниматься эффективно и без этого. Поэтому я был против того, чтобы он был распорядителем, еще до своей посадки.

— **То есть вы считали, что перемещение его на пост распорядителя отвлечет его от конкретных дел, которыми, с вашей точки зрения, он успешно занимался?**

— Это все-таки было не главное, а главное — невозможно было смотреть на его будущее, ведь я уже понимал, что не дадут фонду функционировать.

— **Вам просто жалко его было?**

— Даже не то что его жалко... Все-таки пятеро маленьких детей, с кем они останутся? Это было как-то слишком. Это была главная причина, по которой я сказал Наталье Дмитриевне, что очень не надо бы, чтобы Борис был распорядителем. Но сообщение было редкое, она конкретно на это ничего не ответила, то есть не успела ответить — меня арестовали, но она согласилась с кандидатурой Андрея Кистяковского, и Андрей был объявлен распорядителем.

— **Михайлов — исторически, биографически — был близок к семье Солженицыных, насколько я понимаю.**

— Конечно! Его они знали. С Андреем они знакомы не были, а Борис — они вместе с Димой Борисовым и Евгением Барабановым высказались публично в поддержку Солженицына [в 1974 году].

— **Но они с вашей аргументацией согласились?**

— Я не успел получить ответ, меня посадили, и как и что происходило далее, я уже только приблизительно знаю. Но поскольку распорядителем фонда был объявлен Андрей — видимо, да, согласились. И вот, судя по этой маленькой заметке в дневнике у Лидии Корнеевны, воспринималось это так, что человек осознанно идет на гибель.

Так вот, я начал говорить, что мы с Андреем много говорили о христианстве и о литературе, и он, конечно, очень интересно все это рассказывал, как и что. Одно приведу только для понимания. Он так сформулировал, что такое роман. Роман — это исследование жизни человека между добром и злом в их христианском понимании. И дальше я увидел подтверждение тому, что советская литература — это как бы и не литература... Дело не в том, что уж совсем перевелись люди, умеющие писать: они, наверное, есть, но ценности, которые они признают, — это не христианские ценности.

Один пример. У Шолохова в «Судьбе человека» эпизод есть, когда пленных загоняют в бывший собор, они ночуют, и главный герой слышит, как один солдат другому говорит: «Я знаю, что ты политрук, я тебя завтра выдам немцам. А что мне с тобой возиться? И мне за это что-нибудь будет» — совершенно нагло. И этот главный герой решил, что этого нельзя допустить, и ночью задушил того, кто собирался выдать. И дальше авторская ремарка, что Соколов после этого встал и почувствовал себя так, как будто он в руках держал какую-то гадину, — это задушив живого человека. У того же Шолохова в «Тихом Доне» есть эпизод, когда разбита группка бандитов, они уходят, уже совершенно обессиленные, у них раненый, которого они не могут уже нести, и они понимают, что оставить его — это обречь на издевательство, и они его убивают. Они уходят, один остается, они слышат выстрел, и дальше там авторское, что они все почувствовали, что этого нельзя делать, человек не должен так делать даже в такой ситуации. Вот чем отличается подход. Поэтому, в частности, «Тихий Дон» — это литература, а «Судьба человека» — нет. Не потому что человек не умеет писать, а потому что пытается навязывать противоестественные для человека ценности.

Вот об этом Андрей тоже размышлял и благодатного слушателя во мне находил. А с другой стороны, Борис, человек церковный, был моим наставником и восприемником, когда меня крестили... Вот таково участие их обоих в моем крещении, за что я им благодарен всю мою последующую жизнь.

— Что вы знаете о событиях, последовавших за вашим арестом, свидетелем которых вы уже не были?

— Что делалось на воле, как далее функционировал фонд, я и до сих пор как следует не знаю, долго я был в полной информационной изоляции, потом уехал во Францию и никого въедливыми вопросами не мучил. Я могу что-то рассказать из того, к чему я был поближе. Органы, начиная еще с Алика Гинзбурга, крутились вокруг того, чтобы фонд под 64-ю статью подвести как антигосударственную организацию, статьи в газетах были, но у них явно не хватало материала, и Александра Гинзбурга посадили по 70-й статье. А фонд, вообще говоря, ни под какую статью не подпадал, им и в голову не приходило обезопасить себя от чего-нибудь такого, и в Уголовном кодексе ничего подходящего просто не было. Все мое следствие шло по фонду, а потом они судили ме-

ня за распространение заведомо ложных слухов и измышлений. И в приговоре кассационного суда упоминания фонда вообще нет. Если еще в первый приговор вошло, что я был распорядителем фонда, потом и это убрали, потому что под эту статью фонд никак не подходит. И я вот подозреваю, почему они решились применять ко мне такие меры, что они после ленинградского суда...

— **Это дело Валерия Репина?**

— Да... Это был очень тяжелый случай, и статья в конце концов была расстрельная, 64-я, хотя они меньше меньшего дали по ней. Для того чтобы им сделать процесс по целой организации, им хотелось меня довести до кондиции. И они пошли на то, чего раньше, кажется, не проделывалось. Потом, когда следствие закончилось, ко мне допустили адвоката и дали для ознакомления «дело», так там было ходатайство следователя, следователь просил прокурора продлить срок следствия, мотивируя это тем, что для того, чтобы переквалифицировать дело на 64-ю статью, им нужно допросить еще сотню или сколько-то сотен свидетелей. Ясно, что для хорошего процесса по статье 64-1 им необходимо было дожать меня, оттого-то положение мое было очень тяжелое.

— **Было ли это инициативой конкретного следователя или спущенной сверху — то, что вас били в тюрьме?**

— Следователь мне говорил, раз как минимум: «Поймите, я же не один! И у вас выхода нет уже. Вот Репин тоже долго молчал, но заговорил. И вы все равно будете говорить! Я же не один, не от меня это зависит». Естественно, у них какая-то бригада работала, и решения на хорошем уровне принимались. У меня сложилось впечатление, что потом следователь несколько выпустил процесс из-под контроля, и эти ребята перестарались. У меня были просто ребра все сломаны. А результата не было. Этот следователь, как мне стало позже известно, сам потом попал в психушку, а после нее умер вообще. Тогда он мне на допросах настойчиво внушал, что это конец, выхода нет, конец жизни. Он такой весь из себя здоровый, с накачанными мышцами, спортсмен, и признать тогда, что он умрет раньше меня, было бы странно. На что я ему тогда буркнул, что большую половину жизни я прожил, жизнь не бесконечна, так что чего ты мне все долдонишь: конец, конец...

И создалась ситуация у меня критическая. Я даже не объявлял голодовку. Но все-таки написал, что пусть мне прокурора предоставят, чтобы перевели в другую камеру, а пока прокурора нет, я перестану есть. И никто не появляется, я не ем, и меня должны изолировать — они меня в отдельную камеру затолкнули. Причем там какая-то куча мусора лежала, как на помоечку выбросили. И однажды появился прокурор, говорит: «В чем дело?» — «Вы мое заявление читали?» — «Нет, мне его не дали». Я говорю: «А что я с вами буду говорить, если вам даже мое заявление не дали?» И меня повели к следователю, это этажа три, притащили, следователь говорит: «Ну вот ваше заявление у нас, и что толку?» А я в этом не очень и сомневался. И потом я кончил эту голодовку еще по причинам,

что она станет известна — и зря будет нервировать друзей на воле, а толку нет. Я вообще всегда был противником голодовок, ду-мал: они и сами со мной управятся, и помогать им нет смысла.

Далее произошел случай, который осложнил жизнь моим друзьям на воле, внес раздор, и отклики на него донныне всплывают время от времени.

По окончании голодовки они меня возвращают в ту же камеру. Даже формально не положено держать в одной камере рецидивистов с теми, кто по первому разу привлекается, они должны быть разделены в камерах. На этом я основывался: с какой стати вы меня держите с этими ребятами? И по дороге к камере в таком состоянии я думаю: что же дальше будет и как. У них есть в коридорах такие боксы — маленькие помещеньца, они им нужны, чтобы кто-то не встретился в коридоре, они туда запикивают заключенного, пройдут — выпускают. И без видимой причины они меня в этот бокс загнали. Тут же, следом, еще туда человека. И этот человек мне говорит, что он отбывает свой срок здесь, в тюрьме, в хозобслуге, завтра он освобождается, и вот, мол, не хочешь ли что-нибудь передать. Я знаю, что в хозобслуге они оставляют людей, которые, что называется, однозначно встали на путь исправления и помогают следствию раскрыть преступление, то есть людей, сотрудничающих со следователем, но, с другой стороны, с не очень серьезными преступлениями. Их оставляют до конца срока, тем более срок в тюрьме идет по сравнению с лагерем день за два или день за три, им сокращается срок. Но это люди, которые со следователем полностью сотрудничают, и едва ли им можно доверять в чем-то. Это мне сразу ясно. Второе: совершенно исключено, чтобы человек, который завтра освобождается, оказался в одном боксе с подследственным... Их, освобождающихся, обычно за несколько дней до освобождения изолируют. Так что такой случайности не могло быть. Это я все понимал, но думал: какой-то шанс есть, я же не знаю, кто он и что. И я тут же вспоминаю, что на память помню только свой телефон и телефон Андрея, но мой телефон был отключен, а у Андрея квартира коммунальная, в коммунальных квартирах телефоны не отключали. Но телефон прослушивается, очевидно. Я подумал: если он позвонит и расскажет, телефон прослушивается и, по крайней мере, кураторы мои поймут, что информация ускользнула, и притормозят немного свои действия. Одно дело — все делается втайне, тихо, а когда ускользнула информация — мне это жизнь облегчит. Вот какой ход мыслей у меня был. Я понимал, что Андрей воспримет это как чистую провокацию (каковой она и была, по всей видимости, только какой в ней смысл — до сих пор непонятно) и будет себя неуютно чувствовать... Но положение мое было критическое, и я подумал, что Андрей как-никак на воле. Как-то переживет...

Короче говоря, я нацарапал на спичечной коробке обожженной спичкой номер телефона Андрея и рассказал, что со мной делается. Я подумал: он позвонит, Андрея не будет, а второй раз не соберется. И я сказал: сказать Андрею или его жене Марине по те-

лефону. В общем, считал маловероятным, что он позвонит, скорее всего, выйдет и забудет, если это его инициатива была. С другой стороны, что они с этого возьмут? Я просто хватался за соломинку. Но чем дальше дело шло, тем больше я подозревал, что он, конечно, никуда не позвонит, а попал, может быть, случайно в этот бокс.

Однако оказалось наоборот: он позвонил, Андрей был в больнице, он это рассказал Марине. Марина, конечно, от этого пришла в ужас. И я понимал, что это воспримут как провокацию; что с такой информацией делать? Очень трудно сориентироваться. Но то, что Андрей совершенно больной, я не знал. Андрей рассказал, окружение знало, в конце концов информация ушла, и это стало известно, она прозвучала. Он не сделал публично никакого заявления, но в той ситуации сделать публичное заявление, основываясь на фактически анонимном звонке... Какие тут к нему претензии...

Спустя какое-то время этот человек появился где-то в компании, где была одна очень активная участница фонда, которая, кстати говоря, по разным соображениям, когда Андрей объявился, сказала, что в фонде участвовать не будет. У нее еще были личные счета какие-то, и она отошла от фонда. Значит, тот появился и начал говорить: «Я сидел, я вашего товарища видел... его избивают. Я вышел, позвонил, а никто ничего не делает». А что тут можно было сделать? И они, возбудившись от этого, несколько человек, пошли к Андрею качать права. Мне не представлялось, что такой оборот это примет. Я не знаю, когда конкретно это все было. Тем более расспрашивать, когда я освободился, мне было крайне неудобно. Мне только сказали, что так, мол, и так, человек позвонил... Все, больше я детали не расспрашивал.

— После того как вас освободили из лагеря, вы некоторое время до выезда в Париж были в Москве. Встретились ли вы с Кистяковским?

— Я вернулся и целый месяц еще в Москве был. Я очень упирался и оттягивал выезд, но они меня уже подталкивали. И вот я видел Андрея еще живым, успел застать. Я ему сказал, что не хочу говорить на тему, связанную с этим случаем с задержкой информации, я думаю, что он по моим интонациям понял, но он спросил, почему я не хочу. Я сказал, что поскольку я являюсь причиной того, что произошло, мне об этом просто трудно говорить. И он прекрасно понял и удовлетворился этим, не стал ничего ни сам говорить, ни спрашивать у меня. И вообще очень трогательно было его увидеть. Уже ему делали полный обмен крови, переливали кровь, как-то ее обрабатывая. Но голова была у него ясная, он все понимал. И вот остаются какие-то мелочи, о которых он говорил мне в эти последние дни. Ему почему-то хотелось, чтобы везде были зажигалки. Тогда такие простенькие были зажигалки. Я говорю: «Ну хорошо, это несложно, я думаю». Но я ему эти зажигалки так и не достал, не принес. И потом он умер, а эти зажигалки несчастные остались мне укором. Фантастика какая-то! Кстати, Марина утверждает, что этих зажигалок полно было в их квартире...

— **А Бориса Михайлова вы видели?**

— Думаю, не может быть, конечно, чтобы я его не видел, но я почему-то запомнил встречу, когда я потом приехал в Москву — отсюда я еще несколько раз приезжал в Москву, и первый раз, когда я приехал, это было, наверное, после путча [1991 года]. И тогда я приходил к Борису, мы с ним говорили. Абсолютно, естественно, я ему никаких вопросов не задавал, что там произошло и как. Просто я к нему пришел, говорили о жизни, что у него складывается, что у меня получается. Я его не расспрашивал.

— **Расскажите, пожалуйста, про вашу жизнь в Париже. Почему вы выбрали Париж, чем там занимались?**

— Меня иногда удивляет что-то в жизни. До 1965 года я жил в Сибири. Я родился в Сталинграде в 1940 году, в 1942 году эвакуировались в Сибирь и потом жили там, в Барнауле. И вот странно: помню, еще в молодости, лет 18 было, мне какие-то мысли все время приходили. Вот пришла мысль, что на Кавказ, в Прибалтику — я туда никогда не попаду, а в Москве я буду. И почему-то как-то Франция всплывала. Я потом задним числом вспоминал: в каком-то контексте всплывала у меня Франция, в смысле, что я во Франции буду. А конкретно, когда встал вопрос об отъезде, я увидел, что у меня ясного бытового представления о какой-либо стране, кроме Франции, нет. Вот общее есть — какая-то Англия, какая-то Америка, Германия там, но они отвлеченные, большие страны. А конкретное, что такое Франция, представление было. Но самое главное все-таки то, что здесь уже была и обосновалась моя двоюродная сестра Татьяна Сергеевна Ходорович, была уже зацепка... И другого вопроса просто не было.

Я помню, в этот месяц, пока я был в Москве, посол Нидерландов, по-моему, меня как-то нашел и пригласил поговорить. И сказал, что вот они готовы предоставить мне убежище. Но мне это казалось совсем невероятным — какие Нидерланды... И я отказался. Поскольку это все оформлялось опять же через Израиль, через израильскую визу... Формально у них выезд только один был — через Израиль. Очень это было неудобно, я много извинялся в посольстве Израиля, что нет выхода, приходится просто воспользоваться их визой как средством передвижения, с Израилем у меня ничего общего нет, я туда, конечно, не поеду и очень благодарен, что они с пониманием относятся и дают возможность мне все-таки уехать во Францию.

— **А как КГБ доказывал, что вам нужно в Израиль?**

— Они никак не доказывали. Еще когда в лагере ко мне приехал из КГБ тип и сказал, что вот меня могут освободить, если я уеду... И вот мы на эту тему с ним долго долдонили, и в конце концов... Нет, долго говорили о том, чтобы писать прошение о помиловании. И я ему говорил, что уехать, отсидев четыре года, я уже созрел, а чтобы писать прошение о помиловании — еще нет. Он сказал: «Ну что же, будем сидеть еще четыре года». Я говорю: «Ну, будем сидеть». Дальше я вижу, что он не прекра-

щает разговор. И, измочалившись, он перешел к другому: «Хорошо, тогда напишите обязательство, что, будучи освобожденным, не будете нарушать законодательство». «Да что за чушь?! — говорю. — Почему эту чушь надо писать — обязуюсь не быть преступником? С какой стати? Тем более если я уеду за границу, что вам это обязательство?» И тут он говорит: «Понимаете, это же Верховный совет, им нужна какая-то бумажка — как освободить. Если УДО, у вас постановления о нарушении дисциплины...» В общем, на это я согласился, думаю: снявши голову, по волосам не плачут.

Тем не менее я написал больше, чем он просил. Я написал так: «Прошу Верховный совет освободить меня от дальнейшего пребывания в лагере, от наказания. Со своей стороны, будучи на свободе, обязуюсь не нарушать советских законов, каково бы ни было мое к ним отношение» (*смеется*). То есть я еще больше взял на себя обязательств! И он говорит: «А это зачем? Это уберите!» Но, уступив в главном, я за это уцепился и не уступал. И он махнул рукой — и все. Как я понял, они действительно потом уже и не читали, кто там что напишет, а есть заявление — давай, нет заявления — пусть еще посидит пока. В частности, [Валерий] Сендеров написал, что он обязуется выполнять законы, если они были приняты или утверждены Первой Государственной думой (*смеется*). И ничего, прошло, есть заявление — и ладно. Вот Хрущев без придури выпустил тогда — и все. А эти вот еще терзали людей: пиши это, пиши то. Они сами, правда, плохо соображали, что делать.

И когда все порешили, он говорит: «Вот вам анкета в Израиль». У них всегда запросы лежали, если надо. Я посмотрел на анкету и говорю... А уже дело к утру близилось, он приехал вечером, и ночь мы с ним сидели. Я ему говорю: «Все, я не в состоянии что-то делать, я не могу заполнить ее. Я думаю, давайте я эту анкету подпишу, а вы жене ее отдадите, она ее заполнит». Я видел реально, что ему нужна анкета, и если я уже согласился... Вот так и было сделано. Привез он эту анкету жене, а она ее заполняла. Поэтому это все через Израиль делалось.

Вот я думаю: учитывая, что через несколько лет это все рассыпалось, там, внутри-то, они это уже осознавали, уже видели, давно они в свою идеологию не верили, но продолжали сажать. Хрен знает за что сажать! Там еще пытались со мной беседы проводить в лагере, в политчасти: «Вот вы не признаете, что вы виновны... А за что вас посадили?» Я говорю: «У меня такое ощущение, что уже через несколько лет будет непонятно, за что посадили» (*смеется*). Следствие шло по фонду. И все-таки нет, я думаю, фонд — это был повод. А посадили все-таки за то, что я осознал себя несоветским человеком и не скрывал этого. А вот этого они перенести не могли. Но почему они никак не могли остановиться, когда чувствовали уже в глубине, прикидывали, небось, как они начнут делить все это в стране, и уже конец — вот он, но до самого конца сажали... Жуть! Поэтому еще раз призываю — к людям, которые в этой ситуации находили в себе силы этому

идиотическому безумию противостоять, совершенно беззащитные, но отстаивая свое человеческое достоинство, с большой скидкой относиться... Этих людей десятки, сотни были, и это были праведники, я знал их, жил среди них — это был лучший период в моей жизни.

И я это действительно ощущал, что на любого можешь положиться и знаешь, что человек никаких корыстных не имеет целей, можешь обратиться с любой просьбой. Очень комфортная обстановка была среди людей, которые приходили к судам, среди волонтеров фонда. Странно даже слышать: а как было, воровства не было? Нет, не было. Напротив, сплошь и рядом волонтеры трагично тратили свои деньги на подопечных. Это действительно особые люди были! Хотя, если посмотреть, те же, из кожи и мяса сделанные, все разные характеры, разные взаимоотношения. Но нечто крайне привлекательное выделяло и единило этих людей. В том числе особыми вехами остаются для меня и Андрей Кистяковский, и Борис Михайлов, так получается.

Да, но был вопрос про мою жизнь в Париже.

Оказавшись на воле, я увидел, что изменения накатываются стремительно и, пожалуй что, снимают с меня обязательство эмигрировать, но... Для того чтобы остаться, надо было быть готовым снова сидеть при случае... И я увидел, что к этому я уже не готов, нет сил и готовности. Мне хватило моих четырех лет отсидки. И мы с женой и сыном уехали. И вот — Париж! Да, только эмоций особых по этому поводу не было. Я смотрел и с грустью думал, что если бы увидеть Париж, когда тебе лет 18, то можно было бы и обернуть от изумления. А что теперь? Париж! Ну и что? А ничего. Позже перебрались к нам моя старшая дочь с мужем и двумя дочерьми малыми и мать моей жены, бабушка сына.

Что сказать о жизни здесь, за границей? Если взять материальную сторону, то не очень. Нормальную пенсию ни я, ни жена, естественно, заработать не успели, и ее как бы и нету. Франция таких людей не оставляет на произвол судьбы и назначает пособие по старости, которое обеспечивает прожиточный минимум, кроме того, доплачивает за жилье, дает медицинскую страховку, бесплатный проезд на общественном транспорте. То есть на еду, одежду и нормальное жилье хватает, но не более... Но что более существенно — жизнь вместе с эмиграцией как бы потеряла смысл. В чем он, смысл-то, был там, в отчизне, я сформулировать не могу, а вот ощущение, что там он был, а теперь, здесь, его нету, остается. Чем я здесь занимался? Скучно перечислять, займет много места. Язык французский я не освоил, а без языка почти невозможно серьезной деятельностью заниматься. Ну, об одном своем занятии стоит рассказать. Лет пятнадцать назад я стал художником. До этого я ни разу в жизни не пытался кистью изобразить что-либо. Произошло это так. Здесь, в Париже, живет русский эмигрант, высокопрофессиональный и во Франции очень известный художник — Сергей Сергеевич Тутунов.

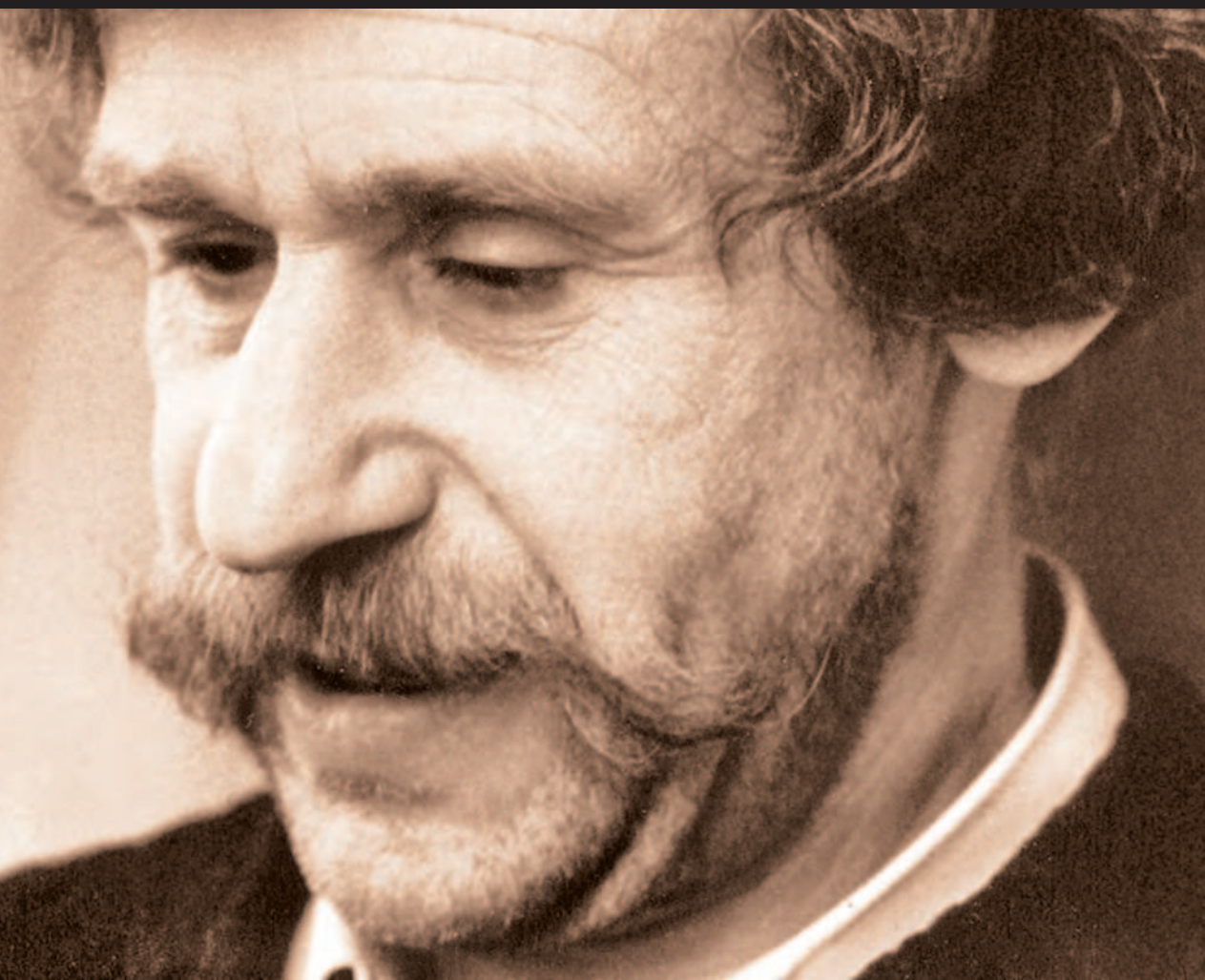
Вскоре после своего приезда я с ним познакомился, да так вот и возжаемся до сих пор. Я ему помогал делать выставки, рамы, для себя какие-то поделки делал в его мастерской. Время от времени он насканивал на меня с предложением: «Давай я тебя научу рисовать». Я понимал это как неинтересную шутку и вяло отмахивался. Однажды — это был период, когда я занимался торговлей на брокантах (барахолках по-нашему), — он подступил ко мне с повышенной активностью с таким предложением: «Давай я нарисую тебе домик в ночи, со светом в окошке, для этого нужно всего три краски, я их тебе наведу, а ты будешь перерисовывать и продавать эти картинки на своих брокантах!» И уговорил. Я тут же взялся перерисовывать и не мог взять в толк, что же это происходит. Вот у него домик в ночи со светящимся окошком на фоне неба со звездочками (эффект как у Куинджи, «Лунная ночь на Днепре»), а у меня какое-то раскоряченное нечто плывет по разливи-чего-то... Это меня раззадорило, я снова и снова перерисовывал этот домик и очень радовался, когда он у меня получился. Следом я принялся копировать его этюд, маленький зимний пейзаж, и пришел в восторг, когда увидел, что это я нарисовал настоящую картинку. Я показывал ее своим знакомым, и одна из них, Ирина Антоновна Шостакович, явно желая поддержать начинающее дарование, спросила: «А большую вы ее можете нарисовать? Я бы у вас ее купила». Я позвонил художнику Тутунову, он горячо посоветовал соглашаться, заверил, что смогу и большую. И я нарисовал ее, а Ирина Антоновна купила не торгуясь, и вид у нее был довольный. А на другой день мы с Тутуновым поехали писать пейзаж с натуры, и я обнаружил, что для меня одинаково — копировать пейзаж с картины или писать его с натуры. Я смотрю на пейзаж, вижу перед собой как бы написанную картину и перерисовываю ее. Так я и продельваю регулярно последние 15 лет. Я пишу пейзажи, натюрморты, букеты... Я «новых веяний в толк не беру», пишу в струе русской реалистической школы живописи. На фантазию не полагаюсь, пишу исключительно с натуры. Мне это немного странным кажется, поскольку моя бабка, Анастасия Врубель, была сестрой художника Михаила Врубеля и при таком родстве могли бы быть у меня несколько иные взгляды на искусство. Но я таки считаю, что художник не должен пытаться творить (все уже раз и до скончания сотворено), а только выискивать и отображать частички, акцентируя внимание на красоте сотворенного Богом мира... Если покажется, что это шутка — то, что я стал художником, так нет. За это время я написал почти полторы тысячи картин, и из них у меня купили в аккурат 999. Денег, надо сказать, мне это почти не дает (велики накладные расходы), ну да что уж там...

И вот, доживая здесь и глядя назад, могу сказать «с чувством глубокого удовлетворения», перефразируя лермонтовского Мцыря: а был и я в краю отцов не из последних удальцов! (*смеется*).



*Сергей Ходорович
на выставке своих
картин в «Центре
Шостаковича».
Париж, 2009
© Из архива
Сергея Ходоровича*

Андрей Кистяковский.
Начало 1980-х
© Из архива Марины
Шемаханской



«Издевательство шло до конца жизни»

— В биографии Андрея Андреевича Кистяковского рубежным шагом стала публикация перевода романа Артура Кестлера «Слепящая тьма» за границей, в нью-йоркском Издательстве имени Чехова, в 1978 году. Это было им сделано под своим именем.

— Да. Он никогда ни за что и ни за кого не прятался. Никогда!

— Это был по тогдашним временам смелый шаг. Ведь Кистяковский вел жизнь официального советского переводчика, зарабатывал публикациями. Как он на это решился?

— Вы знаете, в чеховском издании есть предисловие переводчика, датированное 25 апреля 1976 года, там Андрей счел необходимым сказать, что им двигало. «Время, лишённое прошлого, превратилось в безвремяе. Сейчас попытка осмыслить себя и свой мир не обязательно оборачивается мучительной гибелью, но зыбучая трясина безвременья глушит живую мысль, и люди, отказываясь думать, интересуются в лучшем случае лишь фактами истории — а разве могут разрозненные факты объяснить коренную основу прошлого, неизменно чреватого будущим? <...> Что же касается до меня, то я взялся за перевод, пытаюсь освободиться от полукорыстной лжи «добросовестного служения своему делу», которое слишком часто приспособливают себе на потребу те, кто заключил прошлое в тайные архивы».

— Выход перевода на Западе как-то изменил вашу тогдашнюю жизнь?

— В чем-то изменил: Андрей оказался как бы «под колпаком». Делать из него откровенного диссидента было, видимо, для них невыгодно. Поэтому его продолжали иногда печатать. Но в «друзьях» появился Гога Анджапаридзе из издательства «Радуга», который при абсолютной внешней доброжелательности (приходил даже в гости) присматривал за тем, над чем Андрей работает. Андрей не придавал этому большого значения, так как он всегда сам выбирал, что переводить. В переводческой среде (Р.Е. Облонская, М.Ф. Лорие, М. Кан и другие) он пользовался авторитетом и любовью.

Первая публикация романа Кестлера в России была в журнале «Нева» в 1988 году, уже после смерти Андрея. Перед публикацией ко мне приезжал главный редактор журнала Борис Никольский, который боялся, нет ли чего-нибудь в архивах «за пазухой» (любимое выражение Андрея) антисоветского. Кажется, я его успокоила, и роман был опубликован, спасибо за это замечательному питерскому литератору Самуилу Лурье, сотруднику журнала «Нева».



Марина
Шемаханская
© Из архива
Марины
Шемаханской

— **Каков был круг ваших знакомых в середине 1970-х?**

— Самый близкий круг — это друзья, с которыми велись нескончаемые умные разговоры: Алеша Чанцев, Миша Ерёмин, Виль Мириманов, Саша Морозов, Володя Муравьев, Аркадий Штейнберг, Толя Болтрукевич (одноклассник), Роберт Сурис. И их жены, конечно. В более широкий круг входили художники: Борис Козлов, Борис Петрович Свешников, Василий Ситников... у нас был портрет Андрея, нарисованный Ситниковым, но на него как-то пролилась вода, и он пропал. Жили насыщенно и весело. Потом появилась настоящая диссидентская среда. Юра Шиханович, Татьяна Сергеевна Ходорович и ее окружение. И как раз из среды Ходоровичей перевод романа и ушел туда, на Запад. Андрей радовался: по меньшей мере 20 человек знали о переводе, и ни один не «стукнул».

— **Вы дружили с Сергеем Ходоровичем, который после эмиграции Татьяны Сергеевны Ходорович осенью 1977 года стал распорядителем Солженицынского Фонда помощи политзаключенным и их семьям?**

— Да. Андрей очень любил Сережу и восхищался им, ему было интересно с ним. Сережа был эрудированным человеком со своим особым мнением и на литературу. А сейчас... я с ним вижу в скайпе. Вот он и сейчас у меня в скайпе (*смеется*)...

— **А как он появился у вас в доме?**

— Это мы появились у него. Кто нас познакомил, я уже не помню.

— **Но Андрей тогда, в отличие от Ходоровича, не был погружен с головой с правозащитную деятельность...**

— Нет, он занимался переводами...

— **Что заставило его возглавить Солженицынский фонд?**

— Всем было понятно, и Сереже тоже, что его арестуют. Андрей с Сережей договорились, что после ареста продолжать заниматься фондом будет Андрей. Кандидатуру Андрея предложили Солженицыну. Он одобрил.

— **Андрей был знаком с Солженицыным до его высылки?**

Андрей Андреевич Кистяковский (11 октября 1936, Москва — 30 июня 1987, Москва) — переводчик. Учился в Московском автомобильном институте. В 1971 году окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ по специальности «английский язык и литература». Публиковался с 1967 года. После окончания университета работал переводчиком художественной литературы с английского (в СССР были опубликованы его переводы рассказов У. Фолкнера, Р. Денкена, Ч.П. Сноу, Ф. О'Коннор и др.).

В 1960-е сблизился с кругом художников-нонконформистов «Лианозовской школы». В 1974—1976 годах перевел на русский роман Артура Кестлера «Слепящая тьма» (перевод издан в Нью-Йорке в 1978 году; в СССР вышел в 1988 году).

С конца 1970-х стал участвовать в работе основанного в 1974 году А.И. Солженицыным на гонимых от издания «Архипелага ГУЛАГ» Русского общественного фонда помощи политзаключенным.

— Нет, не был. Когда Сережу посадили [7 апреля 1983 года] и Андрей стал распорядителем фонда, он посчитал правильным заявить об этом громко и ни от властей, ни от кого не скрывать, что он распорядитель. Он не считал такую деятельность политической, а исключительно милосердной, христианской. Это не было политической позицией, это было исключительно этически-нравственным убеждением. Исключительно! В этой среде не было никакой политики. Это я утверждаю. Солженицын объявил по западному радио о новом распорядителе фонда. Я была рядовым участником. И то, как этим занимались, — а это было у меня на глазах — было, конечно, совершенно невероятно. У каждого из участников, помощников фонда были свои подопечные по России, которым пересылались вещи, деньги. Было участие в жизни семей политзаключенных. Знали даже дни рождения членов семей, чтобы ко дню рождения что-то им присылать. Знали, когда свидания в лагере или в тюрьме, и присылали к этим датам деньги. Знали даже размеры одежды. Поэтому помощь была очень человеческая.

— **Как поступали деньги?**

— Этого я не должна была знать (*смеется*).

— **То есть Андрей держал какие-то вещи в полной тайне?**

— Да. Но я знала, например, что деньги хранились у разных абсолютно надежных людей. Что была очень строгая отчетность перед Солженицыными, и я видела, как ее готовил Андрей — на тонкой папиросной бумаге.

Всему этому, конечно, сопутствовали всякие неприятные жизненные, бытовые ситуации, постоянное напряжение. В общем, вся жизнь была окрашена этим.

— **Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.**

— Мы жили в коммунальной квартире на улице Чехова, у нас было две комнаты. И вскоре после того, как Андрей стал распорядителем, мне соседи из квартиры, расположенной под нами, говорят: «Как странно, у нас сосед получил квартиру, хотя не просил». — «И что, эта комната пустует?» — «Кто-то иногда приходит». Стало понятно, что нас слушают. И поэтому все разго-

ченным и их семьям, распорядителем которого в СССР с 1977 года был С.Д. Ходорович. После ареста в апреле 1983 года Ходорович назначил Кистьяковского своим преемником. 18 мая 1983 года Кистьяковский объявил о том, что вступил в распоряжение фондом. Подвергся обыскам, угрозам и избиению.

Последние годы жизни тяжело болел, но успел завершить перевод книги Дж.Р.Р. Толкина «Хранители».

Марина Сергеевна Шемаханская (8 февраля 1937, Москва) — реставратор. Окончила Институт стали и сплавов. Ныне ведущий научный сотрудник Отдела реставрации металла Государственного научно-исследовательского института реставрации, заслуженный деятель искусств РФ.

В 1966—1987 годах — замужем за А.А. Кистьяковским. Живет в Москве.

воры мы вели на лестнице, дома ни о чем, связанном с фондом, не говорили.

У нас был очередной обыск. Перетряхивали все. Они не знали, что ищут. Дочь не пустили в школу, я сидела и вязала шарф, который ношу до сих пор.

— **Сколько лет было дочери?**

— Она была в последнем классе. Тогда у нас забрали пишущую машинку и деньги, совсем небольшую сумму, но это были наши деньги, деньги фонда у нас никогда не хранились. В какой-то момент дочь спросила: «Я наконец могу идти в школу?» Они говорят: «Можешь, девочка». Тогда она положила в ранец все зарубежные издания, тамиздат, и вынесла (*смеется*). Забавно было, что во время обыска они, например, меня спрашивали: «А если вы увидите нас на улице, вы поздороваетесь с нами?» То есть с комплексами они были! Я сказала, что здороваюсь только со знакомыми людьми.

— **Их волновало ваше к ним отношение?**

— Да, волновало.

У Андрея была еще комната, в которой он работал, писал и переводил. И вот они хотели, чтобы я их отвезла на ту квартиру. Я сказала, что не повезу, потому что у них нет ордера на это. Они созвонились со своим управлением; наконец им привезли ордер. А у меня (да и у нас всех) от постоянного напряжения и ожидания опасности развилась просто звериная интуиция. И когда они привезли ордер на обыск, я уже поняла, что Андрея там нет, и я их туда повезла. Они по дороге со мной о Достоевском пытались разговаривать.

А звериная интуиция — это до удивления было! Однажды Андрей с приятелем решили поехать в Питер на пару дней передохнуть. Он чувствовал, что скоро его должны забрать. Вот и собрался к друзьям в Питер. Сложил стопкой вещи, которые должен был взять с собой. И вдруг утром, в семь часов, звонок в нашу коммунальную квартиру. И первое, что я сделала, — я разбросала эту кучку вещей. То есть я понимала, что скорее всего идут с обыском и если они увидят приготовленные вещи, то поймут, что он уезжает, и что-нибудь с ним сделают. Понимаете, мы жили в такой атмосфере, которая держала нас в постоянном напряжении.

Но при этом жили мы весело. Вот, например, вызвали меня в прокуратуру по делу Сережи Ходоровича. Была знаменитая книжка [Владимира] Альбрехта «Как вести себя на допросе». И на допросе я четко следовала его советам. При обыске, как я говорила, у нас забрали пишущую машинку и деньги. Я сказала: давайте только письменно — вы пишете мне вопрос, я вам письменно даю ответ. Он мне пишет какой-то вопрос, подвигает ко мне протокол, и я ему отвечаю: «До тех пор, пока не будет восстановлена справедливость и не будут возвращены пишущая машинка, которая является орудием труда моего мужа, профес-

сионального переводчика, и деньги, такая-то сумма, которые отложены на обучение английскому языку нашей дочери, я давать ответ на ваш вопрос не буду».

Он, ничего не подозревая, пишет следующий вопрос и подвигает мне, и я опять долго пишу слово в слово этот ответ. И так два часа. Он говорит: «И дальше так будет?» Я говорю: «Да». — «Так вы отказываетесь давать показания?» — «Нет, я не отказываюсь давать показания, но до тех пор, пока не будет...» (смеется). Следователь, который вызывал меня, имел фамилию Бескишков. И в результате Бескишкова-то сняли!

А о механике работы фонда — понимаете, меня Андрей не посвящал в это в принципе.

— **Андрей так и не арестовали. И занимался он фондом недолго.**

— Недолго. Он заболел. Заболел раком. Ему сделали операцию. После операции Андрей чувствовал себя хорошо, его отношение к жизни не изменилось. И вот тогда-то произошел случай, который сломал фонд и сократил жизнь Андрея. Об этом случае никто не знает, кроме меня. Вам первому рассказываю.

Среди близких нам людей был Боря Михайлов. Он несколько раз хотел возглавить фонд, но его почему-то не утверждали [Солженицыны]. И вот после операции, когда Андрей уже вернулся к нормальной жизни и продолжал работать в фонде, однажды приходит Боря, звонит, я открываю дверь и выхожу на лестницу (Андрея дома не было), понимая, что надо о чем-то поговорить, раз он пришел. Он берет меня за руку и, буквально чеканя шаг, вводит в комнату, в которой мы, как я уже рассказывала, никогда не разговаривали. И начинает говорить о том, что он берет на себя распоряжение фондом. Потому что вот Андрей заболел и так далее... Я ему говорю: «Боря, вы сошли с ума, нельзя здесь говорить!» — и тащу его на лестницу. Но нет, он упорно договорил все, что он хотел, в комнате и после этого сразу ушел. Мы были с ним до этого в очень хороших отношениях и с семьей его общались, он был верующим человеком. Михайлов передал это свое заявление Солженицыну. И они [в Вермонте] заявили, что Андрей отказался от руководства фондом из-за болезни и теперь руководитель фонда — Борис Михайлов. У него вскоре был обыск, а через несколько дней он отказался быть распорядителем, сказав, что его духовник ему запретил, дескать, фонд — дело греховное. Так фонд был переломан.

После этого мы с Борей Михайловым уже не общались.

— **Как вы интерпретировали тогда эту последовательность действий, зачем он настойчиво говорил в прослушиваемой комнате?**

— Зачем он говорил? Потом человек, который работал вместе с ним в [музее] Останкино, сказал мне вне связи с фондом: «Неужели вы не знаете, что он общается с органами?» Затем мы узнали, что письма за границу, которые он брался переправлять, за последний год не доходили до адресатов. Позже от Натальи Дмитри-



Андрей Кистяковский. Конец 1960-х
© Из архива
Марины
Шемаханской

евны [Солженицыной] пришло сообщение, что она извиняется за то, что они слишком быстро дали сообщение о смене руководства фонда и, главное, не связались с Андреем, не проверили информацию.

— **То есть Андрей не отказывался быть распорядителем?**

— Ни в коем случае! У него и в мыслях этого не было! Михайлов сделал это все волевым образом, а после — отказался. Как хотите интерпретируйте.

Потом я еще раз с ним встретила. Была выставка в Библиотеке иностранной литературы, Никита Алексеевич Струве привез книги, мне он прислал приглашительный билет, и я там была. Было много народу, вдруг я вижу — идет Михайлов. Увидел меня, подходит: «Марина!» И тут — уже не знаю, как это произошло, но я влепила ему пощечину. Это видели многие. Он ничего не сказал, развернулся и ушел. Он не спросил, что, почему, вообще ничего.

Всей этой истории не знает никто. Знаю только я. Это было очень тяжело, Андрей безумно переживал! И, видимо, на фоне всех этих переживаний у него начался второй рак. Но его выкинули из больницы, не стали лечить после операции. Это было на Каширке. Когда я пришла навещать его после операции, меня вызывает ординатор, очень милый молодой человек из Абхазии. Выводит меня на улицу. И говорит: «К нам приходили люди из органов и запретили лечить вашего мужа. И его выписывают из больницы. Но лечить его обязательно надо! Нужно ему сделать химиотерапию...» В общем, я нашла достойных людей, которые сделали ему курс химиотерапии, но без наблюдения врачей. Об этой истории я в свое время подробно написала в «Континенте» [1989, № 61, с. 372—375].

КГБ не оставлял Андрея своей «милостью». С ним, например, была такая история. Он шел от знакомого, и к нему пристали два молодых человека и девушка, девушка стала кричать. А Андрей, когда он стал распорядителем, выработал для себя правило — в разговорах с незнакомыми людьми держать руки за спиной... Потому что врезать он вообще-то мог. И вот, значит, парни останавливают его, девушка кричит, он — руки за спину. К нему тут же подходит милиционер и уводит в отделение. И на него заводят уголовное дело за нападение на девушку. И это дело не было закрыто вплоть до его смерти. Причем он лежит умирающий, а мне звонят из органов и говорят: «А вы знаете, дело-то еще не закрыто...» То есть издевательство шло до конца жизни.

— **Андрей умер летом 1987 года, после освобождения уже и Сахарова, и первой группы политзаключенных из лагерей.**

— Да, 30 июня 1987 года.

— **То есть он застал все-таки начало перестройки, увидел, что ситуация меняется?**

— Да. Он говорил, что в это поверит, когда выпустят Сережу Ходоровича. Но когда он умер, мне, например, не давали места на кладбище. Нет места, и все! И мне тогда позвонил Сережа

[Ходорович], уже из Парижа, и я ему по телефону через все границы говорю: «Я его похороню во дворе! Мне негде его хоронить!» После этого мне дали место.

К сожалению, история диссидентства до сих пор еще не написана. И главное, забывается многое и теряется у людей эмоциональная память... Да и многое не сохранилось. Ведь, например, у нас был принцип — никаких писем, ни записок, ничего не сохранять. Поэтому и письма Солженицына тут же уничтожались. А было еще письмо от Кестлера. Андрей послал ему перевод и получил ответ. В ответе было что-то вроде «я сейчас уже плохо знаю русский язык, прошло много времени, но я одобряю перевод и название тоже. Вот мой адрес, пишите мне». Письмо мы уничтожили, но адрес мне так жалко было выбрасывать, что я записала его на обратной стороне выдвижного ящика секретера (*смеется*). Этот секретер и сейчас цел. Когда-то я отдала его Диме Баку, теперешнему директору Литературного музея. С адресом Кестлера.



Андрей
Кистяковский.
Середина 1980-х
© Из архива Марины
Шемаханской

© Ефим Эрихман



ПРОТ. БОРИС МИХАЙЛОВ:

«Я бы не хотел быть автором каких-то воспоминаний»

— И я, и, думаю, очень многие впервые узнали ваше имя из мемуарной книги Солженицына «Бодался теленок с дубом», где он вспоминает, как зимой 1974 года, в момент оголтелой травли, предшествовавшей высылке, «бесстрашные трое молодых», как он пишет, — вы, Вадим Борисов и Евгений Барабанов — выступили с заявлениями в его поддержку. Понимали ли вы тогда, какими последствиями для вас этот шаг обернется?

— Да, конечно.

— Ощутили ли вы какие-то последствия этого заявления?

— Надо сказать, что мне 73 года, и у меня не очень хорошо с памятью, события далекого прошлого потерялись в моей памяти. Вы мне напомнили — и я вспомнил. Но что касается деталей... Помню, мое заявление начиналось так. Я писал (цитирует по памяти): «Я хочу в эти дни, когда беда идет в дом и в жизнь Александра Солженицына, чтобы прозвучало слово человека неименитого, слово благодарности и поддержки...» Вот такое было начало, если не ошибаюсь. И, собственно, все содержание в этом. Поддержка, желание выразить поддержку.

Борис Борисович Михайлов (4 декабря 1941, Москва) — искусствовед, священник. В 1959 году окончил школу, поступил на исторический факультет МГУ (кафедра истории и теории искусств, вечернее отделение). Три года служил в Группе советских войск в Германии. После армии восстановился в университете, окончил, работал директором передвижной выставки «Иркутск — Иваново».

В 1970—1973 годах учился в аспирантуре МГУ; диссертация «Методология советского искусствознания 1920-х гг.» (защитил в 1988 году). Кандидат искусствоведения. Семнадцать лет работал в музее-усадьбе «Останкино».

23 января 1974 года выпустил в самиздате заявление в поддержку А.И. Солженицына. Принимал участие в деятельности Русского общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям. Осенью 1983 года объявил себя распорядителем фонда, но через неделю сложил полномочия.

В 1991 году рукоположен в диакона и священника к храму Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, в 1993-м — пресвитера.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, член епархиальной искусствоведческой комиссии Московской патриархии. Живет в Москве.



Семья Бориса
Михайлова на даче
в Лигачеве. 1983
© Из архива
Веры Лашковой

— Были ли вы тогда лично знакомы с Александром
Исаевичем?

— Нет.

— А с кем-то из его круга?

— На эту тему я не хочу распространяться.

— Как изменилась ваша жизнь после того, как вы это заяв-
ление выпустили?

— Она не изменилась, она осталась такой же. Никаких ре-
прессий со стороны власти не было.

— Я читал, что вам помешали защитить кандидатскую дис-
сертацию.

— Я ее защитил.

— Но позже, в 1988 году.

— Позже, да.

— Сильно позже...

— Ну, вы знаете это лучше меня (*смеется*), но меня эти вещи
совершенно не интересуют в моей жизни.

— Оглядываясь на то время, считаете ли вы для себя важ-
ным тот ваш шаг?

— Разумеется, конечно.

— Он как-то изменил вашу дальнейшую жизнь?

— Не думаю, что он как-то изменил мою жизнь. Моя жизнь
текла своим чередом, и мои взгляды на жизнь в Советском Сою-
зе, на советское общество, на присутствие в ней КГБ со всеми
его присными никак не изменились. Все было так же, осталось
так же, как и было.

— То есть к началу 1974 года вы уже были сформировавшимся в этом смысле человеком.

— В общем, да.

— А кто и что формировало вас?

— Советская действительность формировала меня. И какие-то мои личные представления о жизни, о справедливости, о правде, о лжи. Я говорю это без сарказма, потому что действительно я со старших классов школы уже понимал, что есть что в этом отношении. У меня выработалось совершенно определенное отношение к советскому строю, отношение негативное. И, я думаю, таких ребят было очень много, я уверен в этом.

— В 1970-е годы вы, как автор, принимали участие в парижском журнале «Вестник РСХД».

— Да, я любил этот журнал, очень высоко ценил его, он был мне очень близок. И какие-то статеечки мои небольшие там были, общекультурного плана в большей степени. Немного, но было. А активное участие — это громко сказано.

— Каков был круг вашего общения в 1970-е годы?

— Я не хочу об этом говорить. И то, что я сказал о своей памяти, — это не уловка, а абсолютная правда. И вообще рассказывать о своей жизни кому бы то ни было я совершенно не собираюсь. Лучше это направление оставить.

— В 70-е годы вы принимали участие в Фонде помощи политзаключенным, который был основан на средства Солженицына.

— Да.

— А в чем оно заключалось?

— Какие-то конкретные дела я не помню совершенно.

— Но вы знали распорядителей фонда — Александра Гинзбурга?..

— Гинзбурга я знал, встречался с ним, как и многие. Ну, так, редко. Друген, естественно, я с ним не был, он гораздо старше меня был.

— А с Сергеем Ходоровичем?

— Конечно. И Сергей Ходорович был другом нашей семьи, моей покойной жены. Не то что мы были такие неразлучные друзья, но мы были хорошо знакомы семьями, уважали друг друга, доверяли друг другу. И я до сих пор сохраняю к Сереже очень благодарные чувства.

— С фондом связан эпизод, который до сих пор вызывает дискуссии и сведения о котором противоречивы. Я имею в виду тот момент, когда осенью 1983 года вы объявили себя распорядителем фонда и вскоре сами же отказались от этого. Можете ли вы рассказать об этом эпизоде подробнее?

— Да, эту историю я помню. Дело в том, что тогда был трудный период в фонде, потому что как-то колебалось сложившееся прежде руководство фонда. Это дело было очень трудное, и тогда во главе был Андрей Кистяковский, и он испытывал, видимо, какие-то серьезные трудности.

— **Он болел.**

— Кроме всего прочего, да. И было такое ощущение, что нужно готовить замену. Так я думал об этом. Я не думал, что я буду замещать его. Но как-то об этом думали, понимали это и другие тоже. И как-то сложилось так — повторяю, я не могу описать с какими-то подробностями, — что Андрей то ли временно как-то... не отстранился, конечно, не снимал с себя обязанности, но в общем, видимо, не мог эффективно осуществлять руководство. И я тогда сделал роковой для себя шаг: роковой, потому что я оказался не готовым, на самом деле, к тому, за что я попытался взяться. Я пытался взяться за руководство фондом. Это было искреннее желание, я понимал, что это трудная очень ноша. Но самое главное, что я ощутил свою неспособность выполнять эти обязанности тут же, как только взялся за это дело. И в этом, конечно, моя очень большая вина... Я испытываю чувство большой вины — перед фондом прежде всего, перед учредителями фонда, перед теми людьми, с которыми я был вместе и которые считали меня человеком достаточно надежным, на кого можно положиться. И я испытываю чувство стыда и перед теми людьми, которых фонд окормлял. Я никого не обвиняю, не ищу объяснений, защиты или чего-то, вина на мне.

— **А как вы поняли, что не можете выполнять эти функции? Было ли оказано на вас какое-то давление?**

— Нет, давления не было. Не было [у меня] достаточной решимости.

— **У вас ведь уже тогда было пятеро детей...**

— Пятеро, да, они так у меня и остались.

— **Будучи отцом пятерых детей, опасно было вступать на такую, что называется, расстрельную должность, как распорядитель Солженицынского фонда...**

— Опасно вступать, да. В общем, это был шаг, непростительный для человека, который уже во взрослых годах находится. Если ты идешь, то надо понимать, что и как. Скорее, это было...

— **Импульсивное решение?**

— Да, скорее, так.

— **А почему вы не согласовали это с Андреем Кистяковским?**

— Я не помню. Я могу только сказать, что у меня с Андреем никогда не было близких отношений. Именно по фонду. Никогда. А Сергеем Ходоровичем были, да. С Андреем не было, и я понимал, что с ним и согласовать невозможно. Потому что он был в каком-то таком состоянии... трудном. Поэтому вот так... В общем, все получилось нехорошо. В значительной степени оттого, что сама ситуация была трудная, ее было трудно так вот разрешить.

— **В чем была эта трудность?**

— Ну, потому что Андрею трудно было уже выполнять эту работу. Так мне кажется, не могу утверждать. Вот какая-то была неустойчивость, и все это чувствовали. Я ни в коем случае Андрея не обвиняю...



Семья Бориса Михайлова на елке в Останкине. 1985
© Из архива Веры Лашковой

— Он тяжело болел, это объективный факт.

— Да, об этом говорить даже нечего. Но и сама по себе эта должность, конечно, требует всего человека.

— Вы заявили тогда о своем решении стать во главе фонда публично, западной прессе?

— Да какой западной прессе? Я никогда не имел с ними никаких контактов!

— А как это было оформлено, ваше заявление?

— Не знаю. Как некий факт. Я не объявлял этого публично, но я объявил это среди близких друзей. Они высказались довольно скептически, что стоит ли, подумай и так далее. И, в общем, я из порыва решительности сразу перешел к глубоким сомнениям. Это горько — об этом говорить, и я повторяю, что я сделал неправильный шаг.

— В «Вестях из СССР», которые издавал в то время Кронид Любарский, была приведена такая мотивировка вашего отказа от должности распорядителя: это было сделано под влиянием вашего тогдашнего духовника, который сказал, что это «не угодно Богу». Так ли это?

— Нет, этого не было, разумеется, ни в коем случае. Было сказано: куда ты идешь, ты подумай, у тебя пятеро детей, ты что делаешь... Вот так примерно. Очень твердо и определенно.

— **А кто был ваш духовник?**

— Этого я открывать не намерен. Но дело не в этом. Дело в том, что это было точно, точный диагноз. Он знал меня, и он видел мое состояние, мою растерянность в то время и понимал, что я не за свое дело взялся. И так по-отечески прямо мне и сказал. Вот так. И я с позором, надо сказать, вышел, но поделом... Такие вещи брать на себя, взялся, а потом сразу отпустил — это очень плохо. И еще раз повторяю: вина на мне, и она останется со мной до конца моих дней.

— **Входил ли с вами в контакт КГБ до того, как вы отказались от руководства фондом?**

— КГБ со мной никогда в контакт не входил. Я не имел контактов с КГБ.

— **Но, по сведениям «Вестей из СССР», у вас в 1983—1984 годах было несколько вызовов в прокуратуру и в КГБ. На вас было заведено дело, которое впоследствии было закрыто и заменено на «предостережение».**

— Вы знаете, я об этом читал, но я этого не помню, искренне совершенно говорю.

— **То есть никакого давления КГБ в связи с фондом вы не помните?**

— Нет, не помню, чтобы меня начинали особым образом опекать или что-то такое. Я думаю, потому что это очень быстро как-то произошло.

— **Считается, что после этого случая фонд прекратил свою деятельность в СССР и возродился уже в постсоветской России.**

— В общем, да. Как-то оказалось так, что я сыграл очень злощастную роль. Действительно, это так.

— **Когда вы объявили себя распорядителем, получили ли вы поддержку Солженицыных?**

— Я не помню. Тогда была некоторая общая растерянность.

— **А с Андреем Кистяковским вы после этого не виделись?**

— А я вообще с ним очень редко виделся. Мы с ним не были дружны никак.

— **Вдова Андрея Марина Шемаханская вспоминает, что вы к ним приходили, когда Андрея не было дома, чтобы сказать, что берете на себя миссию по руководству фондом.**

— Очень может быть. Я, естественно, должен был это сделать, и, скорее всего, так оно и было.

— **Вспоминаете ли вы ту эпоху? Может быть, о чем-то или о ком-то вам хотелось бы рассказать сегодня?**

— Конечно, конечно, вспоминаю... Безусловно, это было время очень значительное. Но я бы не хотел быть автором каких-то воспоминаний.

— **То есть вам не хочется сегодня подробно говорить об этом?**

— Совершенно. У меня нет внутренней потребности в этом.

— Эта эпоха — для вас закрыта?

— Она не закрыта, она осталась в моей жизни, в части моей жизни.

Просто это время прошло. Оно осталось во мне как очень дорогое время, и я думаю, что для очень многих оно таким было. Моя внутренняя активность, политическая, естественно, не прошла. Я по-прежнему очень слежу за всеми событиями, и в этом смысле я сохраняю какую-то элементарную активность нормального человека, который понимает, что происходит, вот и все.

— После возвращения Солженицыных в Россию вы как-то объяснялись с ними по поводу того эпизода?

— Да, я виделся в свое время с Натальей Дмитриевной. И говорил о себе так, как это того заслуживало, и все.

— Она приняла ваши объяснения?

— Ну, можно сказать, что да. Хотя вина на мне, и она остается, но тем не менее все прошло без каких-то тягот.

— Можно ли сказать, что этот сюжет для вас как бы внутренне завершен?

— Это моя жизнь. Отчасти это жизнь фонда. Моя жизнь, и все. Поскольку это будет опубликовано, я у всех, кого я как-то задел этим своим поступком (а иного и быть не может), вызвал какое-то недовольство, совершенно законное, этим своим неподготовленным поступком, — я у всех прошу прощения. Я осознаю свою вину и рад возможности сказать об этом публично.



Москва, 2013

© Ефим Эрихман

P.S.

После публикации в рамках настоящего цикла интервью с Мариной Шемаханской, вдовой последнего распорядителя Солженицынского фонда в СССР Андрея Кистяковского, мы получили отклик Веры Иосифовны Лаишковой, также принимавшей в 1970—1980-х годах деятельное участие в работе фонда. Считаем своим долгом опубликовать его вместе с интервью прот. Бориса Михайлова.

Написание полной и откровенной истории фонда зависит сегодня от его бывших руководителей и сотрудников. Необходимость в ней, с нашей точки зрения, давно назрела.

С болью и горечью прочитала интервью госпожи Шемаханской, где она говорит о Борисе Михайлове — отце Борисе. С ним я знакома и дружна, можно сказать, с незапамятных времен, когда они трудно и счастливо жили еще на Арбате, в Кисловском, — Боря, Наташа и четверо их маленьких детишек; потом народилась Сонечка. В то время было нас, так называемых диссидентов, совсем немного — узкий и тесный круг, почти братство: мы все друг друга знали, доверяли, хотя «лишних» вопросов старались не задавать. Фонд помощи политзаключенным был основан Александром Исаевичем Солженицыным в 1974 году, и Боря принимал участие

в его работе, но в чем именно оно заключалось, знать было не нужно. Я категорически утверждаю, что никогда Боря не сотрудничал ни с какими «органами» — это знают все еще оставшиеся участники фонда и, конечно, готовы это подтвердить. Наталья Дмитриевна Солженицына, прочитав интервью, была, как она сказала мне, «очень удручена», и, конечно же, и она никогда и мысли не допускала о Борином «сотрудничестве». Возглавлявшая фонд после ареста в 1977 году Александра Гинзбурга его жена Арина сказала мне в телефонном разговоре, что участие Бори в работе фонда всегда была очень деятельным и эффективным; у нее в архиве хранятся все письма о работе фонда, которые Боря ей посылал. То неудобное положение, в котором оказался отец Борис тогда, осенью 1983 года, — в связи с намерением возглавить фонд, а потом отказом, — было обусловлено несколькими причинами: намерение взять на себя руководство фондом — желанием помочь, не дать прекратиться работе фонда: когда стало ясно, что Андрей Кистяковский серьезно болен, в то время, пожалуй, уже и никто не смог бы взять это на себя, потому что практически все участники фонда были арестованы, осуждены, сосланы. Но, взяв на себя ответственность, Боря недостаточно взвесил всю серьезность принятого решения и его возможные последствия, а они могли быть только печальными — арест, суд, срок. Печальными же потому, что он был отцом и единственным кормильцем жены и пятерых маленьких детишек. И принял решение — отказаться, что тоже ведь потребовало от него определенного мужества, и всю жизнь потом он не снимал с себя вины за все произошедшее. Вот такова была та ситуация.

Вера Лашкова
27 ноября 2014 года

IV

**«СИСТЕМА САМА СОЗДАВАЛА
СЕБЕ ВРАГОВ»**

© Ирина Парошина



ВИКТОР ДАВЫДОВ:

«Институт Сербского является “освенцимским вокзалом”»

— Расскажите, пожалуйста: как вы, живя в Куйбышеве, оказались причастны к диссидентскому движению?

— Как сказал Эдуард Кузнецов в одном своем интервью, «система сама создавала себе врагов». Одно только пионерское детство очень сильно било по мозгам. Шаг вправо, шаг влево, пионерские линейки, где надо стоять и периодически орать «всегда готовы», ленинские уроки, сборы металлолома, демонстрации на 7 ноября и 1 мая, где в обязательном порядке приходилось бегать по холоду с раннего утра... Все это давило, от всего этого было противно.

А в подростковом возрасте давление системы стало ощущаться еще болезненнее. В нашей школе — а это была английская школа, такой самарский Итон — завуч стояла в дверях и отслеживала ширину брюк, длину юбок, длину волос. Дважды она отправляла меня от дверей школы стричься, однажды даже 50 копеек свои дала, потому что я пытался отмазаться, говорил: «У меня денег нет» — так она выдала свои 50 копеек.

И вот ты сидишь на каком-нибудь уроке по гениальной книге Брежнева «Целина» и знаешь при этом — поскольку «железный занавес» уже дырявый и информация просачивается, — что где-то есть мир, где школьникам ничего этого делать не надо. Где их никто насильно не стрижет, где они могут слушать музыку, которую хотят, а здесь все под запретом и всех выстраивают. Это было разительным контрастом и вызывало вопрос: «Почему так?» В первую очередь, по этой причине я стал интересоваться альтернативами, слушать западные «голоса».

Впрочем, не без подсказки. Мой отец был деканом Куйбышевского факультета того, что сейчас называется Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. Отец был ветераном войны, вступил в партию еще на фронте, был членом президиума всех областных партийных конференций. При этом его можно отнести к тем, кого позднее стали называть «партийные либералы». Однажды ему предлагали перейти на работу в обком, он отказался, а еще раньше, в 1947 году, ему предлагали служить в НКВД, и он тоже отказался — а тогда это вообще-то считалось предложением, от которого нельзя отказаться.



Лето 1979 года,
Куйбышев
© Из архива
Виктора Давыдова

ВИКТОР ДАВЫДОВ

Дома и в узком кругу отец скептически высказывался о режиме и слушал Радио Франции, отчасти поэтому я тоже стал слушать западное радио. Впрочем, Радио Франции я не слушал, стал слушать «Голос Америки», когда еще был мальчиком, в 13—14 лет, как раз в момент такого духовного созревания.

Поэтому к 14 годам, когда все вступали в комсомол, я отказался, сказав себе: «На черта мне нужны еще и комсомольские собрания?»

— **Это вызвало какой-то скандал?**

— Как ни странно, нет. Когда я уже учился в университете, меня только удивленно спрашивали: «Ты не член комсомола? Ты, наверное, баптист?» Это на тему мифа, который и тогда, и сейчас уже затвержен, что будто бы поступить в вуз некомсомольцу было нельзя. В элитные московские вузы, конечно, нельзя, но в целом по России особо никто не требовал.

— Глушили тогда «голоса» или нет?

— Конечно, глушили. В городе слушать было сложно, разве что поздно ночью и рано утром, но летом на даче можно было легко. «Радио Свобода» — сложнее, но «Немецкая волна» проходила, и она была самая радикальная политически, за ней уже шел «Голос Америки». Собственно, поворот произошел в конце 1973-го — начале 1974 года, когда я был на первом курсе химического факультета в Техническом университете — том самом, где учился Черномырдин, — и тогда записал на магнитофон текст «Архипелага ГУЛАГ», который читали по «Немецкой волне».

В это время все газеты писали: «Солженицын — литературный власовец» — и так далее в том же духе. И только от этого уже становилось интересно, что же он там написал.

Я записал текст первого тома «Архипелага ГУЛАГ» на магнитофон и с него перепечатал на машинке. Естественно, после этого мне захотелось с кем-то поделиться впечатлениями. «Поделиться» закончилось очень плохо, потому что я дал текст своему лучшему другу под честное слово никому не давать, он дал своему другу,

Виктор Викторович Давыдов (Рыжов; 1 августа 1956, Куйбышев) — журналист, правозащитник. В 1973—1975 годах учился в Куйбышевском техническом университете, в 1975 году поступил на исторический факультет Куйбышевского университета.

С 1974 года занимался изданием и распространением самиздата, по поводу чего в сентябре 1975 года допрашивался в КГБ. С 1975 года стал членом диссидентских кружков в Куйбышеве, 1 апреля 1976 года был среди организаторов шествия-монстрации, за что был арестован на 10 суток и «профилатирован» КГБ с исключением из университета.

В 1976—1979 годах учился на Оренбургском факультете Всесоюзного заочного юридического института. Принудительно госпитализировался в клинику Куйбышевского мединститута весной 1979 года. Сотрудничал с «Хроникой текущих событий», стал автором двух самиздатовских работ, за которые был арестован 28 ноября 1979 года по статье 190-1. Признан невменяемым экспертизой Института им. Сербского с диагнозом «вялотекущая шизофрения». 19 сентября

тот дал третьему, а дальше непонятно — то ли третий устроил чтения в аудитории, то ли он сам был стукач, я так это и не выяснил.

В общем, после этого мой «Архипелаг» попал в поле зрения КГБ, они потянули за ниточку, и я стал объектом ДОРа — дела оперативной разработки. Они завербовали того самого моего друга, который стучал ровно год на меня: мы с ним выпивали, вместе крутились с девушками, после чего он ходил в КГБ и стучал. И КГБ тянул больше года, до осени 1975 года, по той причине, что не были уверены в происхождении этого «Архипелага». Поскольку текст был записан синтаксически чисто, они решили, что он попал в Самару из Москвы или из-за границы. Как известно, все чекисты — параноики, и им уже привиделся большой заговор, который они долго пытались раскрыть.

В 1975 году я ушел из Технического университета, поступил в Самарский университет, на отделение истории. И это было 19 сентября, когда мне просто позвонили и вызвали в КГБ. Собственно, сначала позвонили отцу, отец потребовал, чтобы я сдал им весь самиздат, а у меня к тому времени его было уже больше: были записи текстов Владимира Максимова, Андрея Амальрика, что-то еще. Четыре копии я положил в портфель и пошел в КГБ, а пятая все-таки осталась. Далее были очень неприятные три дня. Первый раз это всегда очень неприятно.

— А почему три дня? Три дня вы ходили туда, вас допрашивали?

— Сначала там по-хамски угрожали: «Мы можем тебя прямо сейчас отправить в камеру...», потом все же догадались посадить оперативника, который играл «добраго копа». В итоге я написал многостраничную объяснительную, и закончилось тем, что капитан Валерий Дымин из «Пятерки» — политического управления — сказал открытым текстом: «На первый раз мы тебя сажать не будем, можешь учиться, но имей в виду, что ты у нас под колпаком». Кроме того, допрашивали по разным непонятным делам и упоминали некоторых людей. Большую часть их я не знал, но одного

1980 года определением Куйбышевского областного суда направлен на принудительное лечение в Казанскую специальную психиатрическую больницу МВД, откуда переведен в Благовещенскую СПБ в Амурской области. Освободился в июле 1983 года, после освобождения участвовал в работе Фонда помощи политзаключенным и их семьям (Фонд Солженицына).

8 октября 1984 года эмигрировал из СССР. В 1986—1988 годах работал в Центре за демократию в СССР (Center for Democracy in the USSR) Владимира Буковского и Юрия Ярым-Агаева. В 1988—1991 годах работал программистом в американских компаниях.

В октябре 1991 года вернулся в СССР. В 1991—1993 годах был членом политсовета Свободной демократической партии России, которой руководила Марина Салье. В 1993 году основал Пресс-синдикат «Глобус» — независимое информационное агентство, работавшее до 2005 года.

С 2015 года — главный редактор интернет-издания «Новая Хроника текущих событий». С 2015 года живет в Тбилиси.

знал, пусть тогда и шапочно. Это была довольно известная личность в городе, отчасти хиппи, отчасти диссидент, — Слава Бебко. Ровно на другой день я с ним встретился и рассказал про всю эту историю. То есть фактически КГБ нас познакомил.

К тому времени — осень 1975 года — вокруг Бебко уже сложился неформальный кружок молодежи. Собирались у него дома, разговаривали, слушали музыку, между делом слегка выпивали, и я довольно плавно вошел в него, как бы на роль «идеолога». У этого кружка было две оболочки — несколько человек было таких же, как мы, очень политически настроенных, большинство же были просто ребята, которые приходили послушать музыку, поболтать, потусоваться. Мой самиздат был пущен в оборот в «политическом кругу», потому что мы догадывались, что среди «широкого круга» обязательно есть стукач, а возможно, и не один. С остальными мы занимались только тем, что на языке КГБ называлось «устной антисоветской пропагандой».

К началу 1976 года мы уже начали думать, что нам реально делать. Были разные планы, листовки, например, в конце концов решили сделать политическую демонстрацию — как на Пушкинской площади, всего лишь с лозунгами из конституции. Потом все-таки догадались, что даже на нее народу не наберем, потому что сделать такой шаг в Самаре людям было страшно.

И тут появляется студент мединститута по имени Володя Фунтиков и говорит: «А знаете, в Одессе делают “Юморину” на 1 апреля, давайте сделаем у нас хэппенинг». (Сейчас это называется «монстрация», но точно то же раньше называлось «хэппенинг».) И мы устроили на 1 апреля монстрацию. Собрали человек сорок. Лозунг был только один — «Make love, not war», у нас были карнавальные костюмы, и мы смогли пройти шесть кварталов.

На конечной точке нас встретила милиция, всех задержали, посадили в автобус, отвезли в РОВД. И первый человек, которого я там увидел в коридоре, был чекист, допрашивавший меня еще осенью. С ним была целая команда чекистов, они допросили всех задержанных по одному, потом оставили нас троих — Бебко, Фунтикова и меня. Нам дали по 10 суток, а Славе, который был старше, ибо ему было уже 24 года, дали 15.

На сутках пять дней нас выводили на работу, и вдруг с утра мент командует: «Демонстрантов не выводить». И нас через какое-то время начинают дергать на допросы чекисты. Явилась целая команда — человек пять, они заняли кабинет начальника КПЗ, даже менты были в шоке, мент ведет меня по коридору — руки за спину, как положено, — и спрашивает: «Кто это такие?» А я ему в шутку говорю: «Родственники». Мент есть мент — легко поверил, и как нас после этого зауважали...

Неприятно удивило, что чекисты допрашивали не про демонстрацию, а про самиздат. Прямых улик у них не было, но о чем-то они догадывались. А кроме моего самиздата у Славы были записи передач «голосов» на магнитофон. И после этого

нас отсаживают во вторую половину КПЗ: одна половина была для «суточников», а вторая — уже для подследственных. Там мы сидим уже с уголовниками и не знаем, что дальше будет, потому что две статьи налицо: 190-1 за самиздат («Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй») и 190-3 за организацию шествия («Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»). Сидим и гадаем, что будет дальше: выйдем мы по окончании суток или нас отвезут в СИЗО.

Однако в итоге дело не получилось, и есть две версии почему, я думаю, обе они верные. Одна из них заключалась в том, что это был самый либеральный период — 1975—1976 годы. С хрущевских времен визу на арест по политическому делу КГБ надо было получать в обкоме, а обком всегда держал нос по ветру. И вторым фактором был начальник КГБ, генерал Кинаров, не кадровый чекист, его туда кинули в хрущевское время из комсомола, когда вычищали сталинских извергов. Кинаров был относительно либеральным человеком — за все его время в Куйбышеве было только два политических дела. Я лично видел Кинарова, даже с ним здоровался, потому что отец был с ним знаком, генерал всегда был на премьерах во всех самарских театрах, вполне интеллигентный человек. Думаю, что «замочить в сортире» он бы просто не смог выговорить.

Видимо, произошло так, что Кинаров не мог не дать этому делу ход, но он его так составил, что первый секретарь обкома не дал визу, и обоим это устраивало. В период «разрядки международной напряженности» групповое политическое дело первому секретарю обкома было совершенно ни к чему, только минус в карьере.

В итоге дело перевели на профилактику. «Профилактика» — это отдельная тема, о ней мало сейчас известно. Обычно пишут, что «профилактику» изобрел Андропов. Это не так, КГБ стал применять ее еще при Хрущеве. Однако именно Андропов довел «профилактику» до масштабов, сравнимых с теми, в каких осуществлялись сталинские репрессии. Уже в конце 1960-х годов «профилактировали» по 14,5 тысячи человек в год.

По сути, «профилактика» была внесудебной репрессией, и жестокой, причем была она не только по активным участникам движения, но и вообще по всему кругу людей, которые сочувствовали диссидентам. Это как раз и было андроповским «ноу-хау» — разрушать «питательную среду» протестного движения, из которой рекрутировались его новые участники.

Особенно эффективно «профилактика» работала в провинции. Тут стоит отметить разницу между положением диссидентов в Москве и в регионах. Не было таких точек «кристаллизации» вроде ЦДЛ, или известных интеллигенции «салонов», или просто людных квартир, где люди, принадлежавшие диссидентской субкультуре, могли бы знакомиться и общаться.

В провинции ничего такого не было. В домах творчества проводились только официозные мероприятия. В 1976 году в Самаре от-

крыли так называемый Клуб любителей кино. Показали фильм Тарковского «Зеркало», который не был в открытом показе. После этого состоялась дискуссия, я там выступил, выступило еще несколько «неблагонадежных» человек — на этом все закончилось, и уже никакого клуба больше не было.

Почти в каждом вузе был свой клуб самодеятельной, то есть бардовской, песни (КСП), но во главе ставили отъявленных комсомольцев и давали им строгое указание никого из «посторонних» петь песни и слушать не допускать. Это было комичное зрелище, когда каэспэшники отправлялись петь куда-нибудь в лес, но перед этим бегали от электрички к электричке, чтобы так замести следы и не дать другим желающим с ними уехать.

Провинциальная интеллигенция в целом была очень пуганой. Наш круг почти полностью состоял из молодежи, людей за 30 там было буквально человека три-четыре.

Также не было еврейских отказников, которые в Москве и на Украине, например, всегда поддерживали диссидентов и становились диссидентами сами — уже хотя бы потому, что им было нечего терять. Точнее, было несколько семей отказников, но они, наоборот, старались сидеть тихо в кустах, надеясь, что за хорошее поведение им дадут визы. Так в кустах они и просидели до самой перестройки.

Критической массы диссента в провинции не было, действовали одиночки, вокруг которых собирался круг друзей и интересующихся людей. И вот когда КГБ брался за дело, то он начинал весь этот круг «профилактировать».

Профилактика всегда начиналась с ДОРа, не всякий ДОР заканчивался профилактикой, но профилактики без ДОРа не бывало. Сначала КГБ собирал информацию, причем очень скрупулезно — в моем деле они дошли даже до школы, опрашивали директора школы, одноклассников. Естественно, в делах студентов допрашивали однокурсников, у работавших — коллег, опрашивали даже соседей по подъезду.

И это имело двойное значение, потому что это был не только сбор информации, но еще и запугивание. Каждый допрошенный уже знал, что на всякий случай с таким человеком лучше не общаться. Будущий писатель Юрий Малецкий в бытность студентом как-то прочел в общежитии университета лекцию о «Дневниках» Достоевского — кто-то стукнул в КГБ, где сразу нашли в выступлении Малецкого «сионизм». После этого друзей и однокурсников начали дергать в КГБ (допрашивали там и нынешнего филолога Юру Орлицкого). После этого студенты начали от Малецкого просто шарахаться.

Следующий номер — слежка, прослушивание телефона, жучки. У меня были жучки в квартире, и это абсолютно точно. Обычно проводили еще тайные обыски. Не знаю насчет себя, но это детально описывается в мемуарах чекистов. Являлись домой, когда там заведомо никого не было — а закрытых дверей для

КГБ на всем пространстве от Калининграда до Чукотки не существовало, да и сейчас нет, — аккуратно просматривали вещи и бумаги, не оставляя следов. Обычно на таких обысках ничего не изымалось, ибо легализовать это потом в ходе уголовного дела было невозможно, но изучали, что есть и где лежит.

Затем слежка, которая была двух видов. В одном случае следят тайно — где-то за тобой идут сотрудники «наружки», службы наружного наблюдения: обычно они работали на машинах, одна или две, там в каждой три-четыре человека. В другом случае это был уже прием психологического давления, и тогда они шли, не скрываясь, буквально по пятам, случалось, что втискивались даже в телефонную будку, когда «объект» куда-то собирался звонить. Тогда (обычно это бывало перед советскими праздниками) у меня они просто сидели на лавочке у подъезда и, когда я выходил, поднимались и вдвоем шагали в нескольких метрах сзади.

Конечно же, внедряли агентов. Вдруг и как будто случайно появлялся какой-нибудь малознакомый человек, который всячески набивался в друзья, приглашал в рестораны или просто приносил выпивку сумками. Вербовали — или пытались вербовать — друзей более близких.

И только уже после того, как вся информация была собрана — а КГБ нужно было знать все, вплоть до того, кто с кем спит, — начинали вызывать непосредственно на допросы.

С суток я освобожден в субботу вечером, а в понедельник с утра — звонок из КГБ, вызывают немедленно, к дому подъезжает черная «Волга» и везет в управление. После этого всю неделю — каждый день в КГБ как на службу, с 9 до 5, там даже кормили. За это время перезнакомился с половиной самарской «Пятерки», включая ее начальника — подполковника Василия Лашманкина. Это было довольно мерзкое существо, похожее на какого-то доисторического ящера; на меня он очень зло смотрел своими маленькими глазками и, не размыкая губ, что-то сипел.

В последний день заставили подписать «Предупреждение по Указу» — секретному Указу от 25 декабря 1972 года. Это был документ прямо от Кафки: в нем говорилось, что я совершил некие неназванные «антиобщественные действия», которые противоречат интересам государственной безопасности СССР. При этом уголовной ответственности эти действия не подлежат, но все равно почему-то недопустимы и при повторении уже будут подлежать.

За этим произошло неизбежное исключение из университета, но не простое исключение, а с собраниями студентов, «пятиминутками ненависти». Причем меня исключали в два приема: на историческом отделении меня знали, несколько человек пусть осторожно, но все же осмелилось выступить в мою защиту. Тогда собрали студентов уже всего гуманитарного факультета, хорошо отрежиссировали это действие, причем в аудитории во втором ряду «почетные места» занимали трое чекистов. Исключили за «профессиональную непригодность», ибо советский историк не быть



Любовь Давыдова
и ее повестка
в КГБ, 1980
© Из архива
Виктора Давыдова

марксистом не может, а тот, кто читает Солженицына, точно не марксист.

В процедуре исключения была одна ставшая позднее анекдотической деталь. Одним из самых активных обвинителей на собрании был нынешний завкафедрой российской истории СамГУ Петр Кабытов. Где-то лет 10 назад Кабытов стал редактором сборника «Солженицын в Самаре». Хороший сборник, там все замечательно, но только нет одного факта — ничего не говорится о том, как редактор этого сборника исключил в свое время студента только за то, что тот был первым человеком в Самаре, прочитавшим «Архипелаг ГУЛАГ».

«Профилактировали» не только нас самих, но в какой-то степени и родителей. Отцу занесли выговор в партбилет «за недостатки в политическом воспитании сына». Попытка «профилактики» отца одного из участников нашего кружка, Михаила Богомолова, закончилась трагедией. Мишин отец был полковником и служил в штабе военного округа. Там его, видимо, затравили до такой степени, что даже крепкие офицерские нервы не выдержали, и он бросился под поезд. И уже не вмещается в уме, что у чекистов хватило наглости явиться на похороны...

В результате «профилактики» к своему двадцатилетию я оказался как будто в безвоздушном пространстве. Из университета исключен, профессии нет, работы нет, друзья как-то стали исчезать, телефон не звонил днями. Сцена на улице: лето, навстречу идет мой бывший одноклассник, я уже поднимаю руку ему помахать, и вдруг он перебегает на другую сторону улицы. Причем я его даже не мог осуждать: стоило бывшей однокурснице пригласить меня на день рождения своей подруги, как через неделю ту вызывает «куратор» университета от КГБ и начинает допрашивать: «Кто его пригласил?»

Вот все это и была «профилактика», которую сегодня иногда даже ставят Андропову в заслугу: он, дескать, был «гуманист», диссидентов меньше сажал, но больше «профилактировал». Исключили тогда из вузов всех, кто участвовал в демонстрации, — даже девочек из педагогического училища. Парни попали сразу в армию, меня чекисты тоже возили на машине в военкомат, но военком посмотрел на военный билет — по зрению я не подпадал под призыв — и отправил восвояси. По выражению его лица я понял, что желания чекистов военные уважать особо не собирались, им антисоветчики в армии были не нужны.

А еще была психиатрия, которая тоже часто входила в «профилактику». Надо признаться, что в том случае, в 1976 году, я сам ее накликал на свою голову, пусть не без помощи родителей. Они все-таки были советские люди, полжизни прожили при Сталине, отчего боялись страшно и даже после «Предупреждения» не верили, что этим закончится. И, как обычные советские люди, стали настаивать, чтобы на всякий случай я лег в психушку. Они о политической психиатрии не догадывались, я тоже тогда только краем уха что-то слышал. Зато после КПЗ и допросов чувствовал себя очень подавленным, так что особо сопротивляться не стал.

Мы с мамой пошли в психдиспансер, где врачи со мной не очень вежливо побеседовали и выгнали, как бухгалтера Берлагу и симулянта. Вдруг на следующее утро оттуда же звонок — и уже вежливо приглашают. Там врач за пять минут написала направление в областную больницу, где я пролежал месяц.

Уже на второй день в отделение явился главврач Ян Абрамович Вулис со мной побеседовать. Это вообще был интересный персонаж: в начале 1950-х годов он был исключен из мединститута по какому-то «сионистскому» делу, но потом восстановился — и, думаю, не без сделки с ГБ. По крайней мере, он, еврей, много лет был главврачом областной психбольницы и главным психиатром области. Приказы КГБ по госпитализации неблагонадежных он выполнял честно. Знаю, что на праздники дежурному врачу на стол под стекло клали приказ Вулиса «В случае доставки милицией госпитализировать независимо от состояния» — и далее список имен, который давался КГБ.

С другой стороны, Вулис отлично понимал, что делает, и был достаточно хитрым, чтобы суметь сыграть в обе стороны. Уже позднее, когда меня арестовали и Вулис должен был проводить судебно-психиатрическую экспертизу, он написал в КГБ, что не может «обеспечить безопасность» в своем судебном отделении — что было чистым враньем, сбежать оттуда было невозможно. Но КГБ пришлось согласиться, и таким очень техничным способом от моего дела Вулис отстранился.

Госпитализированным принудительно Вулис обычно создавал вполне приличные условия, лекарств особо не назначал. Так было и в моем случае: Вулис со мной побеседовал — вывел на улицу, ибо, видимо, боялся прослушек, — все быстро понял, и весь месяц

я фактически был как в санатории. Выписали меня с каким-то смешным диагнозом типа «психастеническое состояние».

Зато через несколько лет политическая психиатрия меня все-таки догнала. В 1976 году после «профилактик» кружок Бибко распался, но осенью собрались снова уже вокруг другого человека, Анатолия Сарбаева. Он был рабочим, но когда-то учился в Питере, по убеждениям считался «еврокоммунистом». Сейчас это уже забытая теория, ее некогда развивали лидеры европейских компартий, которые хотели как-то отстраниться в глазах избирателей от своих советских «соратников по борьбе» и их безобразий. Называлось это «социализм с человеческим лицом» и, конечно, было чистой утопией.

Мы же почти поголовно были социал-демократами. Сейчас почему-то считается, что диссиденты были либералами, но на самом деле либералов среди них можно пересчитать по пальцам. Даже «программа Сахарова», изложенная им в книге «О стране и мире», была по сути чисто социал-демократической. Все были советскими людьми по образованию, с молоком матери впитали бациллу марксизма, и произнести «свободный рынок» нам было так же жутко, как сегодня Зюганову. Идеалом считали «скандинавский социализм», о котором имели самые смутные понятия, но на этой почве шла полемика и «идеологическая борьба». Сарбаев написал работу с апологией «еврокоммунизма», я ему оппонировал, все это бурно обсуждалось — иногда ночи напролет.

В 1977 году мы с тем же Славой Бибко напечатали листовки под обсуждение новой, брежневской, конституции. Сделали где-то 70 штук фотоспособом, рассовали по почтовым ящикам, и до сих пор не могу понять, как мы на этом не попались. Обычно 80 процентов антисоветских листовок сограждане сами несли в КГБ. Не столько из «комплекса Павлика Морозова», сколько из страха: статья о недонесении об «особо опасном государственном преступлении» держалась в кодексе еще со Сталина, так что были причины бояться. Правда, недонесение об «антисоветской агитации» под нее не подпадало, но эти юридические нюансы мало кто знал. Почему-то наши листовки ни разу ни на одном из допросов не всплыли, так что даже нет уверенности, знали ли о них в КГБ.

И каждый год на 1 апреля пытались повторить демонстрацию — уже в политическом формате, с лозунгами из конституции. Подписывалось под это три-пять человек, кому особо было нечего терять. Писали лозунги на ватмане, выходили — все заканчивалось очень быстро задержаниями, еще на подходе к намеченной точке. Кого-то потом отпускали, кого-то сажали на сутки.

В 1977 и в 1978 годах я не участвовал, потому что не был в городе, но в 1979 году собирался. И вот 31 марта 1979 года утром в дверь звонок — а там бригада «чумовозки» из психдиспансера с участковым милиционером. Отвезли в диспансер и, ничего

особо не объясняя, отправили наверх, в клинику. Врачами там работали, как правило, преподаватели мединститута, они все тоже хорошо понимали, лекарства назначили чисто символические — легкие транквилизаторы, но весь апрель пришлось там просидеть. Главной неприятностью было только ежедневно смотреть на тяжелых сумасшедших, а это удовольствие ниже среднего. Сарбаева точно так же госпитализировали, только не в клинику, а в больницу, хотя выпустили даже раньше.

К этому времени мне удалось поступить во Всесоюзный юридический заочный институт, но не на Куйбышевский факультет, куда путь был заказан, а на Оренбургский. Выезд на вступительные экзамены и на сессии был конспиративным процессом и начался задолго до отхода поезда с того, чтобы «обрубить хвосты» и отвязаться от «наружки». Более часа я пересаживался с автобуса на автобус, перебегал через проходные дворы и лишь убедившись, что вроде бы «хвоста» за мной нет — а на 100 процентов сказать это никогда нельзя, — ехал на ближайшую станцию и только там садился на поезд.

Как ни странно, это работало, КГБ о чем-то догадывался, вызываемых на допрос обязательно спрашивали: «Где он учится?» — но примерно год удавалось водить их за нос. Потом, конечно, узнали, но тогда уже, видимо, собрались сажать, так что исключением из института заниматься не стали.

Тут возникает тема знакомства с московскими диссидентами. Началось с того, что в октябре 1978 года у порога Октябрьского военкомата в Самаре взорвалась бомба. Это была глухая ночь, никого не задело, только вышибло дверь. Через две недели там же находят еще одну неразорвавшуюся бомбу.

А 4 ноября снова взрыв — взрывается памятник министру обороны Дмитрию Устинову. Только что Устинову по случаю юбилея дали вторую Звезду Героя Советского Союза, а по закону дважды Героям Советского Союза должен быть установлен памятник на родине. 30 октября памятник открывают, а через 5 дней кто-то его взрывает. От памятника откололся кусок, сам постамент развернуло. Я ехал в тот день на работу и вижу, что все обнесено там забором, ничего не понимаю, только потом кто-то шепотом рассказывает. Потому что, естественно, ничего не освещается в прессе, это СССР, и только слухи.

«Диверсантов» позднее, конечно, нашли. Ими оказались инженер Технического университета Андрей Калишин и только что призванный солдат Иван Извеков. Извекову дали 8 лет, Калишина признали невменяемым, оба они вышли уже при Горбачеве.

Но это было позднее, а осенью подозреваемыми по умолчанию сразу стали все «неблагонадежные». На 7 ноября вместо обычных трех чекистов — я жил около главной площади, где проходили демонстрации, — в тот год было пятеро. По этому поводу я даже не стал вечером выходить, сидел дома. А Слава Бибко, к сожалению, не усидел.



Институт им. Сербского. Маленькая палата Четвертого отделения — второе окно слева на втором этаже. 1984
© Из архива Виктора Давыдова

Он со своей девушкой и парой друзей сидел за столом, отмечал — пусть советский, но праздник. Вечером выяснили, что выпить им не хватает, а чтобы купить в СССР в 10 часов вечера, надо было знать места и далеко идти. Втроем отправились в поход, вино купили, но на обратном пути, к несчастью, им на глаза попался праздничный кумачовый плакат. Слава со злости его резанул крест-накрест перочинным ножом — у него был такой брелок. За ними, конечно, шла «наружка», и через пару кварталов всех задержали.

Уже через два часа у Славы провели обыск. Искали, конечно, все взрывоопасное, ничего такого не было, нашли только строительные патроны. Зато нашли массу самиздата — машинописного, рукописного — и магнитозаписи с «голосов». Так Слава попал под две статьи — 190-1 и «хулиганство» за плакат: для убедительности чекисты еще сломали раму плаката, что тоже приписали Славе.

Славе надо было как-то помочь, хотя бы найти приличного адвоката. Никто из адвокатов в городе братья за политическое дело не хотел, все боялись, это не Москва. Так по необходимости стали искать помощи московских диссидентов. Нашли их по методу «шести рукопожатий»: Сарбаев некогда шапочно знал поэта-сморгина Владимира Алейникова, тот привел нас в Москве к Петру Якиру, сам Якир к тому времени от движения отошел, но от него мы попали к его дочери Ирине (Якирке), которая занималась «Хроникой текущих событий», и потом уже к редакторам — Юрию Шихановичу (Шиху) и Татьяне Михайловне Великановой. Великанова прозвища не имела, ее все диссиденты называли только по имени-отчеству, это была очень строгого вида дама, типичная учительница математики, кем она, собственно, и была.

Через диссидентов нам удалось подписать на дело Бебко адвоката из Луганска Нелли Нимириинскую, которая защищала многих диссидентов, она приезжала на суд. Помочь Славе ей особо не удалось, ему дали три года. У выхода из суда, куда подогнали воронок, мы Славу встречали с цветами, кинули их ему, он кинул через голову конвойных солдат свое обвинительное заключение. Кто-то его подхватил, к нему бросился солдат, но бумаги перекинули мне, мне с ними удалось убежать, потом передали их в «Хронику». Что называется, почувствуйте разницу: сегодня любой приговор по политическому делу — в интернете, а тогда приходилось заниматься даже спортом.

В Москву регулярно ездил кто-то из наших и привозил оттуда тамиздат и самиздат, в первую очередь, «Хронику текущих событий». Мы ее потом перепечатывали. В Москве этим занимались профессиональные машинистки, но предлагать печатать такое в Самаре было безумием, так что делали это сами. Печатали вчетвером, делили выпуск на части, процесс занимал довольно долгое время, потом все копии отвозили назад в Москву и привозили новый выпуск. Так отпечатали два выпуска, третий уже не успели закончить, с ним меня арестовали.

Посадили бы меня, конечно, и без «Хроники». Осенью 1979 года Политбюро в процессе подготовки к Олимпиаде приняло решение об очередном «уничтожении диссидентского движения». Первого ноября — точно по календарю — в Москве арестовали отца Глеба Якунина и Татьяну Великанову. С этого началось то, что диссиденты назвали «предолимпийским погромом», пошел он и по другим городам.

К тому времени я написал работу в жанре сравнительного правоведения — сравнение правовых систем фашистской Италии, нацистской Германии и сталинского СССР. Там все получалось в елочку, полное совпадение вплоть до формулировок. Работа называлась «Феномен тоталитаризма», ее я собирался запустить в самиздат, но пока только обсуждал с близкими по духу и надежными людьми. У одного из таких людей рукопись при обыске и забрал КГБ. Обыск был не случайным: знали о «Феномене» от одного из стукачей. На допросе человеку сказали прямо: «Кто автор “Феномена”? Говорите — если не скажете, то будем считать, что это вы, и тогда статья 190-1 и три года». Через какое-то время он раскололся.

Я этого еще не знал, но после обыска уже было понятно, что рано или поздно меня вычислят. Тогда мы поженились с моей девушкой Любаней, в первую очередь, для того, чтобы в случае ареста она, как жена, могла меня навещать, переписываться и передавать информацию правозащитникам. Ведь это сейчас любой может написать письмо даже подследственному, а тогда была полная изоляция, и даже адвокаты на предварительное следствие не допускались.

— Вы, кстати, взяли фамилию жены. Почему?

— Собственно, по просьбе отца. Он не хотел, чтобы его фамилия фигурировала.

— **Предполагая последствия, ближайшее будущее?**

— Да-да. Ровно через 30 дней после свадьбы меня арестовали, и по этому поводу я чекистов даже чуточку зауважал. Ведь могли же арестовать и на другой день — так нет, дали провести вместе весь медовый месяц, так что зря говорят «кровавая гэбня».

Впрочем, свой медовый месяц я провел не совсем традиционно, а съездил тайком в Москву, чтобы посоветоваться с диссидентами. Особенно меня беспокоила угроза психиатрии. Тогда существовала Рабочая комиссия по расследованию злоупотреблений психиатрией в политических целях, основанная Сашей Подрабинек. Сам Подрабинек к тому времени уже сидел, но руководил комиссией Слава Бахмин, который отправил меня к врачу-консультанту комиссии Александру Волошановичу. Два дня подряд я ездил в нему в Долгопрудный, прошел обследование, результаты которого остались в комиссии.

А утром 28 ноября Любаня собиралась в институт (она училась на архитектурном), в дверь позвонили, она спросила, кто там, ответили: «Соседи». Любаня наших соседей не знала и открыла дверь. Тут в дверь вламывается целая команда — оперативник КГБ, два следователя прокуратуры, следователь угрозыска и «понятой», которого они привели с собой (как оказалось позднее, студент-юрист).

Я еще лежал в постели и заметался: рядом на столе лежала «Вторая книга» Надежды Мандельштам, которую мы с Любаней читали на ночь, — я сунул ее под подушку (и там ее не нашли). Один из следователей увез Любаню на допрос — ее им просто надо было убрать из квартиры на время обыска. Продолжался он до пяти часов вечера.

Как назло (и это было чистое совпадение), предыдущим вечером я принес часть своего архива из тайника домой. В тот день я собирался эту часть перепрятать в другое, более надежное, место. Все было в одном портфеле: копии «Феномена», недопечатанный выпуск «Хроники» № 50. Так что радости чекистов не было предела, набрали еще бумаг и книжек, положили в картонный ящик, забрали пишущую машинку и вместе со всем этим добром меня увели.

Московским диссидентам везло: после ареста их сразу везли в «Лефортово», где надзиратели разговаривали на «вы», где давали серый хлеб, а заключенные спали на обычных кроватях. В провинции после ареста сначала запирали в КПЗ. Самарская КПЗ — это были грязь, холод, темень, спать приходилось на деревянных досках во всей одежде, даже завязывая шапку, иначе мерзли уши. Ни бани, ни даже толком умыться, потому что мыла нет.

Обвинение предъявил следователь прокуратуры Григорий Иновлоцкий. Сейчас Иновлоцкий — адвокат в Самаре, его брат — довольно известный классический композитор в Санкт-

Петербурге. Ситуация сложилась слегка дурацкая. Дело в том, что, во-первых, Иновлоцкий был студентом моих родителей, а во-вторых, отец Иновлоцкого был другом моего деда, по профессии Иновлоцкий-старший был портной и даже шил мне костюм, когда я был еще в школе. Теперь его сын «шил» мне дело.

Однако чувствовал он себя явно некомфортно. Большею частью смотрел в пол и надувал усы. В КПЗ меня продержали десять дней, потом отправили в СИЗО и заперли в подвальной камере вместо одиночки, пока решали, куда посадить. Там те же грязь, холод и темнота, вдобавок еще и то, что называется «сенсорной депривацией»: полная тишина, из-за чего потерялось ощущение времени, а через несколько дней даже стало казаться, что слышу какие-то голоса, пение. (Потом оказалось, что да, пел сосед.) А на стене — оптимистические надписи типа «Рыжий. Тольятти. Ст. 102. Расстрел»: в камеры сажали сразу после суда еще и приговоренных к смертной казни.

После этого, когда подняли уже в нормальную камеру, она мне показалась просто раем: белый потолок, свет, газеты дают, радио работает. Правда, включалось оно всегда ровно в 6 часов утра советским гимном, и с тех пор, как и все зеки, я эту музыку ненавижу.

Сидели мы вдвоем с «наседкой». Это был бывший капитан милиции, уже получивший 6 лет за взятки. Он ежедневно страшал меня рассказами о зонах — кого-то там перепилили циркулярной пилой, кого-то утопили в бочке с бензином, кого-то сожгли живьем в печке. Наверное, все это была правда, но подтекст был такой: колись, иначе попадешь на зону и живым оттуда не выйдешь.

На следствии я не давал показаний и не подписал ни одного протокола. Теоретически в политических делах это лучшая тактика: приговор и так заранее известен. Где-то через месяц, видя, что Иновлоцкий дело не тянет, КГБ применил свой обычный прием. По закону дела по статье 190-1 подлежали расследованию прокуратурой, но при необходимости включали такую схему: «в связи со сложностью дела» создавалась следственная группа, где формально старшим оставался следователь прокуратуры, но реально дело вели уже следователи КГБ.

Моим следователем был майор КГБ Юрий Соколов. Утром, часов в 9, забирали из камеры, сажали в «Волгу», которая везла через весь город в здание управления КГБ. Там Соколов усаживал меня на табуретку подследственного, заправлял в машинку лист бумаги. Я говорил ему: «Юрий Васильевич, зачем вы это делаете? Знаете же, что ничего я не подпишу...» Но Соколов все равно выстукивал там свои вопросы — и говорил. Говорил он без остановки, о чем угодно, даже о рыбалке, каждую фразу заканчивал вопросительно в расчете вязать меня в разговор. А я понимал, что делать это нельзя, потому что стоит только ему установить психологический контакт — и дальше говорить уже придется мне, а надо молчать, чтобы ни в чем не проговориться. В какие-то моменты я даже демонстративно клал голову на столик, который стоял перед табу-



Егор Егорович Волков, отсидевший двадцать лет в СПБ за организацию забастовки в Находке (фото вскоре после освобождения в 1988 году, через полгода он умер). © Из архива Виктора Давыдова

реткой, вроде бы как дремал — только чтобы остановить этот психологический напор.

Был только один момент, когда я вступил в диалог. Это было, когда Соколов сказал: «Расскажите о своих связях с московскими диссидентами» (это его явно интересовало больше всего). Мне тоже стало интересно, что они знают, я спросил: «А кто такие диссиденты? Это вроде не должность и не воинское звание». Соколов поддался: «Ну вот конкретно — Ирина Якир, Бахмин, Шиханович...» На этом диалог и закончился.

Вообще политическое следствие велось методом прямого и довольно циничного торга. Следователь сразу делал предложение: признание своей вины, и сразу из зала суда — домой. Домой очень хотелось, но я уже знал, что заключить честный контракт будет невозможно. Вслед за этим чекисты потребуют публичного покаяния — диссиденты называли его «покаяхой» — для газеты, а то и покажут по телевидению. А самое плохое, что следующим требованием будет дать показания на третьих лиц и легко могут потребовать выступить у кого-нибудь на суде. Это уже было за гранью морально допустимого. Славу Бахмина как раз в то время арестовали, чего я, правда, не знал, но почему-то представил себя свидетелем обвинения у него на суде и сразу понял, что сделать это не смогу.

Было крайне отвратительное ощущение: понимаешь, что летишь в пропасть, а зацепиться не за что — из скалы торчат только какие-то острые крюки. Уже сам лагерный срок в три года мне тогда, как свежему зеку, казался громадным, но висела еще и психиатрия. В наш последний допрос с Соколовым тот прямо сказал, что если я буду продолжать так «странно» вести себя на следствии, то он должен будет провести психиатрическую экспертизу. Намек я понял и стал обдумывать какую-нибудь более гибкую линию поведения, но додумать не успел: через несколько дней меня отправили на экспертизу в Челябинск.

Судебно-психиатрическая экспертиза в СССР строилась в три этажа. Внизу были судебные отделения областных больниц, над ними — региональные экспертизы, на самом верху стоял Институт Сербского. Вулиц от меня отбилась, так что меня отправили, как и других подследственных из Куйбышевской области, в Челябинск. Это был первый круг психиатрического ада, куда я попал.

Судебное отделение в Челябинске находится на первом этаже здания областной больницы. Там меня заперли буквально в стеной шкаф. Это были шесть квадратных метров — без окна и без форточки, глухая дверь, свет исходит от лампочки за стальным листом, в нем проделаны мелкие дырки, так что из-за интерференции по камере расходятся тусклые круги, и ничего толком не видно. В камере на полу помещаются ровно три матраса, их мы раскладывали на ночь, а днем сворачивали и тупо на них сидели, потому что делать было абсолютно нечего. Ни газет, ни радио, ни игр — ничего, только темнота.

Мы сделали самодельные шашки: выпросили у медсестры зеленку, слепили из хлеба шашки, их раскрасили, собрали доску из клочков газеты, которую выдавали на туалет. Играли с соседом пару дней, пока на обыске все это не отмели. Где-то за несколько дней до окончания экспертизы мне удалось все-таки выпросить книгу, Генрика Сенкевича. Ее я читал одним глазом без очков, потому что иначе в темноте ничего не было видно.

Одним соседом был гопник из Кыштыма, севший за грабеж, вторым — душевнобольной мальчишка шестнадцати лет, который удушил отчима за то, что тот бил его мать. Душевнобольной каждую ночь просыпался и страшно орал. Гопник подскакивал и через меня бил его в живот, чтобы тот замолчал: это работало. И так продолжалось ровно четыре недели.

Меня удивляло, что после первой беседы с психиатром больше меня вообще не вызвали. Один раз только вывели в другой корпус в наручниках на рентген легких. На самом деле там уже был туберкулез, очаги позднее сами зарубцевались, и в каждой тюрьме после флюорографии врачи спрашивали: «Когда вы переболели туберкулезом?» — а я не знал, что ответить. Но психиатры вызвали только на комиссию в последний день.

Там сидела большая комиссия, человек двенадцать, и задали только два вопроса. Один стандартный — «Как вы себя чувствуете?» и второй — «У кого из психиатров вы обследовались в частном порядке?» И тут я сразу все понимаю. Позднее узнал, что единственный из оставшихся на свободе к тому времени член Рабочей комиссии Леонард Терновский написал в Челябинск письмо, в котором говорилось, что врач-консультант комиссии меня обследовал и не нашел признаков душевного заболевания. Документ этот был совершенно неформальным, но в подпольной типографии адвентистов для комиссии отпечатали типографские бланки, так что выглядел он почти официально.

— Эти бумаги производили какое-то впечатление на советских врачей?

— Советские психиатры попадали в ситуацию когнитивного диссонанса: когда вроде бы и понятно, что человека требуется признать невменяемым, но, с другой стороны, есть какой-то непонятный документ на бланке, и его тоже надо как-то принимать во внимание.

В итоге челябинские психиатры сделали примерно то же, что и Вулис: умыли руки, написали, что сделать заключение они не могут, и отправили в Институт Сербского в Москву.

Там я проходил экспертизу в Четвертом («политическом») отделении. В нем было четыре палаты: три открытые и одна на замке для заключенных из «Лефортово». В самой маленькой палате нас было четверо, все с политическими историями. Там был Виктор Гончаров из Кировограда, ранее он учился в Одессе и был в кружке Вячеслава Игрунова. Виктор сидел за классическое «словопреступление»: на вечеринке 7 ноября он произнес тост: «Выпьем

за день национальной трагедии русского народа!» Все выпили, и ничего бы не было, но где-то через пару недель Виктор расстался со своей любимой женщиной и объяснил ей, что обещание на ней жениться было просто шуткой. Женщины таких вещей не прощают, но его любимая женщина пошла прямо в КГБ и рассказала там, какой он антисоветчик.

Все дело так и строилось только на ее показаниях, потому что присутствовавшие на вечеринке все твердо отрицали, причем с пуленепробиваемым алиби: «Пьян был, не помню». Виктор прошел две экспертизы, в итоге его признали вменяемым, он получил три года — как потом мы шутили, по пять месяцев за каждое слово своего неудачного тоста.

Другим был «свидетель Иеговы» Виктор Незнанов. Он родился в семье, принадлежавшей к Истинно православной церкви, отец его погиб в лагерях, мать отказалась от мужа, чтобы воспитать сына. Потом каким-то образом Незнанов стал «свидетелем Иеговы». В Институте Сербского сначала он вел себя тихо, потом занялся обычной для «Свидетелей» проповедью, его начали колоть амиазином. Когда я уезжал и с ним прощался, от укулов он был уже совсем невменяемый. Его отправили в спецпсихбольницу в Могилев, где он просидел до самой перестройки.

Четвертым соседом был «отец русского антисемитизма» Валерий Емельянов.

— **Который зарезал жену?**

— Именно он. Емельянов был автором книги «Десионизация», которую рассылал по ЦК КПСС. Это был совершенно жуткий тип, и я ни на секунду не сомневаюсь, что жену убил он. Все-таки его и поймали в тот момент, когда он сжигал ее останки на пустыре. Но с ним мы особо не общались, потому что один день как-то поговорили, а потом он вдруг перестал со мной разговаривать. Я Гончарова спрашиваю: «Слушай, в чем дело?» Гончаров был православный, он с ним общался и объяснил: «Он на тебя посмотрел, говорит: нос у него неправильный».

Самое смешное насчет Емельянова — это был обход. Во время обхода все садились, и в палату заходят врачи: завотделением Яков Лазаревич Ландау, за ним Маргарита Феликсовна Тальце... А у Ландау классическая семитская внешность, там даже не надо измерять нос. И бедный Емельянов краснеет, потом зеленеет, смотрит в пол, в ответ на вопросы что-то бурчит. Такое ощущение, что боится, что они тут же начнут пить из него кровь, как из христианского младенца.

Про Институт Сербского рассказывают страшное, на самом деле это довольно цивилизованное место, максимально приближенное по условиям к обычной психбольнице. Мягкий режим, открытые палаты, из которых днем можно переходить в любую другую, чистые постели, неплохая еда, не хуже, чем в столовой самарского КГБ. Надо только понимать, что надзор — все 24 часа, даже

ночью, и все разговоры между собой и с вроде бы добрыми нянечками будут потом записаны в акте экспертизы.

Известно, что в Освенциме, чтобы не шокировать новоприбывший «контингент», была построена копия обычного вокзала. Институт Сербского является точно таким же «освенцимским вокзалом». После тюрьмы там расслабляешься, поддаешься на вроде бы человеческое отношение врачей и забываешь, что каждое сказанное тобой слово не только может быть, но обязательно будет использовано против тебя.

Ну и, например, такая деталь: в Четвертом отделении была полная информационная изоляция — ни радио, ни газет. Вдруг как-то по возвращении с прогулки мы у себя в палате видим на столе газету «Вечерняя Москва». Разворачиваем в недоумении — а там «покаянное письмо» недавно арестованного православного диссидента о. Дмитрия Дудко. Тот плачется, что, «поддавшись влиянию зарубежных антисоветских центров», он совершил преступление против народа и государства. Тут мы посмотрели друг на друга с Гончаровым и оба поняли, почему и зачем газета здесь оказалась.

Моя экспертиза проходила довольно странно. Первое время было ощущение, что Ландау и те, кто за ним стоял, ждали какой-то реакции от диссидентов. Как выяснилось позднее, реакции не было: уже и Леонард Терновский к тому времени сидел, так что написать в Институт Сербского было некому. Дальше все пошло уже по отработанному сценарию.

Вела меня врач Светлана Герасимова, которая была классическим типом советского психиатра. На меня она не взглянула ни разу, смотрела только в журнал и много писала. Писала, писала, писала... Что она там писала, мне было даже жутковато думать. Были, например, такие вопросы: «Как вы вообще видите свое будущее?» Я отвечаю: «Вижу его в черном цвете». Она спрашивает: «А цвет у вас какой — черный ровный или с оттенками?» На этом я понимаю, что она ищет паранойю — это же про зрительные галлюцинации. И все остальное было на том же уровне. В итоге, когда я попадаю в Бутырку, я уже понимаю, что у меня диагноз; он оказался, правда, «диссидентский классический» — вялотекущая шизофрения.

В заключении экспертизы было сказано, что шизофрения проявлялась симптомами «склонности к резонерству, расстройства критических способностей и эмоционально-волевых расстройств». Кто ничего такого за собой не замечал, пусть поднимет руку.

После заключения из Сербского я сразу стал тем, кого у Оруэлла называли non-person. Никакие следственные документы уже не давали подписывать, даже обвинительное заключение, суд проходил без меня. Он определил отправить меня в специальную психиатрическую больницу МВД (СПБ).

Политическая психиатрия возникла еще при Сталине, но до и после него у этого вида репрессии были разные функции. Лучше

всех преимуществ карательной психиатрии понимал Андропов, который ее всячески расширял: так, известен даже проект целого «психиатрического ГУЛАГа», который Андропов продавил через Политбюро в конце 1970-х годов. Проект предполагал создание еще шести СПБ и значительное увеличение числа коек в психиатрических больницах — на 60 тысяч. Проект, правда, остался неосуществленным: Андропов предпочитал делать гадости чужими руками — в данном случае руками Минздрава и МВД, а там понимали, что в случае чего крайними окажутся они, так что не горели энтузиазмом, особенно министр внутренних дел Щелоков, который лично терпеть Андропова не мог.

Применение психиатрии как политической репрессии было удобно КГБ сразу по нескольким причинам. Во-первых, диссидента, признанного невменяемым, уже не выводили на суд. Никаких политических речей, чисто формальная процедура: заслушали — определили.

Во-вторых, дискредитация диссидентов как душевнобольных. В записках для Политбюро Андропов всего любил указывать: «Есенин-Вольпин, признанный душевнобольным», «душевнобольной Петр Григоренко».

В-третьих, у заключенных СПБ не было фиксированного срока, и он никак не коррелировался со сроком статьи. Я видел людей, у которых по статье было максимумом три года, а сидели они и по восемь, и по двадцать лет.

Ну и, наконец, самое главное — это нейролептики. В лагерях политзеки тоже сидели в жутких условиях, там были и ледяные карцеры, и голод, но всему этому можно сопротивляться, собрав силу воли. А нейролептики волю и сознание разрушают в нуль. В политлагерях постоянно проводились голодовки, в СПБ голодовка известна только одна, и то потому, что о ней вовремя смогли сообщить на волю и за границу. Попытки были. Тогда голодающего привязывали к койке и кололи аминазином и галоперидолом. И через неделю он уже делает все, что ему говорят, потому

что вообще не соображает, что делает. Был человек — и нету, хотя физически вроде бы и существует, ну разве слюна течет.

В конце октября 1980 года меня привезли в СИЗО-2 Казани, где находится психиатрическое отделение. Там зеки сидели уже после суда, ожидая перевода собственно в Казанскую СПБ. Отделение было рассчитано примерно на 200 человек, сколько сидело в реальности, трудно сказать, потому что камеры были забиты, как в 1937 году, заняты были даже все места под нарами.

Это был следующий круг ада. Зеки находились там круглый год в одном белье — в холщовых рубашках и в кальсонах, только на прогулку им выдавали халаты. В коридорах с ключами ходили не менты, а санитары — отбывающие срок уголовники. Там в первый же день меня избили в бане. Сначала всех новоприбывших завели в предбанник и стали стричь — одной машинкой

и под мышками, и лобок, и волосы на голове. Я отказался, потому что недавно стригся, волосы были короткие, меньше сантиметра, а по тюремным правилам до двух сантиметров разрешалось не стричь. Но это в обычной тюрьме, а здесь, как оказалось, были свои правила.

Санитары вроде согласились, потом вызвали уже голого из бани назад в предбанник и тут же, ни слова не говоря, вшестером начали бить. Я, голый, мокрый, без очков, как-то пытался отбиться, меня, конечно, сбили на пол, один встал на ноги, кто-то другой бил сапогами в лицо и под ребра. Выручили менты, которые прибежали на сигнал тревоги. Санитары начали оправдываться: «Да он нас всех тут кидал...» — шестерых. Все же подстригли — и это было не самое страшное, потому что сразу так же, голого, подняли на верхний этаж в процедурку, где у медсестры уже лежало два шприца: большой с аминазином и маленький с галоперидолом.

После уколов разрешили надеть белье, дали матрас и отправили в камеру. Мест там не было, нашлось только под столом, я бросил туда матрас, упал и уже не смог натянуть на себя одеяло, потому что аминазин начал действовать моментально.

Следующий день был самым страшным в жизни. Он весь прошел в бреду: снились какие-то кошмары, близкие к галлюцинациям. Я проталкивался через какую-то темную узкую пещеру, обдирая локти, выходил в пустыню, где падал в горячий песок, который тут же забивал рот, отчего становилось невозможно дышать. Я возвращался в реальность и чувствовал, что какой-то предмет мне действительно не дает дышать, заполняя рот. Я трогаю его рукой и понимаю, что это мой собственный вывалившийся язык, нечувствительный и совершенно сухой от жажды. Все горло жутко болит от сухости, каждый вдох — как ожог. Камера почему-то пустая, без единого человека. Я выползаю из-под стола и ползу к крану. Доползти на четвереньках до него я смог, но там было цементное возвышение сантиметров на тридцать, на которое я уже не смог подняться. Я сделал несколько попыток, в конце концов упал и так остался лежать. Не знаю, сколько времени я пролежал, но тут открылась дверь, зеки вернулись с прогулки.

Они подняли меня, отволокли назад под стол, налили кружку холодной воды. Я выпил, хотел попросить еще одну, но снова отключился. А вечером снова выволокли в процедурку, где сделали еще два укола, после чего я провалился в новый кошмар.

Неожиданно наутро выволокли в коридор, заставили одеться — в процессе одевания я пару раз сползал по стенке — и на ментовском «уазике» отвезли в СПб. Как стало ясно позднее, этим днем пытки я купил себе, возможно, целый год жизни. Срок принудления считается только с доставки в СПб. Так что и время, проведенное под следствием в СИЗО, и время, проведенное в психотделении в ожидании очереди, все равно обнуляется. Тот же «диверсант» Андрей Калишин сидел в СИЗО-2 больше года, ожидая, пока его отправят в СПб; мне удалось проскочить его всего за



*Виктор Давыдов
с Линой Тумановой
и Кириллом Поповым. Москва, 1983*
© Из архива
Виктора Давыдова

сутки. Это я говорю на тему о пользе сопротивления и о том, что часто самый сложный и болезненный путь оказывается самым коротким. Поэтому я так уважаю людей, которые это тоже понимают, вроде Петра Павленского.

Когда говорят о СПБ, то часто их тоже называют «психушками», равняя с обычными психбольницами. На самом деле разница примерно такая, как между лагерем бойскаутов и колонией для малолетних преступников. Спецпсихбольница МВД — это тюрьма. Тюрьма внешне: высокая стена, за ней запретная зона, потом еще одна стена, наверху — колючая проволока и провода сигнализации. Внутри это тоже тюрьма: камеры, которые закрыты круглые сутки, в двери камеры — только глазок и откидывающееся квадратное окошко, «кормушка»: через нее в камеру подают еду.

В камерах заключенные проводят 23 часа в сутки, на час выводят на прогулку, пять раз в день все отделение разом выводят в туалет. Там грязь, нет места, курить разрешается только в туалете, от дыма в глазах сразу начинается резь. На этом я быстро бросил курить, и сразу по двум причинам. Во-первых, решил, что если могу курить только пять раз в день, то могу и вообще не курить. А во-вторых, хотелось все-таки проверить диагноз Сербского. Ведь когда тебе ставят диагноз «шизофрения», то пусть умом и понимаешь, что это не про психиатрию, а про политику, но все равно невольно начинаешь себя ощупывать — а вдруг что-то есть? Бросив курить, я успокоился, потому что в картину «эмоционально-волевого расстройства» это никак не вписывается.

В самих камерах — теснота, койки поставлены так, что для того, чтобы добраться до места, заключенному надо перескакивать через спинку койки, а то и вообще шагать по соседу. Свободного пространства — примерно пять шагов. Одеты заключенные в легкие хлопковые пижамы, древние и латанные многократно. Выглядели они настолько безобразно, что тех, кто шел на свидание с родственниками, в обязательном порядке переодевали в нечто приличное, потом все это отбирали и снова одевали в лохмотья.

Отделения различаются и по условиям, и по режиму: есть «строгие», лечебные и рабочие. Первое отделение, куда меня привезли, было по определению «строгим» и располагалось в полуподвале. Врач Людмила Петухова, которая меня осматривала и нашла где-то запись о туберкулезе, сама признала: «Мы вас отсюда скоро переведем, потому что у нас идеальные условия для туберкулеза: тепло и сыро». Она поглядела на меня, еще шатающегося и зеленого после уколов, и дала три дня отдыха. После чего назначила лекарства, их в Первом отделении давали всем. Как сказала Петухова: «Лечитесь. У нас лечатся все».

И вот это было самое страшное. Не режим, не постоянное унижение, не неудобства — нейрорептики. В Казани я получал

дважды в день по 15 миллиграмм мажептила — теперь это лекарство не применяется — и на ночь стомиллиграммовый шарик аминазина. Первую дозу я получил утром, через пару часов была прогулка, по пути назад надо было спуститься на четыре ступеньки. Я подошел к ним — и чувствую, что не могу шагнуть: ноги перестали сгибаться в коленях. Как-то бочком я спустился, а после этого началось уже по полной программе.

Нейролептики вызывают массу побочных эффектов, и одним из них является так называемая неусидчивость. Это странное состояние, когда как будто начинают дрожать все мускулы тела, причем вызывает это очень неприятное ощущение: как будто вся кровь наполнена пузырьками, пузырится и бурлит. Описать это сложно, можно сравнить с тем ощущением, когда отсидишь ногу и потом она отходит, — вот примерно такое ощущение во всем теле. Ни сидеть, ни лежать, ни вообще находиться в статичной позе невозможно — чтобы снять это ощущение, нужно постоянно двигаться. А в камере всего пять шагов, и другие тоже мучаются, им тоже надо ходить. И вот в проходе между койками двое ходят гуськом, синхронно разворачиваясь через каждые три шага, потом они падают обессиленные, а на их место встают двое других. Так от подъема до отбоя и бродили, как зомби.

На аминазин у меня была своя реакция, и тоже плохая. От него закладывало нос, дышать приходилось через рот, который тут же пересыхал. Начиналась тахикардия, я стучал в дверь и пробовал позвать медсестру. Получалось это через раз: когда медсестры занимались своими делами, им было не до зек. Если приходила, то щупала пульс через «кормушку» и приносила в пластиковом стаканчике корвалол. Помогал он или нет, я не знаю, потому что когда уже казалось, что сердце совсем выскочит, в этот момент я отключался.

А ночью — примерно часа в три — в той камере Первого отделения для нас всех был «подъем». Это лежавший через койку сумасшедший Вася Усов вскакивал и начинал громко, совершенно по-звериному выть. Васю шпиговали на ночь лошадиными дозами аминазина, но это не помогало. Ночью приходилось снова колоть, правда, один мент догадался, стал открывать дверь и бить Усова по голове шваброй — какой Вася ни был псих, но рефлекс срабатывал, тогда Усов замолкал.

Хуже всего было с концентрацией и с памятью. По воскресеньям выдавали ручки писать письма домой, я начинал писать предложение — и на середине забывал, о чем хотел сказать. Сложно было даже разговаривать, иногда возникали комические сцены, когда, беседуя с сокамерником, тоже получавшим лекарства, мы оба вдруг замолкали, потому что теряли нить разговора.

В этом кошмаре в Казанской СІБ прошло два месяца, после чего меня неожиданно вызвали «с вещами» и, ни слова не говоря, отвезли в казанский СИЗО-1. Он был построен еще в начале XIX века, камера находилась в круглой башне; возможно, что именно



*Шестое отделение
(швейный цех)
Благовещенской
спецпсихбольницы.
Единственное
известное внутрен-
нее фото СПБ.
Снято Виктором
Давыдовым со
стенгазеты в ка-
бинете врачей
перед освобождени-
ем. 1983
© Из архива
Виктора Давыдова*

в ней в 1937 году сидела мать Василия Аксенова Евгения Гинзбург. Оттуда этапом через Свердловск, Красноярск, Иркутск и Читу довели до Благовещенской СПБ. Причем все это было совершенно незаконно, ибо формально с момента доставки в СПБ я уже не считался арестованным, и принимать «вольного человека» в СИЗО никто не имел права. Тем не менее принимали, сажали в камеру — разве что только поскорее старались отправить на этап дальше.

Этап был очень тяжелым физически и долгим — занял он почти месяц. А Благовещенская СПБ стала уже последним кругом ада. Там было еще хуже.

В СССР было 16 СПБ, и они сильно различались и по условиям, и по отношению врачей. Лучшими были Ленинградская, Алма-Атинская и Черняховская, худшими — Днепропетровская, Ташкентская и Благовещенская. Там все было так же, как в Казани, только еще больше теснота, еще более высокие дозы нейролептиков. Располагалась СПБ в здании бывшей сталинской тюрьмы, позднее к ней делались новые пристройки, причем так, что из двух этажей получалось три, — в новых камерах было сыро, но уже не тепло, и зекам даже разрешалось ночью укрываться бушлатами. Зато сырость процветала плесенью, и во многих камерах в холодные месяцы посередине разливалась постоянная лужа, почти по Гоголю. Влага конденсировалась на потолке, так что ели, накрывшись бушлатами, — иначе в миску сверху капала вода. Совсем плохо в этом смысле было в рабочем Пятом отделении — оно располагалось в здании бывшего картофелехранилища, картошку вывезли — зеков посадили.

Чем Благовещенская СПБ еще отличалась от Казанской — там вместо ментов в коридорах правили уголовники-санитары.

Брали осужденных на общий режим и ставили надзирателями над «дураками». «Санитары» приходили сначала смиренными, потом им объясняли и показывали, что делать с зеками они могут что угодно, после этого «санитары» начинали бить направо и налево. Били руками, тяжелыми ключами от камер, били ногами, били за слова и просто от нечего делать, для удовольствия. Особенно лютыми были осужденные милиционеры: помню, как бывший капитан милиции Паша Побережный, севший за убийство по пьянке, любил подстергать в коридоре полупарализованного зека и ставил ему подножки. Тот валился, начинал Пашу материть — тут набегали другие «санитары» и били зека уже в кружок ногами.

В Благовещенске все началось для меня примерно так же, как в Казанской СПБ. Нравы тут были еще грубее. Принимавший меня врач Вячеслав Белановский орал в лицо: «Только попади ко мне в отделение — я тебя на всю жизнь отгучу клеветать!» Потом снова мажептил-аминазин. Нейролептики уже, видимо, стали аккумулироваться в организме, и я узнал на себе еще один их побочный эффект — «экстрапирамидные расстройства». Это когда совершенно внезапно судорога вдруг захватывает мускулы шеи, они сжимаются, задирают голову вверх — до такой степени, что становится очень больно. Больно и от судороги, и в затылке. Челюсть отваливается, ничего не можешь сказать, только во весь голос мычишь от боли — и зовешь медсестру. Для купирования таких эффектов в обычных психбольницах дают лекарства-корректоры, но в СПБ их выдавали мелкими и недостаточными дозами, да и то не всегда. Когда судорога проходит, то ощущение, будто бы сильно били, валишься на койку, но неусидчивость быстро поднимает и снова заставляет бегать.

Однако вскоре что-то началось меняться, перевели в отделение получше, лекарства заменили на более мягкие, пусть примерно и с тем же эффектом, — трифтазин и тизерцин.

Сначала я никак не мог понять причину, но разгадку дал вопрос, который мне постоянно задавали все врачи вплоть до начальника СПБ полковника Людмилы Бутенковой: «Почему вас перевели к нам?» Дело в том, что все СПБ имели четкую географическую «сферу деятельности»: в Благовещенскую попадали только из СИЗО в Иркутске и восточнее, я там был единственным, приехавшим «с Запада», как за Уралом называют Европейскую часть России.

Сам я понимал, что перевод устроил КГБ, который хотел таким образом заслать меня так далеко, чтобы Любаня и диссиденты не смогли получать информацию. Казань находилась ближе, туда из Самары можно было приезжать раз в месяц на свидания, в Благовещенск требовалось не только задорого и долго лететь, но нужно было еще и разрешение от самого КГБ — пограничная зона. Также в Самару возвращались освобождавшиеся из Казанской СПБ самарцы, с ними тоже можно было передавать информацию.

Постепенно, наблюдая честное недоумение врачей, я стал догадываться, что где-то что-то в этой огромной карательной машине не сработало, какие-то колесики не зацепились. Наверное, амур-

ский КГБ не получил насчет меня никаких указаний, отчего в МВД и возникло недоумение. Альтернативно появилась версия, что я какой-то «блатной», которого высокое начальство по настоянию высокопоставленных родителей по каким-то эзотерическим причинам решило поместить именно в Благовещенск.

Версия эта укрепилась, когда приехала мама на свидание — через Москву, где она была на приеме у Петра Рыбкина, бессменного начальника всех СПБ Советского Союза. Для врачей и для Бутенковой Рыбкин был главный бог — только ему они подчинялись.

Как только я все это вычислил, то собрал остатки мозга и начал развивать целую схему мистификации. Когда врачи задавали тот самый вопрос, я многозначительно темнил, «наседкам» в камере рассказывал фантастические истории: «принял» отца членом-корреспондентом в Академию наук, «произвел» его из капитанов запаса в полковники, договорился до того, что, оказывается, он служил на фронте с Брежневым. Все это было чистым бредом, но что может быть правильнее в абсурдной ситуации, чем бред? Спасибо «Алисе в Стране чудес» — именно так там и рекомендуется поступать. Если они назначили меня «шизофреником», почему я не могу назначить отца «боевым другом» Брежнева?

И все это работало, а в конечном итоге даже меня спасло — ну или, по крайней мере, спасло мои мозги. Не прошло и полугода, как лекарства отменили совсем и перевели в лучшее рабочее отделение. Обычно зеки туда просились и ждали по году, я попал, можно считать, почти моментально.

Это было странное чувство: как будто тебя вытащили из темного подвала снова на свет божий и почти в райский сад. Лужа все равно присутствовала под койкой, но на подоконниках стояли цветы, на стенах висели картины руки неизвестного тюремного художника — копии шишкинских «Мишек» и репинских «Бурлаков на Волге». Некоторые зеки ходили в своей одежде, разрешалось переходить из камеры в камеру, в одной стоял телевизор. Где-то в двухстах метрах оттуда Паша Побережный бил ногами инвалида, а тут можно было всегда одернуть не в меру ретивого «санитара».

В Шестом рабочем отделении я и просидел до смерти Брежнева. Днем мы работали на швейке, потом была прогулка, вечером играли в шахматы. Мне присылали много книг и журналов — от «Иностранной литературы» до «Религии и жизни». Я распланировал время: каждый день полтора часа занимался английским, еще полтора часа — немецким, потом читал Бёллетристику, чтобы не разучиться говорить, — вокруг особо поговорить было не с кем.

Одна из вещей, которые я понял в Благовещенске, — это то, что ходящее до сих пор представление о диссидентах как о маленькой группке московских интеллектуалов в корне неверно. В мое время в Благовещенской СПБ с 1967 года сидел Егор Егорович Волков, устроивший забастовку бригады строителей в Находке; рабочий из Хабаровска Александр Денисов, «стихийный

троцкист», написавший целый трактат о необходимости мировой революции; рабочий Анатолий Аваков, который отсидел свой первый срок на политзоне за надписи на избирательных бюллетенях; сварщик из Петропавловска-Камчатского Саша Симкин, который разбрасывал листовки в ГУМе в Москве; преподаватель ПТУ Владимир Турсунов из Иркутска, создавший со своими учениками кружок «истинных ленинцев»; наконец, Николай Бородин, который устроил громкую протестную акцию с политическими речами в поселке Черниговка Приморского края.

Все эти люди были чистыми политическими диссидентами, и репрессии против них куда лучше показывают существовавший в стране протестный потенциал, чем действия московских интеллигентов, пусть об этих людях никто и не знал, пока я уже не передал информацию о них из СПб. КГБ понимал, что правозащитники опасны не столько сами по себе, сколько как организующее ядро всего этого протестного брожения.

На прогулочном дворике 11 ноября 1982 года присутствовавший дежурный врач тихо сказал мне: «Ну вот, случилось то, чего мы и вы так боялись. Андропов...» Фраза была, конечно, очень странной: в конце концов, он был офицером МВД, а я его заключенным. Однако в ней было зерно истины: в МВД очень нервно восприняли избрание Андропова и ждали неприятностей (позднее они оправдались, когда Андропов устроил там чистку). В ситуации межвременья, когда начальство МВД потеряло ориентиры, они решили отделаться от меня и в январе выписали из СПб.

Это была еще не свобода — непосредственно на свободу из СПб выписывали очень редко. Это был лишь перевод в Самару, в знакомую ОПБ к Вулису. Тот снова на другой день явился поговорить, перевел из буйного отделения в спокойное, потом вообще пристроил в санаторное, вернее, военно-экспертное, но с очень мягким режимом. Какие-то таблетки там давали пить, чего я, конечно, не делал. А летом состоялась комиссия врачей — не без присутствия «врача в штатском»: тот сидел со своей гэбульной папочкой, не очень шифруясь, даже халат просто набросил на плечи.

Уже через месяц после освобождения я поехал в Москву. Большинство знакомых диссидентов там не было, все сидели, но было много новых лиц, и все было почти по-старому. Не было «Хроники текущих событий», но издавался гораздо более полезный «Бюллетень В». «Хроника», как периодическое издание, уже не справлялась с потоком информации; «Бюллетень В», изобретенный сидевшими к тому времени Иваном Ковалевым, Алексеем Смирновым и уехавшим Владимиром Тольцем, издавался в формате новостной ленты и был гораздо оперативнее.

Не было Хельсинкской группы, но за год до этого возникла «Группа доверия между Востоком и Западом», и она неизбежно эволюционировала в правозащитную организацию. Как раз когда я был в Москве, ее члены держали голодовку в защиту только что осужденного Олега Радзинского (сына Эдварда Радзинского). Поз-



*Отъезд в эмиграцию
с Киевского вокзала,
28 октября 1984*
© Из архива
Виктора Давыдова

днее «Группа доверия» стала ядром контркультурного движения времен ранней перестройки.

— Сталкивались ли вы с солженицынским Фондом помощи политзаключенным?

— Да, он функционировал точно так же. Мне даже довелось присутствовать при комической сцене, когда некий самозванец [Борис Михайлов], решив, что распорядитель фонда Андрей Кистяковский, первый переводчик Толкиена, неправильно исполняет свои обязанности, объявил распорядителем себя. Через неделю все вернулось на свои места: духовник самозванца — тот был православным — потребовал от него бросить «бесовское дело», что и было сделано. Должность распорядителя фонда была «расстрельной» — всех предыдущих распорядителей неизбежно сажали, — но даже на нее стояла очередь.

Поэтому позднее я очень удивился, когда стал читать, что будто бы «диссидентское движение в начале 1980-х годов было разгромлено». Это простое повторение заявления замглавы КГБ Семена Цвигуна, которое тот сделал еще при живой Хельсинкской группе в 1981 году, и причем не первое: в первый раз об этом объявил Андропов еще после дела Якира—Красина. Чекисты ведь еще и мифоманы, любящие выдавать желаемое за действительное. Я лично никакого «разгрома» не заметил.

В Самаре мы собрались вчетвером и стали помогать фонду. Заводили переписку с диссидентами, находившимися в ссылке и в СПБ, посылали им посылки с едой. В самой Самаре в то время купить из съедобного было особо нечего, но фонд снабжал бульонными кубиками, витаминными концентратами соков, маслом, шоколадом «Тоблерон». У меня было свое хобби: через информцентры УВД я разыскивал пропавших заключенных СПБ. Таким путем нашел Льва Убожко, о котором уже лет десять никто не слышал. Написал ему якобы от имени брата, Лева тут же подхватил игру, так мы переписывались, он смог получать посылки (в СПБ они разрешались только от родственников).

Самарский КГБ, конечно, что-то знал, дважды за полгода мне попытались снова пришить дело: первый раз за «тунеядство», второй раз — когда кто-то поджег Дом-музей Ленина в Самаре. После допроса по этому делу тот самый Дымин, который за девять лет нашего «знакомства» стал уже подполковником, вышел со мной на улицу, сел на лавочку и сказал извиняющимся тоном: «Слушай, ну я им говорил, что ты здесь ни при чем, — но разве они будут слушать?..» В управлении к этому времени сменилось начальство, Кинарова уже не было, зато явно были какие-то внутренние трения.

«Но вообще, — продолжил Дымин, — имей в виду, что мы многое знаем. Так что если не хочешь снова ехать на Восток — езжай на Запад». Я удивился: «А отпустите?» — «Да конечно, сделай только вызов — и уезжай».



На конференции
Международного
общества за права
человека. Юрий
Кублановский,
Валерий Фефелов,
Виктор Давыдов,
переводчица.
Франкфурт-на-
Майне, март 1985
© Из архива
Виктора Давыдова

Одним из мифов о диссидентах является то, что у них якобы «всегда был выбор между лагерем и эмиграцией». Да, кого-то выслали насильно, кому-то в Москве действительно предлагали эмигрировать, но это про Москву, а не про СССР. Оттуда уехать было почти невозможно, и никто никогда не предлагал, даже если диссидент и просился. Из Украинской Хельсинкской группы смог уехать, не отсидев, только Владимир Малинкович, разрешили эмигрировать еще женщинам — Надие Светличной и Нине Строкатой, да и то после отсидки. Всех остальных членов группы отправили за решетку, даже тех, кто был готов уехать сам. Обычно разрешали только уже отсидевшим, тем более, как в моем случае, известным на Западе, — лишняя головная боль КГБ была не нужна.

— **Расскажите о вашей жизни на Западе.**

— Я уехал в октябре 1984 года, уже из Вены позвонил Крониду Любарскому, они с Галей Саловой приехали в Вену и немного меня сориентировали по западным реалиям. Почти год я жил в Европе, читал лекции для Amnesty International, выступал на II Сахаровском конгрессе в Лондоне в 1985 году.

Потом в Америке писал для «Радио Свобода» и «Голоса Америки», два года работал в организации Center for Democracy in the USSR, которой руководили Владимир Буковский и член Хельсинкской группы Юрий Ярым-Агаев. Последние американские годы работал программистом в крупной компании, хотя и писал для «Нового русского слова» колонку с хроникой событий перестройки.

— **На видео знаменитого концерта «Заговор надежды», который устроила в 1986 году в Нью-Джерси Amnesty International, вы на одной сцене со Стингом и Боно. Расскажите, что это была за история.**

— На сцене я не пел (*смеется*). Хотя нет, пели что-то хором с другими политзеками из разных стран. «Амнистия» устроила беспрецедентный концерт «Заговор надежды»; первый такого рода

благотворительный концерт сделал Боб Гелдоф в помощь голодающей Эфиопии (потом он жестоко каялся, потому что все собранное продовольствие попало в руки марксистов и они, наоборот, использовали его для сманивания населения с бунтующих территорий). «Амнистия» решила повторить опыт — и успешно, получила огромное паблисити, ведь тогда это была еще не такая известная организация.

Это был целый тур — шесть концертов, заключительный в East Brunswick в Нью-Джерси (стадион на 20 000). Я тогда жил в Вашингтоне и приехал туда на машине. Там действительно выступали (среди прочих) Питер Гэбриэл, Лу Рид, Стинг, U2, Брайан Адамс. Были еще Йоко Оно (с маленьким Шоном) и «Супермен» Кристофер Рив (на кресле, он уже был после падения с лошади).

Я выцыганил себе пасс All Access — все-таки зек, выучил хитрые ходы (*смеется*) — и пил бесплатное пиво с Гэбриэлом и Ридом (автограф Гэбриэла где-то есть до сих пор). Под занавес толпу бывших зеков из разных стран одели в тишотки с эмблемой Amnesty и вывели на сцену. Потом фотографировали, разбрасывая сверху флаеры.

Тогда я учился в Вашингтоне, прогулов было критическое число, так что приехал в ночь и в ночь же уехал (под Балтимором даже заснул за рулем и чуть не попал в аварию).

Я вообще тогда много ездил по Штатам, выступал на ивентах «Амнистии»: моим достоинством было то, что из всех бывших зеков я чуть ли не единственный говорил на сносном английском ([Александр Есенин-]Вольпин не говорил, говорил [Владимир] Буковский, но он был в Англии), так что «Амнистия» меня любила. Ну и затем, я был единственным в Штатах, кто вышел недавно после психиатрии. КГБ вообще сделал большую ошибку, что меня выпустил, потому что меня можно было без проблем показать психиатрам (дважды проходил обследование, в Лондоне и в Вашингтоне), и им сразу становилось все ясно.

Позднее, году в 1988-м, я участвовал даже в слушаниях на Конгрессе по психиатрии — присутствовал советский дипломат (уже перестройка!), закончилось все письмом советским боссам от психиатрии и, видимо, на разгон СПБ повлияло — их тогда сразу шесть штук закрыли, включая Благовещенскую.

— **Когда вы вернулись в Россию?**

— Вскоре после провала путча. Это был, конечно, безрассудный шаг и в итоге бессмысленный. Но сидеть просто в офисе было скучно, а в России в это время все бурлило, все было возможно и все было интересно. В Москве я создал Пресс-синдикат «Глобус», который работал с региональными газетами, это был довольно успешный проект — до того момента, пока не явился Путин и «Глобус» не оказался там же, где и вся независимая пресса. Повредило еще и то, что первые деньги на «Глобус», seed money, дали МЕНАТЕП и лично Ходорковский и Невзлин. ЮКОСа тогда еще не было, но как началось дело ЮКОСа,



Виктор Давыдов
на концерте
«A Conspiracy
of Hope» Amnesty
International со
Стингом и Брайаном
Адамсом.
Нью-Джерси, 1985
© Из архива
Виктора Давыдова

то это тоже вспомнили, зачастили проверки, так что работать стало невозможно.

С начала десятых диссидентским чутьем я снова почувствовал, что где-то за спиной маячат органы. Уже в 2010 году встретил свой день рождения в Басманном ОВД после Триумфальной площади, позднее была слежка. Наконец, задержали просто в метро для проверки документов — их косолапая «наружка» никак не могла вычислить, где я живу, так что решили пойти другим путем. Как только это выяснили, то установили жучки в квартире, причем грубо, разбросав куски провода по всей кухне, — КГБ СССР такого разгильдяйства не допускал, по этому случаю мне лично за державу обидно.

В 2013 году в Москву приехала Наташа Горбаневская, первый издатель «Хроники текущих событий», и мы решили: времена вернулись, пора издавать новую «Хронику». Наташа, к сожалению, очень скоро умерла, но в прошлом году вместе с другими советскими диссидентами мы все же создали сайт «Новой Хроники текущих событий» ixtc.org. Там все то же, что было и в старой «Хронике»: аресты, суды, лагеря, наконец, уже и психиатрия.

Так время замкнулось, и сейчас я делаю ровно то же, чем занимался в СССР: издаю «Хронику». Это такой же волонтерский проект, как и старая «Хроника», разница лишь, наверное, в том, что риск попасть за решетку для участников проекта гораздо меньше.

А последние полгода живу в Тбилиси. Конечно, не потому, что боюсь: в нынешних мягких условиях за хорошее дело отсидеть не в тягость. Просто если человек и не обязательно создан для счастья, то хотя бы для того, чтобы жить в нормальной стране.

— **Как вы оцениваете неудачу вхождения диссидентов в те политические силы, которые заложили фундамент современной России, то, что фактически роль диссидентов оказалась в нем ничтожно мала?**



*Виктор Давыдов,
Анатолий Корягин,
Василий Аксенов,
Галина Корягина. Вашингтон,
лето 1987*
© Из архива
Виктора Давыдова

— Ну, во-первых, я бы не согласился, что ничтожно мала. Чем была перестройка? Осуществлением программы реформ Сахарова, которую он изложил в «Стране и мире»: все ее пункты, кроме приватизации, были выполнены Горбачевым уже к 1991 году. У Сахарова даже есть вся терминология — и «гласность», и «перестройка». Сам Горбачев, конечно, не читал Сахарова, но читали «прорабы перестройки», и за неимением своих идей они просто брали их оттуда и формулировали на партийном новоязе. Все это очень важно, потому что пусть Горбачев и повторял мантру «перестройке нет альтернативы», альтернатива была, и не одна.

Был уже апробированный «китайский путь», в проектах было то, что сейчас пытается делать Путин и лучше всего описано у Владимира Сорокина («Сахарный кремль»), а именно автаркия. Сейчас это плохо получается, а в 1980-е годы было бы легко, стоило только немного подлатать «железный занавес». Я вообще вижу главную заслугу диссидентов именно в этом — в выборе пути демократических и рыночных реформ.

Затем, диссиденты были среди политических лидеров перестройки и в начале 1990-х годов. Причем по всему политическому спектру — от Игрунова до Ковалева и до Новодворской. Даже где-то в Комсомольске-на-Амуре среди лидеров местных демократов был мой сокамерник Анатолий Аваков. Если вы посмотрите первый состав Госдумы или Верховного совета, там диссидентов было довольно много. Меня самого самарцы в 1993 году уговаривали избираться в Госдуму, но тогда у меня еще не было российского гражданства, я получил его позднее.

С другой стороны, это правда, что диссиденты не смогли сыграть в России ту роль, которую они играли в странах Восточной Европы, — и это трагедия. Говоря об этом, называют много при-

чин, все они верные, но я считаю главным совсем другое: диссиденты были слишком хороши для этой страны. Их система ценностей никак не совпадала с системой ценностей народа. Так что, на мой взгляд, национальный характер здесь — главная проблема. Я все-таки знаю народ — я работал с людьми из народа на заводе, сидел с ними в тюрьме. Там так же, как и Достоевский, замечал в людях много хороших качеств, но почти никогда не видел того, что было главным в диссидентах, — воли к свободе.

Каким бы жутким ни был режим в тюрьме, зеки к нему всегда безропотно приспосабливались. Да, видел и бунт, и голодовки, но все это было не столько актами протеста, сколько актами отчаяния, которые быстро затухали. Сталин тут ни при чем: в сталинских лагерях тоже царил тишь да гладь и зеки покорно умирали, пока там не появились украинцы и прибалты — после чего начались лагерные восстания.

В любой камере, если туда собирают новых людей, уже через несколько часов выстраивается иерархия. Вполне демократическим путем выявляются лидеры, им подчиняется «молчаливое большинство», обязательно образуется и низший слой, даже если это и не «петухи» из тюремной касты «неприкасаемых», то просто кто-то, над кем шутят, кого по-мелкому унижают. Ничего необычного в этом нет, все это Дарвин, и нормально.

Ненормально то, что, сколько раз я ни наблюдал этот процесс, лидером становился не обязательно самый сильный и редко когда самый опытный или умный. Почти всегда в лидеры выбирали самого наглого и жестокого, который строил свое превосходство как раз на умении принуждать, оскорблять, затыкать рты. Такому сразу с охотой подчинялись. Ну и скажите: разве не это произошло со страной в нулевые?

Интеллигенция винит во всех бедах Путина и Первый канал, с них никто вины не снимает, но главным виновником является все же народ — за терпение которого пил Сталин, понимавший его лучше русских философов и многих других.

Будет ли так всегда? Конечно, нет: исторические процессы — в данном случае процесс распада империи — неизбежны. Люди мало изменятся, но региональным лидерам, у которых не будет атомной бомбы, уже придется вести себя по-другому.

Сколько продлится нынешнее безвременье — или безумие, в зависимости от точки зрения, — неизвестно, хотя опыт и подсказывает, что недолго. Сейчас часто говорят об эмиграции, но побег — удел немногих. В СССР мы постоянно жили в состоянии внутренней эмиграции, сейчас у интеллигенции нет выхода, кроме как жить так же. И ни в коем случае не сдаваться, не отказываться от своих ценностей — так же, как это делали диссиденты.

© Евгений Гурко



МИХАИЛ МЕЙЛАХ:

«Первым моим следователем был Виктор Черкесов»

— Вы филолог, никогда не занимались политикой, не участвовали в правозащитном движении, тем не менее в 1983 году были арестованы и в 1984-м получили максимальный срок по политической, 70-й, статье. Как так вышло?

— Действительно, к политике у меня всегда было полнейшее отвращение. Мы не занимались политикой, но, если можно так выразиться, «политика» нами занималась. А в СССР аполитичность и независимость, не говоря о сколько-нибудь вызывающем поведении, уже составляли преступление: «кто не с нами, тот против нас». Подозреваю, что у человека есть какой-то ген конформизма — или, скорее, ген неконформизма: бывает, что в одних и тех же семьях один сын охотно идет на компромиссы, а другой упрямится, да и сколько было в гражданских войнах подобных случаев, предсказанных еще в Евангелии... Так что, может быть, советский психиатр Снежневский со своим диагнозом «реформаторский бред», применявшимся против инакомыслящих, был не так уж неправ; другое дело, что диагноз этот параноически использовался в политических целях. Но, по крайней мере, можно с уверенностью сказать, что чувство противостояния — далеко не всеобщее. Тем более в нашей стране, где столетиями длилось рабство, оно и вовсе подавлено.

Говоря о моем детстве: я рос, в общем, в привилегированной семье. Отец мой — ученый, профессор [Борис Соломонович Мейлах], стоял на достаточно официальных позициях, однако при этом



Середина 1970-х,
в Грузии
© Из архива
Михаила Мейлаха

Михаил Борисович Мейлах (20 января 1945, Ташкент) — филолог, критик, переводчик, журналист. В 1962—1967 годах учился в Ленинградском университете, кандидат филологических наук (1970), в 1970—1975 годах — научный сотрудник Института языкознания АН СССР. Один из первых исследователей и первый публикатор литературного наследия Даниила Хармса и Александра Введенского.

29 июня 1983 года арестован в Москве. 29 апреля 1984 года приговорен Ленинградским городским судом к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. Срок отбывал в Пермском ИТЛ. В феврале 1987 года освобожден.

С 1994 года преподавал в различных университетах Франции и Италии. С 2000 года — профессор Страсбургского университета. Живет в Страсбурге и Петербурге.

пользовался уважением: все его коллеги говорили, что он никогда никому ничего плохого не сделал (обычно одно с другим не сочетается), а в годы борьбы с космополитизмом сам висел на волоске. При этом меня, трехлетнего, он в то же страшное время отдал в совершенно старорежимный домашний детский сад, где нас обучала языкам дочь бывшего товарища министра, потом меня передали чудом уцелевшему старому викторианскому джентльмену. Но с детства, буквально со школьных лет, я испытывал давление, которое резко отвергал. Скажем, в пионеры всех принимали скопом — исключение сделали только для мальчика, у которого сидели родители (это было еще при Сталине), и ненадолго для одного отпетого хулигана. Но и меня из пионеров быстро вычистили за то, что я отказался идти «в культпоход» — так назывались хождения всем классом на какой-нибудь фильм или спектакль (а походы на природу назывались «вылазкой»). Отказался я просто потому, что я этот фильм уже видел, но это было расценено как антиобщественный поступок. Алексей Герман, мой сосед и друг, считал, что мой будущий арест можно было предсказать по тому, что, когда в школе потребовали, чтобы мы принесли какой-нибудь металллом, я за неимением лучшего притащил венки с так называемых братских могил жертв революции на Марсовом поле, где мы жили (кстати, не тех жертв, но тогда я этого, конечно, не понимал). В общем, не вдаваясь в детали, в школе я постоянно был «белой вороной». В начальных классах училка меня ненавидела, без конца ставила в угол да приговаривала: все дети, а он — мыслЕте (старославянское название буквы «М», выдававшее ее церковноприходское образование). А в комсомол я не стал вступать в 8-м классе уже сознательно, но исправно посещал подготовительные занятия, потому что был безнадежно влюблен в десятиклассницу, которой поручили их вести (она уже давным-давно живет в Израиле). Из Устава комсомола, который мы изучали (и она, и мы относились к этой чепухе иронически), я запомнил замечательную фразу: комсомолец должен бороться с пьянством, хулиганством и «нечестным отношением к женщине» — такая была формулировка для подрастающих богатырей. Но когда занятия были окончены, я от вступления уклонился, а это было уже вызывающе и имело такое продолжение. Когда академику [Виктору] Жирмунскому удалось с большим скрипом меня протащить в аспирантуру Института языкознания, мы, выпив на радостях, пришли туда с [Иосифом] Бродским, который с Жирмунским был знаком — последний, в частности, выступал в «Литературных памятниках» за издание его переводов Джона Донна и других английских метафизиков. Они разговорились, а мимо тем временем проходил один из сотрудников специфически советской внешности, искоса взглянувший на Бродского — чутье у подобных людей (как, впрочем, и у нас на них) было безошибочное. Заметив этот взгляд, Бродский, наивно полагая, что в Институте языкознания не поймут его пиджин дойч, как он сам его называл, спро-

сил Виктора Максимовича: это что, ваш партайгеноссе? А тот, между прочим, был германистом... А меня директор [А.В.] Десницкая со спецулыбкой подвела к секретарю комсомольской организации со словами: «Вот вам пополнение прибыло» — на что я мрачно сказал, что я не комсомолец. Оба эпизода задали тон моим отношениям с институтом, откуда меня в конце концов убрали. Сама Десницкая была дама достаточно либеральная, но все-таки директор и, в отличие от своего отца, друга Ленина и Горького, член партии. Отец же сей, которого я видел в детстве в Крыму, где он собирал на берегу моря знаменитые коктейльские камушки, вышел из партии не раньше и не позже, как в 1917 году, заявив Ленину, по рассказу того же Жирмунского, что не хочет быть как пес, который возвращается на свою блевотину (первое образование у него было духовное).

Вообще же, еще когда я был студентом, Жирмунский, который очень хотел возобновить занятия провансалистикой, то есть языком и поэзией средневековых трубадуров, до революции процветавшие в Петербургском университете, начал меня к этому подготавливать, фактически для одного меня прочитав целый курс у себя на даче в Комарове, где я регулярно его навещал. По окончании мною университета он добился для меня аспирантского места в упомянутом Институте языкознания, но поступлению моему воспротивился Василеостровский райком партии. Виктор Максимович забеспокоился — его планы рушились — и сам поехал в этот райком. Вернулся веселый — по его словам, ничего страшного: «Они сказали: главное ваше преступление — что вы защищали поэта Кривулькина на каком-то диспуте в университете». Действительно, фигура Вити Кривулина, как бы к нему ни относиться как к поэту, едва ли могла казаться серьезной человеку, полвека назад написавшему статью «Преодолевшие символизм».

Но правды Жирмунскому там, конечно, не сказали: несомненно, райком действовал по указке КГБ, где у меня к тому времени наверняка уже было достаточно большое досье. А какое это могло быть досье? Опять-таки из-за врожденного ощущения свободы, непонятно почему мне присущего, я и в школе, и в университете держал себя достаточно независимо. Например, говорил направо и налево, что я ленинец, потому что мой лозунг — «Никакой поддержки временному правительству!», имея в виду правительство советское, и заявлял, что я в одностороннем порядке его отменил. Ну и так далее. Такое свободное поведение никак не приветствовалось, хотя по оттепельным временам было не фатальным. Но оставался, конечно, вопрос общения с иностранцами. Хотя в основном это относилось к людям, занимавшим официальные должности, но и обыкновенные советские граждане не должны были свободно с ними встречаться. Технически возможно было просочиться даже в гостиницы «Интуриста», но и за иностранцами, и за гражданами, которые с ними общались, была слежка, так как те считались потенциальными врагами. А в университет постоянно приезжали стажеры из Америки и других стран, и, конечно, я и мой друг Гена Шмаков, который, кста-

ти, и жил рядом с их студенческим «общежитием на Шевченко», интенсивно с ними общались. Когда уезжали одни, они давали наши координаты тем, кто приезжал вслед за ними на следующий год, — свято место пусто не бывало. Собственно, то собрание книг на русском языке, изданных за границей (тамиздата), за которое меня посадили, — и настоящая антисоветчина, и все, что считалось таковой, — все это собиралось годами, даже десятилетиями тоже в основном через тех же стажеров, которые могли получать посылки из-за границы по дипломатической почте, и ЦРУ охотно этим пользовалось. Скажем, ты просишь Мандельштама и Набокова — пожалуйста, но они клали туда в придачу Авторханова или чудную книжку покойного [Леонида] Финкельштейна «Советский космический блеф» о полете Гагарина. Так все это и образовывалось. И не только со стажерами мы общались: и с корреспондентами западных газет, и с дипломатами — в Москве было несколько дам, державших салоны, где они толклись, — и, конечно, с приезжавшими коллегами. Вот, скажем, приезжала Марина Ледковская, это отдаленная родственница Набоковых, мы с ней встречались, гуляли по Петербургу, я водил ее на службу в Александро-Невскую лавру, где она поднялась на хоры и присоединилась к певчим... Потом в моем деле я нашел, что в таком-то году у меня была встреча с антисоветчицей Ледковской, которая в молодости жила в фашистской Германии, была членом НТС. И с Еленой Владимировной Набоковой, сестрой писателя, мы дружили, она приезжала каждую весну... Слежка слежкой, а в 1964 году, когда я учился на втором или третьем курсе, было дело Бродского, которое я воспринял очень болезненно, три раза ездил к нему в ссылку, и тут я уже засветился, если можно так выразиться, по полной — вскоре у меня дома был первый обыск. Так что дело было совсем не в «Кривулькине», но аспирантуры Жирмунский все же добился «благодаря врожденной настойчивости и приобретенному авторитету», как он выразился на своем книжном языке. А может быть, мои «ошибки» просто списали на молодость.

— Ваш круг — круг университетских филологов, поэтов, академически-богемный — так, наверное, можно его описать. А в какой момент вы соприкоснулись с тем кругом, который мы ретроспективно называем теперь правозащитным, диссидентским?

— Вообще все это не было уж так строго разграничено. Скажем, [Наталья] Горбаневская, которая, скорее, принадлежала к нашему кругу, уже довольно рано попала в правозащитную струю, потом то же самое произошло с [Ефимом] Эткиндром, с Мишей Хейфецем, тоже, между прочим, в связи с делом Бродского. Какие-то люди возвращались из лагерей: скажем, у меня был добрый знакомый, зять моей учительницы французского языка, Боря Зеликсон, который очень рано сел по делу «Колокола». А я у всех друзей собирал деньги для его семьи, чтобы жена могла к нему ездить на свидания. Так что общество того времени — это был такой слоеный пирог, я бы сказал.

— Вам приходилось подписывать какие-то письма протеста в конце 60-х годов или в 70-е годы?

— Нет. Сначала я был, наверное, слишком молод, а потом в письма я категорически не верил и писать этому временному правительству, тем самым его легитимизируя, находил неправильным и к тому же совершенно бессмысленным. Я предпочитал никаких контактов ни в какую сторону с ним не иметь, насколько это от меня зависело. Мне не очень нравилось, что Бродский, уезжая, чуть ли не с аэродрома послал письмо Брежневу...

— Принимали ли вы участие в 70-е годы в русской зарубежной печати или в самиздате? И насколько активно?

— Да, это я делал охотно. В то время издавались, например, самиздатские «Часы», я в них участвовал. Потом [Константин] Кузьминский делал свой «гроссбух» [«Антология новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны»], ему я тоже помогал немножко. Для тамиздата я кое-что давал [Карлу и Эллендее] Профферам для их Russian Literature Triquarterly. Потом у них же в «Ардисе» мы с [Владимиром] Эрлем издали [в 1980—1983 годах] первое Полное собрание произведений Введенского, а в бременском K-Pressе — Собрание произведений Хармса (полное собрание стихов) [в 1978—1988 годах]. Когда после перестройки обэриутов стало возможно печатать, мы переиздали то и другое в России.

— Имело ли это какие-то последствия для вашей академической карьеры? Получало негативный отклик или проходило незамеченным?

— Издания обэриутов в деле фигурировали, но вникнуть в них тупым следователям было, видимо, трудновато, хотя у Хармса можно найти, например, такие пассажи, как «Недолго и осталось. Я слышал, Николай Николаевич готовит 100-тысячное войско, вооруженное такими газами, от которых помрут только коммунисты». Зато к моему делу были приобщены, как видим, не потерявшие актуальности детальные выписки из дел обэриутов 1932 года, обвинявшихся во вредительстве в детской литературе, которые я там впервые увидел и с интересом прочел. Сами же мои издания — замечательный пример советской юридической схоластики — кагэбэшники сочли «недействительными» как не прошедшие Главлит. В общем, примерно как я — советскую власть.

Но так или иначе после аспирантуры снова благодаря усилиям Жирмунского я был оставлен при Институте языкознания, защитил диссертацию, потом еще пять лет благополучно там проработал, у меня вышла книга [«Язык трубадуров», Москва, «Наука», 1975]. Но в 1975 году, когда надо было проходить пятилетнюю переподготовку, в довершение всего эмигрировала моя сестра Мирра, а из института тоже уехал превосходный лингвист Анатолий Либман, за что дирекции и партбюро был втык («потеря бдительности», «хромает воспитательная работа» — это по отношению к ученому с мировым именем!). А для процедуры переподготовки требовалась характеристика партбюро, на котором меня и провали-



1983

© Из архива

Михаила Мейлаха

ли. Обычно это полная формальность, главный вопрос стоит об академических успехах, но это партбюро из формальности превратилось в такой... инструмент изгнания. Есть такой мифологический, потом литературный мотив — начиная с изгнания из Рая или же в «Эвменидах» Эсхила Аполлон изгоняет из своего храма Эриний, осаждающих укrywшегося там Ореста... Меня вызвали на это партбюро и стали задавать совершенно провальные вопросы, как, например: кто генеральный секретарь какой-то дружественной африканской коммунистической партии... Окончательное же фиаско я потерпел, когда меня спросили, кого в этом году выбирают — народных судей или депутатов Верховного Совета (а уж эти выборы были стопроцентной формальностью), чего я, естественно, не знал начисто, но решил, что раз фифти-фифти — скажу наобум, авось попаду в точку. Сказал, что судей. Оказалось ровно наоборот, потом эти подонки еще говорили, что я обзываю слуг народа судьями. Ну а тут они разодрали одежды свои и с криком «На что еще нам свидетели?» меня выставили. Это было, конечно, по указке КГБ. Тогда же в издательстве «Наука» была рассыпана почти дошедшая до тиража новая моя книга — уже не о языке, а о поэзии трубадуров и их культуре. Главный редактор с говорящей фамилией Чугунов мне прямо заявил, что они имеют право не печатать 10% запланированных книг и мои-то книги уж всегда будут в их числе.

— **То есть вас выгнали из института?**

— Да, и я подумал: какое счастье, я больше никогда нигде не буду служить! А в результате стал на старости лет государственным служащим: ведь система образования во Франции — государственная. Так что, возвращаясь к нашей теме, — отношения с властью постоянно были конфликтными, собственно, с ее стороны: я ведь ее отменил, а она ко мне продолжала приставать. Все мы дружно презирали советскую власть, но пока это было на уровне анекдотов, и даже если они находили одну-две запрещенные книги, за это еще не сажали. Но когда их у меня оказалось 200, для органов это был, конечно, лакомый кусок.

— **Вы считаете, что ваш арест связан именно с информацией о запрещенной литературе, а не, например, с общим сгущением атмосферы и разгромом неподконтрольных гуманитариев к началу 80-х?**

— И то и другое. Даже более конкретно — это был андроповский год, короткий, но не забывайте о прошлом спасителя Венгрии, том же, что и наших нынешних властей, а они не могут в эту свою дудку не дуть. Вообще в Петербурге была своеобразная ситуация. В Москве были настоящие диссиденты, КГБ их пас, постепенно уничтожая, а питерские органы их душили на корню, потом им нечем было заниматься, и они хватали интеллигентов, ведущих более или менее независимый образ жизни. Когда [в 1980 году] было сфабриковано дело Кости Азадовского, я сказал своим друзьям, что теперь я «на роковой стою очереди». Но тем не менее арест —

это немного как смерть, о которой Бродский пишет, что «смерть — это то, что бывает с другими». С одной стороны, настал момент, когда дело явно уже шло к аресту, с другой — все-таки казалось, что до этого никогда не дойдет. Потому все равно это случилось неожиданно. Если бы мои книги не «засветились», я думаю, что по той довольно обычной сумме грехов, которую я наработал к тому времени, никто бы меня специально не сажал. Засветились же они случайно. Книги эти хранились у старой дамы — Софьи Казимировны Островской. По иронии судьбы только сравнительно недавно выяснилось, что в довоенные годы она была осведомительницей, представленной к Ахматовой. А вот в семидесятые, когда я с ней был знаком, она была уже такой почтенной матроной, к которой ходили молодые люди слушать ее... молчание, потому что она очень мало говорила и об Ахматовой, и вообще о ком-либо. Заходил к ней и я, и она мне позволила держать эти книги у нее в платяном шкафу. Хранились они там долго, может быть, лет 10—12 или больше, я пользовался ими сам, давал близким друзьям, и не было ни одного прокола. Но когда она заболела и стала умирать, их надо было куда-то девать. Думаю, если бы я их увез на дачу и спрятал на чердаке, то ничего бы и не случилось. Но я не хотел подвергать опасности отца и отдал их по рекомендации человеку, как оказалось, ненадежному, который устроил что-то вроде избы-читальни, записывая, кому что давалось, так что все это очень быстро провалилось. А у нас была договоренность, что в случае чего он скажет, что эти книги он получил от кого-то из уехавших людей (тогда процветала эмиграция в Израиль). Он недели две держался, потом раскололся.

— **Вы не хотите его назвать по имени?**

— Почему нет? Гелий Донской. Я с тех пор больше никогда его не видел. За покаяние и сотрудничество со следствием он получил небольшой срок — три года по легкой статье, 190-й. А я — 7 лет лагерей и 5 лет ссылки, максимальный срок по более тяжелой статье, 70-й. Разница между статьями тоже схоластическая: те же самые действия — «распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советскую власть» и т.д. — по 70-й становятся действиями «с целью подрыва советской власти». Интересно еще, как устанавливаются эта заведомость и эта цель. Я, кстати, на суде сказал: что это за власть, если ее можно подорвать десятком или даже парой сотен книг? И я все-таки очень счастлив, что, несмотря на соблазны (а я не скрываю, что они были, — очень уж не хотелось в зону), я послал их к черту и не признал себя виновным. За что, собственно, и получил большой срок, а не за сами книги, плевали они на книги. Их цель — вытащить признание, раскаяние.

— **А если бы, предположим, вы признали себя виновным, неужели они бы питали какие-то иллюзии, что вы искренне рассказали? Или им формально нужно было это?**

— Плевать им было абсолютно, искренне или неискренне, это абсолютный цинизм! Не перевоспитывать же они меня собрались. Они идиоты, но все-таки не настолько. Нет, это просто машина,

у которой свои законы, и они будут тратить сотни тысяч на длинный процесс — они сами говорили, что процессы такие длинные, потому что, сидя в тюрьме, человек может передумать, так ли ему нужно отстаивать свою свободу.

— **То есть гэбистам было выгодно держать человека подольше под следствием в расчете на раскаяние?**

— Да. Много было и шантажа, и угроз. Они действуют дешевыми методами, но во многих случаях достаточно эффективными.

— **А где вы сидели под арестом?**

— Под арестом, конечно, в тюрьме при Большом доме. Все думают про Кресты, но Кресты — это для тех, кто арестован по уголовным статьям.

— **Каков был контингент во внутренней тюрьме Большого дома?**

— Контингент был смешанный. Это тюрьма для так называемых особо опасных преступников. Старая Окружная тюрьма, к которой, когда тесно стало на Гороховой, за год, как в сказке, пристроили Большой дом. У Ахматовой есть стихотворение «Предыстория»: «...темнеет жесткий и прямой Литейный, / еще не опозоренный модерном...» — «модерн» сей и есть Большой дом. А в этой тюрьме кто только не побывал — от Ленина до Гумилева и обэриутов, да и множество моих старших знакомых и молодых друзей. Кого я там видел? Только тех, с кем сидел в камере, — одиночного заключения там нет, а подсаживают главным образом стукачей. Правда, был бывший летчик, очень симпатичный человек, его попросили что-то перевезти, а это оказалось чем-то не тем. Были какие-то «честные контрабандисты»; был матерый уголовник, весь в татуировках, не знаю, как он туда попал. С ним я просидел недолго — его ко мне в камеру посадили, конечно, для острастки, а мы, наоборот, чудно ладили, он мне на прощанье, когда меня переводили в другую камеру, подарил две головки чеснока. Вообще классический тип уголовного — это немножко другой подвид homo sapiens, может быть, с большим количеством неандертальских генов. Уголовников я потом встречал только по пути в зону. По сравнению со сталинскими временами их отношение к политическим совершенно изменилось — они стали к ним относиться с уважением, как к защитникам в том числе и их прав. Однажды на прогулке по крохотному треугольному дворику я услышал, как кто-то кричит из окна: «Цирик — козел. Привет политикам!». Если в сталинских лагерях уголовники использовались как оружие против политических заключенных, то теперь, наоборот, тех и других строго разделяли, чтобы «политики», не дай бог, не распропагандировали урок — социальных попутчиков.

— **Были ли там одновременно с вами те, кого мы называем диссидентами?**

— Кажется, нет, но люди там не пересекались, раньше даже на допрос водили, стуча какими-то погремушками, чтобы два

конвоя не встретились. Вообще тюрьма стояла почти пустая. Люди были в основном случайные.

— **Ваше дело вели сотрудники ленинградского КГБ, многих из которых мы знали потом по перестроечной и постперестроечной активности.**

— Первым моим следователем был [Виктор] Черкесов. Помню, как он орал: «Я, как чекист и коммунист...» Тогда это был молодой и рьяный карьерист, абсолютный циник. Вот и все, что можно о нем сказать. В общем, так как мы больше орали друг на друга, меня потом отдали якобы «мягкому» следователю — Владимиру Васильевичу Егорову, он сейчас в Смольном сидит. Ну, там же всегда — злой следователь и добрый следователь, а на самом деле такой же. В ответ на его первую фразу — «Ну что, Михаил Борисович, будем доводить до суда?» (у них почему-то всегда плохо с прямым дополнением) — я расхохотался. Потом в надежде установить отношения он предложил при мне позвонить моим родителям — при условии, что я не буду подавать голос. Для меня, конечно, важно было убедиться, что они здоровы, и я услышал в трубке голос моей мамы. А когда, завершив звонок, он заявил: «Вот видите, Михаил Борисович, я ваш раб» — я ему ответил: «Вы раб КПСС». Это слова, которые татуировали на лбу самые отпетые уголовники («беспредел», «отрицаловка»; татуировку сдирали вместе с кожей — они делали новую).

Девять месяцев шла эта тянучка ни о чем. Как я уже сказал, они хотели, во-первых, раскаяния, а во-вторых, информации о том, кому я давал книги. После освобождения я начал было писать воспоминания, которые озаглавил по-латыни: *Neminem nominavi* — «Я никого не назвал». Вот за это могу поручиться. Даже прокурор Катуклова на суде сказала, что я не дал следствию никаких сведений ни о ком, а Егоров прозвал меня стойким оловянным солдатиком. К несчастью, они арестовали меня в Москве вместе с моими телефонными книжками и за неимением иных дел стали вызывать и допрашивать всех моих знакомых по алфавиту, вызвали полторы сотни человек и всем говорили, что назвал их я. Суд и срок все поставили на свое место, лишь одна дура до сих пор верит им, а не мне или очевидности.

— **А ваше нежелание с ними сотрудничать их бесило, да?**

— Абсолютно!

— **А сама суть вашего процесса, дикость обвинения — при том, что тексты, которые вы распространяли, в основном были литературные, стихи или проза, — это их не смущало? Вы же не закладывали бомбы, не организовывали независимых профсоюзов, не призывали к забастовкам...**

— Они говорили: «Мы — исполнители законов, мы крови не жаждем, но закон исполним». Вот такое римское право, видите ли. Ну как это все строится? Во-первых, как я уже говорил, организации, которые посылали книги через студентов, — тоже цэрэушные, они подкладывали свое, но я всю эту антисоветчину в общем не очень-то

и читал. А как квалифицировались книги? Двойко. Если, скажем, это был трехтомник Мандельштама, то он антисоветский из-за статьи [Бориса] Филиппова и [Глеба] Струве (кстати, суд приговорил его к уничтожению, а я обвинил суд в вандализме). Набоков — антисоветский за «зеленую жижу ленинских мозгов», за высказывание о сути коммунистического строя, при котором «все полусыты и полуграмотны», и за многое подобное. Это один путь. Второй — если это, например, «ГУЛАГ» Солженицына, то эксперт пишет: на страницах такой-то, такой-то и такой-то и еще на ста страницах Солженицын клеветнически утверждает, что в Советской России были террор и массовые репрессии. «ГУЛАГ» был для них как красная тряпка. Вот моего друга Андрея Васильева за то, что он им его не отдал, а меня не выдал, посадили на три года по совершенно фиктивному обвинению — он якобы 7 ноября срывал флаги на Марсовом поле.

— В лагере вы оказались в политической зоне и там впервые встретили диссидентов, то есть людей, сидевших не за книжки, а за политику?

— Ну, далеко не впервые.

— А кого вам доводилось встречать до ареста из участников правозащитного движения?

— Ну, встречать не встречать, но из тех людей, кто там был, допустим, это был Лев Тимофеев — человек умный и независимый. Он был двоюродным братом моего хорошего знакомого Лёвы Полякова, фотографа. На следствии он избрал самую верную позицию. Поскольку их не перехитришь, как я поначалу ошибочно думал, он просто вообще не дал ни одного показания, молчал, и все. А в зоне я встретил многих замечательных людей — как, например, украинского диссидента Зоряна Попадюка: он почти всю жизнь просидел, одно время — во Владимирской тюрьме вместе с [Владимиром] Буковским и [Габриэлем] Суперфином. Другой очень достойный украинец — Степан Хмара. Был литовский ксендз Альфонсас Сваринкас, потом, после перестройки, он стал кардиналом, я его в Вильнюсе навещал; были и сектанты... Очень приятным человеком был Леонид Лубман, просидевший почти весь свой тринадцатилетний срок за «измену Родине» — попытку передать на Запад свою книгу, но он, к сожалению, внушил себе, что его прицельно облучают из-за забора, отчего у него наступают страшные головные боли. Был сын Ковалева, Иван...

— А Сергея Адамовича вы не застали?

— Нет, он был на 36-й зоне до меня. Вообще к моему времени всех настоящих диссидентов или уморили, или вышибли из страны. Но мы, как и большинство политических, были на строгом режиме, а рядом, отдельно от зоны, был еще «особый режим» для самых «неисправимых» диссидентов, очень тяжелый — по существу тюрьма. Этот режим называли полосатым, такая у них была одежда, но мы их никогда не видели. Там было не-

сколько уважаемых людей, в том числе украинский поэт и диссидент Василь Стус, который там в 85-м году умер или, скорее, после голодовки с собой покончил. Он переводил Рильке, был кандидатом на Нобелевскую премию. А у нас на зоне в день годовщины геноцида армян повесился в штрафном изоляторе чудесный мальчик — Ишхан Мкртчян, никто этого не ожидал, он всегда был такой веселый, открытый. Не менее печально, что еще один юноша повесился вскоре после освобождения — видимо, не прошло даром... Между прочим, несколько лет назад, когда на месте 36-й зоны еще существовал музей политических репрессий (ныне он, конечно, практически уничтожен), произошло замечательное событие: силами Пермского театра оперы и балета английский режиссер Майкл Хант поставил там оперу Бетховена «Фиделио», действие которой происходит в тюрьме, причем хор и артисты, а за ними публика передвигались по разным участкам зоны, а заканчивалась она на «особом режиме».

Но на зоне немало было людей случайных, двое, по крайней мере, боролись за чистоту марксизма. Был литовец по фамилии Яшкунас, он сидел второй раз, первый — при Сталине, тут объяснений не требуется, участвовал в Воркутинском восстании. Вернувшись домой более политически грамотным, он своей крестьянской головой додумался до того, что агрессивной стороной в холодной войне является не Запад, а Советский Союз, и стал писать письма в Кремль: «они вас не трогают, и вы их не трогайте, а не то мы все погибнем от атомной бомбы». Непрошенные советы, как известно, давать не рекомендуется... Был солдатик, служивший в Восточной Германии, а другой, из той же части, решил бежать в Западный Берлин, о чем сообщил всем своим товарищам, попросив у кого джинсы, у кого рубашку, а у нашего — часы. Поехал в Восточный Берлин, купил банку пива, сел на скамейку и стал смотреть на Берлинскую стену — как бы через нее перепрыгнуть. Тут его и взяли, а вместе с ним всех, кто ему что-либо давал, как сообщников, коллективное дело ведь выше котируется. Часы же для пущей важности фигурировали в деле как «прибор для измерения времени». Может быть, наш доблестный разведчик к сему руку приложил? Другие молодые ребята звонили в американское посольство и просили перевезти их в Америку — и это при тотальной подслушке! С ними встречался хорошо одетый любезный дядя и на ломаном русском языке обещал все устроить, после чего приглашал жертву в машину и вез прямо на Лубянку. Были разочарованные невозвращенцы, которых находили на Западе советские резиденты, заверяли в грядущей милости, мире, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов, обещали квартиру в Москве, дачу в Павшине, машину «Лада» и билет до Москвы, а по прилете везли туда же и судили за измену Родине. Их, соскучившихся по родным березам и осинам, называли подберезовиками. К ним подходят строки из стихотворения Гумилева об африканке, изменившей мужу с европейцем:



С художницей
Т.Н. Глебовой,
Ленинград,
начало 1980-х
© Из архива
Михаила Мейлаха

*А теперь, как мертвая смоковница,
У которой листья облетели,
Я ненужно-скупная любовница,
Словно вещь, я брошена в Марселе.
Чтоб питаться жалкими отбросами,
Чтоб жить, вечернею порою
Я пляшу пред пьяными матросами,
И они, смеясь, владеют мною.
Робкий ум мой обессилен бедами,
Взор мой с каждым часом угасает...
Умереть? Но там, в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает.*

Был «Пилот», угнавший самолетик в Иран, где сдался властям, которые посадили его в тюрьму. Он просил встречи с сотрудником американского посольства, и кто-то действительно его посетил, но сказал, что вряд ли сможет помочь. В тюрьме он просидел довольно долго — видимо, шла торговля. В один прекрасный день за ним пришли, завязали ему глаза и куда-то повезли — он думал, что на самолет, улетающий в Америку. Но они все ехали и ехали, потом его молча пересадили в другую машину, и когда в нос емушибанул знакомый запах солдатского гуталина, он понял, что коварный шах, не желая ссориться с могущественным соседом, сдал его Советам (примечание: новелла называется «Запах гуталина»). Любопытно, что еще до войны так же поступил брат Сергея Лифаря, но он, как джентльмен, оставил самолет на советской территории и пешком пошел через горы, а из Персии ему удалось добраться до Парижа, где он открыл русскую типографию. Было несколько шпионов-самоучек. Еще был Юра Павлов, физик из Петербурга, который, по его рассказам, придумал способ добычи алмазов как побочного продукта при подземных ядерных испытаниях. Он хотел получить патент, но патент на его изобретение почему-то достался начальству. Юра обиделся, а так как он участвовал в экспедициях «Витязя» — это было судно, проводившее геофизические и иные исследования по всему Мировому океану, — ему удалось связаться с американцами, которые стали назначать ему явки на всяких экзотических островах и с которыми он делился ценной информацией. Какое-то время это тянулось, потом он, конечно, провалился. При возвращении «Витязя» в Петербург его уже ждали, каким-то образом ему удалось скрыться, и целый год он прятался на чьей-то квартире. После освобождения он уехал в Америку, где написал по-английски книгу. Не знаю, издана ли она.

— Каковы были условия, тяжело приходилось? Или уже сравнительно гуманное было отношение?

— Да нет, никакого гуманизма не было и в помине. Это была машина, полностью контролируемая КГБ. И это было продолжение политики следствия. Потому что это параноидальное требо-

вание сотрудничества и раскаяния сохранялось и там, а тех, кто сохранял свои позиции, что называется, прессовали по одной и той же схеме: сперва наказывали лишением ларька (раз в месяц можно было что-то купить не больше чем на тогдашних пять рублей — осьмушку чаю, сигарет, банку повидла, пачку маргарина), потом переписки, потом посылок (всего-то двух в год по 5 кг), потом свиданий с родными (у меня не было ни одного), дальше шел ШИЗО (штрафной изолятор в холоде и с пониженной нормой питания), потом ПКТ (помещение камерного типа, нечто вроде внутренней тюрьмы) и, наконец, так называемая крытка, то есть крытая тюрьма (для политических — во Владимире). Я успел доехать только до ШИЗО. Но, конечно, со сталинскими лагерями все это не сравнить. А когда я побывал в Аушвице, то понял, что моего времени зона — это просто санаторий, оздоровительное учреждение. Но, конечно, зона есть зона, и главное проклятие — это работа. Вообще зона не была ориентирована на физическое убийство, как в сталинское время, хотя слабые здоровьем люди все-таки не выдерживали. А я, наоборот, укрепился, развился физически.

— **А чем вы занимались, что вы делали в лагере?**

— Сначала меня усадили делать детали для электрических утюгов, там был такой заводик маленький. Норму мне выполнить не удавалось, и вообще это однообразная и противная работа, поэтому в результате, когда подвернулся случай, я выбрал работу в кочегарке — очень тяжелую, но она давала некоторые преимущества. Тяжелую, потому что сначала надо было расколоть смерзшийся уголь, привезти его, потом бросать его в печи, потом вывозить дымящий шлак, который бьет тебе газом в морду, от него задыхаешься. Но несравненное преимущество — что кочегарка стоит на отшибе, в стороне, и ты отчасти выпадаешь из режима. Например, в ночные смены менты заходили раза два, а если быстро все сделать, то можно было даже что-то почитать, принеся в сапоге. И опять-таки это физическая работа — на пользу. А когда я, справившись с ней, выходил в эту уральскую зиму и смотрел на яркие звезды, я был почти счастлив. В основном я там и проработал. Поскольку же большая часть тепла уходила ментам за зону (в барак в морозы было +6°), то я определил для себя такой принцип: в мороз нечего стараться — все равно не натопишь, а когда тепло, нечего и топить, и вообще источник тепла должен быть внутри человека. Это, конечно, шутка. А мороз однажды был —52°, что-то нечеловеческое. Все-таки Урал.

— **Было ли возможно по условиям лагеря что-то читать или писать?**

— Времени оставалось очень мало. Кроме восьмичасового рабочего дня еще посылали на какие-то бессмысленные работы «по благоустройству зоны».

— **Это сверхурочно?**

— Да. Один день снег перекидывался слева направо, на другой день тот же снег — справа налево. Было, правда, воскресенье, ког-

да не полагалось никого трогать, оставалось какое-то небольшое время вечером. Там можно было выписывать любые журналы, издаваемые в России. Договаривались: кто-то выписывает один журнал, кто-то — другой. Кстати, я заметил, люди пользовались этим приемом и на свободе — когда началась перестройка и журналы стали интересными, потому что соревновались в печатании того, что не издавалось в подцензурные годы. Была библиотечка с классикой вперемешку с чудовищной советской продукцией — я с наслаждением перечитал Толстого... Но времени было мало! А что касается писания, все написанное конфисковалось. Что-то нейтральное можно было послать в письмах домой (дважды в месяц, если ты не лишен переписки, что случалось частенько), но цензорша, жена кого-то из начальников, во всем параноически видела иносказание и часто письма конфисковала. Тем не менее в письмах маме мне удалось переслать буквально по строчке целую книгу стихов, которую я там написал, сопровождая комментариями: вот какое замечательное стихотворение Евтушенко я прочитал в газете «Правда» — а в следующем письме — следующая строчка. А мама из полученной мозаики склеивала тексты. Книгу я озаглавил «Игра в аду», хотя Бродский потом предложил другое название — «Камерная музыка». Он собирался написать к ней предисловие — мы как раз говорили об этом незадолго до его смерти.

— **Конфискованное уничтожалось?**

— Да, уже невозвратно. Но все, что у меня забрали при обыске, потом в тюрьме, чудом сохранилось и в перестройку ко мне вернулось.

— **Так как вы читали в лагере московские газеты и журналы, насколько неожиданным было для вас освобождение в начале 1987 года?**

— Абсолютно неожиданным! Там кроме официальной прессы был и телевизор — разрешена была только 1-я программа, хотя прочие мало от нее отличались. Но я его почти не смотрел. Когда появился Горбачев, он был воспринят как еще один болтун. Я убежден, что и освобождение произошло не в ходе самой перестройки (это случилось бы, но позже), не из-за его, так сказать, гуманизма и доброй воли, — наше освобождение выколол, конечно, Запад: Миттеран, Тэтчер. Он хотел с ними дружить, а они совали ему в морду списки политзэков. Я, кстати, хотел с ним об этом поговорить, даже просил устроить с ним свидание, но он едва ли раскололся бы. Нет, для нас это была абсолютная неожиданность. В амнистию свято верили «старики», сидевшие по второму разу за военные преступления на оккупированных территориях. Мы же абсолютно не верили: ведь в Советском Союзе за 140 лет (считаю год за два) не было ни одной амнистии политзаключенных (другое дело — классово близкие властям уголовники). Я в общем-то приготовился всю жизнь сидеть — собственно, кто не раскаялся, с теми обычно так и быва-

ло. Когда меня арестовали и запихнули в камеру, в первый день мне было очень смешно, что я в тюрьме: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» Глядя на эти скучные стены и решетки, я очень, помню, смеялся. А на следующий день трезво на все посмотрел и сказал себе: случай со мной — по крайней мере, сорокамиллионный, так что не будем делать из него, как говорят по-французски, *grand-chose*: что есть, то есть, радоваться нечему, но и рвать на себе волосы тоже нечего. Это непреодолимая сила. Но когда на зоне у меня случился перитонит, а его запустили и я уже совсем было помирал, честно скажу — очень хотелось умереть. Однако прекрасные хирурги в городе Чусовом, куда меня в последний момент отвезли в больницу (они не любят, когда умирают на зоне), меня буквально вытащили с того света. Когда я их спросил, жить мне или не жить, доктор сказал: «Фифти-фифти». Я думаю, если бы я сделал для себя выбор в сторону другого «фифти», то спокойно бы уплыл в небытие. Но мне было жалко родителей, я стал помогать докторам меня вытягивать обратно, и вот я здесь. Перитонит же случился потому, что на 36-й зоне был молодой врач-сидист, дантист по специальности. Зубы он не лечил, объясняя, что у него нет «мануальных навыков», а прочие болезни — потому что он дантист. Из больницы — я едва мог ходить — меня перекинули на другую политическую зону в тех же краях — 35-ю, так как там была «больничка». Врач был тоже молодой — кавказец, видимо, попавший туда по распределению и еще не «скурвившийся». Посмотрев меня по прибытии и увидев мой изрезанный живот, он спросил: «Шрамы стягивать будем?» Я мгновенно сообразил, что тогда они заживут быстрее, и ответил: «Давайте предоставим природе». Благодаря этому я провалялся в больничке целый месяц, сочинил там поэму «*Au retour de l'au-delà*» [«По возвращении с того света»]. После этого меня почему-то оставили на 35-й зоне, где условия были чуть получше, режим чуть помягче, а стало быть, публика чуть послабее. Там я доработал, также в кочегарке, до освобождения. Эта зона, уже как уголовная, продолжает действовать и сегодня, и впоследствии мы вместе с Иваном Ковалевым ее посетили. При зоне отставной вертухай собственными силами создал музейчик, посвященный ментовской доблести. Теперь, к сожалению, на то же самое ориентирован новый музей на месте 36-й зоны, заменивший музей политических репрессий.

— После падения советской власти вам удалось познакомиться со своим делом. Было ли в нем что-то для вас неожиданное, были ли какие-то сюрпризы при знакомстве с делом?

— Были сюрпризы, когда люди, которых я считал порядочными, совершенно без всякой выгоды для себя поливали меня грязью. Причем даже и не очень-то по делу, а вообще.

— Это люди, вызванные в качестве свидетелей?

— Да-да. Вот это было сюрпризом. Потом, была же прелестная история с латинским письмом. Дело в том, что, пока второй мой следователь надеялся, что мы, так сказать, с ним сварим кашу, мне



В Музее истории политических репрессий «Пермь-36», ШИЗО. 1990-е
© Из архива Михаила Мейлаха

дали в камеру рукопись моих «Жизнеописаний трубадуров», которую зачем-то взяли при обыске. А у нее был очень официальный вид: она была принята к печати, стояли штампы издательства и Ученого совета. Пока она у меня была, не мог же я упустить такой случай! Я написал по-латыни письмо, вложил в рукопись и добавил к нему сопроводение, что, мол, у меня тут нет латинского словаря, поэтому я не могу перевести этот кусочек, вы уж переведите сами. И все это отдали моему соавтору Надежде Януарьевне Рыковой. А в письме я более или менее описал, что происходит, и свои ощущения. Но поскольку не было ни одного шанса, что, пока я сижу, эта книга выйдет, Надежда Януарьевна даже заглядывать в нее не стала. Когда же появился адвокат — нанятая совесть, который сотрудничал со следствием (для политических дел надобно было иметь специальный допуск), то я, представьте, после девяти месяцев тюрьмы все еще был настолько наивен, что написал письмо уже по-русски, думая, что адвокат его передаст моим родителями, а они дальше, и тут я про латинское письмо писал уже открытым текстом. Это новое письмо из меня вынули еще по дороге на свидание с адвокатом и, конечно, страшно обрадовались (а зря, для них самих последствия были ненамного лучше, чем для меня, — ведь трубадурскую рукопись они выпустили на волю своими руками). Они поехали к Надежде Януарьевне, изъяли то роковое письмо и отдали в университет, где его перевела такая партийная дамочка по фамилии Чекалова. Переводила от страха так, как переводят начинающие: буквально, слово за слово, со сказуемым на последнем месте. По-русски получилось очень забавно. Там была фраза: «Разговаривать с ними — все равно что говорить с крокодилами о вегетарианстве». Они как дети обиделись! «Это мы что же, крокодилы?!» Но больше всего их раздражило, что, желая утешить моих родителей, я им писал, что советская тюрьма, в сущности, не так уж отличается от советской воли и наоборот (в лагере мы потом говорили, что есть большая зона — вся страна — и малая зона). Действительно, что же это такое — они тут стараются изо всех сил, чтобы раздавить его тюрьмой, перспективой лагеря, а для него что воля, что тюрьма — все одно и то же, и он еще смеется! Но главное, для них это был такой суперскандал — я слышал, у кого-то из начальничков даже случился инфаркт (впрочем, не уверен, что у него было сердце). Ведь главная их паранойя — это «утечка информации». А за мое плохое поведение прокурор — страшная бесполовая женщина — мне любезно сказала: «Ни Ленинграда, ни ваших родителей вы больше не увидите».

Но самое пикантное, что было в этой истории, — знакомясь с делом, я в нем нашел и сам перевод, и квитанцию об уплате Чекаловой гонорара. Труд ее был оценен в 30 сребреников-рублей. А «Жизнеописания трубадуров» благополучно вышли в свет в 1993 году в серии «Литературные памятники».

Закончить же я хотел бы двумя небольшими стихотворениями, написанными в лагере.

УЧР ВС 389/36

Марсианская осень

*в мартобре — а за ним
вереница невесен
между каторжных зим.
Ледовитое лето
— что кромешный январь:
принимай, штабс-планета,
арестантс-календарь.*

** * **

*Может, уже и довольно — но все-таки этот
белый забор дощатый, этой колючей
проводами путаница, круги, пируэты
на шипах — еще сберегают случай
сообщить навсегда, что в среду к одиннадцати ноль-ноль
тысячелетнее царство еще стояло. Что мыши
серы, а волки сыты. Что отечества ледяной
дом на песке врос в вечную мерзлоту по крышу.*

© Из архива Елены Санниковой



ЕЛЕНА САННИКОВА:

«Предостережение КГБ меня и подтолкнуло к деятельности»

— Вы были арестованы 19 января 1984 года, когда вам было всего двадцать четыре года. Что привело к вашему аресту?

— Чуть меньше чем за год до этого, 3 февраля 1983 года, у меня был обыск, на котором изъяли довольно большое количество самиздата, тамиздата, самиздатовской периодики. Кроме того, забрали мои дневниковые записи, которые позже были приложены к делу как антисоветские. После обыска я обратилась в прокуратуру с требованием вернуть мне изъятое. В ответ на эти заявления мне пришло уведомление, что все материалы отправлены в КГБ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Обыск был во всех отношениях незаконным. Формально его проводила прокуратура, но прокурор, имя которого было занесено в протокол, не проявлял активности, а искали трое в штатском, молчаливые, знающие свое дело, явные сотрудники КГБ. Но они не представились, их имена в протокол занесены не были. Абсурдным был формальный повод для обыска. Был такой Иосиф Тереля, украинский диссидент, который почти постоянно находился в заключении. Его выпускали и вскоре снова сажали. И вот после очередного заключения он приехал в Москву. Это была осень 1982 года. Я познакомилась с ним у одних хороших людей, его рассказы о лагерях показались мне очень интересными, и мы договорились, что он придет ко мне и я его подробнее расспрошу о его последней отсидке...



Начало 1980-х
© Из архива
Елены Санниковой

Елена Никитична Санникова (28 октября 1959 года, Москва) — журналист, правозащитник. В 1978—1980 годах училась в Калининском государственном университете (филологический факультет, русское отделение).

С 1981 года принимала участие в Инициативной группе защиты прав инвалидов, редактировала бюллетени группы, проводила опросы инвалидов. Сотрудничала с Русским фондом помощи политзаключенным и их семьям.

Арестована 19 января 1984 года, приговорена к 1 году лагеря и четырем годам ссылки. Ссылку отбывала в Томской области. Вернулась в Москву в декабре 1987 года.

Ныне эксперт движения «За права человека». Живет в Москве.

— **Для чего?**

— Для того чтобы записать, придать какую-то литературную форму и обнародовать в самиздате.

— **А в каком издании?**

— Я предполагала отдать это в «Бюллетень В». Было такое своеобразное продолжение «Хроники текущих событий», упрощенный вариант «Хроники». Начал его выпускать Иван Ковалев, поэтому посмеивались, что «В» значит «Ваня», хотя на самом деле «В» — это «вести». Власть прореагировала на «В» так же, как и на «Хронику». После ареста Ивана Ковалева «В» издавал Алеша Смирнов, арестовали и его. Эстафету перенял Сергей Григорьянц, но он придумал бюллетеню более литературную форму. У «В» появились обложка, эпиграф «Ибо не ведают, что творят». То есть это был уже не просто поток информации, а то, что можно взять и читать с интересом. И я думала, что рассказ Иосифа Терели как раз подойдет для «В». Надо сказать, что Иосиф был удивительным человеком, рассказывал ярко, живо, с юмором. Я и предполагала его в деталях записать. Но надо же было такому случиться, что именно когда Иосиф ко мне пришел, к нам заявился участковый. Так совпало, что в тот день [10 ноября 1982 года] умер Брежнев. И людей, которые хоть как-то на заметке были, власти почему-то решили в тот вечер посетить. Не только ко мне пришли, ко многим в тот день пришли просто так, с проверкой. И к нам пришел участковый милиционер, один. Причем не сразу сказал, что ко мне пришел, сначала к маме зашел, к бабушке, как-то объяснял свой визит, я слышала, что они о чем-то говорят. А потом зашел в мою маленькую комнату, увидел Иосифа, спросил документы и заявил: «Московской прописки нет, пройдемте». Я пошла вместе с ними. В отделении Иосифа увели в один кабинет, меня в другой и долго не отпускали. На каком основании меня не отпускали, совсем непонятно, но меня даже дольше продержали, когда выпустили, Иосиф меня уже ждал на улице. Ну, и не до интервью уже было, время у Иосифа было ограничено. Вскоре он уехал к себе на Львовщину, а несколько месяцев спустя его арестовали. Формально на этот раз — не по политическому обвинению. Тогда была тенденция использовать для политических репрессий статью «тунеядство». Ведь в Советском Союзе отсутствие постоянного места работы было уголовно наказуемо. А человеку, вернувшемуся из заключения, очень трудно было устроиться на работу, никто не брал. Иосиф подрабатывал на строительных работах, а по документам нигде на работе не числился. И его арестовали по статье «тунеядство». Но с обыском ко мне пришли по делу Иосифа Терели, так в ордере было написано. А что можно искать в Москве по делу о тунеядстве арестованного под Львовом (*смеется*)? Я и написала в прокуратуру: какое отношение к делу Иосифа Терели имеет все, что у меня изъяли?

— **В общем, получилось, что пришли не зря, они нашли у вас многое.**

— Да. Но найти у меня что-то они предполагали. А то, что встретили у меня Терелю, когда просто зашли с проверкой, — это случайность.

— **Но это и не было криминалом.**

— Нет, конечно.

— **А то, что нашли, оказалось криминалом?**

— Не все, но что-то оказалось. Из самиздатовской периодики у меня изъяли бюллетени московской группы Amnesty International, бюллетени СМОТа, много материалов и бюллетеней ИГЗПИ... Это Инициативная группа защиты прав инвалидов. Я сотрудничала с этой группой, помогала им создавать документы, выпускать бюллетени. Особенно мне было обидно, что у меня на том обыске забрали неоконченный номер бюллетеня ИГЗПИ. Вот 13 номеров вышло, должен был выйти 14-й номер, и он не вышел. Незадолго до этого члены группы Ольга Зайцева и Валерий Фефелов уехали, оставался только Юрий Киселев. А с Ольгой Зайцевой мы довольно интересную статью подготовили о положении молодежи в домах-интернатах. Это о тех детях-инвалидах, которые из детского дома-интерната в 18-летнем возрасте переходят во взрослый дом-интернат для инвалидов, как правило, в жуткие условия. О людях, собственно, обреченных на небытие.

— **Публиковать тогда подобного рода материалы в официальной прессе было невозможно?**

— Абсолютно невозможно! Мы в начале 1982 года с Ольгой Зайцевой съездили на Украину. В группу очень много писем приходило от инвалидов. После объявления о создании группы просто поток писем от инвалидов хлынул. Но вскоре на обысках эти письма изъяли, и по всем адресам прошелся КГБ. А с Украины пришло много новых живых и довольно трепетных писем, и мы проехали по адресам этих инвалидов, встретились с ними. Одна из проблем, которые поднимал Юрий Иванович Киселев, основатель группы, — что в Советском Союзе нет Общества инвалидов. Есть Общество слепых, есть Общество глухонемых... конечно, и они не идеальные были, в Советском Союзе особенно развернуться нельзя было общественной организации, но все-таки что-то удавалось сделать, какие-то мастерские, клубы, помощь в лечении, общение люди находили. А у инвалидов по опорно-двигательной системе никакой поддержки, кроме собеса, не было. А помощь от этого собеса была на более чем низком уровне. И мы с Ольгой в январе 1982 года проехали по адресам инвалидов и поговорили с ними о том, чтобы они попробовали создать на Украине такое общество. При этом мы каждому говорили, чтобы они ни в коем случае, во-первых, не заявляли о связи с нами, потому что мы уже на плохом счету, а во-вторых, чтобы не выражали никаких оппозиционных настроений. И тогда, может быть, получится у них создать такое общество. Но когда мы из этой поездки вернулись, Ольгу вызвали и сказали, что она ездила создавать антисоветское общество. Самое грустное, что КГБ побы-

вал у каждого из этих инвалидов, а ведь они — беззащитные, беспомощные люди. Им сказали «подпишите», они и подписали. Якобы мы их агитировали нечто антисоветское создавать. При мне Ольга позвонила одному из них и спросила, как у него дела, и он говорит: «Неплохо, нам новые инвалидные коляски дали». А ведь тогда даже инвалидных колясок не выдавали этим людям. Точнее, выдавали от собеса нечто громоздкое и жуткое. А нормальных инвалидных колясок и в продаже-то не было. А тут им выдали новые югославские коляски. Хорошо! «А зачем вы клеветали на нас, будто мы пытались создать антисоветскую группу? Разве хоть слово было об этом?» На что инвалид сказал: «Я не могу об этом говорить». И все, больше мы им не звонили. И осуждать их нельзя. А на Ольгу завели-таки уголовное дело. Валера Фефелов — инвалид-спинальник, двое детишек... Им сказали: или уезжайте на Запад, или дело готово к передаче в суд, статья 190-я прим... И пришлось им уехать в Германию. Остался один Юра Киселев из группы.

Ну, и я осталась — доделывать эти бюллетени. И вот у меня изъяли довольно много материалов Инициативной группы защиты прав инвалидов. Бюллетеней было не жалко, ну, изъяли и изъяли, они все на Западе уже были, а вот последний, незаконченный, номер забрали — это было обидно. Рукописи, которые были в единственном экземпляре...

А вообще забирали на том обыске все подряд. Все, что на пишущей машинке напечатано. Стихи Гумилева, Клюева, Ахматовой, Цветаевой... даже графа А.К. Толстого стихи в машинописном виде. Конечно, это не пошло в обвинение. И бюллетени ИГЗПИ не стали материалами дела, и бюллетени московской «Эмнести Интернешнл». А вот бюллетени СМОТа в обвинение мне вошли. Два номера забрали, но по шесть-семь экземпляров каждого.

— **Это распространение.**

— Да. Пошла в обвинение рукопись одна, которую я, честно говоря, просто для заработка печатала. «Определение различной власти» она называлась. Довольно безграмотная рукопись. Но они нашли в ней антисоветчину.

А еще Юра Киселев... Сейчас можно всех называть по именам, тогда это исключено было. Когда начались события в Польше, Юра Киселев написал «Воззвание к польскому народу». Очень яркий текст. И мне показал: «Вот в каком бы виде это представить? Я своим именем подписать не могу, у меня группа [инвалидов], ее уничтожат, если я подпишусь». Когда он мне это принес, у меня первая реакция была — страх, что найдут и вычислят его почерк. Он у меня это воззвание оставил. И первое, что я сделала, когда он ушел, — переписала от руки, редактируя по ходу дела, а его рукопись уничтожила (*смеется*). Потом он попросил отвезти Тане Трусовой. Виктор Гринев, ее муж, тогда еще на свободе был. Я показала, и мы там все вместе смотрели, думали. Виктор Гринев твердо сказал, что без подписи такой текст нельзя распростра-

нять, а подписи собирать — людей подставлять. «Надо подумать». И у себя текст оставил. А когда пришли его арестовывать, текст забрали. И мой почерк потом определили.

Так что первый пункт моего обвинения был — «Воззвание к польскому народу», это из дела Гринева ко мне переключалось. Другой важный пункт — письмо в защиту Иосифа Терели. О том, что Иосиф Тереля арестован, я узнала, когда ко мне пришли с обыском. А незадолго до этого я встречалась с его женой Оленой, она приезжала ненадолго в Москву. И она вот-вот должна была родить. Они жили в сельской местности. Двое детишек маленьких, вот-вот должен появиться третий, и тут опять его арестовывают! И меня это взорвало. Я с накалом написала об аресте Иосифа и адресовала письмо ни больше ни меньше — Папе Римскому. И отдала для передачи на Запад.

— Передали от своего имени?

— Конечно. Письмо в защиту арестованного не могло быть анонимным. Это всегда подписывалось.

Весной 1983 года арестовали Сергея Ходоровича. Это был очень сильный удар. Осенью фонд распался из-за этой вот драматичной ситуации. Летом я от дел на какое-то время отошла, была в геологической экспедиции на Урале, пыталась там же даже в университете восстановиться. А потом вернулась в Москву, выяснила, что и с фондом такая ситуация, и арест за арестом, и Юру Шихановича арестовали, это уже ноябрь 1983 года был... И я почувствовала, что должна что-то сделать, чтобы не поддаться чувству полной безнадёжности, чтобы в отчаяние не впасть. Я напечатала такой бюллетень, который назвала «Вестник правозащитного движения», симпатично его оформила, включила в него главы из «Архипелага», о правозащитном движении написала, о Фонде Солженицына, об аресте Ходоровича, стихи Ирины Ратушинской туда поместила и материал об ее заключении, ну и о последних арестах, об аресте Шихановича... В общем, приличный получился бюллетень. Распространила я его как успела, за месяц, но когда меня арестовали, у меня все-таки какое-то количество экземпляров изъяли.

В итоге «Вестник правозащитного движения», письмо папе римскому, «Определение различной власти», бюллетень СМОТа, «Воззвание к польскому народу» — вот обвинения, которое мне предъявили при аресте. И еще предъявили подпись под письмом в защиту Ивана Ковалева. Но потом это почему-то сняли. Там не моим почерком стояла подпись. Хотя я от нее не отказывалась, даже с гордостью какой-то сказала: «Да, я подписывала». Но когда получила обвинительное заключение, там уже этого пункта обвинения не было.

— И к чему вас приговорили в результате?

— А срок был вообще детский. У меня глаза на лоб полезли, когда прокурор запросил один год лагеря и четыре ссылки. Я ждала четыре, пять, шесть лет под стражей, а тут — всего год!

— Может быть, это было снисхождением к вашему молодому возрасту? Многие, с кем я говорил, вспоминая о своих первых



Юрий Киселев
и Валерий Фефелов. Начало 1980-х
© Мемориал

контактах с КГБ, рассказывали, что их сперва пытались, так сказать, наставить на путь истинный. Надеялись на перевоспитание. Впрочем, это было в конце 1960-х.

— У меня сроки более сжатые были. Официальное предостережение от органов госбезопасности мне предъявили в 1981 году, а уже в 1983-м — этот обыск. Вот меня как-то спрашивали с «Эха Москвы», повлияло ли предостережение органов госбезопасности на меня в плане, может быть, попытки отойти от этой деятельности. Я тогда ответила: «Конечно, нет». А потом подумала, что ведь как раз наоборот: именно это предостережение меня и подтолкнуло к деятельности. В общем-то правозащитной деятельностью я хотела заниматься, но между тем у меня было желание сначала получить высшее образование, потом поработать по специальности сколько-нибудь... А тут — исключение из университета, потеря работы в результате этого официально предостережения — и незамедлительному включению в деятельность ничто уже не препятствовало.

А выгнали меня в 1980 году из Калининского университета. Я поступила на учебу не в Москве, потому что я была не в комсомоле и надеялась, что в провинциальном вузе к этому меньше придинок будет, чем в московском.

— С детства оказались в антисоветской среде?

— Нет, не могу так сказать. Мои родители были из числа тех, кто все понимал молча. Людей, которые понимали происходящее в стране, но считали невозможным как-то об этом заявлять, нельзя назвать антисоветчиками. Так что я не могу связывать с влиянием домашней среды то, что где-то классе в шестом меня уже вызывали на проработки в учительскую. А потом перестали вызывать, потому что решили: лучше эту девочку не вызывать, а то она нам еще наговорит...

— А что вас тогда, шестиклассницу, могло заставить задуматься?

— А я думаю, что не только меня... Задумывались, наверное, многие. Еще раньше, в четвертом классе, я спросила у родителей, кто такой Сталин. Они засмеялись. Я удивилась: «Что вы смеетесь?» Они рассказали, что в их детстве в каждой газете на каждой полосе был портрет Сталина, а если бы какая-нибудь газета реже, чем другие, упомянула имя Сталина, то редакторам бы досталось. И немного рассказали о сталинских репрессиях. И это меня потрясло. Этот разрыв между тем, что говорят, и тем, что происходит в стране реально... И что вообще возможно такое: сегодня он генералиссимус, отец всех народов, а завтра он никто, и чего же тогда вся эта пропаганда стоит? И уже новый культ личности подсовывают. Кто такой Хрущев, я тоже могла спросить. А кто такой Брежнев — вопросов не было, потому что культ Брежнева уже навязывался нагло. Навязывался так, что это надоедало, вызывало протест, невыносимо скучно все это пустословие слушать было.

Мой дед, отец мамы, был журналистом, он работал в «Правде», умер в 1944 году от разрыва сердца. И я стала домашние архивы смотреть, раскрывать газеты сталинских времен. Вот это, наверное, был первый момент, когда я остро стала задумываться над происходящим. А когда Солженицына изгнали, я просто уже анти-советчицей стала.

— **Вы уже читали в газетах об этом?**

— И газеты не надо было читать, достаточно было радио или телевизор включить. Это была такая широкомасштабная травля, только и слышалось: предатель, власовец... А я знала до этого о Солженицыне только то, что он занимается историей сталинских репрессий.

— **Откуда?**

— А при мне «Голос Америки» кто-то слушал, и там я впервые услышала это имя и из сообщения поняла, что это человек, который занимается исследованием сталинских репрессий. Я думала, что это историк.

И почему-то я думала, что он вообще на Западе живет, потому что у нас нельзя этим заниматься... И вдруг этот информационный взрыв. И я опять спрашиваю у старших: «А он здесь жил?» — «Да, здесь жил, он писатель из Рязани». И вот тут у меня буквально вспыхнул интерес. Я стала слушать западные радиоголоса.

— **А когда вы впервые прочли «Архипелаг» или, скажем, вещи Солженицына, опубликованные в СССР?**

— Да я, конечно, сразу в школьную библиотеку пошла «Новый мир» искать. «Ивана Денисовича» там уже не было, «Матренина двора» тоже, но сохранился рассказ «Захар Калита», и еще я нашла статью [Владимира] Лакшина [«Иван Денисович, его друзья и недруги»]. Вот это я сразу схватила и себе забрала. А «Ивана Денисовича», «Матренин двор» и «Крохотки» мне только через год прочесть посчастливилось в сборнике, изданном за рубежом. «Архипелаг» было гораздо труднее достать, мне он в руки попал, когда мне уже лет 18 было. «Хронику текущих событий» мне один мой знакомый, тоже старшеклассник, принес, но только на один или два дня. Потом приходит за «Хроникой» и застаёт меня за пишущей машинкой. «Ой, ты что делаешь?! Никогда больше тебе давать не буду! Есть специальные люди, которые этим занимаются. А тебе зачем?» — «Ну как зачем? Сейчас тоже раздам, тоже буду заниматься...» Вот такие эпизоды в мои школьные годы были...

— **Тем не менее не все читатели «Хроники» и даже ее распространители в результате оказывались под следствием. Поэтому я и спросил, кто были те люди, которые повлияли на вас...**

— А это не имеет значения. Я, конечно, могу перечислить людей, с которыми я общалась, рассказать о знакомствах в правозащитной среде, которые дарила мне судьба. Но это значения не имеет. Значение имеет то, что человек выбирает в жизни для себя. Потому что были у меня друзья, сверстники, из таких семей, что не проблемой для них было и книгу любую запрещенную про-



*В ссылке. Томск,
1985—1986*

© Из архива
Елены Санниковой

честь, и с Сахаровым поговорить. И между тем они выбрали для себя совсем другой путь. А я просто вот поняла, что раз творится в стране то, что я читаю в «Хронике текущих событий», то не заниматься этим, не участвовать в этой деятельности я просто не сумею. Я просто почувствовала какую-то личную ответственность за происходящее.

— **Это было важнее учебы, это было на первом плане?**

— Нет. Я понимала, что учеба, получение знаний — это очень важно. Я очень хотела окончить университет.

— **Но никто же не знал, что советская власть рухнет в 1991 году. Каким вы видели свое социальное будущее тогда?**

— Это довольно тяжело было. Я летом ездила в экспедиции... Я училась два года в Калининском университете, видела жизнь провинциального города, среду. Потом какое-то время работала в деревне, устроилась воспитателем в детском садике в далеком районе Калининской области. Там я и свое официальное предостережение от КГБ получила, первый обыск у меня там был. И вот последнее лето на свободе я была в экспедиции на Урале. И я видела, чем живет страна, что думают люди. Я видела, что, как ни плохо они живут, они ничего другого не хотят. Всем хочется жить тихо-мирно, они адаптировались к происходящему, и диссидентство их просто раздражает. Они и над пропагандой этой, с одной стороны, посмеиваются, а с другой стороны, ее в себя впускают, не очень-то хотят это в себе преодолевать. Инстинкт самосохранения срабатывает. И я поэтому довольно мрачно смотрела на свое будущее, думала: ну арестуют, ну выйду я, может быть, снова арестуют, но страна такая, и что в ней может измениться?..

— **А про эмиграцию думали?**

— Нет.

— **Не думали или не хотели?**

— Не хотела. Было очень грустно, что прекрасные люди уезжали. И не было никакой надежды их снова увидеть. Я очень драматично переживала, что люди стоят перед этим выбором и что они делают этот выбор. И мы никогда их больше не увидим. Их уход от нас в какое-то небытие был, возможно, более полным, чем разлука с теми, кого арестовывали. Потому что из заключения человек вернется, а из отъезда никогда уже не вернется. И все повторялось, мало было исключений: сначала еще пишут, звонят, а потом исчезают...

— **Вам не предлагали уехать?**

— Предлагали, намекали, да. Нет, для меня это было изначально неприемлемо.

— **Вы сидели в политическом лагере?**

— 70-я статья — это только политический лагерь. Но мне дали год, и зачлось время, что я провела в Лефортовской тюрьме. И в мордовском лагере я пробыла совсем недолго. На этап, в ссылку, меня забирали из штрафного изолятора. Из московской

Краснопресненской пересылки был спецэтап на самолете. Дней десять я в Томской тюрьме провела. А потом меня привезли в село Кривошеино Томской области, и там прошли три года моей ссылки.

— **В ссылке вы продолжали следить за тем, что происходит в Москве?**

— Конечно, я продолжала за этим следить, да. А когда началась перестройка... Ну, сначала даже слово «перестройка» всерьез не могло восприниматься. Но какие-то перемены я почувствовала летом 1986 года, когда мне вдруг разрешили... Я добивалась, чтобы мне учиться разрешили. Без надежды, что я этого добьюсь.

— **Формально вы не имели права учиться?**

— Понимаете, в законе был перечень, когда ссыльный может покинуть место ссылки, в связи с чем. И в этом перечне был отпуск по запросу из учебного заведения. Понятно было: если человек находится в ссылке по 70-й статье, никто ему учиться не даст. Но я настаивала, что меня обязаны отпустить. У меня было приглашение из Уральского университета. Я ведь перед арестом сдавала там экзамены, и меня должны были зачислить на 4-й курс заочного отделения филфака. Но меня арестовали. А когда из ссылки я написала в университет, мне ответили в таком духе: мы, мол, были удивлены, что вы не явились на учебную сессию, но, чтобы решить вопрос о вашем зачислении теперь, вы должны приехать. Кто-то из представителей власти мне говорил, читая эту бумагу, что в ней содержится понимание того, что я не могу приехать. И вдруг ближе к осени 1986 года мне говорят, что на Урал меня отпустить не могут, а вот в Томск поступить учиться — могут. Вот тогда я и почувствовала, что какие-то перемены есть. И еще Ирину Ратушинскую осенью 1986-го освободили. Но все равно не было ощущения, что это какой-то глобальный процесс. А меня освободили в самом конце 1987 года.

— **То есть вы освободились, отсидев срок, а не по горбачевской амнистии?**

— Нет, по амнистии. Мне еще год остался. Но ведь общей горбачевской амнистии и не было. Это были отдельные указы на определенное количество людей. Все очень не спеша делалось. В феврале 1987-го из прокуратуры приезжали, мне предложили что-нибудь написать, попросить об освобождении, но я отказалась, потому что мне это как-то дико показалось. Да и как-то уж они очень подозрительно уговаривали меня. У меня было ощущение, что любая бумажка их устроит, что бы я ни написала. Я уже знала, что в какой-то центральной газете была публикация, будто столько-то политзаключенных попросили о помиловании. И я поняла, что любой текст, который я напишу, они назовут просьбой о помиловании. А этого я не хотела. Поэтому я отказалась что-либо писать. И потому в начале года меня не освободили. Но в декабре уже без моей просьбы появился указ... По-моему, только двух человек этим указом освободили: меня и Татьяну Великанову.



*В Томской
области, 1986*
© Из архива
Елены Санниковой

© Из архива
Льва Тимофеева



«Мой внутренний цензор был убит чтением “Архипелага ГУЛАГ”»

— Лев Михайлович, ваш биографический сюжет, связанный с диссидентством, достаточно уникален. Будучи известным автором антисоветских текстов, широко издававшихся за рубежом, вы в Москве фактически до самого ареста в 1985 году находились вне диссидентского круга. Каково было ваше представление о диссидентстве в 1970-х годах, в то время, когда вы еще были сотрудником «Молодого коммуниста» и «В мире книг»?

— О диссидентстве мы узнавали, слушая голоса, сквозь глушилки. Само по себе занятие достаточно любопытное — иногда, размышляя, куда бы поехать летом, мы думали: а хорошо ли там слышно голоса? Я знал только то, что доносилось из передач «Радио Свобода», «Голоса Америки» и Би-би-си. И представления были, конечно, самые поверхностные, нереальные. Помню, как нам с приятелями пришла в голову идея — а не сходить ли к Сахарову?! Все восприняли это как шутку — ну куда ты пойдешь? Там небось на лестничной площадке сидит гэбэшник, и тебя сразу возьмут. Такие у нас были представления.

— Были ли вам помимо голосов доступны журналы, выходящие в эмиграции или в самиздате в СССР?

— Самиздатские журналы в то время мне в руки не попадались. Хотя мои-то работы как раз в самиздате ходили. А вот с Запада журналы приходили. Приятели, знакомые давали почитать. Вообще это зависело от круга общения. Мне чаще всего в руки попадал «Вестник РХД». Там были очень важные и интересные материалы. Я, например, помню, что именно там я прочитал замечательную работу [Алена] Безансона о Советском Союзе как государстве логократии, это введенный Безансоном термин. И какие-то другие вещи ходили. Конечно, совершеннейшим открытием, откровением было, когда в руки попали томики «Архипелага ГУЛАГ», имковского карманного издания. Ходили какие-то книги и журналы, нечасто попадали в руки, но время от времени, случайно. В этом не было закономерности, случайно кто-то приносил, оставлял.

— Вы сказали, что это — попадание в руки того или иного самиздата — зависело от круга общения. Я обратил внимание, что вы публиковались в таком, в общем, достаточно экзотическом эмигрантском издании, как «Русское возрождение». Не связано



Середина 1970-х
© Мемориал

ли это с тем, что едва ли не единственным близким к диссидентам человеком, с которым вы общались в 1970-х годах, был Игорь Николаевич Хохлушкин, и именно переданный через него на Запад текст вашей «Технологии черного рынка» появился в «Русском возрождении»? А Хохлушкин в 1970-е был связан с «русской партией» в диссидентстве, и именно он познакомил вас с одним из ее неформальных лидеров Игорем Шафаревичем.

— Да, вы мне напомнили сейчас, как раз через него в этот христианский журнал это и попало. Потом и книжечкой тоненькой такой, зеленой, эта работа впервые вышла в каком-то зарубежном товариществе... Да, это было через Хохлушкина, потому это и попало в руки такого рода эмиграции. Но потом то, что попадало за границу по другим каналам, печаталось в других изданиях — во «Время и мы», в «Гранях». Ведь не было одного четкого канала передачи на Запад. Я часто вообще не знал, как попадают эти вещи на Запад, и для меня радостно было, когда мне вдруг говорили: «Слушай, по радио читают твои работы» или «Ты знаешь, вышла твоя книга». Не так, как теперь, когда все это согласовывается и авторские права соблюдаются. Я за тексты, которые ходили в самиздате, а потом появились на Западе, ни копейки не получил! Хотя потом в советских газетах появились статьи, где говорили о том, что кто-то из моих знакомых или родственников на Западе требовал для меня гонораров. Все это были, конечно, домыслы гэбэшные.

— Действительно, ваша библиография демонстрирует удивительно широкий идеологический разброс. Это еще раз подтверждает случайность попадания ваших текстов в ту или иную эмигрантскую редакцию.

— Абсолютно!

— Говоря об «Архипелаге», вы в своих воспоминаниях пишете, что вам дал его Андрей Амальрик. Сама встреча с ним — и вся приведшая к ней цепочка почти пастернаковских, в духе его романа, совпадений — была ведь совершенно случайной и в каком-то смысле providенциальной.

Лев Михайлович Тимофеев (8 сентября 1936, Ленинград) — экономист, писатель, публицист.

С 1943 года живет в Москве. В 1958 году окончил Московский институт внешней торговли. Работал в системе Министерства внешней торговли в Москве (Совфрахт), в портах Новороссийска и Находки. В 1961—1962 годах служил в армии в качестве военного переводчика с английского языка. По увольнении из армии занимался литературной работой. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба народов» и др. В 1973—1978 годах работал в редакции журнала «Молодой коммунист». В 1978—1980 годах — в журнале «В мире книг».

С конца 1970-х произведения Тимофеева начинают циркулировать в самиздате и с 1980 года регулярно появляются в зарубежной русской периодике («Русское возрождение», «Грани», «Посев», «Время и мы»). В 1981 году в США выходит его книга «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в 1985 году — «Последняя надежда выжить». 19 марта 1985 года арестован и обвинен в антисоветской деятельности. От участия в следствии и суде отказался.

— Действительно, все в руках Господних. Оказалось, что в том же подъезде в Теплом Стане, где мы жили, поселился у наших знакомых Амальрик, который после всех арестов и посадок собирался уезжать. И он со своей замечательной женой Гюзель скрывались. Вряд ли так уж и скрывались, тем не менее это было некоторое укрытие, и оказалось, что это в нашем подъезде. Я, разумеется, об этом ничего не знал. Ну, какие-то люди ходят, здороваются по-соседски. И однажды моя жена увидела Гюзель, сидящую на лестничной площадке в слезах, спросила, в чем дело, и Гюзель ей сказала, что она то ли захлопнула дверь, то ли где-то потеряла ключи, в общем, не может попасть домой. И моя жена пригласила ее: «Да пойдете к нам, попьете чайку, пока муж придет...»

— Не могу не упомянуть здесь о письме вашей жены Солженицыну с описанием всей этой удивительной истории, которое вы приводите в книге «Я — особо опасный преступник». Давайте приведем его и в тексте нашей беседы.

— Конечно!

Уважаемый Александр Исаевич!

Очень давно, в 1958 году, я училась в Рязани, в 10 классе, во 2-й средней школе. В нашем классе Вы преподавали астрономию.

Я помню, как Вы в первый раз вошли в наш класс в сопровождении директора школы.

Я слышала, конечно, до этого, что в школе появился новый учитель «из лагерей», но для меня значение этого было так смутно, что, пожалуй, я была готова к появлению где-то в коридорах школы человека в полосатой одежде немецких концлагерей. И когда Вы вошли в класс, то на этом и кончилось то смутное дурацкое ожидание встречи. И то, что вы «из лагерей» — это сведение осталось как-то ни к чему. Жили мы с мамой вдвоем, переезжали из города в город, из театра в театр, все связи с родными были потеряны, и хоть мама и говорила, что кто-то из родных «сидел»

ся. 19 сентября 1985 года приговорен к 6 годам лагеря строгого режима и 5 годам ссылки. Освобожден 2 февраля 1987 года.

Лауреат парижской литературной премии имени Вл. Даля (1988).

В 1989—1994 годах — сопредседатель Московской Хельсинкской группы, член исполкома Международной Хельсинкской федерации. В те же годы — издатель и главный редактор неподцензурного журнала «Реферendum». Член Союза писателей, член исполкома Русского ПЕН-центра (вышел из Русского ПЕН-центра в марте 2015 года в знак протеста против официальной позиции руководства ПЕН-центра в текущей политической ситуации). В 1999—2013 годах — директор Центра по изучению нелегальной экономической деятельности РГГУ.

Живет в Суздальском районе Владимирской области.



Здание средней школы в Рязани, где преподавал А.И.Солженицын
© Из архива Льва Тимофеева

и кто-то из знакомых «сидел», но понять хоть что-то из ее рассказа было невозможно — ни понять, ни почувствовать — поэтому личной боли, личной тайны не было, не было и желания знать, вопросов не было (да и кто бы ответил на эти вопросы?)

Потом меня спрашивали, какой Вы?

Я рассказывала, как Вы впервые вошли в наш класс... Малость моего рассказа смущала слушателей: за ним ничего нет — учитель и плохая ученица. Спрашивали, что рассказывали Вы нам о лагере и что читали нам из своих произведений (?!). Раздражала слушателей моя тупость — мне говорили: «Как вы могли плохо учиться у такого человека? Как можно было не понять, не почувствовать, у кого учишься?» Видимо, если бы я была отличницей по астрономии, то это бы хоть как-то уравнивало ожидания.

Смущало и несоответствие судьбы: ведь дано же было это знакомство — ну и что? Это раздражало. Отзвука как бы не было. Я и сама думала: зачем же это было, если нет отзвука? Для чего было?

И вот как аукнулось.

Мой муж, Тимофеев Лев Михайлович, написал большой очерк о жизни русской деревни и пытался его опубликовать. Очерк вроде бы нравился, но его не брали, не взяли в одном толстом журнале, в другом. Лева показал очерк в тонком журнале, там тоже понравился, сказали сократить. Лева сократил. Не взяли. Показал в газете — там собирались сделать большую публикацию на два номера. Не пошло. Сказали сократить. Сокращал, сокращал. Осталось тезисов два столбца. Это все тянулось долго невозможно. Каждое сокращение через Левины муки. Я возмущалась, увидев, что в результате у него осталось. Но он сказал, что я ничего не понимаю, что важно опубликовать хоть два столбца, а потом,

зацепившись за них, пройдет весь очерк, что два столбца — это очень важно, хоть ему еще не все ясно в самой проблеме.

Столбцы набрали, но уже из номера сняли, а Лева объяснили, что «наверху» кто-то сказал, что если «это» напечатать, тогда за что же редакция получает зарплату?

Лева работал в журнале «Молодой коммунист». И вот в этот момент появилась идея, что ему надо вступить в партию — он долго работал в журнале, и вроде бы неудобно уже было работать и не быть самому коммунистом — это была сторонняя идея, но он все больше и больше принимал ее — это как-то связывалось с его очерком — тогда напечатают, и вообще большие возможностей что-то сделать.

Его приняли в кандидаты. Кто-то из знакомых перестал звонить и заходить, кто-то сочувствовал, как больному, кто-то утешал — куда денешься? Кто-то ободрял — теперь больше возможностей что-то делать; были и официальные идиотские разговоры, «разговоры по душам», «партийно-искренний» тон, как с посвященным, — и Лева искренне удивлялся, что такие вообще могут быть.

А очерк все его мучил, и какие-то проблемы, затронутые в очерке, но не решенные еще, не продуманные, все возвращали его к нему. И он замучил меня экономическими разговорами. И даже купил мне учебник политэкономики, чтобы я хоть что-то смыслила.

Ему казалось, что идеи эти носятся в воздухе, что где-то кем-то они уже высказаны, он сомневался, «не изобрел ли он велосипед».

И вот только-только его приняли в кандидаты, только стали утихать разговоры об этом, споры, полное неприятие или недоумение одних, уверенность других... К нам вдруг зашла соседка по дому — она захлопнула свою дверь, ей некуда было деваться, и она попросилась посидеть у нас.

Мы недавно жили в этой квартире, никого в доме еще не знали, ни с кем не были знакомы, но эта милая соседка как-то на улице подошла к нам — ей понравилась моя маленькая Сонька, вернее, не сама Соня, а ее имя, — оказалось, что у нашей соседки ее младшая любимая сестра Соня была неизлечимо больна... Потом у нас в семье отсчет времени так и значился: «Когда Гюзель захлопнула дверь».

Тогда все и аукнулось.

Поговорили о чем-то, я звала ее заходить еще, но она сказала грустно, что они с мужем буквально на днях уезжают совсем... Тогда многие уезжали, и мне всегда это было больно. Гюзель сказала, что уезжать они не хотят, но вынуждены, но почему вынуждены, она говорить не хотела, разговор прекратила и заторопилась уходить. Я не отставала: «Почему вынуждены?» Она сердито спросила, хоть слышала ли я, что Солженицына выслали? Но продолжать не стала и сказала, чтобы отделаться: «Я вам потом расскажу». Когда? Если через неделю они уедут? И почти вдогонку я ей сказала, что я у Вас училась. И тут все повернулось.

У нее лицо стало другим, и она сказала, что ее муж — Андрей Амальрик.

Я слышала о нем. Один знакомый рассказывал о гнусном фильме об Амальрике. Что там было? «Да все скрытой камерой, видно плохо, все смазано, тускло, но гнусно ужасно». И после этого фильма, а его показывали в каком-то институте, мой знакомый очень хотел прочесть, что же такого написал Амальрик, что за ним охотились со скрытой камерой.

Почему я тут же стала просить Гюзель познакомить Леву с Андреем? Почему я решила, что это необходимо для Левы? Не знаю. Знала — необходимо. Она отговаривалась занятостью, сборами, отъездом. Потом пообещала зайти вечером и ушла... Когда пришел Лева и я рассказала ему неожиданную новость, он страшно испугался. Сказал, что никуда не пойдет и ни с кем знакомиться не будет, что это провокация. Все подстроено. «Это не может быть, — говорил он каким-то угасшим голосом, — как ты не понимаешь, что это элементарная провокация». — «Для чего?» Я ревела, и было очень стыдно, я видела, что он действительно не пойдет, не сдвинется, так и будет сидеть и повторять, что это провокация. И свет в комнате был какой-то тусклый, и струганые доски лежали на полу — Лева собирался строить стеллаж в пустой пока квартире, и тоска такая была...

Почему я знала, что надо идти? Почему он так испугался? Заглянула заплаканная Гюзель.

Лева сказал мне: «Только на десять минут». И пошли. Мы пробыли долго.

Это была их тайная квартира — они ее наняли по случаю у каких-то незнакомых людей и приезжали сюда, только убедившись, что нет слежки. Здесь они были уверены, что к ним не нагрянут «с визитом», не поставят скрытую камеру.

Андрей никак не мог понять, почему Гюзель сказала мне, кто они такие. Почему? После их-то жизни, после такого опыта, после всего? Как она могла сказать совершенно незнакомым людям? Ей сильно попало. Но ведь она и не мне сказала, она просто откликнулась на Ваше имя.

Ни Амальрику, ни потом, когда перед их отъездом мы познакомились у них с Юрием Орловым — ни ему идеи Левы не показались так уж интересны. Или идеи эти были еще не продуманы до теперешней их ясности. Но дело было не в одобрении. Здесь оказался просто важен факт знакомства, факт общения — понимание того, что вот ведь есть люди, которые позволяют себе жить и думать свободно, независимо, — вот они, с ними можно поговорить, до них можно дотронуться. Но самое главное было то, что Амальрик подарил нам «Архипелаг ГУЛАГ». Так уж вверема случился этот подарок, который и совсем освободил Леву.

Вот так все аукнулось.

И Лева начал работать над «Технологией черного рынка». Теперь он додумал все до конца. Проблема была ясна, ясен меха-

низм «черного рынка», ясен механизм советской экономики. Но его еще долго мучило сомнение, не изобрел ли он велосипед, казалось тогда, что идеи эти должны носиться в воздухе и когда-то где-то должны быть уже высказаны. Но кому бы он ни показывал свою работу, об этом, главным, не говорили, предлагали свои какие-то идеи, которые казались им важнее, и советы давали от этих своих идей и словно не замечали проблем самой «Технологии...»

Муж очень нервничал. «Неужели непонятно? Не ясно?» А советы все шли и шли — от каждого свои — наболевшие, но никакого отношения к работе не имеющие. Он уже отчаялся получить адекватный отзыв... И вдруг он от кого-то узнал о Вашем очень добром, очень взволнованном отзыве о «Технологии черного рынка» — кому-то в частном письме пришел отзыв — это был самый счастливый день. Странно, но и здесь отзывы после этого изменились, словно всем что-то стало известно, — работу стали понимать и советов уже не давали.

Для меня это было неожиданно, но после «Технологии», только закончив работу, Лева принял таинство крещения.

Вот так все аукнулось... И спасибо, что б ы л о м н е д а н о быть на тех уроках астрономии, чтобы я просто помнила Вас и могла сказать, что помню.

Вот и все. Получилось так длинно, а я просто хотела сказать Вам, что помню Вас и что имя Ваше очень много значит в нашей жизни.

С уважением,
Наталья Экслер

— С Андреем мы всего пару раз встречались. Я в то время был достаточно зажатый человек, для меня это общение было немного напряженным. Потому что я в диссиденты не собирался. И не собирался заниматься никакой диссидентской деятельностью. Я писал, и я считаю, что это мое дело. Я писал и рад был, что люди это читают. Нет! Тогда, в момент встречи с Андреем, я только думал писать. Я что-то только писал из того, что хотел опубликовать в легальной печати. Я вообще тогда в «Молодом коммунисте» еще работал. Именно встреча с Амальриком изменила все. Во-первых, из виртуального некоего образа диссидент как-то материализовался, а во-вторых, он мне дал «Архипелаг ГУЛАГ», который совершенно перевернул мое представление о возможном, о том, что можно писать, а чего нельзя. Это же был внутренний цензор! И вот этот внутренний цензор был убит чтением «Архипелага ГУЛАГ». И вот тогда я стал писать. Вот как это было!

Андрей запомнился мне молодым, подтянутым, крепким, жизнерадостным, целеустремленным, очень-очень-очень вдохновляющим, я бы сказал, человеком. Совершенно не задавленным. Ведь вокруг было такое... Он был не советский человек, это было совершенно очевидно. Внутренне абсолютно свободный человек — и в поведении, и в речи, и в уверенности, при том что прошел



*Лев Тимофеев
с дочерью Катей
и женой Натальей.
Москва, 1984
© Из архива
Льва Тимофеева*

и через лагеря, через тюрьмы и преследования. Надо сказать, что для образа советского диссидента, если делать такой психологический портрет, я думаю, Амальрик был бы очень хорош. Абсолютно без какой-то претензии на сделку с обстоятельствами, с советской властью. Я думаю, если с кем-то еще его рядом ставить, такого типа людьми, то Владимир Буковский — такого же типа человек. Абсолютно внутренне свободный. Вот Буковскому выпало дожить до наших дней, а Амальрик, как вы знаете, трагически погиб.

— В документальной повести «Последний диссидент» вы вспоминаете, что Амальрик познакомил вас с другим важнейшим для диссидентского движения человеком, с Юрием Орловым. И, насколько я понимаю, это ваше с ними общение, пусть непродолжительное и эпизодическое, как раз совпало с важнейшим для диссидентского движения временем, как мы сейчас ретроспективно осознаем, — с моментом образования Московской Хельсинкской группы.

— Да, это была весна 1976 года. Конечно! Я не могу сказать, что с Юрием Орловым это было тогда полноценное знакомство, но да, я зашел к Амальрику, когда там был Юрий Орлов, мы поговорили, мы даже успели о чем-то поспорить, дружески так, какая-то легкая, быстрая полемика возникла, но не более того. Я там побыл, может быть, 15—20 минут. После этого я несколько лет... да нет, не несколько лет, а просто до лагеря, до ареста ни с кем из диссидентов и не виделся. Хохлушкин да, был, но я не могу сказать, что это диссидентское направление — Хохлушкин, Шафаревич...

— А как бы вы определили разницу между, условно говоря, Московской Хельсинкской группой и кругом Шафаревича?

— В свое время была такая публикация в каком-то американском журнале — о расстановке политических сил в российском

истеблишменте. Очень интересная статья, рассматривавшая разные сегменты этих сил, от военно-националистических до западно-либеральных. Так вот, диссиденты — они, скорее, были ориентированы на западные ценности: права человека, Хельсинкские соглашения... Это были для них своего рода документы-идеалы, которые если не всегда обсуждались, то, по крайней мере, имелись в виду как некая идеологическая основа движения. Именно правая направленность. Речь шла о праве в тех или иных аспектах и терминах.

В разговорах с Хохлушкиным и Шафаревичем совершенно иная была лексика, и речь шла о каких-то национальных ценностях, в иных документах — с прямым противопоставлением западным, с некоторым если не прямым указанием и декларацией антисемитизма, то, по крайней мере, с некоей подразумевавшейся шовинистической направленностью. Вот такая, я думаю, была разница. Недаром мое общение с Хохлушкиным быстро прекратилось, потому что мне это было совершенно не близко. Я-то из поздних, понимаете, я в конце 70-х общался с этими людьми, и уже диссидентское движение было в некотором смысле на излете, потому что в 1978 году пересажали людей из Хельсинкской группы и дальше стали сажать и высылать, так сказать, младодиссидентов типа Вани Ковалева, Леша Смирнова, Володи Тольца. Их уже пересажали. Это уже был излет диссидентского движения. И, начав писать что-то, я не имел никаких контактов и возможностей, а уж дальше и вовсе негде было взять... Ведь эти посадки действуют не только напрямую, они действуют и на окружающих — люди боятся начинают. Одна моя очень близкая в то время знакомая, прочитав «Технологию черного рынка» — а она была среди первых, кто ее прочитал, — сказала: «Немедленно уничтожь! Что ты, немедленно уничтожь!» Не факт, что такая же реакция была бы в середине 70-х, когда диссидентское движение было, так сказать, на подъеме и соответствующие настроения были среди московской интеллигенции. А вот к началу 80-х все эти аресты уже вселяли страх, конечно.

— Ваша публикационная деятельность на Западе совпала с последними, я бы сказал, диссидентско-гуманитарными московскими проектами вроде журнала «Поиски». Группа, связанная с «Поисками», никак на вас не выходила?

— Нет-нет, никак. Вы знаете, среди тех людей, с кем я тогда общался, — а вокруг «Молодого коммуниста» образовалась некая компания: Игорь Клямкин, Володя Глотов, Лен Карпинский, который приходил к нам, — происходило некоторое движение в сторону диссидентства. Диссидентами никто из них не стал — их вовремя прикрыли. С некоторыми из них мы до сих пор дружим, с Игорем Клямкиным мы потом книгу большую написали. Но тогда они мне были чужды, потому что я жуткий уже тогда был либерал, и антисоветчик, и антикоммунист, а они же все были левые коммунисты. И поэтому я по радио, конечно, слышал и о Глебе

Павловском, и о [Михаиле] Гефтере, но это все мне было не близко. Я в то время был по своей жизненной позиции, по своему темпераменту ну решительным антикоммунистом! Революционер и борец из меня никакой, но что касается идеологической непримиримости, она была и до сих пор остается. И, конечно, я считаю, что коммунистическая идеология — это просто... Ну, если уж говорить языком религиозных истин, то это просто абсолютное бесовство! Тут нет у меня никаких сомнений. А эти ребята были склонны искать где-то в этом направлении — в направлении социалистических идей, социальной справедливости, вот это мне совершенно чуждо. Потом, в годы перестройки, в начальные годы после освобождения [из лагеря] были какие-то контакты у меня с ними, но так мы и не поняли друг друга.

— **Лев Михайлович, выходит так, что настоящих диссидентов и в большом количестве вы увидели только в лагере.**

— Ну конечно, да. И в лагере тоже, знаете, особо видных людей не было. Были ребята очень мужественные, очень хорошо... Знаете, в тех кругах, диссидентских, важное понятие было — «он хорошо себя вел в лагере». Это очень важно было, потому что это говорило о личности, о каких-то личностных качествах. Так вот, я сидел с людьми, которые прекрасно вели себя в лагере в основном.

В лагере, где я сидел, до меня были люди, с которыми я лишь потом познакомился... Сергей Адамович Ковалев, с ним мы до сих пор в хороших отношениях и могли бы встретиться в лагере, но не встретились. До меня был там и Анатолий Щаранский, с которым я хотел бы, конечно, встретиться и пообщаться, но, увы, я с ним даже не знаком. Но были ребята замечательные! Знаете, когдаходишь в надзорную зону, чувствуешь себя несколько растерянным, потому что совершенно другая после тюрьмы картинка визуальная перед глазами: эти стриженные головы, серый антураж вокруг и в одежде. Ну, привыкаешь к этому, конечно, потом. Меня на первых порах очень поддержал опытный лагерник — Миша Кукобака. Замечательный человек! Из рабочих, решительный антисоветчик. Алексей Смирнов... Кирилл Попов, замечательный человек тоже, ну, много, много народу, не все живы, кого-то уже и нету.

— **По счастью, вам сидеть пришлось не очень долго...**

— Да, совсем недолго, чуть больше года я в лагере, собственно, провел. До этого я провел, по-моему, 9 месяцев, с марта по декабрь [1985 года], в «Лефортово».

— **А почему так долго длилось следствие? При том, что вы совершенно, я бы сказал, героически наотрез отказались участвовать и в следствии, и в суде.**

— (Смеется.) Может быть, поэтому и долго. А это очень смешно вообще — наблюдать за их потугами создать видимость правопорядка. Понимаете, они это абсолютно, изначально незаконное действие — арест, следствие по поводу опубликованных



*Проводы в эмиграцию о. Альфонсаса Сваринскаса. Слева направо: Альфонсас Сваринскас, Лев Тимофеев, Алексей Смирнов. Август 1988
© Мемориал*

текстов — пытались ввести в некоторое русло правового порядка, обставить это пусть демагогически, но с соблюдением некоторых норм типа видеозаписей допросов, обязательного протокола... Ну, молчит подследственный, но все равно мы должны задать ему все вопросы, пусть он молчит. И вот они полгода задавали вопросы, потом, на мое счастье, отправили меня на экспертизу в Институт Сербского, где я провел замечательный месяц, как в доме отдыха. Стояла солнечная погода, кормят лучше, чем в тюрьме, сосиски даже давали, выводили гулять... Ну и не тюремные все-таки условия. Моего собеседника по Институту Сербского, он тоже по 70-й статье шел, по-моему, так до лагеря и не довезли, не помню сейчас его фамилию. Потом я его в Америке, в Нью-Йорке, встретил, вспомнили наши беседы в психушке. В Сербского со мной замечательный человек был, который взорвал своего директора шахты. Он ему в кабинете подложил взрывное устройство, возмущенный коррупцией, но не его взорвал, мерзавец, а секретаршу — пришла секретарша, включила рефлектор отопительный, и он ей оторвал ноги, этот взрыв. Человек замечательно талантливый — взрывник этот! Замечательно талантливый художник, написал наши портреты там. Вот такие тюремные побасенки...

Огромное количество лагерных побасенок знает Сергей Адамович Ковалев. Я очень жалею, что я все подбивал его, да так и не подбил на то, чтобы мы вместе сделали книжку, где бы я его расколочил на такие побасенки. Как-то мы уже в новейшие времена были в лагере Пермь-36... Сейчас близкая дорога, час, наверное, езды от Перми, а тогда надо было ехать окружным путем, и ехали мы часа четыре с лишним. Какое-то мероприятие там было, кино снимали какое-то, не помню уже, где-то в конце 90-х годов. И Сережа в течение четырех часов рассказывал эти побасенки. Это, конечно, была бы потрясающе интересная книга! Незабываемые образы возникали его солагерников, совершенно замечательных.



Встреча солагерников по 36-й пермской зоне. Верхний ряд слева направо: Игорь Ивахненко, Наталья Экслер, Норик Григорян, о. Альфонсас Сваринскас, о. Георгий Эдельштейн, Виктор Московцев, Лев Тимофеев. Нижний ряд: Алексей Смирнов, Николай Муратов. В центре Кирилл Попов. Москва, август, 1988
© Из архива Николая Муратова

— Вы упомянули своего соседа по Институту Сербского, сказав, что его не довели до лагеря. А почему довели до лагеря вас? Хотя это уже был 1985 год. Что вообще послужило стимулом к вашему аресту и этому громкому делу, когда уже явно все шло к развалу и распаду системы?

— А громкого дела не было. Здесь никто не знал.

— Вы были человеком, который не принимал участия в системной диссидентской деятельности, вы были просто писателем, а КГБ с таким остервенением набросился на человека, который, в общем, писал только тексты. В чем была причина?

— Ну, тоже, знаете, тексты стали широко известны, их стали читать на радио, и это самое главное для них было. Знаете, когда включают радио сквозь глушилку и по «Радио Свобода» читают одну книгу Тимофеева, по «Голосу Америки» читают другую книгу Тимофеева, а там ведь читали каждый день просто — в определенный час, по полчаса или по 40 минут, и книги явно антисоветские... Ну, это для них явно, я-то не считаю, что сами книги уж такие антисоветские, скорее это социология такая политическая. А что-то и Бёллетристика, «Ловушка», скажем. Ну что вы — оставить такого человека на свободе было невозможно! Но они и так уже поздно чухнулись, потому что в самиздате стали ходить мои работы году в 1980-м, наверное, или в 1981-м, и на Западе первые издания, а меня арестовали только в 1985-м. Пять лет все-таки достаточно большой срок. Мой следователь придурялся: «О, мы вас долго вычисляли, искали...» Но это все бредятина, конечно! Ничего не вычисляли, не искали...

— Обычно в таких случаях КГБ прибегал сначала к превентивным мерам — к вызову на беседу, предупреждению, а потом уже к аресту, если человек не менял свою линию поведения. С вами же никаких контактов до ареста не было?



*Лев Тимофеев
с семьей после
освобождения
из лагеря, Москва,
1987*

© Из архива
Льва Тимофеева

— Нет, ничего не было. Мне кажется, что они держали меня на крючке. Есть у меня некоторые соображения, каким образом они получали информацию о моей жизни, о моих намерениях. Это связано с некоторыми моими знакомыми, друзьями, и мне об этом не очень хочется говорить.

— **Вы вернулись в Москву после «горбачевской» амнистии и стали одним из участников того краткого периода расцвета неподцензурной печати, до появления уже независимой печати институциональной, советской и постсоветской. Этот период между 1987 и 1989 годами, который был ознаменован расцветом самиздата, был связан и с вашим журналом «Референдум», и с вашим участием в журнале Сергея Григорьянца «Гласность»...**

— Это как раз я совсем недавно и довольно подробно описал в том, что я сделал год назад: повесть в документах «Последний диссидент». Там описаны мотивы и этих общественных движений, и движений моих личных. Возникла ситуация, когда это стало возможно. Наверное, мне Бог дал такой общественный темперамент, что я чувствую всегда, что надо было бы сейчас делать в смысле достижения некоторой общественной гармонии. Гармонии не в положительном смысле, а в смысле исторической музыки момента: что надо делать для того, чтобы этот исторический момент был гармоничен. Вот в то время надо было говорить. Ну, говорить надо во все времена, но в то время была возможность и была необходимость говорить. После многих лет неразрешенного, после многих лет запрета возникла возможность широкого обращения. Сейчас никто не поймет этих слов, потому что сейчас хоть кричи. Вот очень точно в свое время Александр Исаевич Солженицын сказал о разнице в смысле говорения между Советским Союзом и Западом. Он сказал, что в России, в Советском Союзе вязкая среда, каждое движение, каждое слово, как вязкое тесто, тянется, не дает

широкого движения. А на Западе хоть пропеллером крутись — и никто тебя не увидит и не услышит. Вот сейчас хоть пропеллером крутись — услышат тебя десять человек. В сетях, конечно, разойдется, но эффекта не имеет или имеет значительно меньше, чем те же тексты, которые ходили в самиздате в считанных экземплярах, потом передавались на радио...

С тех времен, когда я взял в руки томик «Архипелага», на меня ничто не произвело такого впечатления, ничто не имело такого влияния на мое сознание. Я думаю, что вот это ощущение необходимости говорения — оно и возникло в начале горбачевской перестройки, когда была декларирована гласность, а гласности не было. Но я всегда считался профессиональным литератором, и если моя профессия — писать, и возникает возможность писать, и возникает возможность говорить — ну, вот надо было это сделать. Хотя никто не отменял ни статей Уголовного кодекса, ни опасности КГБ, который ходил за нами как приклеенный, и все эти прослушки, проглядки — все это работало на полную мощность, но это не важно было. Начиная это дело, мы прекрасно... по крайней мере, когда мы с Григорьянцем начинали, мы прекрасно понимали, что если мы выпустим три номера, то это вообще колоссально. Да хоть один, а три — это вообще классно! А если пять, так это победа просто! Пока не загадывали, что и «Гласность» будет таким успешным проектом. И потом, начиная «Референдум», я тоже думал, что вот выпущу три-пять номеров — и это прецедент, этого не было никогда, прецедент важный. И то, что потом удалось 37 номеров «Референдума» выпустить и что потом тиражи были в тысячи экземпляров, — это говорит о том, что мы в правильном направлении начали это делать. А «Референдум» я прекратил, когда вообще был расцвет свободной печати, скажем так. Просто я никогда не собирался издавать свой широкомасштабный журнал, это просто была попытка воспользоваться ситуацией, попытка реализовать свободу слова. А когда эта свобода слова уже была реализована, я занялся другими делами.

— Вопрос, связанный с отношением диссидентов, условно говоря, к области «политического». Многие виднейшие деятели диссидентского движения определяют его не как политическое движение, а как движение этическое. С этим связано и то, что очень мало представителей диссидентства как-то реализовались в политической жизни постсоветской России. Какова была ваша позиция в этом противостоянии политики и этики и каково было отношение к деятельному участию в госструктурах новой России?

— Я не знаю, мне это никогда не было интересно. Знаете, для меня важна и тогда, и сейчас прежде всего декларация неучастия. В значительной степени то, что я писал, это... как сказать... Вот я начал писать, скажем, «Технологию черного рынка» совсем не потому, что я хотел изменить систему. Я хотел — и меня это

тревожило, мучило — я хотел предъявить доминирующую тогда ложь, я хотел сказать, что это не так, как вы говорите, на самом деле это неправда — то, что вы говорите, а правда вот это. Вот она, правда! Это я всегда видел своей задачей, когда садился писать такого рода вещи. У Бёллетристики немножко иная задача, а это публицистика. Но когда человек занимает такую позицию, это совершенно не значит, что он говорит: дайте мне бразды правления, и я покажу, как надо. У меня только один раз в жизни был такой случай. Когда-то я написал, еще в своей журналистской молодой практике, какой-то очерк для «Нового мира», что ли, с неприглядными картинками сельской жизни, а я тогда проживал в Шацком районе Рязанской губернии, у меня дом даже там был в то время, ну, такая развалуха деревенская, и меня попросили зайти к секретарю райкома. И секретарь райкома, симпатичный, на первый взгляд, мужик, сказал: «Ну вот вы пишете, а где взять председателей? Вот вы пойдете председателем?» Я говорю: «А чего... Давайте!» Он: «Пишите заявление!» И я написал заявление: «Прошу назначить меня директором совхоза» (или «председателем колхоза», не помню). Это, конечно, никакого продолжения не имело, но это единственный момент был, когда я посягнул на административную должность. Неинтересно это мне, неинтересно было. Знаете, когда человек в жизни понимает, что его дело — писать, у него как-то определенный взгляд на мир. Я думаю, что для многих диссидентов это было так. По крайней мере, мы одно время очень дружили с Ларисой Иосифовной Богораз, в последние годы ее жизни; вот какая там административная или политическая задача? Это был человек с обостренным чувством справедливости, она не могла мириться с ложью! Обостренное чувство правды даже, а не справедливости. Потому что справедливость — это понятие не весьма четкое. А если ты понимаешь, что есть ложь, что есть демагогия, что есть корыстные, пропагандистские формулы, то просто душа восстает против этого, хочется сказать: вранье все это! И — не хочу я в этом участвовать — это тоже очень важно. Знаете, декларация неучастия — это очень важная декларация!



*Лев Тимофеев,
Москва, 1989
© Из архива
Льва Тимофеева*

© Станислав Львовский



АЛЕКСАНДР ДАНИЭЛЬ:

«Без диссидентов политика стала мелкой, как лужа»

— Как вы вошли в диссидентский круг? Ко времени суда над Снявским и Даниэлем вам было всего 15 лет.

— Даже 15 еще не было.

— Было ли это событие рубежным для вашего самоопределения? Или вы к этому времени были уже в этом смысле человеком сформировавшимся? Или что-то потом определило дальнейшую вашу биографию?

— Да какой же может быть сформировавшийся человек в 14 лет? Конечно, нет! Но если вы спрашиваете о моих взглядах на то, что тогда называли странным словосочетанием «советская действительность»...

— Да, чем для вас тогда был этот суд? Было ли это для вас неожиданным?

— Неожиданным для меня это точно не было. Потому что за год до этого, в январе 1965 года, отец мне рассказал о своем подпольном писательстве и дал прочесть свои повести и рассказы. Я думаю, он это сделал совершенно сознательно, потому что понимал, что дело идет к аресту, и хотел, чтобы это не было для меня полной неожиданностью. И неожиданностью это действительно для меня не стало.

А что касается взглядов на окружающее, они у меня как-то сами собой сформировались, постепенно. В основном из чтения раз-



Александр
Даниэль, 1974
© Мемориал

Александр Юльевич Даниэль (11 марта 1951, Москва) — математик, историк, сын Юлия Даниэля и Ларисы Богораз. В 1968—1989 годах работал программистом в различных научных учреждениях. В 1978 году окончил математический факультет МГПИ.

В 1970-х и первой половине 1980-х неофициальным образом занимался информационной работой в правозащитном движении, а также проблемами советской истории: в 1973—1980 годах участвовал в выпуске «Хроники текущих событий», в 1976—1981 годах был членом редакции неподцензурного исторического сборника «Память», посвященного проблемам советской истории.

С 1989 года — член Рабочей коллегии (правления) общества «Мемориал». С 1990 года — сотрудник НИИПЦ «Мемориал» (Москва), член Совета НИИПЦ. В 1990—2009 годах — руководитель исследовательской программы НИИПЦ «Мемориал» по теме «История инакомыслия в СССР. 1950—1980-е гг.». С 2009 года — сотрудник петербургского НИЦ «Мемориал», работает в проекте «Виртуальный музей ГУЛага». Живет в Петербурге.

ного рода. Не было такого, что меня кто-то целенаправленно воспитывал. Родители вообще старались не навязывать мне свои представления о мире. Так что я — первоначально вполне советский ребенок, очень горячо и истово относившийся ко всякой идейной чепухе, которой нас пичкали в школе, — постепенно от этой чепухи избавлялся сам собою. Прежде всего, благодаря чтению и каким-то — наверное, довольно поверхностным — размышлениям над прочитанным. Даже не размышления это были, наверное, а постепенное осознание того, что вся эта бездарная официальная риторика несовместима, как бы это сказать, «по звуку» с настоящей культурой, с любимыми стихами, например, — и не только с Бродским или Пастернаком (я их тогда уже начинал читать), но даже с Маяковским и Багрицким.

Ну, и я не мог не слышать разные разговоры, которые вели между собой взрослые. Кругом общения моих родителей была московская интеллигенция, гуманитарная и научно-техническая. В те времена практически все в этой среде были настроены либерально и оппозиционно. Конечно, что-то я слышал, какие-то суждения, и как-то в себе все это переваривал.

А диссидентского никакого круга еще не было в природе. По крайней мере, в этом поколении, в поколении моих родителей. Более молодые люди, люди послевоенного поколения, уже в какие-то диссидентские стайки сбивались: «Маяковка», «Синтаксис», СМОГ и так далее. Кое с кем из этих стаек мои родители и их друзья общались, но довольно шапочно. Сами они относились по большей части к предыдущему поколению, войну пережили уже во вполне сознательном возрасте, многие сами успели побывать на фронте, кое-кто после войны успел и посидеть, у кого-то родители сидели. Их молодость пришлось на послевоенный маразм, на постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», на сессию ВАСХНИЛ, на борьбу с генетикой, кибернетикой, космополитизмом и театральными критиками, на «дело врачей». Так что XX съезд ничего нового им не открыл, в отличие от следующего поколения, которому он «раскрыл глаза». А старшие «диссидентами» становились постепенно, в ходе разных событий: история с Пастернаком, дело Бродского, скандал в Манеже и так далее. Все читали самиздат, все слушали Окуджаву, Высоцкого, Галича. А кого-то делала диссидентом сама советская власть, как моего отца, например, когда его посадили. Соответственно его и Андрея Синявского друзья и знакомые — а это был очень широкий круг, мой отец был весьма общительным человеком — почти поголовно превратились в диссидентов; то есть начинали проявлять свою нелюбовь к советской власти не только в суждениях, но и в поступках. Дело Синявского и Даниэля — арест, следствие, суд — стало мощнейшим толчком к консолидации многих разных кружков и компаний в единую диссидентскую среду. Я подростком оказался внутри этого процесса консолидации — в том смысле, что я наблюдал его изну-

три. Просто наш дом после ареста отца стал одним из центров этой консолидации, и я в этой каше варился.

— Когда вы вошли в этот круг уже не на правах молодого человека — свидетеля, а на правах участника?

— Ну опять же: что такое участник? Я ездил на свидания к отцу в лагерь — и, стало быть, участвовал в обмене информацией между мордовскими зонами и Москвой, особенно когда мать тоже посадили [после участия в демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года] и я один ездил на свидания. Так что в каком-то смысле я уже в конце шестидесятых немножко участвовал. Потом, после 1970-го, когда отец уже вышел на свободу, я некоторое время все равно участвовал в этом информационном обмене: я и несколько других родственников и друзей заключенных, Арина Гинзбург, например, — мы сидели на каналах связи. Но это нельзя все-таки назвать систематической работой. Систематическая работа началась позднее — в 1973 году, летом. Это «Хроника [текущих событий]».

— Которая к тому времени уже выходила несколько лет.

То есть вы подключились к ее работе...

— «Хроника» выходила с весны 1968-го. И опять же, поскольку я был знаком и дружил с Наташей Горбаневской, которая была первым издателем «Хроники», иногда я что-нибудь ей приволакивал, какую-то информацию для «Хроники». Тем более что у Натальи была такая манера. Я прихожу, что-то ей рассказываю: «Наташ, по-моему, это для «Хроники» подойдет». Она говорит: «А что ты, неграмотный, что ли? Сядь и напиши!» Я сел и писал. И несколько написал таких сообщений: может, пять, может, десять. Это участие или не участие? Таких «корреспондентов по случаю» у «Хроники» в то время десятки были. Нет, я все-таки не могу назвать это участием.

А вот летом 1973-го, когда «Хроника» временно прекратила выходить (последний номер до перерыва вышел в ноябре 1972 года), как-то... Надо сказать, что я к тому времени «Хронику» даже и не всегда читал, не все номера и не подряд. Но вот она перестала выходить — и мне и многим таким, как я, стало как-то тоскливо, неуютно, что нет такого издания. И один мой близкий друг, Марик Гельштейн (сейчас его давно уже нет в живых), мне говорит: «А вот есть компания, которая готова продолжить это делать и хочет связаться с теми людьми, которые делали раньше «Хронику», чтобы испросить на это, что называется, разрешения и благословения. Можешь ты как-то этот вопрос выяснить?» Я пришел к Тане Великановой и говорю: так и так... Она: «Ну попробуйте, ребята. В самом деле, пора «Хронику» возобновить». И передала мне материалы, которые скопились за время паузы. Это был август или сентябрь. Тут выяснилось, что насчет компании были пустые разговоры и что дело сводится к одному Марику. И мы с ним вдвоем начали делать сразу три выпуска — 28-й, 29-й и 30-й. Ретроспективно, как бы заполняя паузу. Делали мы их очень долго, потому что были еще неопытные и работа шла медленно. Но где-то примерно к февралю 1974-го «рыбы» этих выпусков были готовы, и я их отдал Татьяне. Татьяна, как я потом узнал, передала их Сергею



Александр
и Юлий Даниэли,
1972
© Мемориал

Ковалеву для доведения до ума. Потому что, повторяю, мы были неопытные и это были довольно сырые «рыбы». Так что о возобновлении «Хроники» и выходе трех «ретроспективных» выпусков было объявлено только в начале мая 1974-го. И с тех пор я некоторое время активно работал в этом бюллетене.

— **Фон этих событий, лето 1973-го — февраль 1974-го, — судьбоносные для диссидентского движения, вообще для новейшей русской истории времена. Конец 1973-го — кризис, связанный с процессом Якира—Красина. Февраль 1974-го — высылка Солженицына. Было ли как-то связано ваше вхождение в «Хронику» с этим фоном?**

— Ну да. Было ощущение именно что кризиса, и, стало быть, надо было его преодолеть, как-то из него выходить. Это и были наши мотивации. Я, на самом деле, не рвался быть участником чего-то, но так получилось.

— **Вы назвали три номера. А потом вы отошли от «Хроники»?**

— Нет, еще некоторое время, несколько лет, я работал в кругу людей, которые ее готовили и выпускали.

— **Кто составлял этот круг в те годы?**

— Сергей Ковалев, Таня Великанова, Саша Лавут — это те, кого я знал. (Я знал не всех: Татьяна была прекрасным организатором, и у нее было несколько команд.) Позже, году, мне кажется, в 1977-м, осенью, Таня познакомила меня с Ленею Вулем, и года три-четыре я работал главным образом вместе с ним. Ну, мой друг Марк Гельштейн тоже продолжал участвовать в работе над текстами «Хроники» вплоть до своей смерти в 1979 году. Кроме того, несколько моих близких друзей тоже подключилось к работе: кто эпизодически, а кто и систематически. Наташа Кравченко, подруга моей первой жены; Юра Ефремов (ну, на самом деле он еще до меня иногда собирал для «Хроники» кое-какую информацию), Андрей Цатурян и Гена Лубяницкий — мои друзья еще со

школы. Я окончил математическую школу, это известная в Москве «Вторая школа», и круг моего общения в основном был связан с моими бывшими однокашниками по этой школе (Марик, кстати, был выпускником этой же школы, только более раннего выпуска). Они все — ну, может, за исключением Наташи Кравченко — в своем публичном поведении не были диссидентами в том смысле, который сейчас этому слову придают: не подписывали петиций, не участвовали в протестных акциях, не тусовались в диссидентских салонах. Они, скорее, относились к «вмещающей социальной среде», к слою социально-культурной поддержки диссидентов. Думаю, что у них были (и есть) куда более значимые профессиональные интересы, все они были успешны в своих профессиональных сферах: Андрей Цатурян — ученый-биолог, уже тогда очень известный; Юра — поэт, переводчик с литовского, он и для «Хроники» делал главным образом обзоры литовских самиздатских журналов; Наташа — программист; Геннадий — экономист-нефтяник. Но в «Хронике» они готовы были работать — и работали.

— **Вы наверняка с юных лет были объектом наблюдения органов. Чувствовали ли вы это внимание к себе? Были ли у вас какие-то столкновения с КГБ?**

— Тут есть несколько забавных историй, имеющих вполне объективное документальное подтверждение. Да, внимание определенное было. Я вот сейчас, изучая разные докладные информационные записки КГБ в ЦК 1967—1968 годов, иногда с изумлением натываюсь на свою фамилию там — еще абсолютного молокососа, школьника. Они считали зачем-то нужным меня тоже упоминать в этих своих донесениях «наверх» в ЦК: что десятиклассник Даниэль сказал в такой-то компании, куда пошел... (Смеется.) Я был поражен этим фактом. Еще была забавная история, как я в 1968-м поступал в университет в городе Тарту. Я там все замечательно сдал, как ни странно, хотя я шалопаем был изрядным, но почему-то сдал экзамены очень хорошо...

Я на физмат поступал. Но, естественно, перезнакомился со всей публикой, которая там на кафедре русской филологии была, со всей «тартуской школой» — и с молодежью вокруг этой школы, и с солидными людьми, с Юрием Михайловичем [Лотманом] познакомился. Короче, вроде как поступил, а потом выяснилось, что не поступил. И была устроена изящная очень операция, в результате которой я туда не попал. В общих чертах примерно так. На русское отделение физмата было 15 мест. Я шел по списку вторым, еще четверо были вне конкурса. Значит, я шел шестым, если считать этих внеконкурсников, и вторым по конкурсу. Вдруг объявили, что сокращают количество мест на русском отделении до пяти. А я — шестой. Ну, я погоревал-погоревал и документы забрал. А как только я забрал, они восстановили прежнее количество. И оказалось, что они предупредили других абитуриентов не торопиться забирать документы. И никто не забрал, и все, кто должен был поступить, поступили. А я забрал — и остался за бортом. Согласитесь, изящно

сделано! Я потом по этому поводу ходил к ректору объясняться, но поезд уже ушел. А ректор мне почти прямо подтвердил, что это от Комитета госбезопасности исходило.

В итоге несколько лет спустя я поступил на вечернее отделение МГПИ, матфак, и его окончил. В 1978-м окончил.

Но! При том что были такие вот истории, при том что мелькало мое имя в донесениях КГБ в ЦК, при том что обыски в доме время от времени проводили — оказывается, что дело оперативного учета на меня было заведено только в 1977 году! А «Хроникой» я, между прочим, занимался, как уже говорил, с 1973-го. Об этом — о том, что ДОУ на меня завели на четыре года позднее, чем следовало бы, — я узнал уже после 1991-го. Что бы это значило? Может быть, что они тоже спустя рукава работали? Ну не суперосведомленная контора и не суперэффективная. Да и ладно, я не жалуясь (*смеется*).

— К 1978 году вы уже принимали участие в неофициальных начинаниях исторического плана. Я имею в виду сборники «Память», которые были уникальными на фоне тогдашнего самиздата, потому что это едва ли не единственное предприятие, связанное с академической, насколько это было возможно, наукой, восстановлением исторической памяти, с серьезными историческими исследованиями, и одновременно начинание неподцензурное. То есть попытка возрождения неподцензурной исторической науки. И, насколько я понимаю, вы играли там довольно важную роль.

— Ну, какую-то роль играл. Но далеко не самую важную. Были люди, которые гораздо больше делали.

— Вы, в частности, писали предисловие «От редакции» к первому выпуску.

— Было дело. Да, я писал...

— То есть были в каком-то смысле идеологом издания.

— Да нет, конечно. Мы же все тезисы заранее проговорили с коллегами: с Арсением Рогинским и, кажется, с Сережей Дедюлиным. Я составил черновик текста, потом мы с Дедюлиным его правили, а окончательный текст мы с Арсением делали.

— Расскажите, пожалуйста, о «Памяти» подробнее!

— Вы знаете, я совсем недавно прочел очень интересную работу омского исследователя Антона Свешникова, посвященную историографии «Памяти» (она пока что не опубликована, существует только в рукописи). Это большая, хорошо фундированная работа. И сейчас я немножко побаиваюсь отвечать на ваш вопрос, потому что уже не уверен, что я сам по себе помню, а что вычитал про себя и своих друзей у Свешникова (*смеется*). Ну, я могу просто назвать имена людей, круг людей, которые это придумали и этим в основном и занимались. Я все-таки был чуть-чуть не в центре этого. Это, прежде всего, Арсений Рогинский, Александр Добкин и Сергей Дедюлин — ленинградцы. Еще два ленинградца — Валерий Сажин, библиограф из Публички, и Феликс Перченок, школьный учитель. Московская часть редакции — это я, Алексей Коротаев, Дмитрий

Зубарев, Костя Поповский (сын писателя Марка Поповского), это Лариса Иосифовна Богораз, моя мать, которая тоже активно участвовала в общей работе. Наверняка ведь кого-нибудь забыл... Ах да, Борис Равдин из Риги был близок к редакции. Ну и Михаил Яковлевич Гейфтер, конечно; он непосредственно в работе не участвовал, но был, как и Боря Равдин (и на самом деле как и многие другие авторы «Памяти» — Давид Миронович Бацер, Вениамин Иофе, Яков Соломонович Лурье, Раиса Борисовна Лерт, еще целый ряд людей), что называется, в «референтной группе».

— Как вам, человеку с негуманитарным образованием, стала близка историческая тематика?

— У меня всегда были гуманитарные интересы. И я бы, наверное, стал гуманитарием, если бы не уверенность — такая наивная юношеская максималистская уверенность, — что профессиональному гуманитарии в советской гуманитарной науке делать нечего — разве что в лингвистике. Я был довольно начитанный молодой человек, читал, в частности, и всякого рода специальные труды по истории, филологии и так далее. Конечно, у меня не было важных профессиональных умений: навыков архивной работы, привычки работать в библиотеке. Честно говоря, я этих навыков так и не обрел в нужном объеме. И их отсутствие до сих пор остро чувствую. А когда я стал работать в «Памяти», то попал в компанию людей, гораздо более профессионально продвинутых, чем я. Хотя надо сказать, что из названных мною людей — кто, собственно, был профессиональным историком? Только Рогинский! И то у него образование филологическое, а не историческое. Но это школа Лотмана, она замечательный исторический бэкграунд давала. Ну и еще Сажин — все-таки библиограф. А остальные — технари по образованию, как и я.

— Отличительной чертой «Памяти» было то, что и современный вам период тоже включался в зону описания. В частности, там публиковались воспоминания Игоря Мельчука о контактах с КГБ, обсуждение «Моих показаний» Анатолия Марченко. То есть уже тогда вы осознавали, что этот период истории России, связанный с диссидентским движением, потребует своего описания и уже нужно собирать для этого материалы.

— Да, совершенно верно. И были люди среди нас, активно этим занимавшиеся. Знаменитый архив современного самиздата, который целенаправленно собирал Сергей Дедюлин... ну, этим занимался не только Дедюлин: Саша Добкин ему в этом активно помогал. Ну и мы все понемножку свою лепту туда таскали. Было совершенно четкое осознание того, что это для будущего, что эта коллекция в будущем станет историческим архивом. Сережа начал ее собирать, по-моему, еще до того, как началась «Память». Забавно, что с какого-то момента некоторые московские самиздатские авторы, составители альманахов и сборников, из числа тех, что были немножко в курсе дела, начали считать для себя обязательным передавать «для ленинградцев» (Дедюлина как такового в Москве до поры до времени не очень знали) один экземпляр всего, что делалось. Это стало

как когда-то сдача обязательного экземпляра в Ленинку. В частности, «Хроника» с середины 70-х отдавала в дедюлинскую коллекцию один экземпляр из так называемой нулевой закладки, т.е. из первой распечатки рукописи.

— **Это пропало или сохранилось?**

— Сохранилось. Это теперь в «Мемориале». То, что уцелело от дедюлинского архива после обыска у него в марте 1979-го, было Добкиным и еще рядом людей сохранено и впоследствии передано в Москву, в «Мемориал». Сейчас остатки дедюлинского архива хранятся в «Мемориале» — это так называемый Ленинградский фонд, одна из наиболее интересных самиздатских архивных коллекций, какие я знаю.

И еще относительно взаимосвязи между историей и современностью: мы ведь даже сделали некий символический жест — посвятили первый выпуск «Памяти» двум сотрудникам «Хроники текущих событий», Сергею Ковалеву и Габриэлю Суперфину. Как было сказано — в знак признания их исключительных заслуг в деле сбора и сохранения фактов прошлого и настоящего.

— **Оба они были в это время в заключении.**

— Да, оба они были в это время в заключении. Это было, конечно, знаковое посвящение.

А в третьем, если не ошибаюсь, выпуске «Памяти» был текст от редакции — поздравление «Хронике текущих событий» с 10-летием существования, это был 1978 год. Там, в этом тексте, в неявном, правда, виде была высказана мысль о взаимодополнительности наших двух изданий: мол, поскольку Соппротивление 1968—1978 гг. тоже становится историей, то «Хроника» — это еще и будущий исторический источник. В некотором смысле «Хроника» — это будущее «Памяти». А Арсений еще проще говорил, безо всякой метафоррики: «Хроника» занимается документированием того, что было после 1968-го, а «Память» — документированием того, что было до «Хроники».

— **То есть водораздел проходил по 1968 году, получается.**

— Да, именно так. И, скажем, дело «Колокола» в 1965 году в Ленинграде — это еще епархия «Памяти»; поэтому уже в первом выпуске была статья Вениамина Иофе об этом деле. Все, что до 1968-го, — наше, так мы решили.

— **В какой момент стало ясно, что период после 1968-го уже стал достоянием истории? В 1991-м? Может быть, позже или, наоборот, раньше?**

— Мне кажется, что даже немножко раньше, не в 1991-м. Еще в 1989-м возникла идея, что «Мемориал» будет заниматься, в частности, историей диссидентов, и уже в 1990-м я начал собирать материалы диссидентов и другой самиздат для архивной коллекции «Мемориала». Людмила Алексеева подарила нам свой архив, Кронид Любарский подарил свой. Про «Ленинградский архив» я уже говорил. В общем, на исходе 1991 года у нас была уже довольно приличная коллекция по этой тематике. Сейчас

она — одна из самых полных в мире и, во всяком случае, самая обширная на постсоветском пространстве.

— **Конец 1991 года, если я правильно понимаю, ознаменовался уникальной возможностью, недолго продлившейся — тоже интересно, насколько недолго, — знакомства с архивами КГБ. Можно ли рассказать о том, насколько длительной и глубокой была эта возможность?**

— Конечно, для того чтобы получить обстоятельный ответ на этот вопрос, вы должны задать его не мне, а либо Арсению Рогинскому, либо Никите Петрову, либо Никите Охотину. Я немножко принимал участие в этом знакомстве с архивами КГБ, но совсем немножко. И, по моему ощущению, рубежным здесь был 1994 год, когда процесс пошел назад, когда все сначала замедлялось, замедлялось, замедлялось, потом вовсе остановилось, а потом пошло вспять. Вот замедление этого процесса — это 1994 год. Был придуман очень неплохой и продуманный регламент доступа, который был поначалу принят, а потом отменен. В «Источнике» за 1993 год, не помню, за какой месяц, этот регламент был даже опубликован. А дальше — больше, и вот дошло до нынешней ситуации, когда доступ в архивы стал крайне затрудненным.

— **У меня такое ощущение, что возможность свободного доступа в архивы, включая дела оперативной разработки, существовала буквально чуть ли не несколько месяцев на рубеже 1991—1992 годов.**

— Оперативная документация формально была закрыта более или менее всегда. Был, конечно, момент, когда вся эта публика в ГБ приняла нас за новое начальство, всячески заискивала и была крайне предупредительна. Но это и правда было недолго, несколько месяцев.

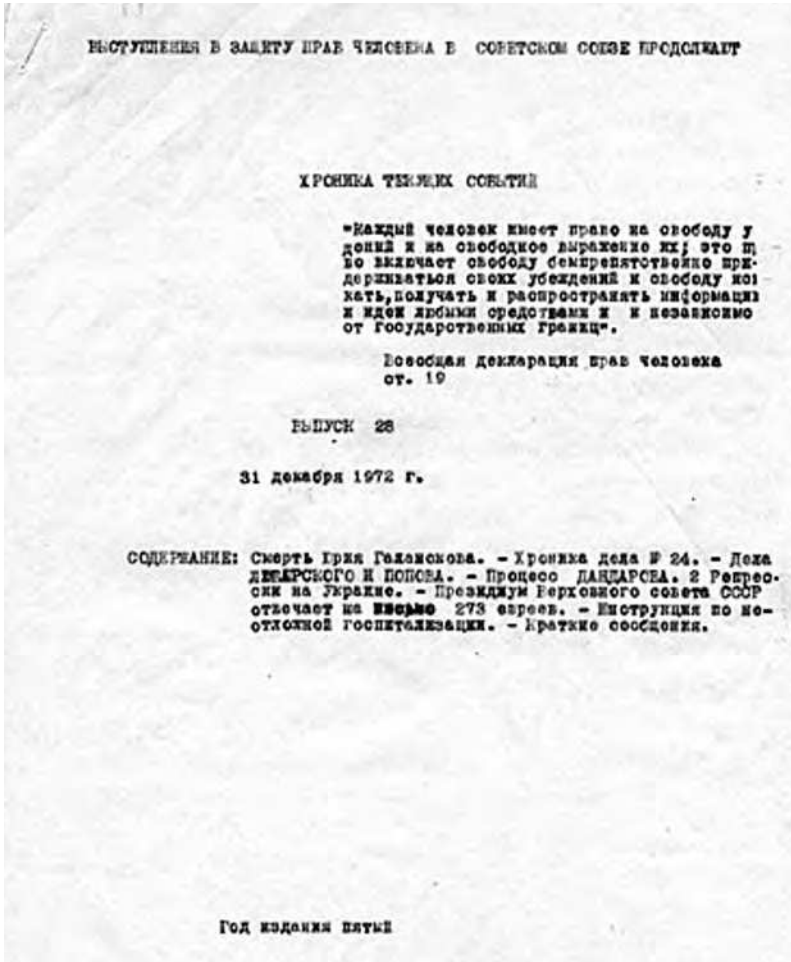
— **И насколько эта возможность открыла действительно уникальные вещи, которые теперь невозполнимы и до этого были недоступны? Другими словами, насколько этой свободой успели воспользоваться?**

— Должен сказать, что вообще-то я с большим сомнением отношусь к ценности оперативной документации для историка. У меня имеется несколько соображений на этот счет, и главное из них следующее: те картинки, которые возникают из дел оперативного учета, из донесений агентов, из прослушек, из отчетов наружного наблюдения и прочего, — это очень специальный взгляд на события. Это полицейский взгляд, взгляд через замочную скважину. Может быть, какую-то мелкую фактографию можно восстановить по этим источникам, но, ей-богу, не принципиальную. Гораздо важнее, конечно, нормативистика, то есть их приказы, методички и тому подобное. Вот это действительно важно и ценно. А что там агент Икс доносит про объект Игрек — это не очень интересно. Или что они услышали с помощью «литерного мероприятия С» — ну услышали они что-то там на своей довольно скверной технике. По-моему, это не самое интересное.

— **Но это же возможность, довольно уникальная, документирования, если это, допустим, подслушка, каких-то...**



© Мемориал



— На их языке — «литерное мероприятие С».

— ...да, каких-то разговоров. Как, например, до нас бы дошли, если брать аналогию, реальные высказывания и разговоры в писательской среде, если бы они не были зафиксированы в донесениях сексотов 1930-х? Они бы пропали. То есть это все-таки имеет большую ценность, документирующую.

— Исходные материалы еще могут быть интересными. Но в их документах ведь главным образом пересказы: кто-то что-то кому-то докладывает о том, что кто-то третий сказал. Сам выбор того, что они со своей полицейской точки зрения считали наиболее существенным, вносит серьезные искажения. Это полицейская аберрация реальности. Бывают, правда, аналитические записки, обзоры, отчеты — уже не агентов, а самих чекистов; среди них попадаются довольно интересные.

— Интересно было бы поговорить о том, насколько открывшийся доступ к этим лубянским документам изменил ва-

ЧИТАТЕЛЯМ «ХРОНИКИ»

В этом выпуске помещены материалы полес, чем годичной давности, что, естественно, оказалось как на их отборе так и на полните. Причиной приостановления издания «Хроники» являлось неоднократные и недвусмысленные угрозы органов КГБ отбечать на каждый новый выпуск «Хроники» новыми арестами и арестами людей, подозреваемых КГБ в издании или распространении новых или прошлых выпусков /см. материалы настоящего последующего выпусков о «дело» № 24/. Препрода нравственной ситуации, в которой оказались люди, поставленные перед тяжёлой необходимостью принимать решения не только за свои, но нуждаются в пояснениях. Но и дальнейшее молчание означало бы поддержку — пусть кобевнууд и гаосевнууд — «тактики заложников», несоместной с правам, моралью и достоинством человека. Поэтому Хроника возобновляет публикацию материалов, стремясь сохранить направление и стиль прежних выпусков.

Из Хроники текущих событий
№ 28. Декабрь 1972
© Мемориал

ше представление о диссидентском движении, его взаимоотношениях с властью, о внутренних проблемах. Заставил ли он по-другому взглянуть на него? Насколько эта информация изменила ваш взгляд?

— Я об этом особенно не задумывался, надо подумать. С ходу могу сказать... Может быть, я отличаюсь особенной ригидностью мышления, но ощущение такое, что не очень изменила, не очень. Что изменилось действительно, так это мое представление о них, о руководителях и идеологах КГБ. Но это тема отдельного разговора.

Наиболее интересный результат знакомства с архивами — это знакомство с их взглядами на это самое движение. Самый интересный вывод, который я для себя сделал из этих документов, — это что у них так и не сложилось системного понимания того, что такое диссидентское движение. Как при возникновении диссидентской активности в Советском Союзе, как бы внезапно и неожиданно, они не понимали, что, собственно, происходит, так и в дальнейшем продолжали не понимать. Но это одна сторона дела, одна сторона медали. А другая сторона — зато они, оказывается, прекрасно понимали, чем им грозит пробуждение гражданской активности. Была такая очень интересная записка, даже две записки Андропова в ЦК: одна была, по-моему, в декабре 1974 года, а другая — в конце 1975 года, где, судя по всему, он отвечал на какой-то запрос из ЦК. Это было время, когда усилия советских ли-

дерев были направлены на то, чтобы учинить разрядку международной напряженности, Хельсинкские соглашения готовились и так далее. И, видимо, был там вопрос типа: дорогой Юрий Владимирович, а не слишком ли много диссидентов вы сажаете? Это вредит нам на международной арене... Вопрос был примерно такого рода. И по этому поводу Андропов составил докладную записку, в которой немножко обиженно пишет, что на самом деле совсем не много мы сажаем, что при Хрущеве, во время хрущевской так называемой оттепели, сажали гораздо больше. И подтверждает это цифровыми выкладками по годам. (Эта его записка — едва ли не единственный источник по статистике репрессий хрущевской эры.) И действительно: получается, что за один, скажем, 1959 год было посажено почти две тысячи человек, столько, сколько за десять брежневских лет, с 1965-го по 1974-й. Это первый пункт его ответа. А второй пункт очень интересный. У меня нет этого документа перед глазами, но суть его я очень хорошо помню. Он пишет: поймите, мы сажаем не слишком много и не слишком мало, мы сажаем ровно столько, сколько нужно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Вот это мнение Юрия Андропова. Я думаю, его представление о том, что это значит — «ситуация выходит из-под контроля», скорее всего, сложилось у него в 1956 году в Будапеште. Вот это очень любопытный взгляд: политические репрессии как регулятор стабильности режима — так он понимал этот вопрос. Юрий Владимирович прав: действительно, этот режим оказался несовместим с общественной свободой, это перестройка наглядно продемонстрировала. Ну, кроме этого в записке, конечно, были и всякие идеологические заклинания типа «остатки недобитых классов» и так далее — но это неинтересно, это, как мне кажется, была обязательная риторика такая. А главное — вот в этой формуле: «ровно столько, чтобы ситуация не вышла из-под контроля».

— **В какой-то мере справедливость его слов подтверждает и динамика этих репрессий. Если к середине 80-х годов диссидентское движение фактически было разгромлено и эта динамика возросла, режим соответственно стал гораздо менее стабильным и вскоре действительно разрушился.**

— Да-да, совершенно с вами согласен: эту сторону вопроса, видимо, Юрий Владимирович не оценил. Совсем не случайно перестройка началась вскоре после разгрома диссидентского движения — свято место пусто не бывает. Думаю, что так оно и есть.

И еще очень интересно, если уж мы заговорили о статистике арестов по политическим статьям: по годам эта статистика действительно показывает в послехрущевскую эпоху более или менее постоянное снижение. Но при этом — два заметных подскока: небольшой пик в 1969 году и второй пик, тоже не очень большой, — в начале 1980-х.

— **Это реакция на Чехословакию и Афганистан?**

— Думаю, скорее на Чехословакию и Польшу.

— Да, конечно, скорее всего. Вы согласны, как я понимаю, с утверждением о том, что в середине 80-х движение было фактически разгромлено. Не с этим ли связано то, что в процессах перестройки диссиденты играли сравнительно небольшую роль и считанное количество участников движения вошло в государственные структуры новой России?

— Думаю, что не с этим. Мне кажется, причина не в этом. То, что диссидентство было разгромлено, — это, с моей точки зрения, факт. По крайней мере, большинство структур и институций, созданных диссидентской активностью старого правозащитного типа, было действительно уничтожено к 1984 году. И Хельсинкская группа, и «Хроника текущих событий», и целый ряд других институций диссидентских.

— **Солженицынский фонд.**

— И Солженицынский фонд, да. Это правда. Но мне кажется, что прежде всего надо понять, почему оно было разгромлено. Действительно, масштаб арестов после 1979 года начал слегка увеличиваться, был этот подскок, который я рассматриваю как «польский» подскок, как эхо польских событий. Но ведь до этого увеличение нажима никогда не приводило к исчезновению диссидентского движения! На место арестованных, отошедших, уехавших немедленно приходили новые люди. А вот с начала 1980-х новые люди появляться более или менее перестали. Какие-то появлялись, но в гораздо меньшем количестве. Убыль стала превышать прибыль.

Мне кажется, главная причина тут вот такая. Когда во второй половине 1960-х диссидентские кружки и компании консолидировались в единое сообщество и появился главный рупор этого сообщества — правозащитное движение, то для публики это явилось абсолютной новацией. Это был разговор о том, о чем раньше никто никогда не говорил, и на языке, который раньше никто никогда не применял. И общество очень горячо и живо поддерживало диссидентов. Это было интересно и ново, воспринималось как важное. Когда в 1965 году [Александр Есенин-]Вольпин вывел людей на площадь под лозунгом «Соблюдайте собственную конституцию!», это было нечто новое и поразительное. Или взять ту же «Хронику» — я рассказывал, как мы болезненно ощущали, например, перерыв в ее работе в 1973 году. Но постепенно, по мере успехов диссидентского просветительства, проповедь ценностей права переставала восприниматься как открытие и становилась общим местом, банальностью, ради провозглашения которой бессмысленно рисковать благополучием и свободой. Ну да, мы уже усвоили, что соблюдать закон — хорошо, а не соблюдать закон — плохо, уже поняли, что власти из всех сил нарушают права человека; и что дальше? Вот я в трехсотый раз читаю в «Хронике», что на таком-то судебном процессе была нарушена такая-то статья Уголовно-процессуального кодекса. Да знаю я, что они все статьи нарушают и будут нарушать, — и зачем мне всю эту муру читать и перепечатывать, подвергая при этом опасности себя и других?



*Редакторы
«Памяти» и их
друзья. Арсений
Рогинский,
Эдда Райко,
Юрий Шмидт,
Александр
Даниэль, Лариса
Богораз, Валерий
Сажин, Сергей
Дедюлин,
Борис Митяшин.
Ленинград,
май-июнь 1976
© hro.org*

Я лично это очень остро чувствовал в последние годы своей работы в «Хронике». Да, объемы выпусков увеличивались, степень подробности изложения событий возрастала, информационный охват расширялся — но эта информация уже не была, что называется, общественно востребованной. Людям уже не хотелось узнавать то, что они и так знают, и слушать призывы в защиту ценностей, которые они и так разделяют. В каком-то смысле успех диссидентской проповеди в обществе predetermined исчерпанность самого правозащитного диссидентства. Система ценностей, которую отстаивали правозащитники, стала для подерживавшей их социальной среды собственной латентной системой ценностей. А непосредственной практической пользы от протестной активности было немного: правозащитники советскую власть по-всякому ущучивают, а ей хоть бы хны! И общественный спрос на диссидентство этого толка резко упал.

А в перестройку диссидентские наработки, диссидентский взгляд на общественные проблемы очень даже оказались востребованными! Сравните программу реформ Горбачева с программой перемен, изложенной, например, в обращении [Андрея] Сахарова, [Валентина] Турчина и [Роя] Медведева к Брежневу [19 марта] 1970 года, — в сущности, это одна и та же программа! Я, конечно, не хочу сказать, что Михаил Сергеевич Горбачев просто положил перед собой эту программу реформ, написанную в 1970 году, и начал ее осуществлять. Полагаю, дело было немножко по-другому: просто властители дум времен перестройки — [Юрий] Афанасьев там, [Юрий] Буртин и прочие публицисты, которые формировали общественное мнение, — были воспитаны на диссидентском самиздате. И всю вторую половину 80-х годов они транслировали диссидентские идеи на широкую публику. Например, концепция прав



Слева направо:
Арсений Рогинский,
Юрий Шмидт,
Александр
Даниэль, Лариса
Богораз, Валерий
Сажин, Яков Назаров,
Борис Митяшин. Ленинград,
май-июнь 1976
© Мемориал

человека. Она в то время не подвергалась сомнению никакими общественными силами. По всему политическому спектру, от левых до крайне правых, только и разговоров было, что о правах человека.

— Но тогда почему диссиденты, люди с диссидентским прошлым не стали активными деятелями, не стали активно формировать новую политику?

— А это — отдельная история. Начнем с того, что диссидентство в широком смысле слова существовало всегда. И в пятидесятые годы оно существовало, и в сороковые можно найти диссидентские проявления, и так далее. Но с середины 1960-х годов началась новая фаза Сопротивления, и самым характерным для этой новой фазы было то, что оно перестало быть политическим. Оно было каким угодно — культурным, гражданским, моральным, метафизическим — но не политическим. Отталкивание от политической борьбы именно в диссидентской среде было очень сильным. Я хорошо помню фразу, которую любила говорить моя матушка: политика — это зачумленная сфера человеческой деятельности, и близко к ней подходить нельзя. А она была очень авторитетным человеком в диссидентских кругах. Диссидентские времена — это эпоха совершенно особенных оппозиционных движений: внеполитических и метаисторических, экзистенциальных, не стремящихся к реальной цели, не интересующихся результатами, равнодушных к победе. Это была такая метафизическая и метаисторическая активность. Люди искали опору в праве, в нравственности, в чем угодно — но никак не в политической прагматике. И когда независимая политическая активность в нашей стране стала возможной, в нее включились другие поколения, другие люди — а бывшие советские диссиденты не склонны были в нее включаться. Не потому, что их не пускали. Не пускали, конечно, тоже. Складывающаяся постсоветская элита вы-

талкивала диссидентов, не допускала их серьезно влиять на политику. Но они и сами не рвались, вот в чем дело.

— **Здесь можно вспомнить яркое исключение из правил — это академик Сахаров и Сергей Адамович Ковалев, который, в общем, по настоянию Сахарова пошел в политику.**

— Да, Сахаров — это исключение. Но Сахаров вообще был исключением. Он вмещал в себя диссидентство, но не вмещался в него. Это был очень сильный ум. Для него политика была в первую очередь инструментом решения глобальных проблем человечества. От политики он действительно не отталкивался, но приоритеты у него были другие, он жил в другом масштабе и в других временных дистанциях. Всеобщее разоружение, разрыв между бедными и богатыми странами, экологические угрозы человечеству — вот его масштаб. А когда он обращался к текущим политическим проблемам, к политической логистике, то очень часто проявлял прямо-таки детскую наивность. Взять его отношение к национальным конфликтам: он их просто не мог понять, потому что они — не рациональной природы, и его подходы к этой проблеме поражают своей наивностью. Или его проект конституции: трогательный до слез и совершенно при этом нереальный.

Что касается Сергея Адамовича, то я бы сказал, что, с моей точки зрения, Сергей Адамович в политику на самом деле так и не пошел. Пока он еще не стал просто оппозиционным публицистом, а оставался действующим государственным чиновником высокого ранга, то есть в 1990—1996 годах, он занимался тем же, чем и в своей диссидентской жизни, — правами человека. Он был председателем Комитета Верховного совета по правам человека, он был председателем Президентской комиссии по правам человека, он был первым омбудсменом России. Это те точки соприкосновения с политикой, которые еще не совсем политика — а в постсоветской российской действительности оказались и вовсе не политикой, а все той же борьбой с режимом. Это же не случайно. Можете вы представить себе Сергея Адамовича, например, министром внутренних дел (*смеется*)? Он бы и не пошел на эту должность.

— **А может быть, это и печально, что мы не можем представить его министром?**

— Это, наверное, печально, но это было неизбежно в условиях постсоветской России. Его никогда бы не допустили к реальной власти. Он прекрасно понимал, что политики без компромиссов не бывает, он был готов на компромиссы — но до известного предела. Его пытались использовать в качестве декорации — а существовать в качестве декорации Ковалев не хотел и не мог. Поэтому его политическая карьера была недолгой и завершилась отставкой.

— **Не было ли, глядя ретроспективно, это пренебрежение политикой ошибочной диссидентской стратегией?**

— Вы знаете, было так, как было. Что значит — ошибочной? А по-другому и быть не могло. «Антиполитическое» мировоззре-

ние российских диссидентов (подчеркиваю, именно российских: в Прибалтике, Грузии, Армении, даже на Украине все было чуть-чуть иначе) — результат конкретных исторических обстоятельств. Ведь диссидентство правозащитного толка зародилось среди гуманитарной и научно-технической интеллигенции, опыт которой был сформирован историей XX века. Какую они политику знали, какую идеологию? У них к идеологиям вообще была острая идиосинкразия, идеологию они знали одну — ту, которая привела великую страну к маразму. Политику они знали одну — ту, которая привела мир к катастрофе Второй мировой войны. И выход из тех тупиков, куда зашла страна, куда заходил мир, они, как мне кажется, не были готовы искать в политике. Для них политика была тем, чем порядочные люди не занимаются. Ошибка это была или не ошибка, но это был итог их жизненного опыта. А другого опыта у них не было. Вот у того же Сергея Адамовича есть целый ряд очень интересных статей на эту тему, он тоже в этой квадратуре круга пытался разобратся уже после того, как перестал быть активно действующим... не скажу — политиком, скажу осторожнее — государственным деятелем. У него есть работа под названием «Прагматика политического идеализма», где он доказывает, что единственно правильная, эффективная политика — это идеалистическая политика. Но ведь этой идеалистической политике не было места в новой России. Да и в сегодняшнем мире тоже ей еще нет места. Другой вопрос, что, может быть, это было бы единственным спасением для страны и для мира, но ни страна, ни мир оказались не готовы к политическому идеализму. А иными диссиденты быть не могли.

Конечно, это мое утверждение, как и всякое общее суждение, может быть сопровождено массой опровергающих примеров — и конкретных человеческих судеб, и конкретных действий и поступков. Но тем не менее мне кажется, что эти опровергающие примеры не переводят количество в качество. Качество остается таким, о котором я говорю.

— Кого бы вы (кроме Сахарова) назвали таким опровергающим примером, исключением?

— Ну, всегда считалось в диссидентской среде, что если у нас есть человек, который мыслит политически, так это Владимир Буковский. Мол, у него и политические интенции, и политические мотивации, и так далее. В перестроечные и постперестроечные годы он отчасти подтверждал эту свою репутацию разного рода политическими шагами: скажем, выдвигался в президенты дважды или трижды, я уже не помню сейчас. Но, по-моему, это тоже были больше символические жесты. Владимир Константинович рассматривал эти выдвижения свои, как мне кажется... то есть это спросить у него надо, но мне кажется, что он рассматривал их все-таки как жесты. Политические, но жесты. А жест — это уже из диссидентской практики... Кого еще я мог бы назвать в качестве опровергающего примера? Ну, возможно, Револьта Ивановича Пименова. Но он умер в 1990 году. И вообще Револьт и диссидентом был

нетипичным. Какие-то элементы политического мышления имелись у покойного Кронида Любарского.

Есть один выходец из диссидентов, которого широкая публика считает успешным в сегодняшней политике, — но я не думаю, что этот пример вам понравится: это Глеб Павловский. Да он на самом деле тоже не политик никакой, хоть и ходят про него слухи, что он — «делатель королей», Путина якобы он сделал, а потом состоял при нем серым кардиналом и так далее. Думаю, на три четверти эти слухи сам Глеб и инспирирует. Никакой он не политик, конечно. Он, правда, пытается быть идеологом — но это совсем другая работа. Да и идеолог он слабенький, неинтересный; его диссидентские тексты были куда ярче, чем нынешние.

Вообще нынешняя политика — без диссидентов, их идеализма, их метафизики, даже их ригоризма — стала мелкой, как лужа. Но в том-то и штука, что диссиденты считали, что политика всегда такая и другой не бывает. Помните высказывание Блока насчет Маркизовой лужи? Маркизова лужа политики в океане человеческого духа, и когда в океане поднимается буря, то там тоже какая-то рябь начинается... Извините, по памяти цитирую. Вот эта формула Блока всегда в той или иной степени была частью диссидентского сознания, даже если кто-то из них ее и не знал.

Впрочем, реальная Маркизова лужа — это и не лужа вовсе, а какой-никакой, но морской залив, хоть и мелководный. Там Кронштадт стоит, там и штормы бывают, и корабли, случается, тонут. И все равно обидно: если уж тонуть, то в океане, а не в Маркизовой луже. А именно это с нами со всеми сейчас и происходит.

«Я никогда не был столь близок к отчаянию»

Одной из особенностей существования диссидентского движения в СССР была постоянная и возраставшая с середины 1960-х годов солидарность с ним гуманитарного сообщества Запада. Проводниками этой солидарности зачастую становились самые известные западные интеллектуалы и деятели культуры. Одним из них был немецкий писатель Генрих Бёлль, Нобелевский лауреат 1972 года. Тема помощи репрессированным — одна из центральных в многолетней переписке Бёлля с его другом, переводчиком-германистом и писателем Львом Копелевым. Мы приводим одно из писем Копелева и его жены писательницы Раисы Орловой, посланное Бёллю и его жене Аннемари летом кризисного для советского диссидентства 1973 года. Перевод выполнен по изданию: Heinrich Böll — Lew Kopelew. Briefwechsel 1962—1982. Herausgegeben von Elsbeth Zylla. Göttingen: Steidl, 2011. Благодарим Марию Орлову за разрешение включить перевод этого письма в нашу книгу.

Лев Копелев и Раиса Орлова — Аннемари и Генриху Бёллю

Жуковка, 6-10 июня 1973 года

Дорогая Аннемари, дорогой Генрих,

уже много недель мы не получали от вас писем, а новости по слухам, из газет и понаслышке опровергают и противоречат друг другу. Однако теперь «совершенно точно», что в этом году вы не приедете. Так сказали господа из посольства. Поначалу это известие крайне нас огорчило; столь многие здесь надеются на возможность обсудить непосредственно с тобой все новые сложности нашей богатой на сложности жизни... но я так понимаю, ты не хочешь ехать в качестве президента PEN-клуба, это неизбежно повлекло бы за собой болезненные и, скорее всего, бесполезные конфронтации. Прекрасно понимаю. Но пожалуйста, приезжай как только сможешь, когда снова сможешь путешествовать как частное лицо. Ты встречаешь так много разных людей, и я легко могу представить, что большинство этих встреч в «открытых» странах куда интереснее и приятнее того, что мы в нашей, теперь уже наполовину открытой, но часто затянутой тучами и отягощенной все новыми горькими трудностями стране можем предложить...

Но ты уже достаточно хорошо нас знаешь, чтобы понимать и представить себе, насколько твои друзья здесь нуждаются в тебе, причем не только в твоей практической помощи, твоей поддержке — хотя для многих это всегда имело и имеет величайшее значение, в 1968 году ты *решительным образом* помог и мне. Тем, что я выжил в эти годы, я главным образом обязан именно тебе.

Что Анатолий Якобсон не попал в тюрьму, стал членом PEN-клуба, и что Бродский в США свободно и без опаски может говорить все глупости, что придут ему в голову, и что



Лев Копелев, Генрих Бёльль, Ефим Эткинд и Андрей Достоевский (внук писателя). Ленинград, 1962
© Из архива Льва Копелева

Максимов, несмотря на все то, что он напечатал (в самиздате), до настоящего времени избежал худшего, — все это результат прежде всего твоего участия, именно оно послужило решающим фактором, или же одним из самых решающих и эффективных.

Широко известно, чем обязан тебе, своему всегда готовому оказать деятельную помощь другу, Александр Солженицын, как и то, что именно ты писал и говорил в интервью о нем и его произведениях в самые критические времена. Несмотря на все это мы нуждаемся в твоём непосредственном присутствии, нам нужно говорить с тобой, по крайней мере, получить от тебя письма, чувствовать, что через тысячи километров мы слышим твой голос — как в твоём январском (!) письме самым радостным была возможность (тут Анне-мари снова должна простить мою склонность к превосходным степеням) безо всякой спешки и суматохи, словно бы за бокалом вина, беседовать и думать вместе с тобой... Нам это необходимо и я безо всякого стеснения полагаю, что мы нуждаемся в этом куда больше прочих твоих друзей на всем белом свете; чемпионом по любви к Бёльлю можно стать только здесь, этого никакой Бобби Фишер не оспорит...

Пожалуйста, иногда вспоминай об этом и пиши почаще <...> И приезжайте, пожалуйста, приезжайте снова, сколь возможно скоро, чем скорее, тем лучше!

Но перейду к *более общим* проблемам, за которыми последуют и *конкретные просьбы о помощи*. Оттепель во внешней политике, медовый месяц Москвы и Бонна, как и надвигающееся политико-экономическое братство с Дядей Сэмом <...> приведет во внутренней политике к новым волнам холода, которые, правда, куда хитроумнее прежнего будут завалированы «либеральными» жестами. Так, например, на Украине выно-

сят все новые и новые жестокие приговоры — литераторы Иван Дзюба — пять лет лагерей, семь лет ссылки; Иван Светличный — семь лет тюрьмы и лагерей, пять лет ссылки, Евгений Сверстюк то же; первые двое были в списке кандидатов в PEN-клуб (как и двое переводчиков, Микола Лукаш, переводчик «Фауста», и Григорий Кочур — переводчик Бодлера, Шиллера, Рильке; они еще на свободе, но Лукаш уже исключен из Союза писателей). Генерал Григоренко уже четыре года в одиночной палате в сумасшедшем доме, он наполовину ослеп, Буковский жестоко страдает, это называется «голодная диета», тяжелый труд, изоляция...

В то же время нескольким сотням человек разрешили выезд в Израиль — или же, под этим предлогом, куда-то еще. Синявскому пообещали, что он с семьей поедет во Францию.

Пётр Якир и Виктор Красин, — два мелкотравчатых «предводителя диссидентства», которым искусные тактики из госбезопасности с помощью жадных до сенсаций зарубежных корреспондентов и легковверных юных искателей правды помогли занять эту роль, — теперь активно каются, проклинают ошибки, которые совершили они и их друзья, — практически деморализуют всех, кто пытался действовать коллективно и избежать конформизма. Если последует процесс, то есть если не будут выполнены обещания, с помощью которых их склонили к капитуляции, это будет отвратительное, постыдное разбирательство, к которому постараются привлечь и прочую, да и какую только можно оппозицию.

В этих случаях пыток не было, как не было и «химического», т. е. гипнотического воздействия, все как обычно; покаяние и отречение ото всех взамен на свободу или краткосрочную ссылку, а иначе — тюрьма и колония строгого режима на много лет, выбор такой: «ваши коллеги Чалидзе, Есенин-Вольпин, Медведев и прочие развлекаются на западе, а вы должны за них страдать?!» Чтобы противостоять таким испытаниям, нужно иметь характер, идеалы, определенную моральную (нравственную) основу и уважать самого себя; у этих персонажей ничего этого нет. Да и откуда бы? Дети из высокопоставленных семей (Якир — сын генерала Гражданской войны, начальника военного округа, родители Красина — старые партийные функционеры), после ареста родителей они «воспитывались» в лагерях среди криминалитета, выучили там звериные «законы беззакония». В хрущевские годы они рассчитывали сделать карьеру как антисталинисты, кичились своей биографией, а потом прибились к оппозиции.

Они не были наемными агентами, как некоторые думали раньше и говорят сейчас, но люди из госбезопасности, действительно, искусно ими манипулировали, намеренно прибегая к помощи настоящих провокаторов и непреднамеренно — охочих до сенсаций зарубежных корреспондентов и доверенных лиц, охотно видевших в них отважных предводителей и громогласно славивших их перед «мировой общественностью» как уважаемых основателей нового «демократического движения». И госбезопасность этот раунд выиграла: жалобный отказ этих «диссидентов», предавших и втянувших в эту грязь еще и несколько друзей, дискредитирует и все понятия и идеалы, за которые они выступали, — права человека, демократия, толерантность, свобода слова и прессы — «посмотрите сами, кто выступал за все это, сами видите, что они делали это за деньги (из-за рубежа), что все, что они проповедовали, лишь пустая болтовня или коварная ложь» и так далее и тому подобное... Именно таким способом хотят добиться того, чтобы все забыли действительно страдающих Амальрика, Григоренко, Буковского.

Многие из бывших «сочувствующих», либерально настроенных интеллигентов теперь позволяют себя таким вот образом отвлечь. Проще говоря, у нас невозможна какая-либо оппозиция, ей манипулирует государство до полного вырождения; некоторые уезжают за границу, другие — в тюрьму, а те, кто не хочет — или не может — эмигрировать, больше не верят, что есть цели и идеалы, ради которых можно пожертвовать свободой, несколько приземленным существованием с семьей, новой квартирой, дачей,

с видом на турпоездки в Париж, Рим или, на худой конец, Будапешт, Софию, спокойным досугом у телевизора или же воплощением мечты, собственным автомобилем!!! И в лучшем случае — честным трудом, плодотворной работой в науке, технике, литературе, искусстве, образовании...

Мы постепенно превращаемся в общество потребления, в некоторых слоях уже в него превратились, не став при этом обществом высоких достижений, не говоря уж о правовом государстве и демократических свободах. Все, что происходит у нас в последние годы и месяцы, безоглядно-прагматическая политика внешней торговли и соответственно крайне активные дипломатические действия и ориентированная на экспорт и рекламу активность определенных «заслуживающих доверия» функционеров в области культуры — с некоторыми из них ты лично знаком, они сумели втереться в доверие и к твоим коллегам — и в то же время изгнание из издательств, редакций, университетов и так далее всех, кто хотя бы вызывает подозрения в свободомыслии, циничная коррупция других, например, когда-то столь бурно вольнодумствующего Евгения Евтушенко, ставшего теперь загадочным другом редактора «Огонька» [Анатолия] Софронова, едва ли не открытого фашиста и главы издательства, автора стихов и пьес, еще много лет назад прославившегося как бесталанный, абсолютно необразованный, но тем более бессовестный и готовый на все успешный сталинист.

Еще несколько лет назад Евтушенко клялся, что представляет скорее его антипод, а сегодня он не только его собутыльник, но и печатается у него в журнале и ездит от редакции в Японию и другие экзотические страны в качестве специального корреспондента. Прежние друзья Евтушенко, которых ты видел у него дома — это был едва ли не последний раз, когда они там были — больше с ним не здороваются, говорят о нем с отвращением и непримиримым презрением.

Это лишь один из примеров диссимилиации, разобщенности, пустившей плоды во многих областях общественной жизни — новые аресты, новая волна эмиграции (на Ближний Восток и Дальний Запад), возобновленная охота за «подлинными» сокровищами и радостями жизни, обострившаяся, но совершенно бездуховная, исключительно формальная «идеологическая» бдительность, вновь и вновь подпитываемая растущими националистическими и шовинистическими настроениями, антирусскими, антисемитскими, антикитайскими, антинегроидными, антиарабскими... При этом к немцам (западным) и американцам отношение куда лучше, чем когда-либо. Пресса, телевидение и «люди на улице» в этом ближе друг другу, чем в других вопросах.

Но перейду к литературной жизни. Из Союза писателей исключили еще несколько известных литераторов — как и четыре года назад, когда исключали Алекса [Солженицына], были некоторые протесты или, по крайней мере, «вопросительное недоумение» (например, у Евтушенко). В прошлом году исключили Александра Галича, Наума Коржавина (очень хороший лирик), Миколу Лукаша, Ивана Дзюбу, Ивана Свитличного (Украина, см. выше), [Бориса] Чичибабина, поэта из Харькова, а Владимиру Максиму и Виктору Некрасову пригрозили исключением (особенно Максиму), и никому нет до этого дела. Да и что говорить об исключении, если молчат об арестах и заключении в сумасшедших домах?..

Что вообще еще можно сделать? Я никогда не был столь близок к отчаянию, как в последние месяцы и годы, я прекрасно всех понимаю, особенно молодых, кто хочет отсюда уехать, «сами копайтесь в этой грязи», кто ни во что больше не верит и ни на что не надеется... Но мы — Рая и я и большинство наших друзей — не можем ни разделить эти чувства, ни порвать с этой землей, этим воздухом, в котором звучит наш язык, с землей, в которой похоронены наши друзья, с улицами этого проклятого, и все же незаменимого города, пусть он будет переполнен вонючими машинами и унылой, безликой застройкой — и с нашей милой Жуковкой, с дубами, липами, березами, елями и соснами на берегу Москвы-реки, мы едва ли не каждое дерево тут знаем «лично», они



Генрих Бёльль, Аннемари Бёльль, Лев Копелев. Кельн, 1984

© Из архива Льва Копелева

росли на наших глазах, под ними мы пережили столько радостных и печальных часов... Мы должны жить здесь и здесь умереть, потому что родину не выбирают (и не меняют), как и мать, какой бы она ни была...

Я говорю все это не как всеобщий «объективный закон», я знаю и почитаю некоторых великих «бездомных» — Герцена, Рильке, Пикассо, Набокова... но для нас, для меня это именно так. Ты знаешь, как мы любим Тбилиси — год без поездки в Тбилиси это «пустой» год, так мы говорим... Но трех-четырёх недель в Тбилиси или Крыму достаточно, чтобы мы начали тосковать по Москве... Пока ты молод, куда легче менять города и окрестности; я время от времени с ностальгией вспоминаю о Киеве и Харькове, где прошли мое детство и юность, но возвращаться не хочу... На фронте, в заключении и лагерях я мечтал, во сне и наяву, о Москве... Я все еще не оставил надежды съездить в Германию — это абсурд, всю жизнь писать, размышлять о немецкой поэзии, немецкой истории и при этом один-единственный раз побывать на несколько дней в Веймаре, дважды в Восточном Берлине, и никогда — западнее Эльбы. Но переехать в Германию, — пусть она мне знакома и ближе прочих стран, — переехать я бы смог только в случае выбора: «бежать или за решетку»...

Однако письмо и так уже слишком длинное, надеюсь, тебе хватило терпения и доброты дочитать до этого места, потому что теперь черед неизбежных просьб.

1) Прошу, очень прошу тебя и всех в PEN'е, кто изо всех сил нам здесь помогает, ускорить прием в национальные PEN-клубы, прежде всего, литераторов в опасном положении (Максимов, Галич, Лукаш, Кочур, Некрасов, Коржавин).

NB Чтобы все выглядело объективно, в списке должны быть и нейтральные имена, Вознесенский, Симонов, Шагинян, Григорий Марков; не забудьте и тех, кому на данный момент, кажется, ничего не угрожает (Алекс Солженицын, Лидия Чуковская, Окуджава и я) — всем нам, однако, после [подписания СССР] Конвенции [по авторским правам]

снова может прийти несладко. Но прежде всего, пожалуйста, не оставляйте вашего общественного и (доверительно-)лоббистского участия в судьбах арестованных — Григоренко, Амальрика, Буковского, Дзюбы, Свитличного и прочих. Пожалуйста, объясни всем; сейчас есть реальная возможность — какой никогда прежде не было!!! — эффективно воздействовать на здешние учреждения из-за рубежа дружеским, но неослабевающим давлением. Нужно только, чтобы в этом приняло участие больше «знаменитостей», политиков, промышленников, художников, журналистов, литераторов, ученых... и они не ограничатся разовым упоминанием, но снова и снова, снова и снова будут поднимать этот вопрос, говорить об этом, писать, просить, требовать, рекомендовать — великодушные, толерантные, гуманность и прочее суть лучшая основа для общественного доверия, все это свидетельствует о силе, надежности, вовлеченности и т. д.

2) Пожалуйста, воспользуйся дружественным на данный момент расположением правительства к ФРГ для publicity нашим действительно хорошим писателям — не позволяйте нашим функционерам навязывать вашим издательствам труды коррумпированных писаек; сегодня чисто деловые соображения и контакты могут действительно помочь хорошим и именно потому нелюбимым у нас авторам — может быть, с ними как с «товаром на экспорт» будут обращаться лучше. Это в первую очередь касается Василия Белова, Василя Быкова, Федора Абрамова, Булата Окуджавы. Андрея Битова, Владимира Войновича, Анатолия Рыбакова, Юрия Трифонова, Валентина Распутина, Александра Шарова, Виктора Некрасова, Николая Дубова, Юрия Домбровского, Фазиля Искандера, Бориса Можаяева, Чингиза Айтматова — список латышских, эстонских, литовских, грузинских, армянских и других авторов составлю позже (в следующем письме), здесь же назову лишь латыша Альберта Белса (проза), молдаванина Иона Друцэ (проза и драма).

3) В настоящий момент даже приглашение для нас от тебя имело бы успех. Если бы оно было поддержано каким-то важным дипломатическим лицом — тем более.

4) Все, пусть даже символические регалии от западно-германских культурных организаций — университетов, академий, институтов, издательств, обществ как общество Гёте, Гессе, Гейне, Бюхнера и прочих — могли бы в высшей степени пригодиться нашим критикам и эссеистам, изучающим литературу и театр, прежде всего молодым, например Сергею Аверинцеву, Ирине Роднянской, Резо Каралашвили, а также Юрию Архипову, Н. Харитонову, а также более опытным германистам, кого по «идеологическим» причинам притесняют, это Нодар Какабадзе, Дзидра Кальниня (Рига-Воронеж), Илья Фрадкин, Нина Павлова, Борис Зингерман и опять же твой покорный слуга, а также тем, кому приходится лучше нашего, но кого все-таки принижают, как, например, Арсения Гулыгу, Ефима Эткинда, Альберта Карельского.

Вот такие просьбы, прошу не обижайся, что я вновь обременяю тебя нашими заботами и страданиями, но в Европе, да и во всем мире, действительно нет больше никого, к кому мы могли бы обратиться за помощью в таком объеме, без обиняков и считывая на поддержку.

Я пишу это письмо уже несколько дней, поэтому оно вышло несколько бесформенным и с повторами. Но нужно ставить точку. <...>

NB Игорь Голомиток, который сейчас в Лондоне, очень хороший, достойный полного доверия человек, один из лучших друзей Синявского и Бориса [Биргера] — пожалуйста, помогите ему с этими планами, несколько строк от Генриха в качестве вступления к монографии о Биргере лучше чего бы то ни было!

Будьте здоровы! Пишите!!! Обнимаем,
искренне Ваши Рая + Лев
Все друзья передают привет!

Перевод с немецкого Александра Чехова

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- Абовин-Егидес Петр Маркович (1917-1997), философ, преподаватель Ростовского университета (1966-1969). Участник ВОВ, после побега из немецкого плена был приговорен к 10 годам лагерей, в 1948 реабилитирован. С 1967 участвовал в правозащитном движении, в 1969 арестован и помещен в психиатрическую больницу, освобожден в 1972. С 1978 по 1980 — член редколлегии журнала «Поиски». С 1980 в эмиграции во Франции — 228, 234, 237, 240
- Абрамкин Валерий Федорович (1947-2013), инженер-химик, бард, журналист. В 1978-1979 — член редколлегии журнала «Поиски». В 1979-1985 — в заключении — 189, 228, 234, 236-238, 240, 242,
- Абрамов Иван Павлович — 103
- Абрамов Федор Александрович — 396
- Абэ Кобо — 208
- Аваков Анатолий Леонтьевич, рабочий. В 1969 был осужден за надписи на избирательных бюллетенях — 321, 326
- Авербух Исай — 215
- Аверинцев Сергей Сергеевич — 208, 396
- Авторханов Абдурахман Геназович — 187, 332
- Адамс Брайан — 324
- Азадовский Константин Маркович (1941), филолог, переводчик, в 1980-1982 — в заключении по сфабрикованному КГБ уголовному обвинению — 334
- Азаматов Альфред Гаврилович — 218
- Айтматов Чингиз Торекулович — 396
- Айхенвальд Валерий Александрович, брат Ю.А. Айхенвальда — 77, 81, 86, 88, 92, 94
- Айхенвальд Юрий Александрович (1928-1993), поэт, переводчик, эссеист. Будучи студентом пединститута, в 1949 был арестован «за антисоветские высказывания», до 1955 находился в тюрьмах, ссылках и психиатрических больницах. До 1968 преподавал литературу в московской школе, уволен за письмо в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанцова — 56, 77-81, 86, 88, 90-94
- Аксенов Василий Павлович — 162, 318
- Алейников Владимир Дмитриевич (1946) — поэт, член литературной группы СМОГ — 306
- Александров Павел Сергеевич — 83
- Алексеев-Попов Владимир Сергеевич — 224, 225
- Алексеева Людмила Михайловна (1927), историк, редактор. С середины 1960-х — активистка правозащитного движения, участвовала в перепечатке и тиражировании «Хроники текущих событий». В 1976-1977 — одна из организаторов Московской Хельсинкской группы. С 1977 в эмиграции в США — 6, 163, 165, 380
- Аллилуева Светлана Иосифовна — 162
- Альбрехт Владимир Янович (1933), математик, публицист, активист движения за выезд евреев из СССР. Автор пособия «Как быть свидетелем» (1976). В 1983-1987 — в заключении. С 1988 в эмиграции в США — 149, 280
- Альтман Анатолий Адольфович (1941) — участник еврейского эмиграционного движения в 1960-е в Одессе и Риге. Один из издателей самиздатского журнала «Итон». В 1970 осужден по так называемому «самолетному» процессу на 10 лет лагеря. С 1979 в эмиграции в Израиле — 206
- Альтшулер Борис Львович (1939), физик, правозащитник, соавтор А.Д. Сахарова, в 1970-х — член Московской Хельсинкской группы — 92
- Амальрик (Макудинова) Гюзель Кавылевна (1942-2014), жена А.А. Амальрика — 122-125, 359, 361, 362
- Амальрик Андрей Алексеевич (1938-1980), историк, драматург, публицист. В 1965-1966 — в ссылке в Сибири за тунеядство. Автор трактата «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года» (1969). В 1970 был осужден на 3 года, второй срок получил в лагере, до 1975 находился в ссылке. Один из инициаторов создания Московской Хельсинкской группы. С 1976 в эмиграции во Франции. Погиб в автокатастрофе — 13, 56, 59, 112, 121-126, 128, 150, 212, 223, 297, 358, 359, 362, 363, 364, 392, 396
- Андерсен Рей — 125
- Анджапаридзе Георгий Андреевич — 277
- Андреева Рина — 48
- Андропов Юрий Владимирович — 15-18, 35, 239, 266, 267, 299, 303, 314, 321, 322, 383, 384

* Аннотированная часть именного указателя включает в себя имена лиц, принимавших активное участие в диссидентском движении в СССР в 1950-1980-х годах. Биографические сведения об интервьюируемых даны в тексте книги. Лица, упоминающиеся в книге в перечислительном ряду и/или отмечившиеся в истории советского диссидентства эпизодически, не аннотированы, равно как и общеизвестные персонажи. Биографические сведения ограничены 1987-1989 годами. Информации о некоторых из упомянутых найти не удалось. Указатель составлен Леонидом Зубаревым при участии Дмитрия Зубарева и Наталии Маринцевой.

- Анненков Юрий Павлович — 204
- Анохин Юрий студент МГУ, в 1956 году арестован за распространение листовок против вторжения в Венгрию — 14, 15
- Архипов Юрий Иванович — 396
- Аршавский Юрий Ильич — 54
- Афанасьев Юрий Николаевич — 152, 386
- Ахмадулина Бёлла Ахатовна — 109
- Ахматова Анна Андреевна — 9, 19, 205, 335, 336, 350
- Бабицкий Константин Иосифович (1929-1993), лингвист, бард. Участник демонстрации 25 августа 1968 года, приговорен к 3 годам ссылки — 56, 127, 128, 130
- Багрицкий Эдуард Григорьевич — 374
- Баева Татьяна Александровна (1947), внучка академика А.А. Баева. Будучи студенткой участвовала в демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. Была задержана, но к следствию не привлекалась. Участвовала в правозащитном движении. С 1992 живет в США — 128
- Бак Дмитрий Петрович — 283
- Барабанов Евгений Викторович (1943), искусствовед и теолог, один из авторов сборника «Из-под глыб» (1974) — 33, 132, 267, 278
- Баранов Александр Владимирович — 35, 36
- Багичев Генрих Степанович — 223, 224, 227, 229, 233
- Батшев Владимир Семенович (1947), поэт, член литературной группы СМОГ. В 1966 году осужден за тунеядство, в 1968 освобожден по амнистии. В 1968-1975 участвовал в диссидентском движении — 101
- Бахмин Вячеслав Михайлович — 113, 177-193, 308, 310
- Батцер Давид Миронович (1904-1987), социалист-меньшевик, один из немногих, переживших эпоху террора. В последнее десятилетие своей жизни был связан дружескими узами с участниками правозащитного движения в СССР — А. Рогинским, А. Марченко, Л. Богораз и другими. Под различными псевдонимами публиковал мемуарные очерки и рецензии в историческом альманахе «Память» (1978-1981), в архив которого передал часть собранной им коллекции фотографий социалистов послереволюционной эпохи — 379
- Бабко Владислав Владимирович (1953), студент, организатор кружка по обсуждению передач западных радиостанций (1975). В 1979-1981 в заключении — 298, 304-307
- Безансон Ален — 357
- Белановский Вячеслав — 319
- Белецкий Михаил Иванович (1935), математик, социолог. Активист студенческого движения в МГУ в 1950-х. С 1965 живет в Киеве, активист украинского правозащитного движения, передавал документы в Москву, подвергался внесудебным репрессиям — 71, 72-75, 78
- Бёлль Аннемари — 391, 392
- Бёлль Генрих — 8, 9, 391, 392
- Белов Василий Иванович — 396
- Белс Альберт — 396
- Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) — 23
- Берберова Нина Николаевна — 19
- Бердник Олесь (Александр) Павлович (1927-2003), украинский писатель-фантаст, в 1949-1955 в заключении. Один из основателей Украинской Хельсинской группы (1976-1979), в 1979-1984 повторно в заключении — 222
- Бердяев Николай Александрович — 205
- Беркинблит Михаил Борисович — 49, 54
- Бернштейн Эдуард — 201, 210
- Бескишков — 281
- Бессмертных Виктор — 23, 25
- Бетховен Людвиг ван — 339
- Библер Владимир Соломонович — 224, 230, 233
- Биргер Борис Георгиевич — 90, 92, 396
- Битов Андрей Георгиевич — 396
- Белинков Аркадий Викторович — 132
- Блок Александр Александрович — 26, 390
- Бобков Филипп Денисович — 185, 186, 237
- Богатырев Константин Петрович — 9
- Богомолов Михаил — 302
- Богораз Лариса Иосифовна (1929-2004), лингвист. После ареста первого мужа (писателя Ю.М. Даниэля) в 1965 году стала одним из основателей правозащитного движения в СССР. Участница демонстрации на Красной площади 25 августа 1968, приговорена к 3 годам ссылки. Участвовала в подготовке исторических сборников «Память» (1976-1981) — 20, 22, 56, 88, 107, 118, 124-126, 128-130, 205, 371, 373, 379
- Богословский Александр Николаевич (1937-2008), историк культуры. В 1984-1987 годах в заключении — 23
- Бодлер Шарль — 392
- Бокштейн Илья Вениаминович (1937-1999), поэт, философ. Активист собраний на площади Маяковского (1960-1961). Арестован во время одного из выступлений, осужден на 5 лет. С 1972 в эмиграции в Израиле — 101
- Болтрукевич Анатолий Васильевич (1936), математик. Участник демонстрации 5 декабря 1965 на Пушкинской площади — 278
- Боннэр Елена Георгиевна (1923-2011), врач. Начала заниматься общественной деятель-

- ностью в 1970 после знакомства с А.Д. Сахаровым, женой которого она вскоре стала. После ссылки Сахарова в Горький (1980) в течение четырех лет была связанной между ним и остальным миром. В 1976-1982 — член Московской Хельсинкской группы, в 1984 была осуждена к ссылке, до 1986 отбывала ссылку в Горьком — 32, 33, 56, 62, 89-91, 93-95, 106, 112, 113, 124, 173, 174
- Боннэр Руфь Григорьевна (1901-1987), мать Е.Г. Боннэр, в 1938 была приговорена к 8 годам лагерей как член семьи изменника родины. Реабилитирована в 1954 — 90
- Боно (Пол Дэвид Хьюсон) — 323
- Борисов Вадим Михайлович (1947-1997), историк, литературовед. Один из авторов сборника «Из-под глыб» (1974) — 108, 143, 144, 149, 267, 285
- Бородин Николай — 321
- Бороздинов Владимир Сергеевич — 98
- Борхес Хорхе Луис — 156
- Ботвинник Эми — 170
- Браудер Эрл Расселл — 23
- Брежнев Леонид Ильич — 9, 17, 67, 125, 146, 162, 232, 239, 242, 295, 320, 333, 348, 352, 386
- Бродский Иосиф Александрович — 9, 105, 121, 134, 146, 148, 158, 163, 164, 177, 204, 215, 330, 332, 333, 334, 374, 391
- Брок-Соколов Николай (1946), французский студент русского происхождения, гражданин Венесуэлы. Приехал в СССР в 1967 как иностранный турист, арестован, при нем были обнаружены материалы в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанскова, дал признательные показания, назвал себя агентом НТС, вскоре после завершения процесса (январь 1968) был освобожден и выслан из СССР — 104, 105
- Брэдбери Рэй — 222
- Буковская Нина Ивановна — 105
- Буковская Ольга Константиновна — 105
- Буковский Владимир Константинович (1942), политический деятель. С 18 лет активно участвовал в политических акциях, был одним из организаторов собраний на площади Маяковского (1960-1961), демонстраций на Пушкинской площади (декабрь 1965 и январь 1967). Был четырежды осужден, с 1963 по 1976 с короткими перерывами находился в психиатрических больницах и тюрьмах. В 1976 был обменен на находившегося в заключении главу компартии Чили Луиса Корвалана, с 1977 живет в Великобритании — 101, 105, 119, 149-152, 158, 164, 214, 217, 251, 297, 323, 324, 338, 364, 389, 392, 396
- Булгаков Михаил Афанасьевич — 215
- Буржуадемов К. см. Сокирко В.В.
- Бурлацкий Федор Михайлович — 18
- Бурмистрович Илья Евсеевич (1938), математик. В 1968 году был осужден на три года за распространение самиздата. Биограф А.Д. Сахарова — 95
- Буртин Юрий Григорьевич (1932-2000), литературный критик, публицист, историк. Занимался распространением самиздата, помогал движению крымских татар, был участником кружка М. Я. Гефтера — 386
- Бутенкова Людмила Ивановна — 319
- Бухарин Николай Иванович — 204
- Быков Василий (Василь) Владимирович — 396
- Вайль Борис Борисович (1939-2010), впервые осужден в 18 лет за участие в подпольном марксистском кружке Р. И. Пименова. В 1970 году вновь осужден и приговорен к ссылке за распространение самиздата. С 1977 года в эмиграции, с 1978 года жил в Дании — 61, 62, 86
- Вайнштейн Михаил — 73
- Валенса Лех — 192
- Васильев Андрей Александрович — 338
- Вахнина Мария — 10
- Введенский Александр Иванович — 329, 331
- Великанова Татьяна Михайловна (1932-2002), программист. В 1968 после суда над мужем (К. И. Бабицким) стала активной участницей правозащитного движения. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (1969-1977), после ареста Н. Е. Горбаневской участвовала в редактировании «Хроники текущих событий» (1970-1979). В 1979-1987 в заключении и ссылке — 56, 58, 126, 128, 169, 174, 306, 307, 355, 375
- Венцлова Антанас — 155
- Венцлова Томас — 155-165
- Вербицкий Николай Иванович — 78
- Вигдорова Фрида Абрамовна (1915-1965), журналист, писатель-прозаик. С 1956 года участвовала в распространении самиздата, выступала в защиту незаконно репрессированных. Активно участвовала в защите И. Бродского, вела стенограмму процесса (1964) — 105, 121
- Вильямс Николай Николаевич — 79
- Владимир (бывший муж Кулинской Елены) — 22
- Вознесенский Андрей Андреевич — 395
- Войнович Владимир Николаевич — 236, 396
- Волков Егор Егорович — 320
- Волошанович Александр Александр (1941), врач-психиатр. Консультант Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях» (1977-1979), подвергался внесудебным репрессиям. С 1980 в эмиграции в США — 308
- Вольпин Надежда Давыдовна — 82

- Вольтер — 199
- Воронцов Николай Николаевич — 42
- Врубель Анастасия Александровна — 275
- Врубель Михаил Александрович — 275
- Вулис Ян Абрамович — 303, 310, 311, 321
- Вуль Леонид Давидович (1949), филолог. Принимал участие в издании «Хроники текущих событий». Подвергался административным преследованиям (1975-1980) — 376
- Высоцкий Владимир Семенович — 158, 374
- Вышинский Андрей Януарьевич — 67
- Габай Илья Янкелевич (1935-1973), педагог, поэт. С 1965 участвовал в правозащитном движении, соавтор одного из первых манифестов советских инакомыслящих обращения «К деятелям науки, культуры, искусства» (январь 1968) в соавторстве с Ю.Кимом и П. Якиром. Один из редакторов «Хроники текущих событий». В 1969-1972 в заключении. Покончил жизнь самоубийством — 126, 140
- Габович Яков Абрамович — 34
- Гавел Вацлав — 192
- Гагарин Юрий Алексеевич — 332
- Галансков Юрий Тимофеевич (1939-1972), поэт, публицист. В 1959-1961 — активный участник поэтических чтений на площади Маяковского. Составитель самиздатского сборника «Феникс» (1961). Участник демонстрации 5 декабря 1965 на Пушкинской площади, задержан. В 1967 был арестован, фигурант «Процесса четырех» (Галансков, А. Гинзбург, А. Добровольский и В. Лашкова, январь 1968), виновным себя не признал, был приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Многократно отказывался подать прошение о помиловании, умер в лагере — 18, 29, 30, 98, 100, 103, 104, 119, 138
- Галич Александр Александрович — 75, 374, 394, 395
- Гамсахурдиа Звиад Константинович (1939-1993), филолог, редактор самиздата, политический деятель. Сын классика грузинской литературы. Участник юношеской антисоветской националистической группы (1956-1957), арестован, освобожден по просьбе отца. С 1974 информант «Хроники текущих событий». В 1976 объявил о создании Грузинской Хельсинкской группы, в 1977 арестован, публично покаялся, приговорен к ссылке в Дагестан, помилован в 1979 — 148, 149, 159, 162
- Гаруцкас Каролис (1908-1979), священник. Один из основателей Литовской Хельсинкской группы — 159, 162
- Гастев Юрий Алексеевич — 78, 79, 170, 174
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих — 229
- Гелдоф Боб — 324
- Гель Иван Андреевич — 243
- Гельфанд Израиль Моисеевич — 49, 52, 58, 77, 167
- Гельштейн Марк Гдальевич — 375-377
- Генкин Сергей Ефимович (1933-1998), математик. Муж И.Г. Кристи. Подвергался внесудебным преследованиям. С 1985 в эмиграции в США — 81, 86, 90, 92-94
- Генри Эрнст — 104
- Герасимова Светлана — 313
- Герлин Валерия Михайловна (1929-2012), педагог. Жена Ю.А. Айхенвальда — 78, 82, 88
- Герман Алексей Юрьевич — 330
- Герцен Александр Иванович — 58, 395
- Гершуни Владимир Львович (1930-1994), поэт, журналист, племянник социалреволюционера Г.А. Гершуни. Будучи студентом попал в лагерь за участие в молодежной подпольной группе. В лагере познакомился с А.И. Солженицыным, позднее помогал ему в работе на «Архипелагом ГУЛАГ». С 1965 участвовал в провозащитных акциях. В 1969-1974 и 1982-1987 был осужден за антисоветскую деятельность, оба раза был помещен в специальную психиатрическую больницу. В 1978-1980 автор и соредатор журнала «Поиски» — 235, 237
- Гете Иоганн Вольфганг фон — 82
- Гефтер Михаил Яковлевич — 221, 224, 227, 233, 234, 237, 238, 240-242, 366, 379
- Гинзбург Людмила Ильинична — 121
- Гинзбург Александр Ильич (1936-2002), журналист, редактор. Редактор первого самиздатского журнала «Синтаксис» (1959-1960), составитель «Белой книги» (1966) о деле А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля. Распорядитель Фонда помощи политзаключенным (1974-1977), член Московской Хельсинкской группы (1976-1977). Трижды арестовывался и был осужден (1960-1962, 1967-1972, 1977-1979). В 1979 был в составе группы из 5 политзаключенных обменян на двух советских шпионов, арестованных в США — 18, 29, 30, 98, 99, 104-107, 111, 121, 137, 158, 163, 164, 253, 254, 257, 260, 261, 265, 268, 287, 292
- Гинзбург Арина (Ирина) Сергеевна (1937), филолог, журналист. Жена А. И. Гинзбурга. С конца 1960-х — активная участница общественной помощи политическим заключенным и их семьям. В 1977-1980 — распорядитель Фонда помощи политическим заключенным и их семьям, с 1980 года в эмиграции в США и во Франции — 99, 257, 375, 292
- Гинзбург Евгения Соломоновна — 318

- Гитлер Адольф — 26
 Гланц Анатолий Франкович — 199, 204, 205
 Глотов Владимир Владимирович — 365
 Гоголь Николай Васильевич — 318
 Голдуотер Барри Моррис — 120
 Голумбиевская Анна — 215
 Гольдберг Анатолий Максимович — 52, 221
 Гольденберг Исидор Моисеевич — 206
 Гончаров Виктор — 311, 312
 Горбаневская Наталья Евгеньевна (1936-2013) — поэт, переводчик. Основатель и первый редактор «Хроники текущих событий». Участник демонстрации на Красной площади 25 августа 1968. Член Инициативной группы по правам человека. В 1969-1972 в заключении. С 1975 в эмиграции во Франции — 19, 30, 36, 56, 58, 111, 121, 122, 126, 129, 130, 133, 134, 137, 139, 148, 158, 163, 164, 218, 325, 332, 375
 Горбаневский Ярослав Андреевич — 97
 Горбачев Михаил Сергеевич — 243, 305, 326, 342, 386
 Горган Лина — 238
 Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) — 162, 331
 Грабарь Мстислав Игоревич — 79, 82, 90
 Грамши Антонио — 223
 Григоренко Зинаида Михайловна — 167
 Григоренко Петр (Петро) Григорьевич (1907-1987), генерал-майор советской армии, участник ВОВ. В 1963 году создал «Союз борьбы за возрождение ленинизма», в 1964 был арестован, лишен воинских званий, признан невменяемым и помещен в специальную психиатрическую лечебницу. В 1965 освобожден, с 1966 стал одним из лидеров движения крымских татар. В 1969 году вновь арестован, в 1970-1974 в психиатрических лечебницах. С 1976 член Московской Хельсинской группы. С 1977 в эмиграции в США — 56, 57, 119, 126, 128, 129, 167, 184, 206, 218, 314, 392, 396
 Григоренко Андрей Петрович — 240
 Григорьянц Сергей Иванович 13-27, 348, 369, 370
 Гримм Юрий Леонидович (1935-2011), крановщик, публицист. В 1964 осужден на три года лагерей за распространение листовок анти-советского содержания. Член редколлегии журнала «Поиски», в 1980 повторно осужден на три года — 235, 237
 Гринев Виктор Иванович (1941) — художник. В 1982 осужден на 3 года лагерей за «отказ от советского гражданства по политическим мотивам» — 350
 Губанов Леонид Георгиевич (1946-1983), поэт, создатель неофициальной литературной группы СМОГ — 100
 Гудас, крестьянин — 64
 Гулыга Арсений Владимирович — 396
 Гуль Роман Борисович — 132, 133
 Гумилев Николай Степанович — 215, 336, 339, 350
 Гутман Наталья Григорьевна — 144
 Гучков Александр Иванович — 32
 Гэбриэл Питер — 324
 Давыдов Виктор Викторович — 295-327
 Давыдов Юрий Владимирович — 33
 Давыдова Любовь Аркадьевна (1957-2008), жена В.В. Давыдова — 307, 308, 319
 Даниэль Александр Юльевич — 18, 29, 40, 51-53, 79, 80, 98, 104-106, 204, 228, 241, 373-389
 Даниэль Юлий Маркович (1925-1988), прозаик, поэт, переводчик. Участник ВОВ, с 1958 публиковался за рубежом под псевдонимом Николай Аржак. В 1965 арестован и в 1966 вместе с А.Д. Синявским осужден на 5 лет лагерей — 167, 204, 373, 374
 Данкен Роберт — 278
 Дарвин Чарльз — 327
 Дворкин Георгий Абрамович — 61
 Дедюлин Сергей Владимирович (1950), библиограф, преподаватель. В 1976-1980 годах один из редакторов исторических сборников «Память», с 1980 года — в эмиграции во Франции, журналист газеты «Русская мысль» (Париж, 1980-1991) — 378-380
 Делоне Вадим Николаевич (1947-1983), поэт. Участник митинга на Пушкинской площади 22 января 1967 и демонстрации на Красной площади 25 августа 1968. В 1968-1973 в заключении. С 1975 в эмиграции во Франции. Покончил жизнь самоубийством — 128, 130
 Демичев Петр Нилович — 50
 Деникин Антон Иванович — 208
 Денисов Александр, рабочий из Хабаровска. «Стихийный троцкист», написавший трактат о необходимости мировой революции — 321
 Десницкая Агния Васильевна — 331
 Джилас Милован — 187, 205, 223
 Джойс Джеймс — 157
 Джункин Джон Иосифович — 215
 Джунковский Владимир Федорович — 76
 Дзюба Иван Михайлович (1931), литературовед и публицист. Участник украинского национального движения. В 1973 году был приговорен к 5 годам заключения и 5 годам ссылки, публично покаялся, тогда же помилован — 392, 394, 396
 Добкин Александр Иосифович (1950-1998), историк, преподаватель, в 1976-1981 — один из редакторов исторических сборников «Память» — 378-380
 Добровольский Алексей Александрович (1938-2013), грузчик. В 1957 один из создателей Российской национально-социалистической

- партии (РНСП), занимался распространением листовок. В 1958 арестован и приговорён к 3 годам заключения. В 1964 вновь арестован, признан невменяемым и в течение года находился на принудительном лечении. В 1967 арестован, на суде дал показания на себя и проходивших по делу вместе с ним Ю. Галанскова, А. Гинзбурга и В. Лашкову, приговорен к 2 годам. После освобождения в 1968 увлекся оккультизмом и славянским язычеством — 18, 29, 98, 101, 102, 104
- Добрушин Роланд Львович — 72, 73
- Домбровский Юрий Осипович — 236, 396
- Донн Джон — 330
- Донской Гелий Михайлович (1937), преподаватель. В 1983 году осужден по делу М. Мейлаха на 2 года лагеря и 3 года ссылки — 335
- Достоевский Федор Михайлович — 280, 300, 327
- Дремлюга Владимир Александрович (1940-2015), студент. Участвовал в демонстрации на Красной площади 25 августа 1968. Осужден на 3 года лагерей, в лагере получил второй срок за антисоветские высказывания. С 1974 в эмиграции в США — 128, 130
- Друцэ Иван (Ион) Пантелеевич — 396
- Дубов Николай Иванович — 396
- Дубчек Александр — 139, 204
- Дудинцев Владимир Дмитриевич — 71, 72, 206
- Дудко Дмитрий Сергеевич (1922-2004), священник, публицист, проповедник. В 1948-1956 в заключении. В 1980 арестован, обвинен в антисоветской деятельности, в 1981 публично покаялся, дело закрыто — 313
- Дымин Валерий — 297, 322
- Ева, чешская знакомая Слоним М.И. — 139
- Евтушенко Евгений Александрович — 230, 342, 393
- Егоров Виктор Васильевич — 337
- Елена Владимировна, учительница Ковалева С.А. — 43, 44
- Ельцин Борис Николаевич — 67, 165, 243, 244
- Емельянов Валерий Николаевич (1929-1999), преподаватель, идеолог антисемитизма. Автор книги «Десионизация», после которой исключен из КПСС и отстранен от работы в обществе «Знание». В 1980 осужден за убийство жены, признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. После освобождения в 1986 примкнул к обществу «Память» — 312
- Еремин Михаил Федорович — 263, 278
- Ерофеев Венедикт Васильевич — 15, 227
- Есенин Сергей Александрович — 82, 205
- Есенин-Вольпин Александр Сергеевич — 56, 71, 77, 79-87, 167, 178, 242, 314, 324, 385, 392
- Ефремов Георгий Исаакович — 376, 377
- Жданов, следователь — 171
- Живлов Александр Иванович — 204-206
- Жирмунский Виктор Максимович — 330, 331, 333
- Зайцев, следователь — 187
- Зайцева Ольга Фадеевна (1955), медсестра. Жена В.А. Фефелова. В 1978 участвовала в создании «Инициативной Группы защиты прав инвалидов в СССР», подвергалась внесудебным преследованиям. С 1983 в эмиграции в ФРГ — 349, 350
- Зализняк Андрей Анатольевич — 143
- Замятин Евгений Иванович — 208
- Зверев Анатолий Тимофеевич — 122
- Зеликсон Борис Михайлович (1935-2002), инженер. В 1965-1968 в заключении — 332
- Зелинский Владимир Корнелиевич — 132
- Зигерт Йенс — 5, 7, 10,
- Зингерман Борис Исаакович — 396
- Зиник Зиновий (Зиновий Ефимович Глузберг, 1945) – писатель, критик. Подвергался внесудебным преследованиям. С 1975 в эмиграции в Израиле и Великобритании — 150
- Зиновьева Валентина Ивановна (1944), лаборантка Физико-энергетического института в г. Обнинске. Обвиняемая на процессе Б.Б. Вайля и Р.И. Пименова (Калуга, 1970), дала признательные показания против них — 61
- Зубарев Дмитрий Исаевич (1946), филолог, историк. Участник демонстрации 5 декабря 1965 на Пушкинской площади. Член редакционной исторических сборников «Память» (1976-1981) — 378-379
- Зюганов Геннадий Андреевич — 304
- Иванов Георгий Владимирович — 221
- Иванов Сергей Николаевич — 76
- Игрунов Вячеслав Владимирович — 195-219, 223, 225, 226, 228, 239, 241, 311, 326
- Извеков Иван Н. — 305
- Иллич Иван — 221
- Ильенков Эвальд Васильевич — 224
- Ильф Илья Арнольдович — 161
- Иновлоцкий Григорий Исаакович — 308, 309
- Иоанн Павел II — 156
- Иофе Вениамин Викторович (1938-2002), историк, публицист. В 1965-1968 в заключении. Один из авторов исторических сборников «Память» — 379, 380
- Искандер Фазиль Абдулович — 236, 396
- Истомин, следователь — 66-68
- Иофе Ольга Юрьевна (1950), студентка. В 1966 задержана за распространение листовок против реабилитации Сталина, в 1969 арестована за хранение и распро-

- странение «антисоветской литературы», приговорена к лечению специальной психиатрической больницы, в 1971 освобождена. С конца 1970-х в эмиграции — 184
- Кабытов Петр Серафимович — 302
- Каверин Вениамин Александрович — 52
- Каверин Николай Вениаминович — 52
- Каджионис Йонас — 64
- Какабадзе Нодар Мефодьевич — 396
- Калинин Михаил Иванович — 76, 77
- Калишин Андрей С. — 305, 315
- Каллистратова Софья Васильевна (1907-1989), адвокат. Выступала адвокатом на процессах Н. Горбаневской, П. Григоренко, В. Делоне и многих других. Участвовала в деятельности Московской Хельсинкской группы. Подвергалась внесудебным преследованиям (обыски, изъятие писем). В 1981 против нее было возбуждено уголовное дело, отказывалась от дачи показаний. В 1984 дело было прекращено в связи с возрастом и состоянием здоровья — 21, 26, 56, 171, 239, 241
- Калнина Дзидра Яновна — 396
- Камю Альбер — 223
- Кан Мария Иосифовна — 277
- Канович Григорий — 203, 204
- Капица Петр Леонидович — 231
- Каплан Фани, биолог — 41
- Каралашвили Реваз Георгиевич — 396
- Каратаев Булат Базарбаевич — 131, 185, 188
- Карельский Альберт Викторович — 396
- Карпинский Лен Вячеславович — 18, 227, 243, 244, 365
- Кастро Фидель — 157
- Катукова, прокурор — 337
- Каутский Карл — 201, 210
- Кафка Франц — 301
- Кац Людмила см. Кушева Людмила
- Квачевский Лев Борисович (1939), инженер-биохимик. В 1968-1972 в заключении — 37, 127
- Кейнс Джон — 120
- Кеннеди Джон — 205, 211
- Кестлер Артур — 263, 277, 278, 283
- Кизелов Федор Федорович (1945), биохимик. Участник правозащитного движения. С 1987 в эмиграции — 22-26
- Ким Юлий Черсанович (1936), педагог, поэт, бард. Вместе со своим тестем П. Якиром и И. Габаем был соавтором обращения «К деятелям науки, культуры и искусства» (1968) о преследованиях инакомыслящих в СССР. В 1970-1971 участвовал в подготовке «Хроники текущих событий» — 56, 77, 126, 177
- Кинаров Иван Павлович — 299, 322
- Киселев Юрий Иванович (1932-1995), художник-декоратор. В начале 1970-х вступил в Инициативную группу по защите прав человека в СССР, подвергался внесудебным преследованиям — 79, 349, 350
- Киссинджер Генри — 146, 148
- Кистяковский Андрей Андреевич — 262-268, 270, 271, 274, 278-283, 287, 288, 290, 322
- Клайн Эд — 119, 131
- Клини Стивен Коул — 83
- Клюев Николай Алексеевич — 350
- Клямкин Игорь Моисеевич — 365
- Ковалев Иван Сергеевич (1959), инженер-энергетик. Сын С.А. Ковалева. В 1978-1981 член Московской Хельсинкской группы, сотрудничал в «Хронике текущих событий», в «Информационном Бюллетене» Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, «Бюллетене В» и др. правозащитных изданиях. В 1981 арестован и в 1982 приговорен к 5 годам ссылки. С 1987 в эмиграции в США — 22, 321, 326, 338, 343, 348, 351, 365
- Ковалев Сергей Адамович — 39, 39-69, 88, 89, 113, 126, 159, 162, 163, 165, 167, 168, 171, 174, 191-193, 338, 366, 367, 375, 376, 380, 388, 389
- Коган Вера — 259, 264
- Коган Игорь — 259, 264
- Коган Павел Давыдович — 14
- Кодрянская Наталья Владимировна — 19,
- Козлов Борис Николаевич (1937-1999), художник-авангардист. Друг В. Буковского и А. Кистяковского — 278
- Козырев Андрей Владимирович — 191
- Колман Роберт — 92
- Колмогоров Андрей Николаевич — 72-74, 77
- Колошин Анатолий Александрович — 139
- Конквест Роберт — 223
- Копелев Лев Зиновьевич (1912-1997), критик, литературовед. Первый раз был арестован в 1929 за распространение листовок против арестов «большевиков-ленинцев» (троцкистов), отпущен на поруки отцу. Участник ВОВ, награжден несколькими орденами и медалями. В 1945 приговорен к десяти годам заключения за пропаганду «буржуазного гуманизма» и за «сочувствие к противнику». В «шарашке» познакомился с А.И. Солженицыным. В 1954 реабилитирован. С 1966 активно участвовал в правозащитном движении. В 1968 исключен из КПСС и Союза писателей, уволен с работы за подписание протестных писем в защиту диссидентов и против вторжения в Чехословакию. С 1980 в эмиграции в ФРГ — 8, 9, 132, 160, 235, 236, 238, 255, 391, 396
- Копелева Елена Львовна (1939), редактор. Дочь Л.З. Копелева и Н. М. Колчинской, жена М.И. Грабара — 90, 92, 94

- Копелева Майя Львовна (1937), инженер. Дочь Л.З. Копелева и Н. М. Колчинской, первая жена П.М. Литвинова — 128, 131
- Корвалан Луис — 217
- Коржавин Наум Моисеевич — 394, 395
- Корнилов Владимир Николаевич — 134
- Королев Сергей Павлович — 231
- Коротаев Алексей Степанович (1946), историк науки. В 1976-1981 член редколлегии сборника «Память», подвергался внесудебным преследованиям — 378
- Костерин Алексей Евграфович (1896-1968), русский писатель. В 1939-1956 в заключении и ссылке, друг генерала П.Г. Григоренко — 206
- Котрелев Николай Всеволодович — 31
- Кочур Григорий Порфирьевич — 392, 395
- Кравченко Наталья — 376, 377
- Красин Виктор Александрович (1929), экономист. В 1949-1954 в заключении. В 1960-х участвовал в распространении самиздата, затем в издании «Хроники текущих событий». Один из организаторов Инициативной группы по защите прав человека в СССР, осужден и приговорен к ссылке (1969-1971). Вновь арестован в 1972. В 1973 на «процессе Якира-Красина» дал признательные показания и публично покаялся. Приговорен к 3 годам лагеря и 3 годам ссылки, срок тогда же снижен до фактически отбытого. С 1975 в эмиграции в США — 32, 33, 111, 112, 124, 126, 128, 169, 228, 322, 376, 392
- Краснов-Левитин Анатолий Эммануилович (1915-1991), церковный писатель. Арестовался в 1934. В 1949-1956 в заключении. В 1969 арестован за нарушение законов об отделении церкви от государства. В 1970 отпущен из-за недоказанности обвинения. В 1971 приговорен к трём годам лишения свободы. С 1974 в эмиграции в Швейцарии — 97-99, 104
- Краснопевцев Лев Николаевич — 15, 16,
- Крахмальникова Зоя Александровна (1929-2008), критик, публицист. В 1976 начала выпускать самиздатский сборник «Надежда (Христианское чтение)». В 1982 арестована, в 1983 приговорена к 1 году заключения и 5 годам ссылки. В заключении принесла обет тайного монашества, приняв монашеское имя Екатерина. Освобождена в 1987 — 99
- Кривулин Виктор Борисович — 331
- Кристи Ирина Григорьевна — 71-95
- Кронрод Александр Семенович — 75, 77
- Крючков Владимир Александрович — 67
- Кузнецов Эдуард Самойлович (1939), журналист, публицист. В 1961-1968 в заключении. В 1970 переехал в Ригу, где в месте с женой С. Залмансон участвовал в заговоре с целью захвата самолета для побега из СССР. Арестован и приговорен к высшей мере наказания, замененной на 15 лет заключения. В 1979 в составе группы диссидентов был обменен на двух советских шпионов. Живет в Израиле — 30, 159, 295
- Кузьминский Константин Константинович — 331
- Куинджи Архип Иванович — 275
- Кукобака Михаил Игнатьевич (1936), публицист. В 1969 арестован, в 1970-1976 в специальной психиатрической больнице. В 1978 повторно арестован и в 1979 году осуждён на 3 года, в лагере получил повторный срок по этой же статье. Вновь арестован в 1984 и приговорен к 6 годам лагерей и 4 годам ссылки. Освобожден в 1988. Последний заключенный лагеря «Пермь-36» — 366
- Кукушкин Иван, надзиратель лагеря Пермь-36 — 68
- Кулинская Елена — 22, 25
- Курса Олег — 212
- Кушев Евгений Игоревич (1947-1995), поэт, переводчик. В 1965 выпустил машинописный журнал «Тетради социалистической демократии». Участник демонстрации 5 декабря 1965 на Пушкинской площади, был отчислен из МГУ и насильно помещен на 1,5 месяца в психиатрическую больницу. Задержан на демонстрации 22 января 1967. Приговорен к одному году исправительных работ условно, освобожден в зале суда. С 1974 в эмиграции — 98
- Кушева Людмила — 98, 102
- Лавут Александр Павлович (1929-2013), математик. Автор и редактор самиздата, с 1968 участвовал в подготовке «Хроники текущих событий», в 1974-1980 был одним из основных ее авторов, руководил подготовкой выпусков. Участвовал в движении крымских татар. В 1980 осужден за «анти-советскую агитацию» на 3 года лагерей, в лагере получил второй срок, в 1983-1986 находился в ссылке — 57, 60, 61, 126, 167-175, 376
- Лавут Евгения Сергеевна — 170
- Лавут Ольга Сергеевна — 170, 172, 173
- Ладъженская Галина — 207
- Ланда Мальва Ноевна (1918), геолог. Член Московской Хельсинской группы с момента ее основания (1976). В 1976 стала одним из распорядителей Фонда помощи политзаключенным. В 1977 по надуманному обвинению в «халатном обращении с огнем» приговорена к штрафу и двум годам ссыл-

- ки. После возвращения из ссылки вернулась к правозащитной деятельности — 255-257
- Ландау Лев Давидович — 14
- Ландау Яков Лазаревич — 312
- Лашкова Вера Иосифовна — 18, 29, 97-113, 291, 292
- Лашманкин Василий Семенович — 301
- Лацивер Ася Абрамовна (1940-2009), инженер-технолог. Участвовала в выпуске самиздатского «Бюллетеня В» и в работе Фонда помощи политзаключенным — 24, 25
- Левинтон Георгий Ахиллович — 36
- Левитин Евгений Семенович — 109
- Ледковская Марина Викторовна — 332
- Лейкин Элькон Георгиевич — 228
- Лем Станислав — 222, 223, 247
- Ленин Владимир Ильич — 31, 72, 157, 199-203, 239, 322, 331, 336
- Леннон Шон — 324
- Лермонтов Михаил Юрьевич — 215
- Лерт Раиса Борисовна (1906-1985), журналист. Уволена в 1949 из ТАСС в ходе «борьбы с космополитизмом». Со второй пол. 1960-х принимала участие в правозащитном движении, в середине 1970-х выпускала (совм. с Р.А. Медведевым) альманах «XX век», была сооснователем журнала «Поиски». Участвовала в подготовке «Хроники текущих событий». В 1979 исключена из КПСС — 228, 234, 241, 379
- Либерман Анатолий Симонович — 333
- Лисовская Нина Петровна (1917-2007), биолог. Активный сотрудник Фонда помощи политзаключенным с момента его основания (1974) до прекращения его деятельности — 127, 174, 258-260, 262
- Литвинов Дмитрий Павлович — 131
- Литвинов Максим Максимович — 115-117, 137, 145
- Литвинов Михаил Максимович — 55
- Литвинов Павел Михайлович — 55, 88, 115-135, 137, 139, 145, 162, 228
- Литвинова Татьяна Максимовна — 117, 137, 145
- Литвиновы, см. Слоним М.Л., Литвинов П.М.
- Лифарь Сергей (Серж) Михайлович — 339
- Лорие Мария Федоровна — 277
- Лотман Юрий Михайлович — 223, 377, 379
- Лоу Айви — 137
- Лошак Андрей Борисович — 32
- Лубман Леонид Яковлевич — 338
- Лубяницкий Геннадий Владимирович — 376, 377
- Лужков Юрий Михайлович — 113
- Луи Виктор (Виталий) Евгеньевич — 142
- Лукаускайте-Пошкене Она (1906-1983), поэт и переводчик. Узница сталинских лагерей, член Литовской Хельсинской группы с 1976 года — 159, 162
- Лукаш Николай (Микола) Алексеевич (1919-1988), переводчик и литературовед. В 1973 был исключен из Союза писателей за письмо в защиту осужденного Ивана Дзюбы — 392, 394, 395
- Лунц Даниил Романович — 216
- Лурье Самуил Аронович — 277
- Лурье Яков Соломонович — 379
- Лысенко Трофим Денисович — 39, 41, 49, 50, 125
- Любарский Кронид Аркадьевич (1934-1996), астроном, журналист. Активный распространитель самиздата с середины 1960-х. В 1972 арестован за участие в подготовке «Хроники текущих событий», осужден на 5 лет строгого режима. Автор идеи проведения единого Дня сопротивления политзаключенных (30 октября). После ареста А. Гинзбурга (1977) стал сораспорядителем Фонда помощи политзаключенным. С 1977 в эмиграции в ФРГ — 74, 207, 255, 256, 289, 323, 380, 390
- Любимов Юрий Петрович — 162
- Лямина Вера Алексеевна — 215
- Ляпунов Алексей Андреевич — 42
- Магун Владимир Самуилович — 203, 209
- Макаров Алексей Алексеевич — 7
- Македонский Александр — 218
- Маккарти Джозеф — 120
- Максимов Владимир Емельянович — 19, 133, 134, 151, 238, 297, 392, 394, 395
- Маленков Георгий Максимилианович — 117
- Малецкий Юрий Иосифович — 300
- Малинкович Владимир Дмитриевич (1940), врач, общественный деятель. В 1961 исключен из Ленинградского университета за общественную деятельность. В 1968, окончив Киевский медицинский институт, был призван в армию и перед строем высказал свое отношение к вводу войск в Чехословакию. Провел месяц под следствием, был подвергнут офицерскому суду чести и уволен из армии. В 1975-1979 подвергался внесудебным преследованиям. С 1978 член Украинской Хельсинской группы. С 1980 в эмиграции в ФРГ — 323
- Малкин Лев Михайлович (1928-1985). Математик. Входил в компанию «Братство нищих сибаритов», арестован в 1945, приговорен к 4 годам лагерей — 78
- Мамардашвили Мераб Константинович — 228, 233
- Мандельштам Надежда Яковлевна — 107-111, 308
- Мандельштам Осип Эмильевич — 19, 107-110, 157, 205, 215, 263, 332, 338,

- Марков Георгий Мокеевич — 395
- Марков Дмитрий Дмитриевич (1929), историк архивист. Участвовал в подготовке «Бюллетеня В», в 1983-1986 в заключении — 23, 26, 27
- Маркс Карл — 199-201, 202, 210, 211, 223, 228
- Маркузе Герберт — 221
- Мартинсоны — 170
- Марченко Анатолий Тихонович (1938-1986), рабочий, писатель. В первый раз арестован в 1958, бежал, пытался перейти советско-иранскую границу, был арестован и приговорен к 6 годам лагерей. Вновь арестован в 1968 за нарушение паспортного режима, в лагере получил еще один срок. Принуждался властями к эмиграции, после отказа получил пятый срок за нарушение режима надзора. В 1976, находясь в ссылке стал членом Московской Хельсинкской группы. Шестой срок получил в 1981. В 1986 объявил голодовку с требованием всеобщей амнистии политзаключенных, умер через 10 дней после ее окончания — 20, 22, 107, 126, 127, 205, 243, 244
- Марченко Лариса, см. Богораз Л.И.
- Марченко Павел Анатольевич (1973), сын А.Т. Марченко и Л.И. Богораз — 107
- Масарик Томаш — 210
- Мата Хари — 141
- Маяковский Владимир Владимирович — 198, 215, 374
- Медведев Жорес Александрович (1925), агрохимик, геронтолог. В 1962 году был уволен из Тимирязевской академии после написания книги «Биологическая наука и культ личности», которая активно распространялась в самиздате. В 1969-1970 написал еще несколько работ, в которых резко критиковал ситуацию в советской биологии. В 1970 насильно помещен в психиатрическую больницу, но вскоре был выпущен под давлением общественности. С 1973 в эмиграции в Великобритании — 61
- Медведев Рой Александрович (1925), историк, публицист. В 1969 исключен из КПСС, подвергался внесудебным преследованиям — 228, 234, 386, 392
- Меерсон-Аксенов Михаил Георгиевич (1944), историк, протоиерей. С 1972 года в эмиграции во Франции — 132
- Мейерхольд Всеволод Эмильевич — 98
- Мейлах Борис Соломонович — 329
- Мейлах Мирра Борисовна — 333
- Мейлах Михаил Борисович — 329-345
- Мельгунов Сергей Петрович — 208
- Мельников Олег — 61
- Мельчук Игорь Александрович — 379
- Менухин Иегуди — 125,
- Мень Александр Владимирович — 109
- Мережковский Дмитрий Сергеевич — 19
- Милош Чеслав — 158
- Минский Николай Максимович — 19
- Мириманов Виль Борисович — 278
- Миронов Николай Романович — 17
- Миттеран Франсуа — 342
- Михайлов Борис Борисович — 262, 264-268, 272, 274, 281, 282, 285-292, 322
- Михайлова Наталья, жена Б.Б. Михайлова — 264, 291
- Михалков Сергей Владимирович — 34
- Мкртчян Ишхан — 339
- Можаев Борис Андреевич — 396
- Монтестье Шарль — 199
- Мороз Владимир Алексеевич — 144
- Морозов Александр Анатольевич — 19, 263, 278
- Морозов Георгий Васильевич — 216
- Морозов Павлик — 117
- Мостинская Сима Борисовна — 167-175
- Мостовой, студент-филолог — 210
- Муравьев Владимир Сергеевич (1939-2001), переводчик, литературовед. Участвовал в диссидентских кружках рубежа 1950-1960-х, был близким другом и крестным отцом Венедикта Ерофеева, хранил рукопись поэмы «Москва — Петушки». Соавтор А.А. Кистяковского — 15-17, 263, 278
- Набоков Владимир Владимирович — 332, 338, 395
- Набокова Елена Владимировна — 332
- Найман Анатолий Генрихович — 141
- Невзлин Леонид Борисович — 324
- Незнов Виктор Владимирович — 312
- Нейгауз Генрих Густавович — 174
- Нейгауз Милица Генриховна — 174
- Некрасов Виктор Платонович — 19, 133, 394-396
- Нелидов Дмитрий, псевдоним Зелинского В. Никитин — 75
- Никольский Борис Николаевич — 277
- Нимирина Нелли Яковлевна — 307
- Ницше Фридрих — 208
- Новодворская Валерия Ильинична (1950-2014), переводчица, публицист. В 1969 организовала подпольную студенческую группу, тогда же была арестована на разбрасывание в Кремлевском дворце съездов листовок с антисоветским стихотворением собственного сочинения. В 1970-1972 находилась в специальной психиатрической больнице. В 1978 стала одним из учредителей «Свободного межпрофессионального объединения трудящихся» (СМОТ), подвергалась внесудебным преследованиям — 326
- Нуждин Николай Иванович — 125

- О'Коннор Фланнери — 278
 Облонская Раиса Ефимовна — 277
 Оден Уистен Хью — 125
 Окуджава Булат Шалвович — 75, 158, 374, 395, 396
 Олейников Николай Макарович — 19
 Оно Йоко — 324
 Орехов Виктор Алексеевич — 185
 Орлицкий Юрий Федорович — 300
 Орлов Юрий Федорович — 56, 106, 132, 160, 232, 362, 364
 Орлова Мария Николаевна — 10, 391
 Орлова Раиса Давыдовна — 8, 236, 391, 396
 Орловский Эрнст Семенович (1929-2003), математик, патентовед. Весной 1956 вместе со своим другом Р.И. Пименовым подготовил комментированный текст доклада Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС, затем распространявшийся в самиздате. Выступал свидетелем на обоих процессах Р.И. Пименова, добился снижения тому срока заключения. В 1973 принял активное участие в организации и работе советской секции Amnesty International. Неоднократно подвергался внесудебным преследованиям — 87
 Оруэлл Джордж — 223, 313
 Осипов Владимир Николаевич (1938), историк, писатель. В 1958-1961 участвовал в литературных чтениях у памятника Маяковскому, арестовывался на 5 суток. В октябре 1961 года был арестован и в феврале 1962 года осужден на 7 лет за «антисоветскую пропаганду». После освобождения был сооснователем националистических журналов «Вече» и «Земля», открыто печатался за границей. В 1975 повторно осужден на 8 лет — 101
 Осповат Александр Львович — 35
 Островская Софья Казимировна — 335
 Охотин Никита Глебович — 381
 Павленский Петр Андреевич — 316
 Павлинчук Валерий Алексеевич (1937-1968) — советский ученый-физик, общественный деятель, один из авторов сборников «Физики шутят» и «Физики продолжают шутить». Знакомый А.Д.Сахарова, в 1968 году за распространение «Хроники текущих событий» исключен из КПСС, отстранен от работы в ФЭИ — 124
 Павлов Юрий, физик — 339
 Павлов Иван Петрович — 45
 Павлова Нина Сергеевна — 396
 Павловский Глеб Олегович — 221-244, 365, 366, 390
 Пайпс Ричард — 132
 Пастернак Борис Леонидович — 120, 157, 205, 374
 Паустовский Константин Георгиевич — 9, 71, 72
 Перченко Феликс Федорович (1931-1993), учитель литературы, астрономии, географии, биологии в Коми АССР, затем Ленинграде. В 1976-1981 один из авторов исторических сборников «Память» — 378
 Петкус (Пяткус) Викторас (1930-2012), писатель, правозащитник. Основатель Литовской Хельсинкской группы (1976), Комитета национальных движений стран Балтии (1977). Отсидел в лагерях более 20 лет. В 1978, 1979 и 1981 Пяткус вместе с другими активистами хельсинкских групп выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию мира — 158-160, 162, 164, 165
 Петров Евгений (Катаев Евгений Петрович) — 61
 Петров Никита Васильевич — 381
 Петровский Иван Георгиевич — 73, 74
 Петухова Людмила, врач — 316
 Печчеи Аурелио — 239
 Пешков Максим Алексеевич — 162
 Пикассо Пабло — 395
 Пименов Револьт Иванович (1931-1990) — математик, историк. Автор «Венгерских тезисов» (1956), создал и возглавил подпольную организацию, занимавшуюся в том числе самиздатом. В 1957-1963 в заключении. В 1970-1975 в ссылке — 61-63, 86-89, 389.
 Пименова Виля, жена Р.И. Пименова — 63, 88, 89
 Платон — 201
 Плеханов Георгий Валентинович — 199
 Плумпа Пятрас (1939) — член молодежных подпольных групп (в том числе каунасской «Свободы Литве»), издатель и распространитель неподцензурной литературы, друг С.А.Ковалева. С 1969 тиражировал самиздат, в том числе «Хронику Литовской католической церкви». В 1958-1965 и 1973-1981 в заключении — 64
 Плющ Леонид Иванович (1938-2015), математик. Активно содействовал распространению правозащитных идей на Украине, был связующим звеном между московскими и украинскими диссидентами, распространял самиздат. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР с момента образования (1969). Арестован в 1972, помещен в специальную психиатрическую больницу. Освобожден в 1976, с того же года в эмиграции во Франции — 218
 Побережный Павел — 319, 320
 Подрабинек Александр Пинхосович (1953), журналист. Автор книги «Карательная медицина» (1977), один из соучредителей Рабочей комиссии по расследованию использова-

- ния психиатрии в политических целях при Московской Хельсинкской группе. Участвовал в издании «Хроники текущих событий». В 1978 осужден на 5 лет ссылки; в 1980 повторно арестован в ссылке, в 1981-1984 в заключении — 186, 308
- Подъяпольский Григорий Сергеевич (1926-1976), геофизик, ученый, поэт. В правозащитном движении с 1965. Один из основателей Инициативной группы по защите прав человека в СССР, член Комитета по правам человека; соавтор принятых им документов наряду с А.Д.Сахаровым и И.Р.Шафаревичем — 77, 81, 253, 258
- Подъяпольская Марья Гавриловна (1922-2011), жена Г.С.Подъяпольского. Участвовала в деятельности Фонда помощи политзаключенным и их семьям. С 1988 в эмиграции в США — 89, 90, 92-94, 253, 258
- Поляков Лев — 338
- Померанц Григорий Соломонович (1918 – 2013), философ, культуролог. Участник ВОВ, в 1945 исключен из партии за «антисоветские разговоры», в 1949-1953 в заключении. После реабилитации в 1956 году работал библиографом в ИНИОН РАН. Активно публиковался в самиздате и за рубежом — 206, 207, 221, 234, 236, 241
- Попадок Зорян Владимирович (1953), украинский правозащитник. Вместе с однокурсниками организовал подпольную группу «Украинский национально-освободительный фронт». В 1973-1980 в заключении. Повторный срок в 1982-1987 — 338
- Попов Кирилл Николаевич (1949), химик. В 1985-1987 в заключении — 366
- Поповский Константин Маркович (1951), историк, философ, литератор. Сын М. А. Поповского. В 1970-1980-е принимал участие в различных диссидентских акциях, в том числе — в составлении исторических сборников «Память» — 378
- Поповский Марк Александрович (1922-2004), писатель, журналист. Автор многих изданных в СССР книг, посвященных деятелям науки. В 1970-е собрал библиотеку самиздата, подписывал письма-протесты. С 1977 в эмиграции в США — 378
- Презент Исай (Исаак) Израилевич — 41
- Профферы, Карл и Эллендея — 331
- Прыжов, псевд. Павловского Г. О.
- Пулькин Иван Иванович — 19
- Путин Владимир Владимирович — 324, 326, 327, 390
- Пушкин Александр Сергеевич — 215, 240
- Пятигорский Александр Моисеевич — 228
- Равдин Борис Анатольевич — 379
- Радзинский Олег Эдвардович (1958), сын драматурга Э. Радзинского. В 1982-1987 годах в заключении. С 1987 года в эмиграции в США — 322
- Раскольников Федор Федорович — 203, 206
- Рассел Бертран Артур Уильям — 120
- Ратгауз Грейнем Израилевич — 72
- Ратушинская Ирина Борисовна (1954), поэт. В 1982-1986 в заключении. С 1986 в эмиграции в США — 351, 355
- Рашкинис Аримантас (1944), специалист по кибернетике, доктор наук. В начале 1970-х – каунасский студент-медик, ученик С.А. Ковалева. Участвовал в распространении в Литве «Хроники», подготовке и распространении «Хроники Литовской Католической Церкви» — 63
- Реве Карел ван хет — 123-126, 131
- Реддуэй Питер — 30, 119, 120, 131
- Резак Валерий — 214
- Ремизов Алексей Михайлович — 19
- Ремник Дэвид — 116
- Репин Валерий Тимофеевич (1951), общественный деятель. Собирал и распространял самиздат, с 1979 активно участвовал в деятельности ленинградского отделения Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям. Арестован в 1981, после предъявления обвинения по ст.64 УК РСФСР (с угрозой применения смертной казни) дал признательные показания, 1 марта 1983 выступил с покаянием на ленинградском телевидении. Приговорен к 2 годам лагеря и 3 годам ссылки; освобожден в 1987 — 243, 269
- Рерих Николай Константинович — 223
- Рив Кристофер — 324
- Рид Джон Сайлас — 72
- Рид Лу — 324
- Рильке Райнер Мария — 156, 338, 392, 396
- Рогинский Арсений Борисович (1946), историк, правозащитник, общественный деятель. В 1976-1981 один из редакторов исторических сборников «Память». В 1981-1985 в заключении по сфабрикованному КГБ уголовному обвинению — 30, 219, 238, 243, 378-381
- Рогов Аркадий — 45-48, 55
- Роднянская Ирина Бенционовна — 396
- Розанова-Синявская Марья Васильевна (1929), литератор, публицист, издатель. Жена А. Д. Синявского. Закончила искусствоведческое отделение МГУ. С 1973 в эмиграции во Франции. Издатель, соредактор (вместе с мужем), главный редактор журнала «Синтаксис» (Париж, 1977-1997) — 133, 134

- Ростропович Мстислав Леопольдович — 162
- Рубина Мария — машинистка, печатавшая самиздат, работавшая в том числе с Павлом Литвиновым. Эмигрировала в Израиль — 122
- Румянцев Алексей Матвеевич — 234
- Руссо Жан-Жак — 199
- Руткевич Михаил Николаевич — 229
- Рыбаков Анатолий Наумович — 396
- Рыбкин Петр Михайлович — 320
- Рыков Александр — 203, 204, 206, 207, 209, 211
- Рыкова Надежда Януарьевна — 344
- Садунайте Ниеле (Нийоле) (1938), медсестра, монахиня. В 1956 поступила в подпольный женский монастырь в Паневежисе послушницей, с 1958 монахиня, работала медсестрой. С 1972 — активная сотрудница «Хроники Литовской католической церкви». Арестована в 1974, отправлена в психиатрическую больницу. В 1975 приговорена к 3 годам лагерей и 3 годам ссылки. В 1977-1980 в ссылке. С ноября 1982 была вынуждена на 5 лет уйти в подполье, была объявлена во всеосознанный розыск, продолжила сотрудничество с правозащитниками. В октябре 1983 передала на Запад рукопись своих воспоминаний (опубл. в 1985 в США) — 64
- Сажин Валерий Николаевич — 378, 379
- Сазонов Виталий — 204
- Саксонова Ляля — 48
- Салова Галина Ильинична (1934), астрофизик. Жена К. Любарского. Активно помогала мужу в сборе библиотеки самиздата и в правозащитной деятельности после его ареста мужа. С 1977 в эмиграции в ФРГ — 323
- Салье Марина Евгеньевна — 297
- Санникова Елена Никитична — 262, 347-355
- Сарбаев Анатолий Андреевич (1955), рабочий, «еврокоммунист», правозащитник. В конце 1970-х активный участник диссидентского движения. Арестован в 1980, в 1981 приговорен к 10 месяцам лагерей, выпущен в зале суда (зачтен период следствия) — 304-306
- Сахаров Александр Иванович — 211
- Сахаров Андрей Дмитриевич — 6, 18, 20, 26, 32, 35, 54, 56, 59-63, 71, 86-92, 95, 106, 112, 113, 124, 125, 129, 131, 133, 146, 152, 159, 162, 163, 165, 173, 174, 192, 218, 229-231, 233, 234, 237, 244, 254, 282, 304, 326, 353, 357, 386, 388, 389
- Сваринкас Альфонсас (1925-2014), литовский католический священник, правозащитник. Впервые арестован в 1946 за «связь с подпольем», в 1948-1956 в заключении. В 1954 году тайно рукоположен в священнический сан. Повторно в заключении в 1958-1964 (за хранение довоенной литературы), третий срок (7 лет лагерей и 3 года ссылки) в 1983. Помилан в 1988 — 338
- Сверстюк (Евгений Александрович (Евген Александрович; 1928-2014), украинский писатель, философ, гоголевед, общественный деятель, основатель и главный редактор газеты «Наша вера». В 1972 году арестован и приговорен за «самиздат» к 7 годам лагерей и 5 ссылки — 392
- Светличный (Свитличный) Иван Алексеевич (1929-1992), поэт, литературовед. В 1965 году арестован, через несколько месяцев отпущен. Повторно арестован в 1972, приговор — 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Освобожден в 1983 — 392, 396
- Светличная Надежда Алексеевна (Надия; 1936-2006), журналист, филолог. Сестра И.А. Светличного. В 1972 арестована, в 1973-1977 в заключении. С 1978 в эмиграции в США. Редактор «Вестника репрессий в Украине» (США) — 323
- Светлова Екатерина Фердинандовна — 142
- Свешников Антон Вадимович — 378
- Свешников Борис Петрович (1927-1998), художник. В 1946 году арестован по обвинению в «антисоветской пропаганде», приговорен к 7 годам лагерей. В 1956 году реабилитирован — 278
- Свитличный Иван — 392, 396
- Семенов Николай Николаевич — 49, 50, 51, 53-55
- Семенов Юрий Николаевич — 49
- Семичастный Владимир Ефимович — 15, 50
- Сен-Жон Перс — 157
- Сендеров Валерий Анатольевич (1945-2014), математик, педагог и публицист. Исключался из института и аспирантуры за распространение философской литературы. В конце 1970-х вступил в НТС и активно участвовал в его деятельности. В 1982-1987 в заключении — 7, 273
- Сенкевич Генрик (Генрих Иосифович) — 311
- Сергеев Андрей Сергеевич — 148
- Серебров Феликс Аркадьевич (1930-2015), рабочий, электрик, поэт. Сын репрессированного. Первый срок получил в 1947 за кражу мешка соли (10 лет), освобожден в 1953 по амнистии. Второй срок (год и 7 месяцев) — в 1957. Основатель и активный член Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях (1977). В заключении в 1977-1978 и в 1981-1987 — 186
- Серебрякова Нина — 97
- Серов Иван Александрович — 15, 17
- Симкин Александр, сварщик из Петропавловска-Камчатского. Разбрасывал листовки в ГУМе. В конце 1960-х сидел в Благовещенской специальной психиатрической больнице вместе с В. Давыдовым — 321

- Симонов Константин Михайлович — 395
- Синявский Андрей Донатович — 18, 19, 29, 40, 51-53, 79, 80, 98, 104-106, 133, 134, 151, 167, 204, 238, 373, 374, 392, 396
- Сионский Александр Алексеевич — 19
- Ситин, сотрудник КГБ — 36
- Ситников Василий Яковлевич — 278
- Сладкявичус Винцентас (1920-2000), литовский кардинал. В 1963-1982 фактически находился под домашним арестом, подвергался внесудебным репрессиям. Был связан с изданием «Хроники литовской католической церкви» — 165
- Слоним (Чалидзе) Вера Ильинична (1948), журналистка. Жена В. Чалидзе, дочь Т. М. Литвиновой — 146
- Слоним Илья Львович — 117, 137
- Слоним Мария Ильинична — 137-152
- Случевский Константин Константинович — 19
- Смирнов Алексей Олегович (1951), правозащитник. В правозащитном движении с 1968, в 1969-1982 многократно подвергался внесудебным преследованиям, в 1979-1982 участвовал в подготовке «Бюллетеня В». В 1982-1987 в заключении — 22, 240, 321, 348, 365, 366
- Смирнов Лев Николаевич — 105
- Смирнов Сергей Сергеевич — 43, 44
- Смолянинов Владимир Владимирович — 54
- Смушкевич Борис Исаевич (1948-2014), программист. С 1974 участвовал в подготовке «Хроники текущих событий», был редактором нескольких номеров — 174
- Снежневский Андрей Владимирович — 91, 329
- Сноу Чарльз Перси — 278
- Сокирко Виктор Владимирович (1939), правозащитник. В 1961 году исключен из ВЛКСМ за направленную в ЦК КПСС «Критику Проекта программы КПСС». В 1968 году подписал письмо в защиту Галланского и Гинзбурга, в 1968-1972 участвовал в распространении «Хроники текущих событий». В 1970 приговорен к 6 месяцам исправительных работ за отказ от дачи показаний по делу Красина и Якира — 237, 239, 241
- Соколов Юрий — 309, 310
- Соколовский — 74
- Солдатов Сергей Иванович (1933-2003), инженер, преподаватель, писатель. В середине 1960-х уволен из Таллинского Политехнического института за распространение «буржуазного национализма» среди студентов. В 1968 сооснователь подпольной группы Демократического Движения Эстонии (ДДЭ), а позднее Союза морально политического Возрождения. Выпуск самиздатских журналов «Демократ» и «Луч Свободы». В заключении 1975-1981. В 1981 лишен гражданства СССР и выслан в ФРГ — 13
- Солженицын Александр Исаевич — 9, 18, 30-33, 108, 111, 131, 133, 142-144, 146, 149, 150, 162, 192, 218, 221, 224, 229, 230, 232-234, 236, 247, 249, 253, 254, 259, 265, 267, 278, 279, 281, 283, 285, 286, 288, 290, 291, 296, 297, 302, 338, 351, 353, 359, 361, 369, 376, 392, 393
- Солженицын Степан Александрович — 142
- Солженицына Наталия Дмитриевна — 142, 144, 146, 149, 254, 257, 259, 261, 262, 265, 267, 281, 282, 291, 292
- Сорокин Виктор Михайлович (1941), экономист, изобретатель, публицист. В правозащитном движении с 1977. Сотрудник самиздатских журналов «Поиски» и «В защиту экономических свобод», подвергался внесудебным преследованиям. В 1981 осужден на год лагерей (заменен на исправительные работы). С 1982 года в эмиграции во Франции — 237, 240, 326
- Сорокина София (Соня) Юрьевна (1939), экономист. Жена В. М. Сорокина. С 1982 в эмиграции во Франции — 235, 237, 240
- Сорос Джордж — 179
- Софроницкая Роксана Владимировна — 75
- Софронов Анатолий Владимирович — 393
- Спендер Стивен Гарольд — 125
- Спирин Александр Сергеевич — 181
- Сталин Иосиф Виссарионович — 31, 71, 76, 77, 82, 102, 103, 116-118, 158, 162, 185, 199, 201, 203 243, 303, 304, 313, 327, 330, 339, 352
- Старчик Петр Петрович (1938), бард. Присоединился к диссидентскому движению в начале 1970-х. В 1972 арестован, до 1974 находился в специальной психиатрической больнице. В 1976 снова подвергся принудительной госпитализации, но под давлением общественности выпущен через два месяца. В 1977 участвовал в самиздатском альманахе «Воскресенье» — 218
- Степанова Лариса Георгиевна — 36
- Степонавичюс Юлийонас (1911-1991), литовский архиепископ. В 1958 году назначен апостольским администратором Паневежской епархии и Вильнюсской архиепархии. Уже через три года после назначения арестован и отправлен в ссылку в Жагаре, где находился под домашним арестом до 1988 — 165
- Стинг — 323
- Столярова Наталия Ивановна — 108
- Стоцкий Эдуард Данилович — 72
- Стравинский Игорь Федорович — 125

- Строкатова Нина Антоновна (1926-1996), микробиолог. Жена С. И. Караванского. С 1968 была «связной» украинского национального движения и московских правозащитников. В 1971-1975 заключении. Одна из основателей Украинской Хельсинской группы (с 1976). С 1979 в эмиграции в США — 323
- Струве Глеб Петрович — 338
- Струве Никита Алексеевич — 282
- Стругацкие, братья — 222, 223
- Стус Василь Семенович (1938-1985), украинский поэт, переводчик, диссидент. В 1965 публично выступил против арестов украинской интеллигенции, после чего был исключен из аспирантуры. В 1972-1979 в заключении. Второй приговор в 1980 — 10 лет лагерей и 5 лет ссылки. Умер 4 сентября 1985 после объявленной в карцере голодовки — 339
- Суперфин Габриэль Гаврилович — 29-37, 58, 140, 141, 143, 159, 338, 380
- Сурис Роберт Арнольдович — 278
- Сурков Алексей Александрович — 110
- Сусленский Яков Михайлович (1929-2009), учитель, писатель, журналист. В 1970-1977 в заключении. С 1977 в эмиграции в Израиле — 67
- Суслов Михаил Андреевич — 17
- Сучков Федот Федотович — 236
- Сыркин Абрам Львович — 48
- Сыроечковская (Литвинова) Нина Михайловна — 55
- Сыроечковский Геннадий — 55
- Сыщиков Михаил — 143
- Тальце Маргарита Феликсовна — 312
- Тамкявичюс Сигитас (1938), литовский католический епископ, иезуит. Инициатор издания «Хроники Католической Церкви Литвы» (1972- 1983), основатель Католического комитета по защите прав верующих (1978), друг С.А. Ковалева — 64, 165
- Тарковский Андрей Арсеньевич — 300
- Твардовский Александр Трифонович — 18, 229, 231
- Твердохлебов Андрей Николаевич (1940-2011), физик. Один из учредителей Комитета прав человека в СССР (1970-1972), правозащитной организации «Группа-73», секретарь советской секции Amnesty International (1973-1975, 1978-1979), активный участник многих петиционных компаний. В заключении 1975-1978. С 1980 в эмиграции в США — 56, 87, 254
- Тельников Владимир Иванович (1937-1998), переводчик, педагог. Один из основателей молодежного подпольного кружка «Союз революционного ленинизма» (Москва—Ленинград, 1955-1957). В 1957-1963 в заключении. Участник петиционных кампаний, распространитель самиздата: помогал в издании «Хроники текущих событий». Арестован в 1970, вскоре освобожден в связи с прекращением дела. С 1971 в эмиграции в Великобритании — 206, 207
- Тепер Зусь, один из распространителей самиздата в Одессе в 1970-е годы — 209
- Тереля Иосиф (1943-2009), украинский писатель-мистик. Активист украинского католического правозащитного движения, организатор Инициативной группы в деле защиты прав верующих и Церкви (1982), редактор «Хроники Католической церкви на Украине» (с 1982). 23 года провел в заключении. С середины 1980-х в эмиграции в Канаде — 347-349, 351
- Тереля Олена, жена И. Терели — 351
- Терновский Леонард Борисович (1933-2006), врач, писатель. Член Московской Хельсинкской группы и Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, автор истории «Хроники текущих событий». В 1980-1983 в заключении — 311, 313
- Тимофеев Лев Михайлович — 338, 357-371
- Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович — 42
- Тимофеева Софья Львовна — 361
- Тимофеева Ольга, жена Ю.Галанскова — 121
- Тихомиров Владимир Михайлович — 73
- Токман Хаим — 210, 211
- Толкин Джон Рональд Руэл — 279
- Толстой Алексей Константинович — 350
- Толстой Иван Никитич — 261
- Толстой Лев Николаевич — 253, 342
- Тольц Владимир Соломонович (1944), историк и журналист. Участвовал в подготовке «Хроники текущих событий», один из редакторов «Бюллетеня В». С 1982 в эмиграции в ФРГ — 22, 321, 365
- Томас Дилан — 157
- Томачинский Виктор Михайлович (1945-1983), участник правозащитного движения, автомеханик. Имея визу для выезда в США, в 1981, накануне отъезда, подал в районный суд на Комитет государственной безопасности СССР; суд рассмотрел заявление и признал себя некомпетентным. В тот же день истец был арестован за «тунеядство», в лагере получил второй срок – три года лагерей за антигосударственную деятельность. Умер в вологодской пересыльной тюрьме — 238, 242, 240
- Трапезников Сергей Павлович — 234
- Трифонов Юрий Валентинович — 33, 229, 396
- Троцкий Лев Давыдович — 72, 98, 161, 162, 203, 229

- Трусова Татьяна Николаевна (1939), филолог, педагог. Участвовала в подготовке «Бюллетеня В». Жена В. Гринева. В 1983-1986 в ссылке — 22, 350
- Туманова Лина Борисовна (1936-1985), фило-соф. Участник подготовки «Хроники текущих событий», активный член Московской Хельсинской группы и Фонда помощи политзаключенным. Арестована за несколько месяцев до смерти (была больна раком), но вскоре выпущена, вызывалась на допросы до последних дней жизни — 266
- Турсунов Владимир, преподаватель ПТУ из Иркутска. Создал с учениками кружок «истинных ленинцев». Осужден и отбывал наказание в специальной психиатрической больнице — 321
- Турчин Валентин Федорович (1931-2010), физик и кибернетик, правозащитник, писатель. Председатель советской секции Amnesty International с 1974. С 1977 в эмиграции в Израиле и США — 132, 386
- Тутунов Сергей Сергеевич — 274, 275
- Тымчук Леонид Николаевич (1935), матрос. Неоднократно арестовывался, в том числе — по сфабрикованному делу об «изнасиловании» — 227
- Тэтчер Маргарет Хильда — 342
- Уайльд Оскар — 234
- Убожко Лев Григорьевич (1933-2003), правозащитник, политик. В 1970-1973 в заключении. В 1972-1987 содержался в специальных психиатрических больницах — 322
- Удельнов Михаил Егорович — 45, 55
- Улановская Майя Александровна (1932), переводчик, литератор. Участник молодежно-антисталинского «Союза борьбы за дело революции» (с 1949), в 1951 приговорена к 25 годам лагерей, в 1956 освобождена по амнистии. В 1960-е-1970-е перепечатывала самиздат, передавала информацию за рубеж. Жена А. Якобсона. С 1973 в эмиграции Израиле — 128, 129
- Усов Василий — 317
- Устинов Дмитрий Федорович — 305
- Файнберг Виктор Исаакович (1931), филолог. Участник демонстрации 25 августа 1968 на Красной площади, арестован, до 1973 находился в специальной психиатрической больнице. С 1974 в эмиграции во Франции — 130, 186
- Фатыхова Нурия — 7
- Федоров, сотрудник «Пермь-36» — 68
- Фейгинсон Ной Ильич — 42
- Фефелов Валерий Андреевич (1949-2008), электромонтер. Работая электромонтером получил травмы, с 1966 года – инвалид-«колясочник». В 1978 вместе с Юрием Киселевым и Файзуллой Хусаиновым создал Инициативную группу защиты прав инвалидов в СССР, деятельность которой сочли антисоветской. С 1982 в эмиграции в ФРГ — 349, 350
- Филиппов Борис, псевдоним Б.А. Филистинского — 338
- Финкельштейн (Владимиров) Леонид Владимирович (1924-2015), писатель, журналист. В 1947 приговорен к 7 годам лагерей, в 1953 освобожден и реабилитирован. В 1966 во время поездки в Англию попросил политическое убежище и стал «невозвращенцем» — 332
- Финкельштейн Эйтан (1942), правозащитник. Участник движения за выезд евреев в Израиль, один из инициаторов создания Литовской Хельсинкской группы. С 1983 в эмиграции в Израиле — 158-160, 162, 163
- Финн Виктор Константинович — 84
- Фишер Бобби — 392
- Фолкнер Уильям — 278
- Фрадкин Илья Моисеевич — 396
- Франс Анатолий — 94
- Фрейд Зигмунд — 139, 208
- Фрейдин Антон Григорьевич — 139, 140, 142, 143, 145-147
- Фрейдин Григорий Моносович — 140, 145, 174
- Фунтиков Владимир, студент-медик, участник протестных движений — 298
- Хант Майкл — 339
- Харитон Наталья Юльевна — 49
- Харитон Юлий Борисович — 49
- Харитонов Николай — 396
- Хармс Даниил Иванович — 19, 329, 333
- Хаустов Виктор Александрович (1938), рабочий, поэт. Активист поэтических чтений на площади Маяковского (1960-1961). Участник демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967. В заключении в 1967-1970. Участник подпольного кружка «Патриотический фронт России» (Орел, 1972-1973). Вновь в заключении 1973-1977; в ссылке в 1977-1979 — 31, 207
- Хаятина (Вольпина) Виктория Борисовна — 80, 82, 85, 86
- Хейфец Михаил Рувимович (1934), писатель. В 1974-1978 году в заключении, до 1980 — в ссылке за написание предисловия к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского (так называемому «марамзинскому собранию») и изготовление двух экземпляров эссе А. Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». С 1980 в эмиграции в Израиле — 332
- Херсонский Борис Григорьевич — 214

- Хинси Эллен — 163
- Хмара Степан Ильич (1937), врач, политический деятель. Занимался распространением самиздата, в 1972 начал участвовать в подготовке самиздатского журнала «Украинский вестник». Первый арест — 1975 (дело закрыто за отсутствием доказательств). В 1980-1987 в заключении — 338
- Ходорковский Михаил Борисович — 324
- Ходорович Сергей Дмитриевич — 247-275, 278, 279, 280, 282, 283, 287, 351
- Ходорович Татьяна Сергеевна (1921-2015), лингвист-диалектолог. Участвовала в подготовке «Хроники текущих событий», работе Инициативной группы по защите прав человека в СССР. В 1977 стала сораспорядителем Фонда помощи политзаключенным. Подвергалась внесудебным преследованиям. С 1977 в эмиграции во Франции — 56, 169, 174, 226, 248, 251, 252, 255, 256, 259, 263, 272, 278
- Хохлушкин Игорь Николаевич (1927-2000), экономист, стюард-краснодеревник. Первый срок (5 лет лагерей) получил в 1946 за критические замечания на полях работы В.И. Ленина «Государство и революция». В 1959 реабилитирован. Подвергался внесудебным преследованиям. Вместе с А.Гинзбургом наладил тиражирование «Архипелага ГУ-ЛАГ» — 358, 364, 365
- Хрущев Никита Сергеевич 15-18, 71, 74, 87, 101, 117, 146, 148, 184, 231, 273, 299, 352, 383
- Цатурян Андрей Кимович (1952), биолог. Участвовал в подготовке «Хроники текущих событий» — 376, 377
- Цветаева Марина Ивановна — 138, 205, 350
- Цвигун Семен Кузмич — 322
- Цукерман Борис Исаакович (1927-2002), физик, инженер. Составитель самиздатского сборника «Почтовый роман». С 1970 — эксперт Комитета прав человека. С 1971 в эмиграции в Израиле — 56, 58, 87
- Цурков Аркадий Самсонович (1959), математик. Член молодежной подпольной группы, в 1979 приговорен к 5 годам лагерей и 2 годам ссылки, в лагере осужден повторно на 3 года, освобожден в 1987 — 243
- Цуркова Ирина Залмановна (1959), машинистка самиздата. Жена А.С. Цуркова. Получила 3 месяца исправительных работ за отказ от дачи показаний против мужа. Участница подпольных групп (1976-1982) и Фонда помощи политзаключенным. В 1982-1985 в заключении — 243
- Чайлахян Левон Михайлович — 39, 40, 49, 54
- Чалидзе Вера см. Слоним (Чалидзе) В.И.
- Чалидзе Валерий Николаевич (1938), физик, публицист. В 1969-1972 издатель самиздатского журнала «Общественные проблемы». В 1970 основал вместе с А.Д. Сахаровым и А.Н. Твердохлебовым Комитет по защите прав человека. В 1972 выехал по приглашению в США для чтения лекций. Во время пребывания в США был лишен советского гражданства — 56, 87, 88, 119, 131, 146, 148, 149, 207, 228, 242, 392
- Чанцев Алексей — 263, 278
- Чекалова — 344
- Черкесов Виктор Васильевич — 329, 337
- Черненко Константин Устинович — 239
- Черномырдин Виктор Степанович — 296
- Чернышевский Николай Гаврилович — 19, 223, 239
- Черчиль Уинстон — 135
- Чехов Антон Павлович — 279
- Чичибабин Борис Алексеевич — 394
- Чугунов Александр Иванович — 334
- Чудаков Александр Павлович — 31
- Чудакова Мариэтта Омаровна — 31, 35
- Чуковская Лидия Корнеевна — 266, 267, 395
- Чуковский Корней Иванович — 138, 139, 231
- Шагинян Мариэтта Сергеевна — 395
- Шалагин Н.А., следователь — 217
- Шаламов Варлам Тихонович — 18, 19, 104, 263
- Шанин Николай Александрович — 83, 84
- Шапиро Исаак Генри — 125
- Шаров Александр Израилевич — 396
- Шафаревич Игорь Ростиславович (1923), математик, член-корреспондент АН СССР, идеолог русского национализма. С конца 1960-х принимал участие в общественной деятельности. Член Комитета прав человека. В 1974 участвовал в подготовке сборника «Из-под глыб». В 1975 уволен из МГУ — 88, 358, 364, 365
- Шахмалиева Зейнаб Муслимовна — 198, 205
- Шелепин Александр Николаевич — 17
- Шелест Петр Евимович (Петро Юхимович) — 224
- Шемаханская Марина Сергеевна — 263, 264, 266, 271, 277-283, 290
- Шеркшнис Йонас — 64
- Шефтер Джерри — 148
- Шидловский Вячеслав Александрович — 45
- Шифрин Абрам Исаакович — 206
- Шиханович Юрий Александрович (1933-2011), математик. В 1968 году уволен из МГУ за подписание коллективного письма в защиту А.С. Есенина-Вольпина. С начала 1970-х — автор, а затем редактор «Хроники текущих событий». С 1980 один из основных составителей. В заключении в 1972-1974 (изолятор, затем психиатрическая больница). Вновь в заключении в 1983-1987 — 20, 58, 89, 207, 278, 306, 310, 351

- Шмаков Геннадий Григорьевич — 331
- Шмеман Александр Дмитриевич — 132
- Шмеман Сергей Александрович — 92
- Шмитт Карл — 228
- Шолохов Михаил Александрович — 268
- Шостакович Ирина Антоновна — 275
- Шоу Бернард — 120
- Шрагин Борис Иосифович (1926-1990), фило-соф. С начала 1960-х активный участник правозащитного движения. В 1968 был исключен из КПСС (вступил в 1956) и уволен с работы без права работать в научных учреждениях. С 1974 в эмиграции в США — 131, 132, 134
- Штейнберг Аркадий Акимович — 278
- Штрихман Давид — 205
- Щаранский Натан (Анатолий Борисович, 1948), инженер-математик. С 1973 отказ-ник. Сооснователь Московской Хельсинк-ской группы. В 1977 обвинен в измене ро-дине, приговорен к 13 годам лагерей стро-го режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. В заключении почти половину срока провел в одиночной камере и больше года – в штрафном изоляторе. В 1986 обмен-ен на советских шпионов. Живет в Израиле — 160, 164, 165, 366
- Щеглов Марк Александрович — 72
- Щелоков Николай Анисимович — 314
- Щербицкий Владимир Васильевич — 224
- Экслер Наталья Евгеньевна (1940), жена Л.М.Тимофеева — 363
- Элиот Томас Стернз — 157
- Энгельс Фридрих — 199-202, 169, 174
- Эренбург Илья Григорьевич — 9, 78, 104, 108
- Эрль Владимир Ибрагимович — 331
- Эткинд Ефим Григорьевич — 9, 332, 396
- Юнг Карл Густав — 208
- Яглом Акива Моисеевич — 87
- Яглом Исаак Моисеевич — 87
- Ядов Владимир Александрович — 203, 209
- Якир Ирина Петровна (1948-1999), историк-архивист. Включилась в диссидентское дви-жение в 1966, подвергалась внесудебным преследованиям. Занималась созданием и распространением самиздата, в 1970-1972 была составителем «Хроники текущих со-бытий». Жена Ю.Ч. Кима — 126, 306, 310
- Якир Петр Иванович (1923-1982), историк. Сын «врага народа», узник сталинских лагерей (1937-1942), участник ВОВ. Начи-ная с 1966 принимал активное участие в борьбе с ресталинизацией и ограничениями сво-боды слова. Участвовал в подготовке вы-пусков «Хроники текущих событий». В 1969 стал сооснователем (вместе с В. Красиным). Инициативной группы по за-щите прав человека в СССР. В 1972 аре-стован, под угрозой «расстрельной» ста-тьи сотрудничал со следствием. Приго-вор — 3 года заключения и 3 годам ссыл-ки. После суда вместе с В. Красиным пу-блично покаялся. Срок лишения свободы был снижен до уже отбытого, послан в Рязань. С 1974 вновь в Москве, отошел от общественной деятельности — 18, 32, 33, 112, 126, 128, 129, 169, 177, 228, 229, 306, 322, 376, 392
- Яacobson Анатолий Александрович (1935-1978), поэт, переводчик, историк литерату-ры. Редактор «Хроники текущих событий» (1969-1972). С 1973 года в эмиграции в Из-раиле. Покончил жизнь самоубийством — 30, 56, 58, 119, 126, 128, 391
- Якунин Глеб Павлович (1934-2014), священ-ник. В 1965 вместе с Николаем Эшлиманом направил Патриарху Алексию I открытое письмо о противозаконном подавлении ор-ганами государственной власти СССР прав и свобод верующих граждан страны. В ре-зультате в был запрещен в служении. В 1976 стал одним из соучредителей Хри-стианского комитета защиты прав верую-щих в СССР. В 1979 -1987 в заключении и ссылке — 7, 99, 307
- Янков Вадим Анатольевич (1935), математик, философ. В 1982 -1987 в заключении и ссылке — 71, 73, 74
- Ярым-Агаев Юрий Николаевич (1949), физик. С середины 1970-х в правозащитном дви-жении. С 1978 — член Московской Хель-синской группы. С 1980 в эмиграции в США — 297, 323
- Ясиновская Флора Павловна (1918), врач-фи-зиолог. После ареста в 1968 сына (Павла Литвинова), тоже включилась в правоза-щитное движение — 55
- Яшкунас Генрикас, в 1976 арестован за рас-пространение Манифеста Союза организа-ций свободных народов — 339

СОДЕРЖАНИЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ СВОБОДЫ. ЙЕНС ЗИГЕРТ	3
ИСТОРИЯ IN PROGRESS. ГЛЕБ МОРЕВ	6
«РОДИТЬСЯ ДИССИДЕНТОМ». НУРИЯ ФАТЫХОВА	8

I. «ЭТО БЫЛО НРАВСТВЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. ТОЛЬКО НРАВСТВЕННОЙ»

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЯНЦ: «Во враждебной среде с таким количеством стукачей раскрытие неизбежно»	13
ГАБРИЭЛЬ СУПЕРФИН: «Среди чекистов двадцать процентов идиотов, а остальные просто циники»	29
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ: «Это была нравственная несовместимость с советским варварством»	39
ИРИНА КРИСТИ: «Я антисоветчица, извините, буквально с рождения»	71
ВЕРА ЛАШКОВА: «У нас не было желания увидеть зарю свободы»	97
ПАВЕЛ ЛИТВИНОВ: «Я с гордостью назову себя либералом»	115
МАША СЛОНИМ: «Мама очень не хотела, чтобы меня арестовывали»	137

II. «ПОЛЫНЯ СМЕРЗАЕТСЯ...»

ТОМАС ВЕНЦЛОВА: «В Литве получилось лучше, чем в России»	155
СИМА МОСТИНСКАЯ: «Я бы в ссылку поехала еще, если бы там Саша был»	167
ВЯЧЕСЛАВ БАХМИН: «Поскольку я боролся против коммунистов, я был свой человек»	177
ВЯЧЕСЛАВ ИГРУНОВ: «Я был диссидент в диссидентстве»	195
ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ: «Идея заняться политикой диалога в Бутырке была плохая»	221

III. «ДЛЯ ТЕХ, КТО СИДЕЛ И СОБИРАЛСЯ СИДЕТЬ, ЭТО БЫЛА БОЛЬШАЯ ОТДУШИНА»

СЕРГЕЙ ХОДОРОВИЧ: «Мы находили в себе силы противостоять идиотическому безумию»	247
МАРИНА ШЕМАХАНСКАЯ: «Издательство шло до конца жизни»	277
ПРОТ. БОРИС МИХАЙЛОВ: «Я бы не хотел быть автором каких-то воспоминаний»	285

IV. «СИСТЕМА САМА СОЗДАВАЛА СЕБЕ ВРАГОВ»

ВИКТОР ДАВЫДОВ: «Институт Сербского является “освенцимским вокзалом”»	295
МИХАИЛ МЕЙЛАХ: «Первым моим следователем был Виктор Черкесов»	329
ЕЛЕНА САННИКОВА: «Предостережение КГБ меня и подтолкнуло к деятельности» ..	347
ЛЕВ ТИМОФЕЕВ: «Мой внутренний цензор был убит чтением “Архипелага ГУЛАГ”»	357
АЛЕКСАНДР ДАНИЭЛЬ: «Без диссидентов политика стала мелкой, как лужа»	373

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛЕВ КОПЕЛЕВ – ГЕНРИХУ БЁЛЛЮ «Я никогда не был столь близок к отчаянию»	391
---	-----

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	397
--------------------------------	-----

Литературно-художественное издание

16+

Глеб Алексеевич Морев
ДИССИДЕНТЫ

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Ответственный за издание *И. Данишевский*
Ведущий редактор *В. Кольцова*
Дизайн обложки *Е. Петрова*
Верстка *А. Грених*

Подписано в печать 25.10.2016.
Формат 70x100/16. Усл. печ. л. .
Тираж 3000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085, РФ, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21,
строение 3, комната 5

«Баспа Аста» деген ООО
129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 кұрылым, 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E - mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.»
Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған